Эрик Эриксон

Детство и общество

(Erik Erikson "Childhood and Society", 2nd ed., 1963)

В книге рассматриваются с психодинамических позиций такие вопросы, как: детство и социальная жизнь, кризис подросткового возраста, конфликт середины жизни, подведение итогов жизни и др.

Содержание

Часть I. Детство и модальности социальной жизни
Глава 1. Релевантность и релятивность в истории болезни
1. Сэм: неврологический кризис у маленького мальчика
2. Боевой кризис у морского пехотинца
Глава 2. Теория инфантильной сексуальности
1. Два клинических эпизода
2. Либидо и агрессия
3. Зоны, модусы и модальности
А. Рот и органы чувств
Б. Выделительные органы и мускулатура
В. Локомоция и гениталии
Г. Прегенитальность и генитальность
4. Генитальные модусы и пространственные модальности

Часть II. Детство у двух племен американских индейцев
Введение
Глава 3. Охотники прерий
1. Исторические сведения
2. Джим
3. Межэтнический семинар
4. Воспитание ребенка у индейцев сиу
А. Роды
Б. Получение и взятие
В. Удерживание и отпускание
Г. «Делание» и делание
5. Сверхъестественное
А. Танец Солнца
Б. Путеводные сны и видения
6. Резюме
7. Последующее изучение детства индейцев сиу
Глава 4. Рыбаки лососевой реки
1. Мир племени юрок
2. Юрокская детская психиатрия
3. Воспитание ребенка у индейцев юрок
4. Сравнительный обзор мира юрок

Часть III. Развитие эго
Введение
Глава 5. Джин: крах незрелого эго
Глава 6. Забавы и заботы
1. Игра, работа и развитие
2. Игра и лечение

3. Истоки идентичности
А. Игра и социальная среда
Б. Сын бомбардира
В. Черная идентичность
Глава 7. Восемь возрастов человека
1. Базисное доверие *против* базисного недоверия
2. Автономия *против* стыда и сомнения
3. Инициатива *против* чувства вины
4. Трудолюбие *против* чувства неполноценности
5. Идентичность *против* смешения ролей
6. Близость *против* изоляции
7. Генеративность *против* стагнации
8. Целостность эго *против* отчаяния
9. Эпигенетическая карта

Часть IV. Юность и эволюция идентичности
Введение
Глава 8. Размышления об идентичности американцев
1. Полярные качества национального характера
2. «Мамочка»
3. Джон Генри
4. Юноша, босс и машина
Глава 9. Легенда о детстве Гитлера
1. Германия
2. Отец
3. Мать
4. Юноша
5. Жизненное пространство, солдат, еврей
6. Впечатление о евреях
Глава 10. Легенда о юности Максима Горького
1. Страна и мир
2. Матери
3. Дряхлый деспот и окаянное племя
4. Эксплуатируемые
А. Святой и нищий
Б. Чужой
В. Безотцовщина и безногий ребенок
Г. Спелёнатый младенец
5. Протестант
Глава 11. Заключение: по ту сторону тревоги
Указатель имен

Предисловие ко второму изданию

Когда я перечитывал предисловие к первому изданию, мне бросилось в глаза выражение «концептуальные путевые заметки». И я выделил его, ибо искал формулировку, которой можно было бы воспользоваться, объясняя судьбу этой книги. Задуманная и написанная для пополнения психиатрического образования американских врачей, психологов и социальных работников, она прошла свой собственный путь к студентам и аспирантам различных специальностей из университетов США и ряда других стран. Практически необходимым делом стало переиздание книги, а с ним возник и вопрос о ее переработке.

Мысль о том, что эту книгу широко читали как молодые, так и пожилые люди, не имевшие возможности судить о ней на основе личного клинического опыта, временами приводила меня в замешательство. Перед тем как приступить к переработке первого издания, я обсудил эту проблему на своем семинаре с первокурсниками в Гарварде (в 1961/62 учебном году). И обнаружил, что единство

личности, характерное для жанра путевых заметок, на самом деле может помочь молодым людям впервые окинуть направленным взором область, которая вторгается в их сознание и лексикон из столь многочисленных и разнообразных источников. Мои студенты, между прочим, почти единодушно решили, что мне не следует радикально изменять первоначальный текст, хотя бы потому, что внесение «поправок» в путевые заметки, написанные в более молодые годы, не было одной из прерогатив постаревшего автора. Спасибо им за усердие и хлопоты.

Однако эта книга использовалась также в подготовке профессиональных специалистов, имеющих отношение к психоанализу. И здесь я пришел к выводу, что недостатки книги неотделимы от ее жанра - рассказа о первом этапе пути одного такого специалиста; и что подобно многим первым путешествиям, она снабжает читателя впечатлениями, которые при повторении маршрута сопротивляются ослаблению или преувеличению. Поэтому я переработал текст лишь для того, чтобы сделать более ясными свои первоначальные намерения, и добавил только тот материал, которым располагал во время работы над первым изданием.

Во втором издании я прежде всего исправил места, которые, при перечитывании, сам не вполне понимал. Затем я расширил (либо исправил) описания и объяснения, часто неправильно понимаемые студентами различных специальностей (или неоднократно вызывавшие вопросы с их стороны). Наиболее многословные добавления можно обнаружить, главным образом, в конце первой и на протяжении третьей части книги. Наконец, я снабдил текст авторскими подстрочными примечаниями: критическими размышлениями над тем, что было написано мной десять с лишним лет назад, и ссылками на свои более поздние работы, в которых развиваются темы, тогда лишь намеченные.

Среди тех, кому выражается благодарность в предисловии к первому изданию, не назван ныне покойный Дэвид Рапапорт (D. Rapaport). Он прочел рукопись, однако я не получил его предложений (как всегда, весьма обстоятельных), когда книга печаталась. В последующие годы мы работали вместе и он больше чем кто-либо другой (включая и меня самого) способствовал выявлению теоретического подтекста моей работы и ее связей с работой других психоаналитиков и психологов. Я могу лишь с благодарностью сослаться на некоторые из его трудов, содержащих исчерпывающую библиографию.

Более объемные дополнения ко второму изданию основаны на следующих статьях:

- «Sex Differences in the Play Construction of Pre-Adolescents», *Journal of Orthopsychiatry.* - XXI. - 4. - 1951.

- «Growth and Crises of the "Healthy Personality"», *Symposium on the Healthy Personality* (1950), M. J. E. Senn, editor. New York, Josiah Macy, Jr. Foundation.

Эрик Гомбургер Эриксон
Центр передовых исследований в поведенческих науках,
Март 1963, Стэнфорд, Калифорния

Предисловие к первому изданию

Предисловие дает автору возможность поместить вперед мысли, которые пришли ему в голову с опозданием. Оглядываясь на написанное, он может попытаться рассказать читателям, что же находится перед ними.

Прежде всего, своим происхождением эта книга обязана практике психоанализа. Ее основные главы опираются на образцы ситуаций, которые требовали интерпретации и коррекции; это - тревога маленьких детей и безразличие американских индейцев, потерянность ветеранов войны и самонадеянность юных нацистов. Здесь, как и во всех других ситуациях, психоаналитический метод обнаруживает конфликт, поскольку психоанализ с самого начала был сосредоточен на психическом расстройстве. Благодаря работе Фрейда, невротический конфликт стал наиболее изученной стороной поведения человека. Однако в этой книге мы избегаем легкого вывода, будто наши относительно передовые знания о неврозе позволяют рассматривать массовые явления - культуру, религию, революцию - как аналоги неврозов для того, чтобы подчинить их нашим концепциям. Мы пойдем по иному пути.

Современный психоанализ занимается изучением эго, под которым понимается способность человека объединять (адаптивно) личный опыт и собственную деятельность. Психоанализ смещает акцент с концентрации на изучении условий, притупляющих и искажающих эго конкретного человека, на изучение корней эго в социальной организации. Мы пытаемся понять их не для того, чтобы

предложить наспех сделанное лекарство от впопыхах установленной болезни общества, а чтобы завершить наброски нашей теории. В этом смысле, перед вами психоаналитическая книга об отношении эго к обществу.

Это книга о детстве. Можно просматривать работу за работой по истории, социологии, морали и практически не обнаружить упоминания о том, что все люди начинают свой путь детьми, и не где-нибудь, а в своих детских. Человеку свойственно долгое детство, а цивилизованному человеку - еще более долгое. Продолжительное детство делает человека в техническом и умственном отношениях виртуозом, но и оставляет в нем пожизненный осадок эмоциональной незрелости. Хотя племена и народности, во многом неосознанно, используют воспитание детей для достижения своей особой формы зрелой идентичности, своего уникального варианта цельности, их постоянно преследуют иррациональные страхи родом из того самого детства, которое они эксплуатировали особым образом.

Что может знать об этом клиницист? Я полагаю, психоаналитический метод является по существу историческим. Даже тогда, когда он ориентируется на медицинские данные, они интерпретируются как функция прошлого опыта. Сказать, что психоанализ изучает конфликт между зрелыми и инфантильными, новейшими и архаическими пластами в душе человека - значит сказать, что психоанализ изучает психологическую эволюцию через анализ конкретной личности. В то же самое время психоанализ позволяет увидеть в истории человечества гигантский метаболизм индивидуальных жизненных циклов.

В таком случае, хотелось бы отметить, что это - книга об исторических процессах. Все же психоаналитик являет собой необычный, возможно новый, тип историка. Вверяя себя влиянию наблюдаемого, аналитик оказывается частью изучаемого им исторического процесса. Как терапевт, он должен сознавать собственную реакцию на наблюдаемое; его «уравнения» наблюдателя становятся самыми близкими ему инструментами наблюдения. Поэтому ни терминологическое равнение на более объективные науки, ни благородная отстраненность от злобы дня не могут и не должны удерживать психоаналитический метод от того, чтобы всегда быть, пользуясь выражением Г. С. Салливана (H. S. Sullivan), «соучаствующим».

В этом смысле данная книга является (и должна быть) субъективной, *концептуальными путевыми заметками*. С моей стороны не было даже попытки достичь репрезентативности в цитировании или систематичности в ссылках. В общем, мало что получается из усилий укрепить неясные, расплывающиеся значения с помощью добросовестного на вид цитирования отдаленно сходных понятий из других контекстов.

Такой личный подход требует краткого изложения истории моего ученичества и признания общей суммы интеллектуального долга другим людям.

Я пришел в психологию из искусства, чем можно хотя бы объяснить, если не оправдать то, что время от времени читатель будет заставать меня рисующим фон и задний план, тогда как он предпочел бы узнать о фактах и понятиях. Мне пришлось из органической необходимости сделать добродетель, опираясь на то, что речь здесь должна идти о репрезентативном описании, а не о теоретической аргументации.

Впервые я встретился лицом к лицу с детьми в маленькой американской школе в Вене, где работали Дороти Берлингем, Ева Розенфельд и директорствовал Петер Блосс. Свою клиническую карьеру я начал как детский психоаналитик под руководством Анны Фрейд и Августа Айхорна. Кроме того, я окончил Венский психоаналитический институт.

Генри А. Мюррей (H. A. Murray) и его коллеги по Гарвардской психологической клинике дали мне первое интеллектуальное пристанище в США. Годами я обладал привилегией долгих бесед с антропологами, в первую очередь, с Грегори Бейтсоном (G. Bateson), Рут Бенедикт (R. Benedict), Мартином Лоэбом (M. Loeb) и Маргарет Мид (M. Mead). Скаддер Микил (Scudder Mekeel) и Альфред Крёбер (A. Kroeber) познакомили меня с «полем». Мой особый долг перед ними будет обстоятельно рассмотрен во второй части книги. Было бы просто невозможно перечислить по пунктам все, чем я обязан Маргарет Мид.

Мои компаративистские взгляды на детство сформировались благодаря исследованиям, к которым меня первым побудил Лоуренс К. Франк (L. K. Frank). Финансовая субсидия Фонда Дж. Мэйси младшего позволила мне присоединиться к изучению начальной стадии детских неврозов, проводимому кафедрой психиатрии медицинского факультета и Институтом человеческих отношений Йельского университета. Финансовая помощь Комитета по народному образованию дала мне возможность какое-то время участвовать в долгосрочном проекте Джин Уолкер Макферлайн по изучению детей Калифорнии (Институт благополучного детства, Калифорнийский университет, Беркли).

Моя жена, Джоан Эриксон, редактировала эту книгу. На завершающем этапе работы над рукописью меня консультировали Элен Майклджон (Helen Meiklejohn), Грегори Бейтсон, Вильма Ллойд (Wilma Lloyd), Гарднер и Луис Мёрфи (Gardner and Lois Murphy), Лоренс Сёрс (Laurence Sears) и Дон Мак-Киннон (Don MacKinnon).

Выражаю им свою признательность.

В тексте встречается несколько вымышленных имен: Сэм, Энн и Питер; морской пехотинец, Джим - индеец племени сну и Фанни - шаман племени юрок; Джин и ее мать, Мэри и др. Ими названы пациенты и испытуемые, кто невольно снабжал меня «образцами» прозрачного поведения, которые за годы хранения в моей памяти обрели четкость, масштаб и значение. Я надеюсь, что сообщения об этих людях, включенные в книгу, передают им мою признательность.

Сообщением в этой книге определенных данных я обязан своей работе с конкретными специалистами и служебным персоналом ряда учреждений. Это:

- *Фрэнк Фремон-Смит*, доктор медицины (кафедра нейропсихиатрии, медицинский факультет Гарвардского университета);
- *Фелиция Бегг-Эмери*, доктор медицины; *Мэриан Путнэм*, доктор медицины; *Рут Уошборн* (кафедра психиатрии, медицинский факультет Йельского университета);
- *Мэри Литч*, доктор медицины (Фонд Меннингера);
- *Вильма Ллойд* (детская больница Ист-Бей, Центр развития ребенка);
- *Эммануэль Уиндхольц*, доктор медицины (отделение реабилитации ветеранов войны, Госпиталь Маунт-Зайон);
- пункты психологической помощи детям, бесплатные средние школы Сан-Франциско.

Части этой книги основаны на ранее опубликованных исследованиях, в частности: - «Configurations in Play: Clinical Observations», *Psychoanalytic Quarterly*;
- «Problems of Infancy and Early Childhood», *Cyclopaedia of Medicine, Etc.*, Second Revised Edition, Davis and Company;
- *Studies in the Interpretation of Play: I. Clinical Observation of Play Disruption in Young Children*, Genetic Psychology Monographs;
- «Observations on Sioux Education», *Journal of Psychology*;
- «Hitler's Imagery and German Youth», *Psychiatry*;
- *Observations on the Yurok: Childhood and World Image*, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology;
- «Childhood and Tradition in Two American Tribes», in *The Psychoanalytic Study of the Child*, I, International Universities Press (revised and reprinted in *Personality*, edited by Clyde Kluckhohn and Henry A. Murray, Alfred A. Knopf);
- «Ego Development and Historical Change», in *The Psychoanalytic Study of the Child*, II, International Universities Press.

Эрик Гомбургер Эриксон
Оринда, Калифорния

Детям наших детей

Часть I. Детство и модальности социальной жизни

Глава 1. Релевантность и релятивность в истории болезни

В каждой сфере деятельности есть несколько очень простых, но крайне неудобных вопросов, поскольку непрекращающиеся вокруг них споры ведут лишь к нескончаемым неудачам и с завидным постоянством ставят в глупое положение большинство специалистов. В психопатологии такие вопросы всегда касались локализации и причины невротического нарушения. Имеет ли оно видимое начало? Находится ли его причина в теле или в душе, в индивидууме или в обществе?

На протяжении веков этот вопрос помещался в центре церковных дискуссий о происхождении безумия. Было ли причиной безумия вселение дьявола или острое воспаление мозга? Такое простое

противоположение теперь кажется давно устаревшим. В последние годы мы пришли к выводу, что невроз оказывается психосоматическим, психосоциальным, да еще и *интер*персональным явлением.

Однако дискуссия чаще всего показывает, что эти новые определения представляют собой всего лишь различные комбинации таких самостоятельных понятий, как психика и сома, индивидуум и группа. Сейчас мы говорим «и» вместо исключающего «или», но сохраняем, по крайней мере, семантическое допущение, что душа есть «вещь», отделимая от тела, а общество - «вещь» вне индивидуума.

Психопатология - это порождение медицины, которое имело своим знаменитым источником поиск местонахождения и причинной обусловленности болезни. Наше ученое сообщество предано этому поиску, который и в тех, кто страдает, и в тех, кто лечит, вселяет магическую уверенность, происходящую от научной традиции и престижа. Такой подход убеждает считать невроз болезнью, так как невроз якобы причиняет боль. Действительно, невроз часто сопровождается очерченным (поддающимся локализации) телесным страданием, а мы располагаем четко определенными подходами к болезням, как на индивидном, так и на эпидемиологическом уровне. И эти подходы привели к резкому снижению одних заболеваний и сокращению смертности от других.

Однако происходит что-то странное. Когда мы пытаемся думать о неврозах как о болезнях, то постепенно приходим к пересмотру проблемы болезни в целом. Вместо приближения к более точному определению невроза мы обнаруживаем, что некоторые широко распространенные симптомы, такие как боли в сердце и желудке, приобретают новое значение, когда их считают невротическими симптомами или, по крайней мере, симптомами центральных, а не периферических нарушений в изолированных органах.

Здесь новейшее значение термина *«клинический подход»* оказывается на удивление сходным с его древнейшим значением. В далеком прошлом «клинической» называлась функция священника у постели больного, когда, казалось, силы покидают измученное тело и душа нуждается в подготовке к уединенной встрече с ее Создателем. В средневековой истории действительно было время, когда врач был обязан позвать священника, если оказывалось, что сам он не в состоянии вылечить пациента в отведенные сроки. Предполагалось, что в таких случаях болезнь относится к разряду недугов, которые сегодня мы могли бы назвать духовно-телесными. Слово «клинический» давным-давно сбросило свой клерикальный наряд. Но оно вновь приобретает некоторые оттенки старого значения, ибо мы узнаем, что у невротика (независимо от того, где, как и почему у него болит) поражается самая сердцевина, ядро, и неважно, как вы называете такое организованное или организующее ядро. Возможно, невротик и не остается один на один перед предельным одиночеством смерти, но он испытывает приводящее в оцепенение одиночество, изоляцию и дезорганизацию субъективного опыта, то есть то, что мы называем невротической тревогой.

Как бы ни хотелось психотерапевту воспользоваться биологическими и физическими аналогиями, он имеет дело прежде всего с *человеческой тревогой*. И о ней он может сказать очень мало, почти ничего. Поэтому, возможно, еще не начав распространяться о более широких претензиях, он открыто заявит, какую позицию занимает в своем клиническом учении.

И поэтому книга начинается с клинического примера - внезапного начала сильного соматического расстройства у ребенка. Мы не пытаемся выделить и удержать в фокусе нашего прожектора какой-то один аспект или механизм этого случая; скорее мы умышленно играем лучом, наугад направляя его на многие связанные с данным случаем факторы, чтобы посмотреть, способны ли мы очертить зону подобного расстройства.

1. Сэм: неврологический кризис у маленького мальчика

Это произошло в одном из городков северной Калифорнии. Ранним утром мать трехлетнего мальчика проснулась от странных звуков, доносившихся из его комнаты. Она поспешила к кроватке малыша и увидела, что с ним случился страшный припадок. Ей он показался точь-в-точь похожим на сердечный приступ, от которого пятью днями раньше умерла бабушка мальчика. Мать вызвала врача и тот сказал, что у Сэма был эпилептический припадок. Врач дал мальчику успокоительное и отвез в больницу, находившуюся в более крупном городе штата. Врачи больницы не согласились подтвердить или опровергнуть диагноз вследствие малого возраста пациента и его состояния, вызванного действием лекарств. Через несколько дней мальчика выписали: он казался совершенно здоровым, да и все его неврологические рефлексы были в норме.

Однако месяц спустя Сэм нашел на заднем дворе дохлого крота и пришел в нездоровое

возбуждение. Мать пыталась ответить на его весьма проницательные вопросы, продиктованные настойчивым стремлением узнать, находится ли смерть повсюду. Сэм неохотно отправился спать, заявив матери, что и она, видно, ничего об этом не знает. Ночью он кричал, у него началась рвота и судорожные подергивания глаз и рта. На этот раз врач приехал достаточно быстро, чтобы самому наблюдать симптомы, которые достигли кульминации в сильных судорогах всей правой половины тела ребенка. Теперь и в больнице подтвердили диагноз: эпилепсия, вызванная, вероятно, повреждением в левом полушарии головного мозга.

Когда через два месяца случился третий припадок после того, как мальчик случайно раздавил зажатую в кулаке бабочку, больничные врачи внесли поправку в свой диагноз: «провоцирующий фактор - психический стимул». Другими словами, вследствие церебральной патологии этот мальчик имел, вероятно, низкий порог компульсивной вспышки; но именно психический стимул (идея смерти) стремительно перебрасывал его через этот порог. В остальном, ни течение родов, ни история младенчества, ни неврологическое состояние ребенка между приступами болезни не указывали на какую-то определенную патологию. Общее состояние здоровья малыша было превосходным, питание - хорошим, а ЭЭГ в данное время свидетельствовала лишь о том, что эпилепсия «не могла быть полностью исключена».

Что же это за «психический стимул»? Он явно был связан со смертью: мертвый крот, мертвая бабочка... И тут нам на память приходит замечание матери Сэма, что во время первого припадка мальчик выглядел совсем как его умирающая бабушка.

Вот как развивались события, связанные со смертью бабушки Сэма.

За несколько месяцев до случившегося с ребенком несчастья мать его отца впервые приехала навестить эту семью на новом месте их жительства в X. Дом наполняло какое-то скрытое возбуждение, которое нарушало душевное равновесие хозяйки больше, чем она тогда сознавала. Для нее визит свекрови имел дополнительное значение «экзамена»: хорошо ли она справлялась с обязанностями хозяйки дома, так ли обращалась с мужем и ребенком? Была еще и тревога по поводу больного сердца бабушки. Мальчика, в то время получавшего удовольствие от своеобразной игры - дразнить взрослых, поступая наперекор их требованиям, предупредили, что у бабушки слабое сердце. Он пообещал ее жалеть, и поначалу все шло хорошо. Все же мать редко оставляла бабушку с внуком наедине, особенно с тех пор, как ей показалось, что для энергичного малыша слишком тяжело навязанное ему дополнительное ограничение. По мнению матери, он терял свой цветущий вид и становился все более напряженным. Однажды, когда она ускользнула на время из дома, оставив сына под присмотром свекрови, то вернувшись, застала старую женщину лежащей на полу с признаками сердечного приступа. Как позже рассказала бабушка, Сэм влез на кресло и упал. Были основания подозревать, что он дразнил бабушку и умышленно сделал что-то такое, против чего она возражала. Бабушка проболела несколько месяцев, но поправиться ей так и не удалось - она умерла за пять дней до первого припадка у внука.

Вывод очевиден: так называемый «психический стимул» в этом случае был связан со смертью бабушки мальчика. И действительно, мать теперь вспомнила то, что раньше ей казалось не имеющим отношения к болезни Сэма, а именно: в тот вечер перед приступом, укладываясь спать, он сложил подушки горкой (как делала его бабушка, чтобы предотвратить застой крови) и заснул почти в сидячем положении (так же как спала бабушка).

Довольно странно, но мать настаивала на том, что мальчик не знал о смерти бабушки. На утро после того, как это случилось, она сказала Сэму, что бабушка отправилась в долгое путешествие на север, в Сиэтл. Он заплакал и спросил: «Почему она не попрощалась со мной?» Ему объяснили: у нее не было времени. Потом, когда из дома выносили таинственный большой ящик, мать сказала Сэму, что в нем лежат бабушкины книги. Но он никогда не видел, чтобы бабушка приносила или пользовалась таким количеством книг, и уж совсем не мог понять причины всех слез, пролитых поспешно собравшимися родственниками над ящиком с... книгами. Конечно, я сомневаюсь, чтобы мальчик в самом деле поверил в эту историю; и действительно, некоторые замечания маленького «дразнилки» приводили мать в замешательство. Однажды, когда она хотела, чтобы Сэм что-то нашел, а ему явно не хотелось этого делать, он насмешливо сказал: «Оно отправилось в до-о-лгое путешествие, до самого Си-и-этла». В игровой группе, куда Сэм был включен согласно плану лечения, этот обычно резвый мальчик мог в мечтательной сосредоточенности сооружать из кубиков бесконечные варианты продолговатых ящиков, отверстия которых он тщательно баррикадировал. Его вопросы время от времени оправдывали подозрение, что он экспериментировал с определенной идеей: каково быть запертым в продолговатом ящике. Однако Сэм отказался слушать запоздалое признание матери (теперь

уже почти умолявшей ее выслушать) в том, что бабушка на самом деле умерла. «Ты все врешь, - сказал он. - Она в Сиэтле. Я скоро ее снова увижу».

Из того немногого, что сказано о мальчике до сих пор, должно быть ясно: он был весьма своевольным, резвым и не по годам смышленым малым, которого не легко провести. Честолюбивые родители вынашивали большие планы в отношении единственного сына: с его головой он мог бы легко поступить в колледж, а там, глядишь, и на медицинский или юридический факультет. Они поощряли у него совершенно свободное выражение рано развившегося интеллекта и любознательности. Сэм всегда был упрямым и с первых дней напрочь отказывался признавать слова «нет» или «может быть» за ответ. Как только ему удавалось дотянуться до кого-нибудь, он наносил удар; стремление толкнуть или ударить другого не считалось нездоровым в окрУге, где Сэм родился и рос, - в окрУге со смешанным населением, где у мальчика с раннего возраста, должно быть, складывалось впечатление, что хорошо бы научиться бить первым, на всякий случай. Однако теперь семья Сэма, единственная еврейская семья, жила в небольшом, но зажиточном городке. Родителям пришлось приказать мальчику не бить детей, не задавать дамам слишком много вопросов и ради всего святого (впрочем, и ради процветания бизнеса) обращаться с *неевреями* вежливо. В прежней среде Сэма предлагавшийся мальчику идеальный образ состоял из двух частей: образа крутого парня (на улице) и образа смышленого мальчугана (дома). Сейчас ему предстояло стать тем, про кого нееврей из среднего класса сказали бы: «милый мальчик, даром что еврей». И Сэм справился с этим нелегким «шпионским» заданием, приспособив свою агрессивность к требованиям новой среды. Так он стал остроумным маленьким задирой.

Здесь-то «психический стимул» и достигает своей величины. Во-первых, Сэм всегда был раздражительным и агрессивным ребенком. Попытки других обуздать его нрав только злили малыша; собственные же усилия сдержать себя приводили к нестерпимому напряжению. Мы могли бы назвать это его *конституциональной интолерантностью*, причем «конституциональной» лишь в том смысле, что мы не способны найти ее источник в чем-то более раннем: мальчик всегда вел себя именно так. Хотя я должен добавить, что он никогда долго не сердился и был нежным, любящим сыном, неудержимым в выражении любви тоже. То есть Сэм обладал чертами характера, которые помогли ему усвоить роль добродушного озорника. Но накануне приезда бабушки что-то лишило его веселого расположения духа. Как теперь выяснилось, он сильно, до крови, ударил ребенка и ему грозил остракизм. Сэм, полный энергии экстраверт, был вынужден сидеть дома с бабушкой, которую еще и не позволяли дразнить.

Была ли агрессивность Сэма частью эпилептической конституции? Я не знаю. Его энергия была лишена каких-либо признаков лихорадочности или болезненного беспокойства. Правда, его первые три больших припадка имели связь с идеей смерти, а два более поздних - с отъездом первого и второго лечащих врачей. Верно и то, что гораздо более частые мелкие припадки (с такими типичными составляющими, как остановившийся взгляд, затруднение глотания и кратковременная потеря сознания), после которых он обычно приходил в себя, тревожно спрашивая «Что случилось?», много раз происходили сразу за его неожиданными агрессивными действиями или словами. Сэм мог бросить камень в незнакомого человека, либо сказать: «Бог - вонючка», «Весь мир забит вонючками» или (матери) «Ты - мачеха». Были ли это вспышки примитивной агрессии, вину за которые ему приходилось затем искупать в припадке? Или это были отчаянные попытки разрядить насильственным действием предчувствие надвигающегося припадка?

Все рассказанное выше - мои впечатления, которые сложились от знакомства с медицинской историей болезни Сэма и бесед с его матерью в то время, когда я непосредственно занялся лечением мальчика спустя два года после начала заболевания. Скоро я стал свидетелем одного из его малых припадков. Мы играли в домино, и чтобы определить порог терпимости моего пациента, я непрерывно выигрывал у него, что было отнюдь не легко. Сэм сильно побледнел и как-то сник. Внезапно он встал, схватил резиновую куклу и сильно ударил ею меня по лицу. Его взгляд бессмысленно застыл, он начал давиться, как будто его рвало, и на мгновение потерял сознание. Придя в себя, Сэм хрипло, но настойчиво произнес: «Продолжим» - и собрал кости домино, разлетевшиеся по сторонам. Детям свойственно выражать в пространственных конфигурациях то, что они не могут или не осмеливаются сказать. Когда Сэм поспешно приводил в порядок свой набор костей домино, он построил удлиненную прямоугольную конфигурацию - миниатюрную копию больших ящиков, которые ему так нравилось сооружать до этого в детском саду. Все кости домино были обращены лицевой стороной внутрь. Теперь уже полностью придя в себя, он обнаружил, *что* построил, и едва заметно улыбнулся.

Я почувствовал, что мальчик готов услышать то, о чем, как мне казалось, я догадался, и сказал:

«Если бы ты захотел видеть точки на своих костях домино, тебе пришлось бы находиться внутри

того маленького ящика, как покойнику в гробу».

«Да», — прошептал он.

«А это значит, что ты боишься, как бы тебе не пришлось умереть, поскольку ты ударил меня».

«А я должен умереть?» - спросил он, затаив дыхание.

«Конечно, нет. Но когда выносили гроб с твоей бабушкой, ты, видно, подумал, что она умерла из-за тебя и поэтому должен умереть сам. Вот почему ты строил эти большие ящики в детском саду, да и этот маленький сегодня. И всякий раз, когда с тобой случался припадок, ты, должно быть, думал, что приходит смерть».

«Да», - согласился Сэм немного растерянно, поскольку никогда раньше не признавался мне, что видел гроб бабушки и знал о ее смерти.

Кто-то, возможно, подумает, что теперь мы располагаем объяснением существа болезни мальчика. Между тем, работая параллельно с матерью Сэма, я узнал и о ее роли в этой истории, составившей существенную часть полного объяснения болезни. Ибо каким бы труднопостижимым «психическим стимулом» жизнь ни «наградила» маленького ребенка, такой стимул, без сомнения, идентичен главному невротическому конфликту его матери. Действительно, мать нашего пациента вспомнила (на фоне сильного эмоционального сопротивления) один случай, когда в разгар лихорадочных приготовлений к приезду свекрови, Сэм бросил ей в лицо куклу. Сделал ли он это «умышленно» или нет, но прицелился точно; в результате у мамы стал шататься один из передних зубов. Передний зуб - драгоценное имущество во многих отношениях. И мать ударила Сэма, с большей яростью и силой, чем когда-либо раньше это делала. Она не взыскивала зуб за зуб, но обнаружила такую ярость, о возможности которой с ее стороны они оба - мать и сын - не могли предположить.

Или мальчик еще раньше знал, на что способна мать? Это - решающий вопрос. Ибо и так низкая, вследствие агрессивности, толерантность этого ребенка была, я полагаю, еще больше снижена суммарным дополнительным значением насилия в его семье. Над и вне индивидуального конфликта вся среда этих детей прежних беженцев от погромов и из гетто была пропитана проблемой особой судьбы еврея перед лицом гнева и насилия. Все началось столь знаменательно, с Бога - могущественного, гневного, мстительного, но и ужасно беспокойного, который завещал эти свои качества всем последующим патриархам от Моисея до дедушки и бабушки Сэма. И все закончилось не имеющей даже шипов или колючек беспомощностью избранного, но рассеянного повсюду еврейского народа перед окружающим миром всегда готовых к насилию «язычников». Эта семья бросила вызов еврейской судьбе, изолировав себя в «языческом» городе; но ее члены несли свою судьбу с собой, как внутреннюю реальность, среди неевреев, которые, впрочем, не отказывали им в новой, хотя и несколько шаткой безопасности.

Здесь важно добавить, что наш пациент оказался втянутым в этот конфликт родителей с их предками и соседями в худший из возможных для него периодов времени, ибо проходил в своем развитии стадию, характеризуемую возрастной интолерантностью к ограничениям. Я говорю о том быстром приросте локомоторной энергии, пытливости ума и детской жестокости садистического свойства, который обычно наблюдается в возрасте 3-4 лет, проявляясь сообразно различиям в обычаях и темпераментах. Без сомнения, наш пациент был не по годам развит как в этих, так и в других отношениях. На данной же стадии развития любой ребенок склонен демонстрировать возросшую нетерпимость к попыткам ограничить свободу его передвижения и возможность постоянно задавать вопросы. Резкий рост инициативы в поступках и фантазиях делает проходящего эту стадию ребенка особенно уязвимым в отношении принципа талиона, - и вот он уже неутешительно близок к расплате по правилу «око за око, зуб за зуб». В таком возрасте маленькому мальчику нравится притворяться великаном, ибо он боится великанов, поскольку отлично знает, что его ноги слишком малы для башмаков, которые он носит в своих фантазиях. Кроме этого, раннее развитие всегда предполагает относительную изоляцию и беспокойную неуравновешенность. Значит, толерантность Сэма к тревогам и заботам родителей была особенно низкой в то время, когда приезд бабушки добавил латентные родовые конфликты к социальным и экономическим проблемам дня.

В таком случае, это - наш первый «экземпляр» человеческого кризиса. Но прежде чем продолжить его анализ, позвольте сказать несколько слов о терапевтической процедуре. Была предпринята попытка согласовать во времени педиатрическую и психоаналитическую работу. Дозы успокоительного постепенно снижались по мере того, как психоаналитическое наблюдение стало различать, а инсайт - укреплять слабые места в эмоциональном пороге ребенка. Специфические для этих слабых зон стимулы обсуждались не только с ребенком, но и с родителями, чтобы они тоже могли критически оценить (каждый в отдельности) свою роль в заболевании сына и достичь определенного

проникновения в существо проблемы еще до того, как не по годам развитый сын мог бы догнать родителей в понимании им себя и их самих.

Как-то днем, вскоре после того случая, когда я заработал удар в лицо, наш маленький пациент натолкнулся на мать, которая отдыхала, лежа на кушетке. Он положил ей руку на грудную клетку и сказал: «Только очень плохому мальчику хотелось бы вспрыгнуть на маму и встать на нее ногами. Ведь только очень плохому мальчику захотелось бы это сделать, да мама?» Мать рассмеялась и ответила: «Спорю, что тебе хотелось бы этого сейчас. Я думаю, и хорошему мальчику могло бы прийти в голову, что ему хочется сделать такое, но он бы знал, что на самом деле не хочет этого делать». Неизвестно, произнесла ли она именно эту фразу или нечто похожее; подобный разговор трудно воспроизвести точно и формулировки здесь не столь уж важны. Принимается в расчет их дух и определенный подтекст, а именно: есть два различных способа чего-то хотеть, которые можно разделить посредством самонаблюдения и сообщить другим. «Да, - согласился Сэм, - но я этого не сделаю». И добавил: «Мистер Э. всегда спрашивает меня, почему я бросаюсь вещами. Он все отбирает». Мгновение спустя: «Мама, сегодня вечером не будет никакой сцены».

Таким образом, мальчик научился делиться результатами самонаблюдения с матерью - тем самым человеком, против которого, вероятно, были направлены его приступы сильного гнева - и, следовательно, превращать ее в союзника своего инсайта. Было крайне важно положить этому начало, ибо такой опыт давал мальчику возможность предупреждать мать и предостерегаться самому всякий раз, когда он чувствовал приближение особой, ни на что не похожей космической ярости, или ощущал (часто очень слабые) соматические симптомы приближающегося припадка. Мать немедленно связывалась с лечащим ребенка врачом, располагавшим полной информацией и тесно сотрудничавшим с семьей. А он, в свою очередь, прописывал определенные профилактические меры. Таким способом малые припадки удалось свести к редким и скоротечным случаям, с которыми мальчик постепенно научился обращаться при минимуме смятения. Больше припадки не повторялись.

Здесь читатель может справедливо возразить, что подобные припадки у маленького ребенка могли прекратиться сами собой, во всяком случае без таких сложных процедур. Вполне возможно. Впрочем, речь и не идет о притязании вылечивать эпилепсию психоанализом. Мы претендуем на меньшее, хотя стремимся, в определенном смысле, к большему.

Мы исследовали «психический стимул», который в особый период жизненного цикла родителей помог выявить скрытую потенциальность эпилептических припадков. Наша форма исследования увеличивает знание, так как служит источником инсайта у пациента; а инсайт исправляет последнего, поскольку становится частью его жизни. Независимо от возраста пациента мы обращаемся к его способности исследовать себя, понимать и планировать. Поступая так, мы, возможно, совершаем исцеление или ускоряем спонтанное выздоровление; величина вклада не имеет значения, когда принимаешь во внимание ущерб, наносимый сильными неврологическими грозами, периодически повторяющимися и ставшими уже привычными. Но не претендуя на вылечивание эпилепсии, нам хотелось бы в принципе думать, что терапевтическими разысканиями в отрезке истории одного ребенка мы помогаем всей семье признать кризис в ее среде кризисом в истории данной семьи. Ибо психосоматический кризис - это эмоциональный кризис в той степени, в какой больной человек особым образом реагирует на скрытый кризис у значимых лиц в его окружении.

Конечно, это не имеет ничего общего с возложением или принятием *вины* за нарушение здоровья. В действительности, наоборот, самообвинения матери в том, что она могла повредить мозг ребенка тем самым сильным ударом, составляли значительную часть «психического стимула», поиском которого мы занимались. Поскольку эти самообвинения увеличивали и подкрепляли общую боязнь насилия, служившую отличительным признаком истории данной семьи. В особенности страх матери, что, возможно, именно она причинила вред сыну, был зеркальной копией и поэтому эмоциональным подкреплением действительно господствующего патогенного «психического стимула», найти который от нас требовали врачи Сэма и который мы наконец-то установили. Им оказался страх мальчика, что и мать тоже могла умереть из-за того, что он повредил ей зуб, и из-за его более общих садистических действий и желаний.

Нет, обвинение не помогает. Как только появляется чувство вины, так сразу возникают безрассудные попытки возместить нанесенный ущерб; а такое виноватое возмещение часто заканчивается еще большим ущербом. Большее смирение перед управляющими нами процессами и способность выносить их с большей непритязательностью и честностью — вот что пациент и его семья могли бы, как мы надеемся, извлечь из нашего изучения их истории. Каковы же эти процессы?

Существо интересующего нас заболевания предполагает, чтобы мы начали с процессов,

свойственных организму. Здесь пойдет речь об организме как процессе, а не вещи, ибо мы имеем дело с особенностями гомеостаза живого организма, а не с патологическим материалом, который можно было бы продемонстрировать, сделав вскрытие или приготовив срез для анализа. Наш пациент страдал соматическим нарушением, вид и сила которого предполагают возможность патологического раздражения (анатомического, токсического или иного происхождения) головного мозга. Такое повреждение мозга не было локализовано, однако мы должны спросить себя, каким бременем его наличие легло бы на жизнь этого ребенка? Даже если бы удалось доказать существование подобного повреждения, оно составляло бы лишь потенциальное, хотя и необходимое условие судорожного припадка. Вряд ли его можно считать причиной конвульсий, ибо, мы должны признать, многие живут с подобной церебральной патологией без всяких припадков. Тогда повреждение мозга, вероятно, просто способствует разрядке напряжения (независимо от его источника) в мощных судорожных припадках. В то же время мозговая травма служит непрерывно существующим напоминанием о пункте внутренней угрозы - низкой толерантности к напряжению. Такая внутренняя угроза, можно сказать, снижает порог ребенка относительно внешних воздействий, особенно тех, что кроются в раздражительности и тревогах родителей, защита которых так нужна ему именно вследствие внутренней угрозы. Тогда послужило ли поражение мозга причиной изменения темперамента мальчика в сторону большей нетерпимости и раздражительности, или его раздражительность (разделяемая с другими родственниками по принципу маятника) сделала повреждение мозга более значимым, чем оно могло быть у мальчика иного типа, жившего среди других людей, - это лишь один из многих полезных вопросов, ответа на который нет.

Все, что мы можем сказать, сводится поэтому к следующему. В период кризиса «конституция» Сэма, так же как его темперамент и возрастная стадия развития обладали общностью своих специфических тенденций - все они конвергировали в направлении интолерантности к ограничениям локомоторной свободы и агрессивной экспрессии.

Но в таком случае потребности Сэма в мышечной и психической активности не носили исключительно физиологического характера. Они составляли важную часть развития его личности и поэтому относились к его защитному снаряжению. В опасных ситуациях Сэм прибегал к тому, что мы называем механизмом «контрфобической» защиты: когда он пугался, то нападал, а когда сталкивался с известием, от которого другие предпочли бы уклониться (чтобы лишний раз не расстраиваться), то с тревожной настойчивостью задавал вопросы. Эти способы защиты, в свою очередь, основательно подкреплялись санкциями его раннего социального окружения, где он вызывал наибольшее восхищение, когда бывал предельно груб и ловок.

Тогда при некотором смещении фокуса оказывается, что многое из первоначально занесенного в перечень составных частей его физиологического и психического склада относится ко вторичному процессу организации, который мы назовем *организацией жизненного опыта в эго индивидуума*. Как будет видно из дальнейшего подробного обсуждения, этот центральный процесс охраняет когерентность и индивидуальность опыта тем, что: а) подготавливает индивидуума к ударам, грозящим ему от разрывов непрерывности как в организме, так и в среде; б) дает возможность предвидеть как внутренние, так и внешние опасности, и в) интегрирует его дарования и социальные возможности.

Таким образом, этот процесс обеспечивает конкретному человеку чувство когерентной индивидуации и идентичности, а именно, ощущение, что он является собой, что у него все хорошо и он на пути к тому, чтобы стать таким, каким другие люди, при всей их доброте, требуют от него быть. Наш маленький мальчик явно старался стать смышленым задирой и приставалой, то есть принять роль, которая прежде имела успех перед лицом опасности (в чем он убедился сам), а теперь (как он опять-таки сам обнаружил) провоцировала угрозу. Мы уже показали, как события в окрУге и дома временно обесценили эту роль (хорошо готовившую его к взрослой роли еврейского интеллектуала). Такое обесценивание приводит к нарушениям контрфобической защитной системы: в тех случаях, когда «контрофобик» не может нападать, он чувствует себя открытым для нападения и ожидает, или даже провоцирует его. В случае Сэма «атака» велась из соматического источника.

«Роли», однако, вырастают из третьего принципа организации - социального. Человек всю жизнь, от первого толчка in utero до последнего вздоха, формируется в обладающих географической и исторической когерентностью группировках: семье, классе, общине, нации. Будучи всегда организмом, эго и членом общества, он постоянно включен во все три процесса организации. Его тело подвержено действию боли и напряжения, эго - действию тревоги, а как член общества, он чувствителен к страху, исходящему от группы.

Тут мы подходим к нашим первым клиническим постулатам. То, что не существует тревоги без соматического напряжения, кажется очевидным сразу; но мы также должны усвоить, что не существует

индивидуальной тревоги, которая не отражала бы скрытого беспокойства, общего для непосредственного и расширенного окружения. Индивидуум чувствует себя изолированным и отлученным от источника коллективной силы, когда он, даже в тайне от других, принимает роль, считаемую особенно порочной (будь это роль пьяницы, убийцы, маменькиного сынка, простофили или любая другая роль, какими бы нелитературными словами, используемыми в его окружении для обозначения неполноценности, она не называлась). В случае Сэма смерть бабушки лишь подтвердила то, на что указывали нееврейские дети (или, скорее, их родители), а именно, что он был очень плохим мальчиком. Конечно, за всем этим стояло одно обстоятельство: Сэм был другим, был евреем - проблема, к которой его внимание привлекли не только и даже не столько соседи, сколько родители. Именно родители настойчиво давали ему понять, что маленький еврей должен быть особенно хорошим, чтобы не оказаться особенно плохим. И здесь наше расследование, пожелай мы отдать должное релевантным фактам, пришлось бы повести в направлении, обратном ходу общей истории - просто-напросто проследить судьбу этой семьи от Главной улицы до гетто в глухой российской провинции и всех зверств в истории диаспоры.

Мы ведем речь о трех процессах: соматическом, эго-процессе и социальном. В истории науки эти три процесса были связаны с тремя научными дисциплинами: биологией, психологией и социальными науками. Каждая из них изучала то, что могла изолировать, сосчитать и расчленить: одиночные организмы, отдельные души (minds) и социальные агрегаты. Получаемое таким путем знание - это знание фактов и цифр, местоположения и причин. Оно привело к обоснованию привязки изучаемого объекта к тому или другому процессу. Эта трихотомия господствует в нашем мышлении, ибо только благодаря изобретательным методологиям данных дисциплин мы вообще что-то знаем. Однако, к сожалению, подобное знание ограничено условиями его получения: организм подвергается вивисекции или вскрытию, душа - эксперименту или допросу, а социальные агрегаты раскладываются по статистическим таблицам. Во всех этих случаях научная дисциплина наносит ущерб предмету наблюдения, активно расчленяя его целостное состояние жизни для того, чтобы сделать изолированную часть податливой к применению некоторого набора инструментов или понятий.

Наша клиническая проблема и наше пристрастие - иного порядка. Мы изучаем индивидуальные человеческие кризисы, вовлекаясь в них как терапевты. При этом мы обнаруживаем, что упомянутые выше три процесса представляют собой три стороны человеческой жизни. Тогда соматическое напряжение, тревога индивидуума и паническое настроение группы - это три разных образа, в которых человеческая тревога являет себя различным методам исследования. Клиническая подготовка должна включать в себя все три метода - идеал, к которому ощупью приходят исследования в этой книге. Когда мы критически рассматриваем каждый релевантный пункт в определенной истории болезни, то не в силах отделаться от убеждения, что значение пункта, который можно «локализовать» в одном из трех процессов, соопределяется его значением в двух оставшихся. Пункт в одном процессе приобретает релевантность посредством придания значимости пунктам в других процессах и, в свою очередь, через получение значимости от них. Постепенно, я надеюсь, мы сможем найти более подходящие слова для описания *такой релятивности в человеческом существовании*.

«Причину» катастрофы, описанной в нашем первом примере кризиса, нам не дано узнать. Вместо нее мы обнаруживаем конвергенцию у всех трех процессов специфической интолерантности, что делает эту катастрофу ретроспективно понятной и вероятной. Ее правдоподобие, установленное таким образом, не позволяет вернуться назад и устранить причины; оно лишь дает нам возможность предполагать некий континуум, на котором эта катастрофа отметила событие, отбрасывающее сейчас свою тень назад, на те самые пункты - факторы, которые, по-видимому, и вызвали его. Катастрофа произошла, и мы должны теперь ввести себя в качестве исцеляющего фактора в посткатастрофическую ситуацию. Мы никогда не узнаем, какой была эта жизнь до ее нарушения и какой — после нее, но до нашего вмешательства. Таковы условия, в которых нам приходится проводить терапевтическое исследование.

Для сравнения и подтверждения наших выводов рассмотрим другой кризис, на этот раз у взрослого. И опять налицо соматический симптом: сильные хронические головные боли, обязанные своим появлением одной из крайностей взрослой социальной жизни - военному сражению.

2. Боевой кризис у морского пехотинца

Молодой человек тридцати с небольшим лет (по гражданской профессии учитель) был уволен в отставку из вооруженных сил как получивший «психоневротическую травму». Симптомы, прежде всего

лишающая трудоспособности головная боль, преследовали его и в первой мирной работе. В клинике для ветеранов войны ему предложили рассказать, как это началось. Вот что он сообщил.

Группа морских пехотинцев только что высадилась на берег у самой воды, в зоне досягаемости огня передовых отрядов противника, ничего не различая в ночной тьме тихоокеанского берегового плацдарма. Еще до службы в армии эти ребята входили в компанию крутых и буйных парней, уверенных в том, что способны «справиться со всем», такими они оставались и сейчас. Они всегда думали, что могли рассчитывать на «начальство»: дескать, их сменят после первой атаки, а уж там пусть простая пехота закрепляется и удерживает захваченные позиции. Находиться в положении «принимающего что-то покорно» было глубоко противно духу морской пехоты. И все же такое случалось в этой войне. А когда случалось, то морские пехотинцы оказывались незащищенными не только от ужасных, летящих ниоткуда пуль снайперов, но и от непривычной смеси отвращения, гнева и страха где-то внизу живота.

Вот и опять им представился такой случай. «Поддержка» морской артиллерии не очень-то поддерживала. Что если и правда «начальство» решило списать их в расход?

Среди этих солдат находился и наш пациент. Возможно, тогда он меньше всего думал о том, что сам когда-нибудь мог стать пациентом. Дело в том, что он был рядовым медицинской службы. Безоружный, согласно конвенции, санитар, видимо, не чувствовал медленно поднимающейся волны ярости и паники среди солдат, как если бы она просто не могла докатиться до него. Почему-то он ощущал себя на своем месте в роли санитара. Досада солдат лишь вызвала у него мысль, что они походили на детей. Ему всегда нравилось работать с детьми и считалось, что он особенно хорош в работе с трудными подростками. Сам-то он не был таким. Фактически, с самого начала войны он потому и выбрал медицинскую службу, что не мог заставить себя носить оружие. И не испытывал никакой ненависти к кому-либо. (По тому, как он теперь говорил о своих благородных мотивах, стало ясно, что этот человек, вероятно, слишком добродетелен, чтобы годиться для военной службы, во всяком случае, в морской пехоте; ибо, как выяснилось, он никогда не пил, не курил и даже не сквернословил!) Сейчас было хорошо видно, что он мог бы справиться и с большим, чем то их отчаянное положение на берегу, мог бы помочь этим ребятам выпутаться из него и оказать помощь, когда их агрессивная миссия закончилась бы. В армии он сблизился со своим непосредственным командиром, похожим на него человеком, к которому питал уважение и даже восхищался им.

Наш санитар никогда не помнил всего, что происходило в течение остатка той ночи. Сохранились лишь отрывочные воспоминания, скорее призрачные, чем реальные. Он утверждает, что медикам приказали разгружать боеприпасы вместо того, чтобы разворачивать полевой госпиталь; что командир медиков почему-то страшно разозлился и грубо ругался; что кто-то сунул ему (санитару) в руки автомат. Больше он ничего не помнит.

Утром наш пациент (ибо теперь он был пациентом) обнаружил, что находится в наспех развернутом, наконец, госпитале. Неожиданно у него развилась тяжелая лихорадка, и весь день он провел в полусне от действия успокоительного. С наступлением сумерек противник атаковал их с воздуха. Все здоровые солдаты искали укрытие или помогали больным и раненым укрываться от налета. Он был лежачим больным: не мог передвигаться самостоятельно и, что еще хуже, не мог помогать другим. Здесь он в первый раз испытал страх, какой многим храбрым мужчинам доводилось испытывать в тот миг, когда они приходили в сознание лежа на спине, не в силах сделать ни малейшего движения.

На следующий день его эвакуировали. В тылу, не под огнем, он чувствовал себя спокойнее, или думал так, пока не стали разносить завтрак. Металлический звук столовой посуды прошил ему голову подобно автоматной очереди. Казалось, совершенно невозможно защититься от этих звуков, которые были настолько непереносимы, что он укрывался с головой одеялом всякий раз, пока другие ели.

С тех пор свирепая головная боль сделала его жизнь несчастной. Когда боль временно уходила, он нервничал, со страхом ожидая вероятных металлических звуков, и приходил в ярость, когда они раздавались. Лихорадка (или то, что ее вызывало) прошла, но головные боли и нервозность вынудили его вернуться в Америку и уволиться в отставку из корпуса морской пехоты.

Здесь мы должны спросить о чем-то на первый взгляд весьма далеком от головной боли, а именно: почему этот человек был таким добропорядочным? Ибо даже теперь, фактически осажденный раздражающими послевоенными обстоятельствами, он, казалось, не способен выразить в словах и излить свое раздражение. К тому же он считал, что именно оскорбительный гнев его командира той ночью, разрушив иллюзии, разбудил в нем тревогу. Почему наш пациент был так добропорядочен и так потрясен проявлением гнева?

Я попросил его постараться преодолеть отвращение к гневу и перечислить то, что раздражало его, пусть даже немного, в течение всего времени, предшествовавшего нашей беседе. Он назвал: звуки звонких поцелуев; высокие голоса, такие как у детей в школе; визг покрышек; воспоминание о стрелковой ячейке, полной муравьев и ящериц; плохую еду на флоте США; последнюю бомбу, которая разорвалась довольно близко; недоверчивых, подозрительных людей; ворующих людей; самодовольных людей, «независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания»; воспоминание о матери. Ассоциации пациента привели от металлических звуков и других военных (в узком смысле слова) воспоминаний к воровству, недоверию и к... матери.

Как выяснилось, он не видел мать с четырнадцати лет. Тогда их семья находилась на грани экономического и морального падения. Он порвал с семьей внезапно, когда мать, в припадке пьяного гнева, навела на него револьвер. Вырвав револьвер, он сломал его и выбросил в окно. А затем ушел из дома навсегда. Добился тайной помощи по-отечески относившегося к нему человека, в действительности, своего патрона. В обмен на покровительство и руководство дал обещание не пить, не ругаться, не позволять себе сексуальной распущенности и... никогда не прикасаться к оружию. Стал хорошим студентом, затем - хорошим учителем и притом исключительно спокойным человеком, по крайней мере внешне. Так было до той ночи на тихоокеанском береговом плацдарме, когда среди нарастающей ярости и паники солдат командир, бывший для нашего санитара отеческой фигурой, разразился грубой бранью, и когда вслед за этим кто-то сунул нашему будущему пациенту в руки автомат.

Существовало множество такого рода военных неврозов. Их жертвы находились в постоянном состоянии потенциальной паники. Они чувствовали себя атакованными, либо ожидающими атаки со стороны внезапных или громких звуков, а также симптомов, вспыхивавших в их телах (сильных сердцебиений, волн лихорадки, головной боли). Однако столь же беззащитными оказывались они и перед лицом собственных эмоций; по-детски искренний гнев и безосновательная тревога провоцировались всем, что было слишком неожиданным или слишком сильным: восприятием и чувством, мыслью и воспоминанием. Значит, у этих людей поражена система скрининга, то есть способность не обращать внимание на множество стимулов, которые мы воспринимаем в каждый определенный момент, но умеем не замечать ради того, на чем сосредоточены. Что еще хуже, эти мужчины не могли глубоко заснуть и видеть здоровые сны. Долгими ночами они застревали между Сциллой раздражающих звуков и Харибдой тревожных сновидений, которые тут же выводили их из наступавшего в конце концов состояния глубокого сна. В дневное время они обнаруживали, что не могут вспомнить некоторых вещей; могли заблудиться в своем районе или заметить вдруг, что в разговоре с другими невольно исказили факты. Иначе говоря, не могли полагаться на те типичные процессы функционирования эго, посредством которых организуются пространство и время и проверяется истинность.

Что же случилось с ними? Были ли это симптомы физически ослабленной, соматически поврежденной нервной системы? В некоторых случаях такое состояние, бесспорно, начиналось с подобных повреждений или, по крайней мере, с кратковременной травматизации. Чаще, однако, чтобы вызвать действительный кризис и придать ему устойчивость, требовалось сочетание нескольких факторов. Только что изложенная история морского пехотинца содержит в себе все эти факторы, а именно: падение боевого духа отряда пехотинцев и постепенное нарастание паники вследствие сомнений в командовании; полная скованность огнем невидимого противника, которому они не могли ответить; стимул «сдаться» больничной койке и, наконец, спешная эвакуация и продолжительный конфликт двух внутренних голосов, один из которых твердил: «Не будь простофилей, дай им доставить тебя домой», тогда как другой возражал: «Не подводи ребят. Раз они могут справиться с этим, то и ты можешь».

Что меня больше всего поражало, так это утрата такими больными чувства идентичности. Они знали, кто они, т. е. обладали личной идентичностью. Но дело обстояло так, как если бы, субъективно, жизнь каждого из них больше не была (и никогда не стала бы снова) связной. У них имело место серьезное нарушение того, что я начал тогда называть идентичностью эго. Здесь достаточно будет сказать, что чувство идентичности обеспечивает способность ощущать себя обладающим непрерывностью и тождественностью, и поступать соответственно. Во многих случаях в истории нервного расстройства в решающий момент происходила безобидная на вид вещь, такая как появление автомата в нежелающих этого руках нашего санитара. В данном случае автомат оказался символом зла, угрожавшего принципам, с помощью которых данный конкретный человек пытался охранять личную целостность (personal integrity) и социальное положение в своей мирной жизни. Кроме того, тревога

часто вспыхивала от внезапной мысли, что сейчас следовало бы быть дома, покрасить крышу или оплатить тот счет, встретиться с этим боссом или позвонить той девушке; и от приводящего в отчаяние чувства, что всего этого, чему следовало бы быть, уже никогда не будет. А это, по-видимому, в свою очередь существенно переплетается с одной стороной американской жизни, которая будет полностью рассмотрена позднее. Имеется в виду, что многие наши молодые мужчины сохраняют жизненные планы и собственную идентичность опытным путем, следуя принципу, подсказанному ранним периодом американской истории. Согласно этому принципу, мужчина должен иметь, сохранять и защищать свободу следующего шага, право сделать выбор и воспользоваться случаем. Разумеется, американцы тоже остепеняются, и каждый занимает свою социальную «нишу» в полном смысле слова.

Но и такая оседлость по убеждению предполагает уверенность в том, что люди могли бы переместиться, если бы захотели, в географическом, социальном или в обоих измерениях сразу. Имеет значение именно свобода выбора и убежденность, что никто не властен тебя ограничивать или помыкать тобой. Поэтому контрастирующие символы - владения, положения, одинаковости и выбора, изменения, вызова - становятся для всех важными. В зависимости от непосредственной обстановки эти символы могут обернуться благом или злом. Для нашего морского пехотинца оружие сделалось символом падения его семьи и представляло все те скверные, совершаемые в гневе поступки, которых он решил себе *не позволять*. Таким образом, снова три одновременных процесса, вместо того чтобы поддерживать друг друга, по-видимому, взаимоусугубили присущие им опасности.

(1) *Группа.* Эти солдаты как группа с определенной идентичностью в вооруженных силах США испытывали необходимость успешно овладеть положением. Вместо этого недоверие командованию вызвало панический ропот. Наш санитар сопротивлялся панике, на которую вряд ли мог не обратить внимания, благодаря защитной позиции столь часто занимаемой им в жизни - позиции спокойного и терпимого руководителя детей.

(2) *Организм* нашего пациента боролся за сохранение гомеостаза под воздействием подпороговой паники и проявлений острой инфекции, но был внезапно выведен из строя сильной лихорадкой. Вопреки этому морской пехотинец держался из последних сил благодаря «убеждению», что мог «справиться со всем».

(3) *Эго пациента.* Под тяжким бременем групповой паники и нарастающей лихорадки, которым санитар вначале не собирался уступать, его душевное равновесие было нарушено из-за утраты внешней поддержки внутреннего идеала; те самые командиры, которым он доверял, приказали ему (или он так думал) нарушить символическую клятву, служившую весьма ненадежной основой самоуважения. Несомненно, случившееся открыло шлюзы инфантильным побуждениям, которые он так строго удерживал в состоянии напряженного ожидания. Ибо при всей его стойкости только часть личности этого человека была подлинно зрелой, тогда как другая часть поддерживалась рухнувшими теперь подпорками. В таких условиях он не мог вынести бездеятельности под бомбежкой, и что-то в нем слишком легко уступило предложению эвакуироваться. В этот момент ситуация изменилась, поскольку появились новые осложнения. Будучи эвакуированными солдаты чувствовали себя как бы бессознательно обязанными продолжать страдать, причем телесно, чтобы оправдать собственную эвакуацию, не говоря уже о последующем увольнении в отставку, которую часть из них никогда не могла бы себе простить под предлогом «какого-то там невроза».

После первой мировой войны резко возросло значение невроза компенсации, то есть невроза, бессознательно затягиваемого с целью обеспечить непрерывную финансовую помощь. Опыт второй мировой войны потребовал понимания того, что можно было бы назвать неврозом *сверхкомпенсации*, то есть бессознательным желанием продолжать страдать, чтобы психологически с избытком компенсировать свою слабость, вынудившую подвести других; ибо многие из тех, кто стремился уйти от действительности, были более преданными людьми, чем сами о том подозревали. Наш совестливый санитар тоже неоднократно испытывал, как его голову «прошивала» мучительная боль всякий раз, когда он выглядел определенно лучше, или, точнее, когда он сознавал, что какое-то время чувствовал себя хорошо, не обращая на это внимания.

Мы с достаточной уверенностью могли бы сказать: морской пехотинец не подорвал бы здоровье таким специфическим образом, если бы за этим не стояли известные обстоятельства войны и боя; так же, как большинство докторов не сомневалось бы в том, что у маленького Сэма не могло быть судорожных припадков такой тяжести без «соматической податливости». Однако в обоих случаях главной психологической и терапевтической задачей остается понять, как эти комбинированные обстоятельства ослабили центральную защиту и какое специфическое значение репрезентирует наступившее в результате расстройство.

Признаваемые нами комбинированные обстоятельства есть совокупность симультанных изменений в организме (изнурение и лихорадка), эго (нарушение идентичности эго) и окружающей среде (групповая паника). Такие изменения усугубляют друг друга, когда травматическая внезапность в одном ряду изменений выставляет невыполнимые требования уравновешивающей силе двух других, или когда конвергенция главных тем придает всем изменениям выраженную общую специфичность. Мы наблюдаем подобную конвергенцию в истории болезни Сэма, где проблема враждебности поднялась до критической отметки одновременно в его окружении, стадии созревания, соматическом состоянии и защитных механизмах эго. И болезнь Сэма, и болезнь морского пехотинца продемонстрировали еще одну опасную тенденцию, а именно, повсеместность изменений - состояния, встречающегося в тех случаях, когда слишком многим опорам грозит опасность во всех трех сферах одновременно.

Мы показали два человеческих кризиса, чтобы проиллюстрировать в общем и целом клиническую точку зрения. Обсуждение связанных с ними закономерностей и механизмов займет бОльшую часть этой книги. Представленные выше истории болезни нельзя назвать типичными; в повседневной работе клинициста очень мало заболеваний демонстрируют столь драматические и ясно очерченные «истоки». Но даже эти «истоки» фактически не обозначали начало расстройства наших пациентов. Они обозначали только важные моменты концентрированного и репрезентативного случая. Однако мы не слишком отступили от клинической, да и исторической традиции, когда в целях демонстрации выбрали истории болезни, которые ярко высвечивают принципы, управляющие ходом событий в рядовых случаях.

Эти принципы можно выразить в дидактической формулировке. Релевантность данного пункта в истории болезни (фактора в заболевании) производна от релевантности других пунктов (факторов), которым он придает релевантность и из которых, благодаря этому вкладу, черпает дополнительное значение. Чтобы понять конкретный случай психопатологии, вы принимаетесь изучать любое множество наблюдаемых изменений, кажущихся самыми податливыми либо потому, что они имеют влияние на обнаруженный симптом, либо потому, что вы уже усвоили методологический подход именно к этому определенному набору факторов, - будь они соматическими изменениями, трансформациями личности или сопряженными социальными сдвигами. Откуда бы вы ни начали, вам придется еще дважды начинать заново. Если начнете с организма, то будет необходимо узнать, какое значение изменения в организме имеют в других процессах и насколько отягчающим это значение (в разных процессах) оказывается для стремления организма к восстановлению. Чтобы действительно разобраться в этом, нужно будет, не опасаясь излишнего дублирования, заново ознакомиться с имеющимися данными и начать, скажем, с отклонений в процессе эго, соотнося каждый пункт со стадией развития и состоянием организма, а также с историей социальных связей пациента. Это, в свою очередь, неизбежно влечет за собой третью форму реконструкции, а именно, реконструкцию истории семьи пациента и тех перемен в социальной жизни, которые, с одной стороны, получают значение в результате соматических изменений и развития эго, а с другой - придают значение двум последним процессам. Иначе говоря, когда невозможно достичь простой упорядоченной последовательности и причинной цепи с четко локализованным и ограниченным началом, лишь «тройная бухгалтерия» (или, если хотите, методичное кружение) постепенно может прояснить релевантность и релятивность всех известных данных. И то, что даже такой путь не всегда заканчивается ясной патогенетической реконструкцией и обоснованным прогнозом, прискорбно не только для эффективности нашего послужного списка, но и для наших терапевтических усилий; ибо мы должны быть подготовлены к тому, чтобы не только понимать, но и влиять на все три процесса одновременно. А это значит, что в нашей лучшей клинической работе (или в лучшие ее моменты) нам не до усердных размышлений над всеми имеющими место соотношениями, и не до точных формулировок, в каких мы, вероятно, могли бы их представить на научной конференции или в медицинском заключении. Мы должны воздействовать на них по мере того, как присоединяемся к ним сами.

Цель этой книги не в том, чтобы показать терапевтическую сторону нашей работы. Только в заключении мы вернемся к проблеме психотерапии как взаимоотношения особого рода. Наша формула клинического мышления была представлена здесь главным образом в качестве логического обоснования организации этой книги.

Остаток I части я использую для обсуждения *биологической* основы психоаналитической теории - составленного Фрейдом графика *развития либидо* - и соотнесения его с тем, что мы теперь знаем об эго и начинаем узнавать об обществе.

Во II части рассматривается социетальная (общественная) дилемма, именно, воспитание детей

американских индейцев в наше время и в родовом прошлом и его значение для культурной адаптации.

Часть III будет посвящена законам *эго* в том виде, как они обнаруживаются в патологии эго и в нормальной детской игре. Мы представим схему ступеней психосоциального роста как результата успешного посредничества эго между стадиями физического развития и социальными институтами.

В свете такого прозрения мы рассмотрим в IV части избранные аспекты окончания детства и вступления во взрослость при варьирующих условиях индустриализации в США, Германии и России. Это обеспечивает историческое обоснование наших научных занятий, ибо сегодня человек должен решать, может ли он позволить себе продолжать эксплуатацию детства как арсенала иррациональных страхов, или же взаимоотношения взрослого и ребенка, подобно другим видам неравенства, могут быть подняты при более разумной организации жизни до позиции партнерства.

Глава 2. Теория инфантильной сексуальности

1. Два клинических эпизода

В качестве введения к критическому обзору теорий Фрейда, рассматривающих детский организм как генератор сексуальной и агрессивной энергии, позвольте мне представить наблюдения над двумя детьми, казалось, неожиданным образом зашедшими в тупик в единоборстве с собственным кишечником. Поскольку мы пытаемся понять скрытый социальный смысл выделительного (здесь - анального) и других отверстий тела, необходимо заранее оговорить позицию относительно изучаемых детей и наблюдаемых симптомов. Симптомы кажутся странными, дети же - нет. По вполне физиологическим причинам кишечник находится дальше всего от зоны лица - нашего главного интерперсонального медиатора. Воспитанные взрослые отстраняют от себя кишечник, если он нормально функционирует, как «невхожую в общество» заднюю сторону вещей. Но по этой же причине дисфункция кишечника подходит для смущенного порицания и тайного реагирования. У взрослых эта проблема скрывается за соматическими жалобами; у детей она, похоже, выглядит просто упрямой привычкой.

Энн, девочка четырех лет, входит в кабинет вместе с обеспокоенной матерью, которая то осторожно тянет, то решительно тащит ее за собой. Хотя девочка не сопротивляется и не возражает, она бледна, угрюма и с бессмысленным и отрешенным взглядом энергично сосет большой палец.

Я уже осведомлен о проблеме Энн. По-видимому, малышка теряет свою обычную эластичность: в одном состоянии она ведет себя подобно ребенку меньшего возраста, в другом - излишне, не по-детски серьезно. Когда она дает выход избытку энергии, то реакция носит эксплозивный характер и скоро заканчивается глупостью. Но более всего Энн досаждает тем, что имеет обыкновение задерживать стул, когда ее сажают на горшок, а затем упорно опорожнять кишечник ночью в постель, а точнее, ранним утром, прежде чем сонная мать в состоянии застать ее. Выговоры сносятся молча, в задумчивости, за которой таится очевидное отчаяние. Это отчаяние, по-видимому, было недавно усилено несчастным случаем: девочку сбила машина. К счастью, телесные повреждения сказались только внешними, но Энн еще больше удалилась от пределов досягаемости родительских средств связи и власти.

Однажды в приемной она отпустила руку матери и сама вошла в мой кабинет с машинальной покорностью лишенного последней воли узника. Пройдя в игровую комнату, девочка останавливается в углу и напряженно сосет большой палец, почти не обращая на меня внимания.

В главе 6 я буду подробно рассматривать динамику такой встречи ребенка с психотерапевтом и покажу конкретно, что, по-моему, происходит в душе ребенка, и что происходит со мной в течение этих первых мгновений составления мнений друг о друге. Затем я обсужу роль наблюдения за игрой в нашей работе. Здесь же я просто стремлюсь зарегистрировать клинический «образец» как плацдарм для теоретического обсуждения.

В данном случае ребенок ясно показывает, что мне у него ничего не выведать. Однако к растущему удивлению и облегчению Энн, я не задаю ей никаких вопросов. Даже не говорю, что я ее друг и что ей следует доверять мне. Вместо этого я начинаю строить на полу простой дом из кубиков. Вот гостиная, кухня, спальня с маленькой девочкой в кровати и женщиной, стоящей рядом; ванная комната с открытой дверью и гараж с мужчиной, стоящим около машины. Этот монтаж намекает, конечно, на обычные утренние часы, когда мать пытается собрать маленькую девочку «вовремя», когда отец уже готов ехать.

Наша пациентка, все больше и больше увлекаясь этим бессловесным изложением проблемы, неожиданно вступает в игру. Она вынимает палец изо рта, чтобы ничто не мешало ее широкой и зубастой ухмылке. Лицо Энн вспыхивает от возбуждения. Девочка быстро подходит к игрушечной сцене, мощным пинком избавляется от куклы-женщины, шумно захлопывает дверь ванной и спешит к полке с игрушками, чтобы взять три блестящих машинки и поставить их в гараж около мужчины. Энн ответила на мой «вопрос»: ей очень не хочется, чтобы игрушечная девочка отдавала матери даже то, что и так принадлежит последней, но она страстно желает дать отцу гораздо больше, чем тот мог бы попросить.

Я еще размышлял над силой ее агрессивного буйства, когда Энн неожиданно одолели эмоции совершенно иного круга. Она заливается слезами и хнычет в отчаянии: «Где моя мама?» В панической спешке хватает горсть карандашей с моего стола и выбегает в комнату ожидания. Впихнув карандаши в руку матери, садится рядом с ней. Большой палец возвращается в рот, лицо ребенка становится замкнутым, и я вижу, что игра окончена. Мать хочет вернуть карандаши, но я даю ей понять, что сегодня они мне не понадобятся. Мать и ребенок уходят.

Спустя полчаса звонит телефон. Едва они добрались до дома, а Энн уже спрашивает у матери, можно ли ей повидаться со мной еще раз, сегодня. Завтра, мол, не скоро. Энн с отчаянием просит мать немедленно позвонить мне и договориться о встрече, чтобы она могла вернуть карандаши. Я вынужден заверить девочку по телефону, будто очень ценю ее намерение, но охотно разрешаю подержать карандаши до завтра.

На следующий день в назначенное время Энн сидит с матерью в приемной. В одной руке она держит карандаши (не в силах расстаться с ними!); в другой сжимает какой-то маленький предмет. Идти со мной она явно не собирается. Вдруг становится совершенно ясно, что девочка обмаралась. Когда ее забирают, чтобы обмыть в ванной, карандаши падают на пол, а с ними и тот предмет, который был в другой руке. Он оказывается крошечной собачкой с одной отломанной лапой.

Здесь я должен дать дополнительное разъяснение. В этот период соседская собака играла существенную роль в жизни ребенка. Собака тоже пачкала в доме, но ее за это били, а девочку нет. Собаку также недавно сбила машина, и по этой причине она лишилась лапы. Очевидно, с другом Энн в мире животных происходило во многом то же самое, что и с ней самой, только с более тяжелыми последствиями. Ведь собаке было намного хуже. Ожидала (или, возможно даже, хотела) ли Энн подобного наказания?

Итак, я изложил детали игрового эпизода и детского симптома. Но я не буду здесь подробно разбирать те релятивности и релевантности, которые постепенно подготовили описанную ситуацию; не стану рассказывать и о том, как удалось разрешить тупиковую ситуацию, работая с родителями и ребенком. Понимаю и разделяю сожаления читателей в связи с тем, что мы не можем последовать за ходом терапевтического процесса до фактически полного прекращения этого детского кризиса. Взамен я должен попросить читателей принять эту историю в качестве «образца» и проанализировать ее вместе со мной.

Маленькая девочка стала такой не по собственной воле. Она лишь дала возможность довести себя до подобного состояния, и не кому-нибудь, а матери, против которой, по всем признакам, была направлена ее угрюмая замкнутость. Однажды, у меня в кабинете, моя спокойная игра, видимо, заставила ребенка забыть на какое-то мгновение, что мать находилась за дверью. То, что девочка не сумела бы передать в течение многих часов, она смогла выразить за несколько минут невербальной коммуникации: она «ненавидела» мать и «любила» отца. Однако сделав это, Энн, должно быть, испытала то же, что и Адам, когда он услышал голос Бога: «Адам, где ты?». [Быт. 3:9. См. также экзегетический комментарий к Быт. 3:8-10 в кн.: Новая Толковая Библия. - В 12-ти т. - Т. 1. - Л., 1990. - С. 277. - *Прим. пер.*] Она была поставлена перед необходимостью искупить свой поступок, ибо любила мать тоже, да и нуждалась в ней. Но в страхе компульсивно поступила так, как поступают все амбивалентные люди: пытаясь возместить убытки одному лицу, они «неумышленно» наносят ущерб другому. Поэтому Энн взяла мои карандаши, чтобы ублажить мать, а потом ей потребовалось принуждать мать помочь в возмещении нанесенного мне «ущерба».

На следующий день ее горячее желание успокоить меня парализуется. Думаю, в данном случае я стал искусителем, который побуждает детей, когда они на мгновение утрачивают осторожность, сознаваться в том, о чем никому не следует знать или говорить. У детей часто наблюдается такая реакция после первоначального признания в тайных мыслях. А что если бы я рассказал ее матери? Что если бы мать отказалась привезти ее ко мне еще раз, чтобы Энн могла частично изменить и смягчить свои неосмотрительные действия? Поэтому девочка вообще отказалась действовать и позволила вместо

себя «говорить» своему симптому.

Недержание представляет конфликт сфинктера, то есть «анальную» и «уретральную» проблему. Эту сторону предмета будем называть зональным аспектом, так как она касается зоны тела. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что поведение Энн, даже когда оно не относится к анальному в зональном смысле, обладает характерной особенностью «сфинктерной» проблемы. Так и напрашивается сравнение, что эта девочка целиком, с головы до пят, действует как множественный сфинктер. И в лицевой экспрессии, и в эмоциональной коммуникации большую часть времени Энн закрыта; раскрывается же редко и нерегулярно. Когда мы предлагаем ей игрушечную модель ситуации, с тем, чтобы она могла раскрыться и «скомпрометировать» себя в нереальной ситуации, девочка совершает два действия: захлопывает с явным вызовом дверь ванной комнаты игрушечного дома и с маниакальным ликованием отдает три блестящих машинки кукле-отцу. Все глубже и глубже вовлекаясь в оппозицию простых модальностей «берущего» и «дающего», она сначала дает матери то, что забрала у меня, а затем отчаянно хочет вернуть. Маленькие ручки крепко держат карандаши и игрушку, но вдруг роняют их, так же, как сфинктеры в узком смысле слова внезапно выпускают свое содержимое.

Откуда следует, что маленькая девочка, не способная справиться с тем, как давать, не забирая (возможно, как любить отца, не обкрадывая мать), отступает назад к автоматическому чередованию удерживающих и выделительных актов. Такую смену удерживания и отпускания, отказа и уступки, раскрытия и запирания будем называть аспектом модуса [В оригинале mode (метод, способ; образ действий; форма, вид; мода, обычай). Для перевода мы использовали философский термин «модус», который, на наш взгляд, лучше всего подходит для компактной упаковки развиваемой здесь Эриксоном идеи. С одной стороны, модус - это способ чего-либо, обладающий некоторой степенью нормативности, а с другой - преходящее свойство, присущее объекту лишь в определенных состояниях, в отличие от постоянных свойств (атрибутов). - *Прим. пер.*], в дополнение к зональному аспекту обсуждаемого здесь предмета. Тогда анально-уретральные сфинктеры - это анатомические модели ретентивных и элиминативных модусов [Образованные от лат. retentio (задержка) и eliminare (изгонять) названия этих (и других) модусов мы просто калькируем, чтобы избежать нежелательной привязки модусов к каким-то конкретным органам, например, к анальному сфинктеру. - *Прим. пер.*], характеризующих, в свою очередь, огромное множество видов поведения, которое, в соответствии с широко распространенной ныне клинической традицией (чем и сам грешу), именовалось бы «анальным».

Сходное отношение между зоной и модусом можно наблюдать у этой девочки в движениях, наиболее характерных для стадии младенчества. Она полностью превращается в рот и палец, как если бы молоко утешения текло благодаря соприкосновению частей ее же собственного тела. Согласно бытующей традиции, Энн следовало бы тогда отнести к «оральному» типу. Но раскручиваясь, наподобие пружины, из состояния ухода в себя, маленькая леди способна оживиться, пнуть куклу и с раскрасневшимся лицом, гортанно смеясь, завладеть машинками. В таком случае из ретентивно-элиминативной позиции путь регресии, по-видимому, ведет дальше внутрь (изоляция) и назад (регрессия), тогда как прогрессивный и агрессивный путь ведет наружу и вперед, к инициативе, которая, однако, немедленно вызывает чувство вины. Здесь обозначены пределы той разновидности отягченного кризиса, когда ребенку и семье может потребоваться помощь.

Пути такой регрессии и прогрессии составляют предмет данной главы. Чтобы показать подробнее систематические взаимоотношения между зонами и модусами, я опишу второй эпизод, касающийся маленького мальчика.

Мне сообщили, что Питер задерживал стул сначала на несколько дней, а совсем недавно время задержки увеличилось до недели. Я был вынужден спешить, когда к недельному запасу фекалий Питер присоединил и удерживал содержимое большой клизмы в своем маленьком четырехлетнем теле. Ребенок имел жалкий вид. Когда он думал, что за ним никто не наблюдает, то для поддержки прислонял раздутый живот к стене.

Его лечащий врач пришел к заключению, что этот «подвиг» вряд ли мог быть совершен без энергичной поддержки с эмоциональной стороны; в то же время он подозревал (и его подозрения позднее были подтверждены результатами рентгеноскопии), что у мальчика имелось растяжение ободочной кишки. Хотя тенденция к растяжению ободочной кишки, возможно, внесла в начальной стадии свой вклад в образование симптома, сейчас ребенок несомненно был парализован конфликтом, который он не мог вербализировать. О локальном физиологическом состоянии можно было позаботиться позднее с помощью диеты и моциона. В первую очередь казалось необходимым наладить общение с ребенком, чтобы добиться его сотрудничества.

У меня уже вошло в привычку обедать с семьей в ее доме, прежде чем я решусь взяться за ее

проблему. Моему будущему пациенту я был представлен знакомым его родителей, пожелавшим прийти познакомиться со всей семьей. Маленький мальчик оказался одним из тех детей, что заставляют меня сомневаться в мудрости любой попытки укрыться под маской. «Выдумки замечательны, разве нет?» - деланно сказал он мне, когда мы сели за стол. Тем временем, как его старшие братья с аппетитом и быстро ели, а затем сбежали из-за стола играть в рощу за домом, Питер почти лихорадочно импровизировал в игровой манере на тему, которая, как сейчас станет ясно, выдавала господствующие и вызывающие у него беспокойство фантазии. Типичный амбивалентный аспект «сфинктерной» проблематики состоит в том, что пациенты чуть ли не с одержимостью отказываются от той самой тайны, которую с такими усилиями сохраняют в своем кишечнике. Ниже я перечислю несколько вербальных фантазий Питера вместе с моими безмолвными мыслями, возникшими в ответ на них.

«Я хочу, чтобы у меня был слоненок прямо здесь, в доме. А потом он бы рос-рос и разорвал бы дом». (В этот момент мальчик ест. Его кишечная масса приближается к точке разрыва.)

«Посмотрите на ту пчелу - она хочет добраться до сахара у меня в животе». (Слово «сахар» кажется эвфемистическим, но оно передает мысль, что у Питера есть «нечто» ценное в животе, и что кто-то хочет добраться до этого «нечто».)

«Мне приснился плохой сон. Какие-то обезьяны залезали на дом, слезали и пытались войти ко мне». (Пчелы хотели добраться до сахара у него в животе; теперь обезьяны хотят добраться до мальчика в его же доме. Увеличение объема пищи в желудке мальчика - рост слоненка в доме - пчелы за сахаром в живот мальчика - обезьяны за мальчиком в дом.)

После обеда кофе подали в сад. Питер сел под садовый столик, подтащил к себе стулья, как если бы собирался забаррикадироваться, и сказал: «Теперь я в своем шалаше и пчелам до меня не добраться». (Опять он внутри огороженного пространства и опять подвергается опасности со стороны назойливо стремящихся проникнуть к нему живых существ.)

Потом он вылез из убежища и показал мне свою комнату. Я полюбовался его книгами и попросил: «Покажи мне самую любимую картинку в твоей самой любимой книжке». Без колебаний Питер показал иллюстрацию, изображавшую пряничного человечка, которого вода несла прямо в открытую пасть плывущего волка. И возбужденно сказал: «Волк собирается съесть пряничного человечка, но он не сделает ему больно, потому что (громко) *пряничный человечек не живой*; пища не может чувствовать боль, когда ее ешь!» Я полностью согласился, размышляя над тем, что игровые вербализации Питера сходились на идее, будто все накопленное им в желудке было живым и грозило либо «разорвать» его, либо оказаться поврежденным. Я попросил мальчика показать картинку, которая нравится ему сразу после любимой в любой из других книжек. Он тут же отыскал книгу под названием «The Little Engine That Could» и открыл на странице, где был нарисован пускавший клубы дыма и тащивший за собой в туннель хвост вагонов паровоз; на следующей странице паровоз выезжал из туннеля, но его труба... *не дымила*. «Видите, - сказал Питер, - поезд вошел в туннель и в темном туннеле *умер*». (Что-то живое вошло в темный проход и вышло мертвым. Я больше не сомневался: этот мальчик фантазировал, будто наполнен чем-то драгоценным и живым, и если бы он удерживал это в себе, оно разорвало бы его, а если бы выпустил, оно могло бы выйти поврежденным или мертвым. Другими словами, мальчик был беременным!)

Пациенту требовалось оказать немедленную помощь посредством интерпретации. Я сразу хочу пояснить, что не одобряю полового просвещения, производящего сильное впечатление на неподозревающих об этой сфере детей, до того как с ними будут установлены прочные, доверительные отношения. Однако в данном случае я почувствовал необходимость «хирургического» вмешательства. Вспомнив о любви Питера к слонятам, предложил ему порисовать слонов. После того, как мы приобрели опыт в рисовании всех внешних - основных и дополнительных - частей у слонихи и двух слонят, я спросил, знает ли он, откуда появляются слонята. С напряжением Питер ответил, что не знает, хотя создавалось впечатление, будто он хотел спровоцировать меня. Поэтому я нарисовал, как мог, тело слонихи в разрезе, с внутренними полостями и двумя отдельными *«выходами»:* для экскрементов и для детенышей. Затем сказал: «Некоторые дети этого не знают. Они думают, что "кака" и детеныши выходят из одного и того же отверстия как у животных, так и у женщин». Только я собрался рассказать об опасностях, которые ребенок мог бы вывести для себя из подобных, ошибочно понятых обстоятельств, как Питер возбужденно перебил меня, сообщив, что когда мать носила его в животе, ей приходилось надевать пояс, чтобы не дать ему выпасть при посещении туалета; и что он оказался слишком большим, чтобы пройти в ее отверстие, и поэтому ей пришлось сделать разрез в животе, чтобы его выпустить. Мать Питера ничего не говорила мне об особенностях беременности и кесаревом сечении. Как бы там ни было, я нарисовал схему женщины, сосредотачивая внимание мальчика на том,

что он запомнил из объяснений матери. Мой заключительный монолог звучал примерно так: мне, мол, показалось, что он считал, будто тоже мог иметь детей, и хотя в действительности это невозможно, важно понять причины его фантазии; может быть он слышал, что моя обязанность - понимать мысли детей, и если бы он захотел, то завтра я бы опять пришел, чтобы продолжить нашу беседу. Питер не захотел. Но и первая встреча закончилась результативно - сверхчеловеческим стулом мальчика (после моего ухода).

Тогда есть все основания полагать, что однажды раздув живот удерживаемой фекальной массой, Питер подумал, будто он забеременел, и испугался выпускать эту массу, дабы не нанести вреда себе или «ребеночку». Однако что заставило его задерживать стул сначала? Что вызвало у ребенка эмоциональный конфликт, который нашел свое выражение в задержке стула и фантазии беременности?

Отец мальчика дал мне ключ к одной ближайшей «причине» сложившейся тупиковой ситуации. «Знаете, - сказал он, - сын становится очень похожим на Мёртл». - «Кто эта Мёртл?» - «Она два года была его няней и ушла от нас три месяца назад». - «Незадолго до того, как его симптомы резко обострились?» - «Да».

Итак, Питер потерял важного в своей жизни человека - няню. Восточная девушка с приятным, тихим голосом, нежная и осторожная в обращении с ребенком, она была его главным утешением и опорой в эти годы, поскольку родители часто отсутствовали, занятые профессиональной карьерой. За несколько месяцев до расставания с ней мальчик приобрел привычку довольно грубо нападать на няню, но девушка, казалось, принимала спокойно и даже с удовольствием его явно «мужской» подход. На ее родине такое поведение не только не было редким, но являлось нормой. Хотя, конечно, оно имеет смысл лишь как часть целой культуры. Мать Питера, как она призналась, не могла полностью подавить чувство, что во внезапной мужской ориентации малыша и в поощряемой няней манере ее проявления есть что-то по существу неправильное. Действительно, происходящее не вполне соответствовало культуре *матери*. Она насторожилась в отношении реальной опасности иметь сына, воспитанного чужеземкой, и решила сама заняться его воспитанием.

Таким образом, няня ушла как раз во время пускающей первые ростки, провоцируемой и... неодобряемой маскулинности. Ушла она сама или ее уволили - едва ли это имело значение для ребенка. Важным было другое: мальчик принадлежал к социальному классу, использовавшему наемного заменителя матери из числа лиц иной национальности или представителей иного класса. Это с точки зрения ребенка вызывает ряд проблем. Если тебе нравится эрзац-мама, тогда собственная мать будет оставлять тебя чаще и с более чистой совестью. Если ты недолюбливаешь няню, мать все равно будет оставлять тебя с ней, хотя и с легким сожалением. Если ты очень не любишь няню и можешь спровоцировать убедительные инциденты, мать уволит ее, правда лишь для того, чтобы нанять новую, похожую на прежнюю или еще хуже. А если случится так, что по той или иной причине няня тебе очень понравится, мать обязательно уволит ее раньше или позже.

В случае Питера дополнительная (к уже имевшейся травме) обида была нанесена письмом от няни, которая узнала о его состоянии и пыталась как можно убедительнее объяснить ему причину своего ухода. В первый раз, покидая их семью, она сказала мальчику, что выходит замуж и у нее будет свой ребенок. Это было довольно плохое объяснение, если принять во внимание его чувства к ней. Теперь бывшая няня сообщала, что просто перешла на другую работу. «Видишь ли, - объясняла она, - я всегда переезжаю из одной семьи в другую, когда ребенок, за которым я присматриваю, подрастает. А мне больше всего нравится заботиться о малышах». Именно тогда что-то и произошло с Питером. Он попробовал быть большим мальчиком, Отец мало чем мог ему помочь, так как часто отсутствовал, занимаясь бизнесом, слишком сложным, чтобы посвящать в него сына. Мать дала ему понять, что мужское поведение в той форме, которую няня провоцировала или с которой она просто мирилась, было неприемлемым. Няня же больше любила малышей.

Поэтому Питер «регрессировал»: стал «более маленьким» и зависимым. И в отчаянии от того, как бы не потерять большего, он остановился. Такое с ним бывало и раньше. Еще младенцем он впервые продемонстрировал свое упорство, задерживая пищу во рту. Позднее, когда его сажали на горшок и приказывали не вставать, он безрезультатно сидел до тех пор, пока мать не сдавалась. Теперь Питер дошел до продолжительной задержки стула, а возможно, и гораздо большего, ибо стал молчаливым, утратил экспрессивность и гибкость. Конечно, все это - один симптом с множеством связанных значений. Самое простое из них таково: я удерживаю то, что имею, и не собираюсь продвигаться ни вперед, ни назад. Но как видно из игры Питера, удерживаемый им объект можно было бы интерпретировать по-разному. Сначала, видимо еще веря в беременность няни, Питер пытался удержать ее, становясь няней и симулируя собственную беременность. В то же время его общая

регрессия показывала, что он стал еще и младенцем, и поэтому к нему, как к любому маленькому ребенку, няня могла бы вернуться. Фрейд называл это *сверхдетерминацией* значения симптома. Однако эти сверхдетерминированные пункты всегда оказываются систематически связанными; мальчик идентифицируется с *обоими партнерами утраченного взаимоотношения*: он и няня, которая теперь беременна (букв. - с ребенком), и малыш, за которым ей нравится ухаживать. Подобные этой идентификации возникают в результате утрат. Скорбя по умершему, мы одновременно становимся покинувшим нас навсегда человеком и собой тех времен, когда наши с ним взаимоотношения находились в расцвете. Это способствует внешне весьма противоречивой симптоматике.

Тем не менее, можно увидеть, что здесь *ретенция* (задержка) - модус, а элиминативный (выделительный) тракт - образцовая зона для того, чтобы драматизировать трехчастный процесс: задержать (остановить) - упереться (вцепиться) - удерживать (не выпускать). Но как только все это стало выглядеть и ощущаться Питером так, как если бы он на самом деле носил в себе эквивалент младенца, мальчик вспомнил, что говорила его мать о родах и их опасности для матери и ребенка. И не мог освободиться ни от тревожных мыслей, ни от «ребенка».

Истолкование ему этого страха имело результатом разительное улучшение, которое ослабило беспокойство и опасность, а также вызвало к жизни заторможенную автономию Питера и его мальчишескую инициативу. Однако лишь объединение диетологической и гимнастической работы, наряду с беседами (с матерью и ребенком), помогло, в конце концов, преодолеть ряд не столь острых задержек.

2. Либидо и агрессия

Итак, мы познакомились с двумя патологическими эпизодами: одним - из жизни девочки, другим - из жизни мальчика. Эти случаи были выбраны вследствие их ясной и доступной наблюдению структуры. Однако какого рода законами можно объяснить эти случаи?

Фрейд и ранние психоаналитики первыми заговорили о не отмеченных на психологической карте областях отверстий тела как о зонах первостепенной важности для эмоционального здоровья и нездоровья. Разумеется, их теории основываются на наблюдениях за взрослыми пациентами и, вероятно, стоит хотя бы кратко показать, в каком отношении наблюдаемый в психоанализе взрослый мог бы обнаружить сходство с тем, что мы видели у больных детей.

Невротическая «анальность» взрослого может, к примеру, выражаться в ритуальной сверхозабоченности функционированием кишечника под маской тщательной гигиены или общей потребности в абсолютном порядке, чистоте и точности. Другими словами, такой взрослый показался бы нам скорее антианальным, чем анальным, поскольку питал бы одинаковое отвращение как к длительной ретенции, так и к беспечной элиминации. Однако сами эти антианальные избегания заставили бы его в конечном счете тратить на анальные вопросы больше внимания и энергии, чем, скажем, обычного человека с умеренной склонностью к получению или отверганию удовольствия от физиологических отправлений организма. Конфликт относительно модусов ретенции и элиминации у анального пациента мог бы выразиться и в общей сверхсдержанности, в последующем твердо укоренившейся в его характере. Тогда бы он не в силах был раскрепоститься и раздавал бы свое время, деньги и привязанности (неважно, в каком порядке) только при бережном соблюдении ритуалов и в установленные сроки. Но психоанализ открыл бы, что такой человек, более или менее сознательно, лелеет особенно грязные фантазии и крайне враждебные желания полного устранения избранных лиц, прежде всего тех, кто близок к нему и по необходимости вынужден предъявлять требования на его внутренние сокровища. Иначе говоря, он бы показал себя исключительно амбивалентным в привязанностях и часто совершенно не подозревающим о том, что многие самочинные правды и неправды, которые стоят на страже его личных ограничений, составляют в то же самое время автократические попытки контролировать других. Хотя деяния его пассивной и ретентивной враждебности нередко остаются неузнаваемыми как для него, так и для намеченных жертв, его постоянно тянуло бы уничтожать, исправлять или искупать содеянное в действительности или в фантазии. Однако подобно нашей маленькой пациентке после ее попыток уравновесить забранное и отданное, он каждый раз обнаруживал бы себя в еще более глубоких конфликтах. И так же как она, такой компульсивный взрослый в глубине души упорно желал бы наказания, поскольку для его совести (а она у него очень строга), по-видимому, легче быть наказанным, чем питать тайную ненависть и действовать свободно. Легче, потому что эгоцентрическая ненависть сделала его не верящим в исправляющие свойства обоюдности. Таким образом, что у ребенка еще допускает разнообразное

выражение и улучшение, у взрослого стало твердым характером.

В реконструированной ранней истории таких больных Фрейд регулярно обнаруживал кризисы, подобные продемонстрированным in statu nascendi [В состоянии зарождения, возникновения (лат.). - *Прим. пер.*] нашими маленькими пациентами. Мы обязаны ему первой последовательной теорией, которая систематически учитывала все трагедии и комедии, разыгрывающиеся вокруг «отверстий» тела.

Он создавал эту теорию, пробиваясь сквозь лицемерие и притворную забывчивость того времени, не выпускавших все «низшие» функции из области срама, сомнительных острот и больной фантазии. Фрейд был вынужден сделать вывод о сексуальной природе этих трагедий и комедий и решил описывать их именно как сексуальные. Он установил, что невротики и перверты не только инфантильны в своем отношении к ближним, но к тому же обычно ослаблены в генитальной сексуальности и склонны к получению явного или тайного удовлетворения и утешения от других телесных зон, помимо генитальной. Кроме того, их сексуальное недоразвитие и социальная инфантильность вполне систематически связаны с ранним детством и, в частности, со столкновением импульсов их незрелых тел и непреклонных родительских методов воспитания. Фрейд пришел к заключению, что в течение следующих одна за другой стадий детства зоны, обеспечивающие особое удовлетворение, наделялись *либидо* - стремящейся к удовольствию энергией, которая до этого получала официальное и научное признание в качестве *сексуальной* лишь с окончанием детства, когда становилась *генитальной*. Зрелая генитальная сексуальность, по Фрейду, есть конечный продукт детского сексуального развития, названного им поэтому прегенитальным. Таким образом, только что описанный нами тип компульсивного невротика Фрейду представлялся человеком, который, несмотря на откровенно антианальное поведение, был бессознательно *фиксирован* на (или частично *регрессировал* к) стадии детской сексуальности, названной *анально-садистической*. [Sigmund Freud, «Three Contributions to the Theory of Sex», in *The Basic Writings of Sigmund Freud*, The Modern Library, New York, 1938.]

Аналогично этому, другие эмоциональные бедствия оказываются фиксациями на других инфантильных зонах и стадиях, или регрессиями к ним.

Например, наркоманы, в широком смысле слова (addicts), зависят от инкорпорации через рот или кожу веществ (как когда-то в начале младенчества), которые вызывают у них чувство физического насыщения и эмоционального восстановления. Однако они не сознают, что отчаянно рвутся назад, в младенчество. Лишь когда они хнычат, хвастаются и вызывающе ведут себя, обнаруживаются их разочарованные и инфантильные души.

Маниакально-депрессивные больные чувствуют себя безнадежно опустошенными, лишенными какого бы то ни было содержимого, либо наполненными чем-то плохим и враждебным, что необходимо уничтожить; или же настолько пропитаны внезапным великодушием, что их ощущение могущества и богатства не знает границ и не терпит ограничений. Но им не известны ни источник, ни природа всех этих внутренних ценностей и неполноценностей.

Больные истерией, если это женщины, ведут себя так, будто любовные связи странным образом мучат, беспокоят, отталкивают и, все же, пленяют их. Генитально фригидные, они озабочены событиями, драматизирующими, при ближайшем рассмотрении, инцептивную (inceptive) роль женщины. Очевидно, они бессознательно одержимы своей половой ролью, несмотря на то (или потому), что эта роль сделалась неприемлемой в далеком детстве.

Тогда всем этим людям, страдающим от пагубной ли привычки, депрессии или подавления, почему-то не удалось интегрировать ту или иную детскую стадию, и они защищаются от соответствующих инфантильных паттернов - упорно, расточительно и безуспешно.

С другой стороны, на каждое несовершение путем сдерживания приходится совершение посредством извращения. Среди взрослых есть такие, кто, отнюдь не скрывая первоначальный младенческий паттерн, получает самое полное (на какое только способен) сексуальное удовлетворение от стимуляции рта (или ртом). Есть и такие, кто предпочитает anus другим отверстиям, пригодным для половых сношений. Встречаются перверты, которым прежде всего нужно пристально смотреть на чьи-то гениталии или показывать собственные. И есть перверты, влекомые желанием использовать гениталии, импульсивно и без разбора, чтобы садистически «делать» других людишек.

Поняв, наконец, систематическую связь между половыми актами, бессознательно желаемыми невротиками и открыто совершаемыми первертами, Фрейд принялся воздвигать здание своей теории *либидо*. Выходило, что это та сексуальная энергия, какой телесные зоны, помимо генитальной, наделяются в детстве, и которая увеличивает специфические удовольствия таких жизненных функций как поглощение пищи, опорожнение кишечника и движения конечностей. Только после того, как

определенный график прегенитальных назначений либидо успешно выполняется, сексуальность ребенка постепенно изменяется, переходя в недолговечную детскую генитальность, которая должна тотчас же стать более или менее «латентной», преобразованной и отклоненной от прямой цели. Ибо детородные органы еще не созрели, а первые объекты незрелого полового желания навсегда закрыты всеобщим табу инцеста.

Что касается следов прегенитальных желаний, все культуры в известной степени позволяют те или иные виды негенитальной сексуальной игры, и называть их перверзиями следовало бы лишь в том случае, если бы они имели тенденцию замещать или вытеснять собой господство настоящей генитальности. Однако значительное количество прегенитального либидо *сублимируется*, то есть отводится от сексуальных к несексуальным целям. Так, доза детского любопытства, касающегося «событий» в теле матери, может усилить рвение мужчины понять действие механизмов и химических реакций. Или он может жадно впитывать «молоко мудрости» в тех случаях, когда прежде желал более осязаемой жидкости из более чувственных сосудов. Или же может собирать разные вещи во всевозможные коробки и ящики, а не перегружать ободочную кишку. В прегенитальных тенденциях, которые человек *подавляет* вместо того, чтобы перерастать, сублимировать или допускать их в сексуальную игру, Фрейд усматривал самый важный источник невротического напряжения.

Конечно, наиболее успешные сублимации составляют неотъемлемую часть культурных тенденций и становятся неузнаваемыми в качестве сексуальных дериватов. Лишь тогда, когда какое-то занятие оказывается слишком усердным, крайне эксцентричным, подлинно маниакальным, его «сексуальное» начало можно распознать и у взрослых. Но здесь сублимация находится на грани распада и, вероятно, была неправильной с самого начала. Именно в этом врач Фрейд стал критиком своей викторианской эпохи. Его вывод: общество безрассудно деспотично в требовании невозможных подвигов сублимации от своих детей. Верно, какое-то количество сексуальной энергии может и должно сублимироваться, - общество на него рассчитывает. Поэтому, пожалуйста, отдайте обществу то, что ему принадлежит, но сначала передайте ребенку ту либидинозную витальность, которая и делает стоящие сублимации возможными.

Только тот, кому приходится осваивать сложнейший лабиринт психических нарушений и ординарных душевных вывихов, может сполна оценить, какой ясный и объединяющий свет был пролит на темные, глухие места теорией либидо, или мобильной сексуальной энергии, содействующей как «возвышенным», так и «низменным» формам человеческих стремлений, а часто - тем и другим одновременно.

Однако широкие теоретические и терминологические проблемы остаются еще неразрешенными. Решив сосредоточиться на истинно релевантных для психологии вопросах, Фрейд пришел к заключению, что открыть сексуальность заново - было самой важной работой, которую предстояло сделать. И здесь исторический пробел пришлось заполнять с помощью терминологии, неожиданным образом смешивающей древнюю мудрость и современное мышление. Возьмем термин «истерия». Древние греки полагали (или во всяком случае выразили свои предположения в формулировке, гласившей), что у женщин истерия вызывалась сорвавшейся в бешенстве с цепи маткой; она рыскала по телу, сдавливая одно и блокируя другое. Для Фрейда матка, конечно, была генитальной идеей (а не детородным органом), которая, оказавшись отделенной от своей цели, вызывает блокировку подачи либидо к гениталиям (фригидность). Этот приток либидо мог быть обращен и перемещен по траектории какой-нибудь символической ассоциации с детскими зонами и модусами. Тогда позывы на рвоту, возможно, выражают защитное извержение наверху, отвращающее взрыв подавленного полового желания внизу. Для выражения того, что поток либидо (libidinization), отведенный от гениталий, проявляется тем самым в другом месте, Фрейд воспользовался языком современной ему термодинамики, то есть терминами сохранения и преобразования энергии. В результате многие положения, имевшие статус рабочей гипотезы, становились незыблемыми истинами, на подтверждение которых с помощью наблюдения или эксперимента, казалось, не стоило даже тратить силы и время.

Великие новаторы всегда говорят на языке аналогий и притч своей эпохи. Фрейду тоже пришлось проявить мужество, чтобы широко применять в работе собственную (как он сам ее называл) «мифологию». Истинное прозрение переживает свою первую формулировку.

По-моему, отношение Фрейда к либидо до некоторой степени сходно с трактовкой темы бури Джорджем Стюартом. Стюарт делает главный природный катаклизм центральным героем своей повести. [George R. Stewart, *Storm*, Random House, New York, 1941.] Он описывает жизненный цикл и индивидуальность природного события. И это выглядит так, как если бы мир и населяющие его люди существовали только ради торжества бури, которая оказывается мощным средством обогащения нашего

видения превосходящих обычные масштабы событий вокруг и внутри нас. Аналогично, ранний психоанализ описывает человеческую мотивацию таким образом, как если бы либидо было первичной субстанцией, а отдельные эго - всего лишь защитными буферами и уязвимыми прослойками между этой субстанцией и неясным окружающим «внешним миром» произвольных и враждебных социальных условностей.

Но здесь врач идет дальше писателя, ибо учится исследовать и укрощать клиническими средствами те бури, которые сначала идентифицировал и описал. Изобретением жизни либидо Фрейд увеличил нашу теоретическую проницательность и терапевтическую эффективность относительно всех ухудшений индивидуальной и групповой жизни, происходящих от бессмысленной порчи чувственности. Ему было ясно, да и нам, имеющим дело с новыми областями души (эго), другими типами пациентов (детьми, психотиками) и новыми приложениями психоанализа (общество), становится все яснее, что мы должны отыскать должное место теории либидо во всей полноте человеческой жизни. И хотя мы должны продолжать изучать жизненные циклы индивидуумов, описывая возможные превратности их либидо, нам необходимо стать чувствительными к опасности навязывания живым людям роли марионеток мифического Эроса, что невыгодно ни терапии, ни теории.

Исследователь Фрейд, в свою очередь, пошел дальше врача Фрейда. Он делал больше, чем только объяснял и излечивал патологию. Обладая профессиональной подготовкой в области эволюционной физиологии, Фрейд показал, что сексуальность развивается стадиально, и этот рост сексуальности он прочно связал со всем эпигенетическим развитием.

Ибо когда Фрейд приступил к изучению проблемы пола, он обнаружил, что как популярная, так и научная сексология, по-видимому, считала секс новой реальностью, которая с наступлением половой зрелости внезапно входит в жизнь в результате недавно начавшихся физиологических изменений. Сексология тогда находилась на уровне развития средневековой эмбриологии, когда понятие гомункулуса - микроскопического, но полностью сформировавшегося человечка, ожидающего в семени мужчины своей доставки в матку женщины, чтобы там увеличиться в размерах и впрыгнуть оттуда в жизнь - было общепринятым. Современная эмбриология предполагает *эпигенетическое* развитие - пошаговый прирост органов эмбриона. Я полагаю, что фрейдистские законы психосексуального развития в раннем детстве можно лучше всего понять посредством аналогии с физиологическим развитием *in utero*.

В этой последовательности эпизодов развития каждый орган имеет свое время возникновения. Фактор времени столь же важен, как и место зарождения. Если глаз, например, не возникнет в назначенное время, «он никогда не сможет сформироваться полностью, так как уже подошел срок для быстрого вырастания какого-то другого органа, и этот орган будет стремиться к господству над менее активной частью тела и подавлять запоздалую тенденцию к образованию глаза». [C. H. Stockard, *The Physical Basis of Personality*, W. W. Norton & Co., Inc., New York, 1931.]

После того как орган начал возникать в должное время, еще один временный фактор определяет границы наиболее критической фазы его развития. «Чтобы полностью подавить или грубо видоизменить развитие определенного органа, нужно воздействовать на него на ранней стадии развития... После того как орган успешно появился из Anlage [Anlage (нем.) - задаток; предрасположение; план; замысел. - *Прим. пер.*], его можно изуродовать или остановить в росте, но уже нельзя прерыванием роста уничтожить его сущность и актуальное существование». [Там же.]

Орган, упускающий свое время доминирующего влияния, не только обрекается на гибель в качестве отдельной сущности; одновременно он подвергает опасности всю иерархию органов. «Следовательно, не только приостановка быстро растущего органа имеет тенденцию временно подавлять его развитие, но и преждевременная утрата верховенства над каким-то другим органом делает невозможным для подавленной части тела возвратить свое влияние с тем, чтобы постоянно видоизменяться...» [Там же.] Результат нормального развития - правильное соотношение размера и функции органов тела: печень пригоняется по размеру к желудку и кишечнику, сердце и легкие уравновешиваются должным образом, а возможности сосудистой системы точно соразмеряются с целым телом. Из-за приостановки развития, один или несколько органов могут оказаться непропорционально маленькими, что нарушает функциональную гармонию и создает дефектного человека.

Нарушение «правильного темпа» и «обычной последовательности» развития может иметь результатом *«monstrum in excessu»* или *«monstrum in defectu»*: «То обстоятельство, что нормальный индивидуум находится между такими двумя условными категориями уродств, не означает ничего кроме того, что эти ненормальные отклонения являются простыми видоизменениями нормального состояния,

проистекающими из необычного снижения темпов развития в течение определенных критических периодов». [Там же.]

Самый критический, с точки зрения возможных органических уродств, период приходится на несколько месяцев перед рождением. Как только ребенок родился, или, другими словами, его тело «успешно появилось из "Anlage"», можно быстро установить, что оно еще слишком несовершенно для интегрированного созревания. По-прежнему «доцеребральный» комок плоти, приспособленный лишь для медленного прироста стимуляции ограниченных видов и интенсивностей, младенец уже оставил химический обмен с маткой ради материнской заботы в рамках характерной для данного общества системы воспитания. Как такой созревающий организм продолжает развертываться, развивая не новые органы, а предписанную последовательность локомоторных, сенсорных и социальных способностей, описано в литературе по развитию ребенка. Психоанализ добавил к этому понимание своеобразных переживаний (experiences) и конфликтов, через посредство которых индивид становится отличным от других лицом. Независимо от того, имеем ли мы дело с формальными, признанными в обществе характеристиками ребенка, измеряемыми с помощью специально разработанных тестов (поскольку эти характеристики являются очевидными шагами к определенным умениям), или с его неформальными особенностями, становящимися предметом открытого восхищения или тайного беспокойства матерей, прежде всего важно сознавать следующее. В этой последовательности приобретений важного жизненного опыта (experiences) здоровый ребенок, хотя бы при частично правильном руководстве, просто подчиняется и, в целом, можно быть уверенным, будет подчиняться внутренним законам развития, именно тем законам, которые в перинатальном периоде формировали один орган после другого, а теперь создают непрерывный ряд потенциальных возможностей для значимого взаимодействия с окружающими его людьми. Хотя такое взаимодействие широко варьирует в способах от культуры к культуре (что мы покажем немного погодя), правильный темп и правильная последовательность остаются решающими факторами, направляющими и ограничивающими всю изменчивость.

Итак, с точки зрения «экономии либидо» отдельного ребенка, можно, вероятно, сказать, что у двух наших пациентов темп и последовательность дающих начало развитию импульсов были нарушены. Эти дети застряли на теме анальной ретенции и элиминации подобно граммофонной пластинке с поврежденной дорожкой. Они неоднократно регрессировали к младенческим темам и не раз терпели неудачу в попытках продвинуться к следующей теме - умению справляться с любовью к значимым людям противоположного пола. О любви Энн к отцу позволил предположить мощный выброс маниакальной радости в тот момент, когда она отдала три блестящих машинки игрушечному отцу; в истории же Питера его фаллическое поведение в отношении няни непосредственно предшествовало патогенным событиям. Теория либидо дала бы возможность предположить, что ректальное выталкивание кала в одном случае и его накапливание в ободочной кишке в другом случае одно время доставляло этим детям сексуальное удовольствие, которого они теперь пытались снова достичь, но из-за несовершенства своей тормозной системы вынуждены были регрессировать дальше и прочнее, чем ожидалось. Однако не являясь больше невинными младенцами, получающими наслаждение от еще невымуштрованного кишечника, Энн и Питер, по-видимому, доставляют себе удовольствие в фантазиях изгнания ненавистных персон (вспомните, как Энн вышвырнула игрушечную мать) и удержания любимых. Хотя целью того, что они делали, при всех пугающих выводах, было садистическое торжество над родителями, желавшими управлять ими. Без сомнения, в глазах той маленькой девочки наряду со страхом читалось и торжество, когда она ранним утром, перепачканная, сидела в своей кроватке и настороженно ждала появления матери; а в отсутствующем выражении лица мальчика проскальзывало тихое, скрытое удовлетворение даже тогда, когда ему было явно не по себе от раздувшегося живота. Но бедные матери знали из кратковременного и весьма неприятного опыта, что реагировать на тиранию ребенка методами, продиктованными раздражением и гневом, означало бы лишь ухудшить положение. Ибо что ни говори, а эти дети любили и хотели быть любимыми, несравнимо предпочитая радость достижения торжеству ненавистной неудачи. Не принимайте ошибочно ребенка за его симптом.

Кто-то, возможно, скажет, что дети, испытывающие такие переживания (experiences), находятся во власти второй первобытной силы, которая предполагается в психоаналитической системе вслед за либидо, а именно, во власти инстинкта разрушения, инстинкта смерти. Здесь я не смогу обсудить эту проблему, так как по существу она носит философский характер и имеет под собой изначальную привязанность Фрейда к мифологии первобытных инстинктов. Введенная им терминология и развернувшиеся вокруг нее долгие споры затмили собой клиническое изучение силы, которая, как

можно увидеть, наполняет собой большую часть нашего материала, не обретая необходимого прояснения. Я говорю о *ярости*, вызываемой всякий раз, когда действие, важное для ощущения конкретным человеком собственной власти, наталкивается на препятствие или сдерживается. Что происходит с такой яростью, когда ее, в свою очередь, необходимо подавить, и каков ее вклад в иррациональную враждебность и жажду разрушения у человека, - очевидно, один из самых важных по своим последствиям вопросов, обращенных к психологии.

Чтобы более конкретно определить, какого рода силы задействованы в данной клинической ситуации, возможно, полезнее было бы спросить о том, чего же именно мы вынуждены добиваться. Может быть, посредством прояснения нашей функции в конкретной ситуации нам удастся вступить в схватку с теми силами, которые мы пытаемся понять. Я бы сказал, что наша задача - восстановить взаимность функционирования между больным ребенком и его родителями, с тем чтобы вместо множества бесплодных, мучительных и разрушительных попыток контролирования друг друга установилось взаимное регулирование, возвращающее самоконтроль и ребенку, и родителю.

Увы, рецепт не оправдывает диагноза. Взрослея одновременно, члены семьи склонны утрачивать определенное взаимное регулирование как группа. В результате этого каждый член семьи каким-то образом утрачивал самоконтроль, соответствующий его возрасту и семейному статусу. Вместо того, чтобы контролировать себя и помогать взаимному регулированию группы, каждый ее член искал и находил суррогаты управления - области автономии, исключающие других. Родители обретали их в лихорадочной работе и общественной жизни, дети - в единственной принадлежащей им области с виду абсолютной автономии, именно, в собственных телах. Аутоэротизм - важное оружие в этой партизанской войне, поскольку дает ребенку кажущуюся независимость от утраченной взаимности с другими. Однако подобная эгоцентричная автономия скрывает истинное положение. Ибо, по-видимому, получая удовольствие от зон своего тела, ребенок использует модусы органа во враждебных фантазиях контролирования других посредством полной узурпации с садистским или мазохистским акцентом. Единственно этот вывих, этот невольный поворот против себя или других, заставляет орган стать средством выражения и распространения агрессии в более обычном и враждебном смысле. До того как он происходит, модусы органа являются наивными, то есть довраждебными образцами (patterns) хватания предметов, способами приближения, способами установления взаимоотношений: таково значение адгрессии (ad-gression) до ее превращения в агрессию (aggression).

Родители, которые имеют дело с развитием нескольких детей, должны жить в постоянной готовности принять вызов и должны развиваться вместе с ними. Мы исказим ситуацию, если резюмируем ее таким образом, будто считаем, что родитель «обладает» такой-то личностью в момент рождения ребенка и далее пребывает в статическом состоянии, сталкиваясь с бедным маленьким созданием. Ибо это слабое и изменяющееся крохотное существо заставляет расти вместе с собой всю семью. Малютки контролируют и воспитывают свои семьи не меньше, чем сами подвергаются контролю с их стороны. Фактически можно сказать: семья воспитывает малыша благодаря тому, что воспитывается им. Какие бы образцы реакций ни задавались биологически и какой бы график ни предопределялся эволюционно, мы должны считаться с тем, что существует ряд потенциальных *возможностей для изменения характера взаимного регулирования*.

Возможно, кому-то покажется, будто я оставляю эту позицию, так как сейчас приступаю к обзору всей области того, что Фрейд называл прегенитальными стадиями и эрогенными зонами в детстве, и попытаюсь перекинуть мостик от клинического опыта к результатам научных наблюдений за обществами. Ибо снова намереваюсь говорить о биологически обусловленных потенциальных возможностях, которые создаются организмом ребенка. Я не думаю, что психоанализ способен оставаться работающей системой глубинного анализа души без его основных биологических формулировок, как бы часто они, возможно, ни нуждались в периодическом пересмотре.

В таком случае, по семантическим и концептуальным причинам следующий раздел будет самым трудным как для читателей, так и для меня. Я указал место, где мы стоим на этой, клинической стороне берега. Теперь нужно навести мост, предполагаемый конец которого на другом берегу пока еще не виден читателю.

Чтобы облегчить себе задачу, я буду по мере продвижения вперед воссоздавать последнюю версию карты прегенитальности, впервые представленную мною на суд читателей более десяти лет назад. Возможно, это также облегчит и труд сегодняшнего читателя. Карты, перефразируя Линкольна, - это особая вещь, которая помогает особым людям, которым помогают такие особые вещи. Дабы предоставить читателю полную возможность быть самим собой, я постараюсь излагать эту тему так, чтобы то, что вообще доступно пониманию, можно было бы понять как с картой, так и без нее. Под

словом «понять» я имею в виду, что читатель сможет проверить свои знания и лексикон на моей фразировке данной проблемы. Ибо по самой природе этой проблемы ее описание и оценки должны различаться от наблюдателя к наблюдателю и от периода к периоду. Исходя из наших собственных наблюдений и мы пытаемся составить карту-схему порядка и хода релевантных событий.

События какого рода мы хотим нанести на карту? Насколько «нормативны» (в статистическом смысле) эти события? Насколько диагностичны и прогностичны наши карты?

Давайте рассмотрим нормативное поведение маленького мальчика перед зеркалом, изучаемое Гезеллом. [Arnold Gesell, «An Atlas of Infant Behavior», Vol. I, Yale University Press, New Haven, 1934.] Исследователь, намеревающийся изучить «перцептуальное, интеллектуальное и приспособительное поведение» ребенка в возрасте 56 недель, поднимает («умеренно решительным движением») занавеску с настенного, в полный рост зеркала, перед которым помещен ребенок.

Отмечается, что обнаженный маленький мальчик попеременно рассматривает свое изображение и изображение исследователя, наклоняется вперед, шлепает ладошкой по зеркалу, становится на колени, приближается и отодвигается от зеркала, «прикасается к зеркалу ртом», резко отстраняется и т. д. Арнольд Гезелл однажды показал мне серию оригинальных фотографий, не включенных в «Атлас», где было ясно видно, что пенис мальчика находился в состоянии эрекции. Однако этот эпизод сексуального поведения, хотя и отнюдь не анормальный, не имеет ничего общего с последовательностью эпизодов, снятых в качестве нормативных. Такое поведение «не приглашалось» на этот тест, или, если можно так выразиться, явилось без приглашения в чистую и непорочную компанию. Оно кажется неуместным по культурным соображениям, потому что к тому времени, когда зоологи вторглись в сферу человеческой сексуальности, мы не экспериментировали с сексуальностью. Оно кажется неуместным и по соображениям систематичности, так как такое сексуальное поведение случается, но не по графику. В определенной ситуации оно может появиться, а может и не появиться; следовательно, оно «ненормативно». Но если такое поведение все же случается, да еще в неподходящий момент, когда кто-то поблизости (мать, гувернантка) считает, что такого не должно быть, то оно может (а может и не) вызвать у наблюдавшего сильнодействующую реакцию, состоящую, возможно, просто в необычном или смущенном изменении голоса, либо в обычном, распространенном отношении. Это может (а может и не) коснуться человека или совпасть с циклом жизни, который придаст данному событию решающее значение в отношении ребенка к себе, сексу, миру. И если такое случится, то психоаналитику могут потребоваться многие месяцы на реконструкцию, для которой любые нормативные схемы оказываются бесполезными. Ибо этот пункт поведения касается области тела, богато наделенной нервными окончаниями и снабжаемой постоянно усложняющимися коннотациями через реакции обратной связи со стороны окружающей среды.

В таком случае то, что мы должны попытаться нанести на карту, представляет собой примерную последовательность стадий, во время которых, согласно клиническим и обыденным знаниям, нервная возбудимость, а также координация «эрогенных» органов и избирательной реактивности значимых людей в окружении ребенка легко могут вызывать решающие (по последствиям) столкновения.

3. Зоны, модусы и модальности

А. Рот и органы чувств

Первое такое столкновение случается, когда новорожденного, лишившегося теперь симбиоза с материнским телом, прикладывают к груди. Его врожденная и более-менее координированная способность регулярно принимать пищу через рот отвечает более-менее координированной способности и интенции груди, матери и общества кормить и заботиться о нем. На этой стадии младенец живет и любит посредством рта, тогда как его мать живет и любит посредством груди. У нее это сильно зависит от любви других, в которой она может не сомневаться, от самооценки, сопровождающей акт кормления, и - от реакции новорожденного. Для него же оральная зона - только центр первого и генерального модуса приближения, именно, *инкорпорации*. [Инкорпорация (лат. incorporatio) - включение в свой состав, присоединение. - *Прим. пер.*] Сейчас младенец зависит от доставки всех видов «материи» к рецептивным входам своего организма. По меньшей мере в течение нескольких недель он способен реагировать лишь там и тогда, где и когда вещество вводится в его поле действия. Так же как теперь малыш расположен и способен сосать подходящие объекты и глотать любую подходящую жидкость, ими выделяемую, вскоре он оказывается готовым и способным «вбирать» («take in») глазами то, что попадает в его зрительное поле. (Как если бы он был почти готов

удерживать предметы, младенец разжимает и сжимает кулачок, когда его правильно стимулируют.) Его тактильные рецепторы также, по-видимому, воспринимают приятное на ощупь.

Однако все эти готовности весьма уязвимы. Чтобы его первый личный опыт (experience) мог не только поддерживать, но и содействовать координации его чувствительного дыхания и метаболических и циркулярных ритмов, «питание» его органов чувств должно иметь правильную интенсивность и происходить в надлежащее время. В противном случае его открытость мгновенно сменяется диффузной защитой. Тогда, хотя и совершенно ясно, что *должно* происходить для поддержания жизни малыша (необходимый минимум питания) и что *не должно* происходить, дабы он не умер или не получил сильной задержки в росте (допустимый максимум фрустрации), существует увеличивающаяся зона свободы в отношении того, что *может* происходить. Различные культуры широко используют свои прерогативы решать, что считать рентабельным, а что - совершенно необходимым. Некоторые народы считают, что малыша, дабы он не выцарапал себе глаза, обязательно нужно туго пеленать в течение большей части суток на протяжении большей части первого года жизни, а также, что его следует качать или кормить всякий раз, когда он захнычет. Другие полагают, что малыш должен почувствовать свободу своих строптивых конечностей как можно раньше, и уж «конечно» его следует заставлять ждать кормления до тех пор, пока он буквально не побагровеет от крика. Все это зависит от главной цели и устройства культуры. Как будет показано в следующей главе, в произвольном с виду многообразии культурного обуславливания есть, по-видимому, внутренняя мудрость или, по крайней мере, неосознаваемая спланированность; фактически гомогенные культуры обеспечивают в более поздней жизни противовесы тем самым желаниям, страхам и вспышкам ярости, которые они провоцировали в детстве. Тогда то, что «хорошо для ребенка», что может происходить с ним, будет зависеть от того, кем он обязан стать и где.

Однако хотя модус инкорпорации и господствует на этой стадии, не лишне знать о том, что функционирование любых телесных зон с впускно-выпускными отверстиями требует наличия всех модусов в роли вспомогательных способов. Поэтому на первой инкорпоративной стадии имеет место сжимание челюстей и десен (второй инкорпоративный модус), отрыгивание и сплевывание (элиминативный модус), а также - смыкание губ (ретентивный модус). У энергичных малышей можно даже заметить общую интрузивную [Интрузия (от лат. intrusus - втолкнутый) - активное внедрение во что-либо. - *Прим. пер.*] тенденцию всего шейно-головного отдела - стремление прикрепиться к соску и как бы вжаться в материнскую грудь (орально-интрузивный модус). Любой из этих вспомогательных модусов может быть особенно ясно выраженным у одних и оказаться едва заметным у других детей; значит, и здесь такие модусы имеют возможность перерасти в практически господствующие из-за недостатка или утраты взаимного регулирования с источниками пищи и орального наслаждения.

Взаимодействие одной зоны со всеми модусами схематически изображено в первом слое нашей карты (рис. 1). Каждый большой круг символизирует целый организм. Внутри него мы различаем три зоны: (a) - «орально-сенсорную», которая включает лицевые отверстия и верхний отдел органов питания; (b) - «анальную», то есть выделительные органы, и (c) - гениталии. (Особое значение здесь придается неврологической связности, а не анатомической близости: уретральный тракт, например, - это и часть анальной, и часть генитальной зоны, в зависимости от задействованных иннерваций).

Рис. 1

Каждый маленький кружок символизирует модус органа:
1 = инкорпоративный 1
2 = инкорпоративный 2
3 = ретентивный
4 = элиминативный
5 = интрузивный

На первой оральной стадии (I) первый инкорпоративный модус доминирует в оральной зоне. Однако мы предпочитаем называть эту стадию *орально-респираторно-сенсорной,* потому что первый инкорпоративный модус в данное время преобладает в поведении всех этих зон, включая кожный

покров в целом. Органы чувств и кожа восприимчивы и все более требуют подходящей стимуляции. Генерализация *инкорпоративного модуса* из его центра в оральной зоне на все чувствительные зоны поверхности тела изображена обводкой контура большого круга в квадрате I_1.

Остальные окружности (2, 3, 4, 5) символизируют вспомогательные модусы: второй орально-инкорпоративный (= кусание), орально-ретентивный, орально-элиминативный и орально-интрузивный. Эти модусы становятся в той или иной мере важными в соответствии с темпераментом индивидуума. Но они остаются подчиненными первому инкорпоративному модусу, если только совместное с кормящей матерью регулирование этой зоны не нарушается утратой внутреннего контроля у малыша или нефункциональным поведением со стороны матери.

Примером недостатка внутреннего контроля мог бы служить пилорический спазм, выталкивающий пищу обратно вскоре после всасывания. В таких случаях орально-элиминативный модус занимает место рядом с предположительно господствующим инкорпоративным модусом и они вместе систематически входят в опыт грудного младенца, что при тяжелых формах нарушения и неправильном отношении к нему может раз и навсегда определить основную ориентацию индивидуума. Возможное последствие - раннее чрезмерное развитие ретентивного модуса, приводящее к смыканию рта, которое превращается в генерализированное недоверие ко всему входящему, поскольку оно не склонно оставаться.

Примером утраты взаимного регулирования с материнским источником питания служит привычка матери отдергивать сосок груди, потому что ребенок слишком сильно его сжал или из-за боязни, что он это сделает. В подобных случаях оральный механизм вместо того, чтобы расслабленно сосать, может преждевременно развить рефлекс кусания. Наш клинический материал часто говорит о том, что такая ситуация служит моделью для одного из самых радикальных нарушений межличностных отношений. Некто надеется получить - источник отнимают; в ответ некто пытается рефлекторно задержать его и потребить; но чем сильнее он его удерживает, тем решительнее источник удаляется. Однако давайте оставим клинику и вернемся к нормативному поведению.

По мере расширения пределов сознавания, координации и отзывчивости (responsiveness) младенец знакомится с воспитательными шаблонами своей культуры и тем самым узнает основные модальности человеческого существования, каждую - в лично и культурно значимых отношениях. Эти основные модальности прекрасно выражаются в «бейсик инглиш», который предельно ясен и точен, когда на его долю выпадает определение интерперсональных связей. Поэтому, к великому нашему облегчению, мы можем воспользоваться здесь запасом простейших английских слов вместо того, чтобы изобретать новые латинские комбинации.

Получать (to get) - когда это не значит «достигать, добиваться» (to fetch) - означает воспринимать и принимать то, что дают. Получение - первая социальная модальность, постигаемая в жизни; и она звучит проще, чем есть на самом деле. Ибо действующий на ощупь и неустойчивый организм новорожденного узнает эту модальность только тогда, когда научается регулировать системы своих органов в соответствии с той манерой, в какой материнская среда интегрирует свои методы ухода за ребенком. Тогда ясно, что оптимальная совокупная ситуация, подразумеваемая готовностью малыша получать то, что дают, состоит в его взаимном регулировании с матерью, которая будет позволять ему развивать и координировать способы получать по мере того, как она развивает и координирует способы давать. За эту координацию существует высшая награда либидинального удовольствия - удовольствия, весьма неполно передаваемого термином «оральное». По-видимому, рот и сосок - всего лишь центры общей ауры сердечного тепла и взаимности, которой наслаждаются и на которую отзываются релаксацией не только эти центральные органы, но и оба целых организма. Развиваемая таким образом взаимность релаксации имеет важнейшее значение для первого опыта (experience) дружественной непохожести. Можно сказать (разумеется, с известной дозой таинственности), что *получая то, что дают,* и научаясь *заставлять другого делать* для него то, что хотелось бы иметь сделанным, малыш, кроме того, развивает необходимую основу эго, чтобы самому стать тем, кто дает. Когда этого не происходит, ситуация взаимного регулирования распадается на множество разобщенных попыток контролировать друг друга путем принуждения или фантазии (вместо взаимодействия). Малыш будет пытаться посредством беспорядочной активности получить то, что не в состоянии получить главным способом - сосанием. Он станет изнурять себя или считать палец и соску вселенной. Мать, не умея расслабиться во время болезненной поначалу процедуры кормления грудью, тоже может пытаться силой решить проблемы, упорно вталкивая сосок в рот малыша или нервно меняя часы кормления и питательные смеси.

Разумеется, существуют методы облегчения такового положения. Можно поддерживать

взаимодействие, давая малышу то, что он способен получить, посредством хороших искусственных сосок, и компенсировать упущенное орально путем насыщения других рецепторов, помимо оральных, то есть удовольствием малыша от того, что его держат на руках, согревают, улыбаются и говорят с ним, укачивают и т. д. Мы не вправе позволять себе ослаблять нашу коррективную изобретательность. Однако в данном случае (как, впрочем, и в любом другом) кажется, что если мы потратим совсем немного нашей целительной энергии на продуманные превентивные меры, то сможем содействовать лечению и сделать его проще.

Перейдем теперь ко второй стадии, в течение которой способность приближать(ся) более активно и направленно, а также получаемое от этого удовольствие, растет и обретает более зрелый характер. Прорезаются зубы, а с ними - удовольствие кусать за что-нибудь твердое, прокусывать и откусывать кусочки от чего-либо. В случае короткой конфигурационной игры (configurational play) можно увидеть, что модус кусания способствует объединению ряда других активностей (как это делал первый инкорпоративный модус). Глаза - поначалу относительно пассивная система, принимающая впечатления по мере того, как они поступают - научились к этому времени сосредотачиваться на объекте, отделять и «выхватывать» предметы из неясного фона и прослеживать их движение. Органы слуха также научились различать значимые звуки, относить их к определенному месту и направлять соответствующее изменение позы (подъем и поворачивание головы, подъем и поворачивание верхней части тела). Руки научились тянуться, а кисти - схватывать более целенаправленно.

Вместе со всем этим устанавливается ряд интерперсональных паттернов, сосредоточенных на социальной модальности *взятия (taking) и удерживания (holding on to)* разных предметов - и тех, что предлагаются и отдаются более-менее свободно, и тех, которые имеют более или менее выраженную тенденцию ускользать. По мере того, как малыш научается менять позы, перекатываться со спины на живот, приподниматься и садиться в кроватке, он должен совершенствовать механизмы схватывания, исследования и присваивания всего, что находится в пределах досягаемости.

Итак, дополним нашу карту этой второй стадией (рис. 2). [В первом издании эта карта была организована таким образом, чтобы ее можно было читать сверху вниз, как печатный текст. Впоследствии я согласился с многочисленными рекомендациями изменить ее строение так, чтобы карта развития стала восходящей, подобно родословным деревьям и иллюстрациям эволюционного происхождения. - *Э. Г. Э.*]

Рис. 2

На стадии II в оральной зоне доминирует модус 2 (инкорпорация посредством кусания). Прогресс при переходе от стадии I к стадии II (и затем к последующим стадиям) представлен на карте движением по диагонали направо и вверх. В данном случае прогресс означает, что либидо ребенка в подходящее время идет дальше, чтобы наделить силой второй модус органа, который, в свою очередь, поведет к интеграции новой социальной модальности - взятия (taking). Таким образом, новая стадия означает не зарождение новой зоны или модуса, а лишь готовность узнать их больше на собственном опыте, управлять ими более координированно и усвоить их социальное значение с определенной законченностью.

Что если этому прогрессу мешать, ускоряя или задерживая его? Тогда отклонения должны наноситься в горизонтальном или вертикальном направлениях. Горизонтальное отклонение (I_1-I_2) соответствует преждевременному продвижению к модусу следующей стадии (рот малыша, вместо того чтобы сосать без напряжения, крепко сжимается). Вертикальное отклонение (I_1-II_1) означает «прилипание» к модусу, который оказался приносящим удовлетворение. Горизонтальное отклонение приводит к фиксации *зоны*, когда индивидуум держится за получение *оральных* удовольствий от особенностей различных модусов. Вертикальная фиксация - это фиксация *модуса*, когда индивидуум склонен чрезмерно проявлять модус 1 в различных зонах; он всегда хочет *получать (to get)*, независимо

от того, участвуют ли в этом рот и органы чувств, либо другие отверстия», рецепторы или формы поведения. Данный вид фиксации позже перемещается к другим зонам.

Однако на этой стадии даже самое доброжелательное окружение не способно уберечь малыша от травматического изменения - одного из самых жестоких изменений, поскольку ребенок еще так мал, а встающие на его пути трудности обширны. Я говорю об общем развитии импульсов и механизмов активного хватания, прорезывания зубов и близости этого процесса к процессу отнятия от груди и отделения от матери, которая может вернуться к работе или снова забеременеть.

Ибо именно здесь «добро» и «зло» входят в мир ребенка, если его базисное доверие к себе и другим уже не было поколеблено на первой стадии чрезмерно провоцируемыми или затягиваемыми параксизмами ярости и изнеможения. Конечно, невозможно знать, что чувствует младенец, когда его зубы «с трудом пробиваются изнутри», причем в той самой ротовой полости, которая до этого времени была главным локусом удовольствия и, к тому же, главным образом удовольствия. Невозможно также узнать, какого рода мазохистская дилемма возникает в результате того, что напряжение и боль, причиняемые режущимися зубами (этими внутренними диверсантами!), можно облегчить только кусая еще сильнее. Это, в свою очередь, добавляет к телесной социальную дилемму. Ибо если кормление грудью продолжается на стадии кусания (что, в общем, всегда было нормой), малышу необходимо научиться сосать не кусая, с тем чтобы у матери не было повода отдергивать сосок от боли или раздражения. Наша клиническая работа показывает, что этот момент в ранней истории индивидуума может быть началом злосчастной разделенности, когда гнев, обращенный на мучающие ребенка зубы, направленный против лишающей матери, и ярость, вызванная бессилием собственного гнева, сливаясь вместе, ведут к переживанию сильного смятения (садомазохистского характера), оставляющего общее впечатление, что когда-то давно человек разрушил единство с материнской средой. Эта самая ранняя катастрофа в отношении индивидуума к себе и к миру, вероятно, служит онтогенетическим вкладом в библейское сказание о рае, где первые люди на земле навсегда потеряли право срывать без усилий те плоды, что были отданы в их распоряжение; они вкусили от запретного яблока и тем самым прогневили Бога. Мы должны понять, что огромная глубина, равно как и универсальность этого сюжета, свидетельствуют, по-видимому, о большей (чем принять считать) важности раннего отрезка истории индивидуума. Следует стремиться к тому, чтобы такое раннее единство младенца с матерью было глубоким и приносящим удовлетворение, чтобы малыш подвергался действию этого неизбежного «зла» в человеческой природе умеренно и, по возможности, без отягчающих обстоятельств, да еще получая соответствующее утешение.

Рассматривая первую оральную стадию, мы говорили о взаимном регулировании способа ребенка принимать то, в чем он нуждается, и способов матери (культуры) давать ему это. Однако есть стадии, отмеченные таким неминуемым проявлением ярости и гнева, что взаимное регулирование посредством дополняющего поведения не может служить подходящей для них моделью. Приступы ярости от режущихся зубов, вспышки раздражения от мышечного и анального бессилия, неудачи падения и т. д. - все это ситуации, в которых интенсивность импульса приводит к его собственному поражению. Родители и культуры используют и даже эксплуатируют эти инфантильные схватки с внутренними гремлинами для подкрепления своих внешних требований. Но родители и культуры должны также отвечать требованиям этих стадий и заботиться о том, чтобы первоначальная взаимность как можно меньше терялась в процессе продвижения от фазы к фазе. Поэтому отнятие от груди не должно означать внезапной утраты груди и лишения успокаивающего присутствия матери, если, конечно, культурная ситуация не является гомогенной, когда можно быть уверенным, что другие женщины в ощущениях ребенка будут практически неотличимы от родной матери. Резкая утрата любви матери, к которой ребенок уже привык, без подходящей замены в это время может привести (при прочих отягчающих условиях) к острой младенческой депрессии или к неострому, но хроническому состоянию печали, способному придать депрессивный оттенок всему остатку жизни. [Рене Спитц (René Spitz) назвал это «анаклитической депрессией». См. его статьи в *The Psychoanalytic Study of the Child,* Vols. I-IV, International University Press, New York, 1945-49.] Но даже при самых благоприятных обстоятельствах эта стадия оставляет эмоциональный осадок первородного прегрешения и осуждения и всеобщей ностальгии по потерянному раю.

В таком случае оральные стадии формируют у младенца родники *базисного чувства доверия и базисного чувства недоверия,* которые остаются эндогенным источником примитивной надежды и обреченности на всем протяжении жизни. Они будут рассмотрены позднее в качестве первого нуклеарного конфликта развивающейся личности.

Б. Выделительные органы и мускулатура

При обсуждении самосохранения Фрейд предполагает, что в самом начале жизни либидо связывается с потребностью поддерживать жизнь посредством сосания того, что подходит для питья, и кусания того, что годится в пищу. Но вряд ли простому поглощению пищи есть дело до этой либидинальной потребности. Леви в своих известных экспериментах со щенками и цыплятами показал, что у этих групп детенышей, помимо простого потребления пищи, существует самостоятельная потребность в определенном количестве сосания и клевания соответственно. У людей, живущих в большей степени благодаря обучению, чем инстинкту, предполагается и большая культурная изменчивость в отношении врожденных и приобретенных величин потребности. *Потенциальные* паттерны, которые не могут быть проигнорированы или сокращены ниже определенного минимума без риска вызвать неполноценность, и которые, с другой стороны, должны особым образом провоцироваться посредством средовых процедур, чтобы получить полное развитие, есть именно то, что мы обсуждаем в данный момент. Тем не менее ясно, что оральный эротизм и развитие социальных модальностей «получения» и «взятия» опирается на потребность дышать, пить, есть и расти за счет всасывания.

Какова же самосохраняющая функция анального эротизма? Прежде всего, вся процедура опорожнения кишечника и мочевого пузыря делается как можно более приятной благодаря чувству благополучия (в словесной форме: «отлично!»). Это чувство с самого начала жизни должно компенсировать весьма частый дискомфорт и напряжения, испытываемые по ходу того, как кишечник учится выполнять свою повседневную работу. Два усовершенствования постепенно придают анальному опыту (experiences) необходимую полноту, а именно, наступление более регулярного стула и общее развитие мышечной системы, которое добавляет ось (dimension) произвольного расслабления, выпускания и сбрасывания к оси жадного присвоения. Эти два усовершенствования вместе говорят о большей способности чередовать удерживание и выталкивание по желанию. Поскольку речь идет об анальности в узком смысле слова, на этой стадии очень многое зависит от того, стремится ли культурная среда сколько-нибудь серьезно относиться к анальной функции. Как мы увидим, есть культуры, где родители игнорируют анальное поведение и предоставляют старшим детям отводить в кусты начинающего ходить малыша, с тем чтобы его желание соблюдать нормы в этом вопросе постепенно совпало с желанием подражать его старшим провожатым. Однако наша западная цивилизация предпочла отнестись к данному вопросу более серьезно, и степень ее давления на индивидуума зависит от распространенности нравов среднего класса и идеального образа механизированного тела. Ибо подобные нравы предполагают, что раннее и строгое приучение к туалету не только сохраняет приятной домашнюю атмосферу, но совершенно необходимо для развития аккуратности. Так это или нет, мы обсудим позднее. Но, несомненно, среди невротиков нашего времени есть и компульсивный тип, отличающийся более механической аккуратностью, пунктуальностью и бережливостью (в любви так же, как и в испражнениях), чем это было бы полезно для него, а в долгосрочной перспективе, и для общества. Дрессура кишечника и мочевого пузыря стала, пожалуй, бесспорно травмирующим моментом воспитания ребенка в широких кругах нашего общества.

Что в таком случае делает анальную проблему столь трудной?

Анальная зона больше любой другой приспособлена к проявлению стойкой приверженности противоречивым импульсам, потому что прежде всего она - модальная зона для двух конфликтующих модусов подхода, которые должны стать сменяющими друг друга, а именно, модусов *ретенции и элиминации*. Кроме того, сфинктеры - это лишь часть мышечной системы с ее общей дуальностью ригидности и релаксации, флексии и экстензии. Развитие мышечной системы дает ребенку гораздо большую власть над средой в виде умения доставать и держать, бросать и толкать, приближать к себе и удерживать предметы на расстоянии. Вся эта стадия, которую немцы назвали стадией упрямства, становится сражением за автономию. Ибо по мере того как малыш готовится обрести бОльшую независимость, он описывает свой мир в категориях «я» и «ты», «мне» и «мое». Любая мать знает, сколь сговорчивым может быть ребенок на этой стадии, если он решил, что *хочет* делать то, что ему вменяют в обязанности. Однако весьма трудно найти правильный рецепт заставить малыша захотеть сделать именно это. Всем матерям знакомо, как нежно ребенок (находящийся на этой стадии развития) прижимается к взрослому и как жестоко он вдруг пытается его оттолкнуть. В том же возрасте дети склонны копить (тайно хранить) различные предметы и выбрасывать их, цепко держаться за свое имущество и вышвыривать свои вещи из окна. Все эти на вид противоречивые склонности мы охватываем формулировкой ретентивно-элиминативных модусов.

Что касается развиваемых на этой стадии новых социальных модальностей, то особое значение придается простой антитезе *отпускания (letting go) и удерживания (holding on)*; их пропорция и последовательность представляют исключительную важность для развития как отдельной личности, так и коллективных аттитюдов.

Дело взаимного регулирования теперь сталкивается с самым суровым испытанием. Если внешний контроль вследствие жесткой или слишком ранней дрессуры будет требовать лишения ребенка возможности постепенно и без принуждения освоить управление кишечником и другими амбивалентными функциями, малыш снова окажется перед необходимостью двойного бунта и двойного поражения. Лишенный власти в собственном теле (часто боящийся своих фекалий, как если бы они были враждебными чудовищами, обитающими в его внутренностях) и бессильный во внешнем мире, он снова будет вынужден искать удовлетворения и контроля либо посредством регрессии, либо посредством фальшивой прогрессии. Другими словами, ребенок вернется к более раннему, оральному контролю, т. е. контролю путем сосания пальца и превращения в хнычащее и требующее заботы существо; или станет враждебным и назойливым, использующим свои фекалии в качестве боеприпасов и симулирующим автономию - способность действовать ни на кого не опираясь, которую он на самом-то деле не приобрел. (В двух наших «образцах» патологии мы наблюдали регрессию к этому положению.)

Добавляя анально-уретрально-мышечную стадию к нашей карте, мы приходим к варианту, изображенному на рис. 3.

Рис. 3

Диагональ протянулась до установления ретентивного (3) и элиминативного (4) модусов в анально-уретральной зоне (нижняя часть кругов) на новой стадии III. Обводкой контуров кругов опять показана генерализация на всю развивающуюся мышечную систему этих модусов, которые, прежде чем служить более сложным и разнообразным целям, должно быть, приобрели определенную форму самоконтроля в отношении дуальной экспрессии, такую как отпускание и удерживание. Там, где такой контроль нарушен недоразвитиями в анально-уретральной сфере, создаются прочные акценты на ретенции и/или элиминации в самой зоне (спастическая прямая или ободочная кишка), в мышечной системе (общая вялость или ригидность), в навязчивой фантазии (параноидный страх враждебных субстанций внутри собственного тела) и в социальных сферах (попытки контролирования среды посредством компульсивной систематизации).

Здесь уже можно проиллюстрировать клиническое применение этой пока еще незаконченной карты. Выше мы отмечали, что наш анально-ретентивный пациент (мальчик) в раннем младенчестве какое-то время сопротивлялся кормлению, задерживая пищу во рту и вообще сжимая рот. Такое «девиантное» развитие, которое, конечно, могло бы не оставить того серьезного следа, какой имел место в данном случае, можно отметить на нашей карте обводкой (II_3). Мальчик, отказываясь от попытки удержать мать (II_2), пытался контролировать ситуацию посредством ретенции - фиксации модуса, которая предопределила ему трудный период на стадии III, где в его обязанности входило научиться «отпускать» (to let go). Однако подлинный кризис возник в то время, когда мальчик собирался покинуть эту стадию: он регрессировал и держался изо всех сил.

На карте указаны и другие пути к отступлению, имеющиеся в распоряжении детей. Модусы III_2 и III_1 (анально-уретрально-инкорпоративные) хорошо известны педиатрам, вынужденным избавлять детей от мелких объектов, которые они воткнули в анальное отверстие. В уретральной копии такого поведения в мочеиспускательный канал вводятся соломинки и тонкие веточки. Подобные буквальные

выражения модуса встречаются, но все же редко. Более обычны фантазии в этом роде; они могут подготавливать перверзии. Любая анальная фиксация на одном из этих модусов особо предрасположена подготавливать к гомосексуальному аттитюду с подразумеваемой идеей достижения вечной любви и контроля путем анальной инкорпорации. У девочек все обстоит иначе благодаря тому, что их «хваткости» (graspiness) нет нужды оставаться фиксированной в пределах рта или извращенной в области ануса; она вполне способна переместиться к вагине и господствовать в генитальном поведении. Мы вернемся к этому вопросу при обсуждении генитальности.

Другой возможный уход «в сторону» - чрезмерное акцентирование модуса III., то есть использование фекалий в качестве боеприпасов для стрельбы по людям. Это может принять форму агрессивного испражнения или скрытого выпускания фекальных масс. Искушение поступать подобным образом сохраняется и у взрослых в виде склонности употреблять ругательства, имеющие отношение к фекалиям, - магический способ нападения на нашего врага и, к тому же, легкий, если вы способны при этом выйти сухим из воды.

Какие прочные качества имеют корни в этой мышечно-анальной стадии? Из ощущения внутренней доброкачественности (goodness) вырастает автономия и гордость; из ощущения недоброкачественности (badness) - сомнение и стыд. Для развития автономии необходимо устойчиво проявляемое и уверенно сохраняемое состояние раннего доверия. Младенцу нужно почувствовать, что его базисное доверие к себе и миру (это сохраняющееся сокровище, спасенное от конфликтов оральной стадии) не будет поставлено под угрозу внезапным страстным желанием иметь выбор, требовательно присваивать и упрямо устранять. Устойчивость должна защищать малыша против потенциальной анархии его пока еще невоспитанной рассудительности, неспособности удерживать и отпускать с разбором. Окружение ребенка должно поддерживать его в желании «встать на ноги», чтобы малыш не оказался во власти ощущения, будто он поспешно и глупо выставил себя на показ (что мы называем стыдом), или не попал в капкан того вторичного недоверия, оглядывания на прошлое, которое мы зовем сомнением.

Таким образом, *автономия против стыда и сомнения* — второй нуклеарный конфликт, разрешение которого составляет одну из основных задач эго.

В. Локомоция и гениталии

До сих пор я не упоминал ни о каких возрастных границах. Сейчас мы приближаемся к концу третьего года жизни, когда ходьба приобретает легкость и энергичность. В книгах утверждается, что ребенок «может ходить» значительно раньше этого срока; но для нас он не вполне стоит на своих ногах, пока способен лишь в течение короткого времени, с большим или меньшим реквизитом, относительно хорошо справляться с ходьбой. Мы полагаем, эго только тогда включило ходьбу и бег в сферу владения, когда ощущение тяжести остается в разумных пределах, когда ребенок способен забыть, что он *«делает ходьбу»*, и, вместо этого, заняться выяснением того, что он может *делать с ходьбой*. Только тогда ноги становятся интегральной частью его самого вместо того, чтобы быть приспособленным для ходьбы придатком.

Оглянемся назад: первой промежуточной станцией была лежачая релаксация. Основанное на опыте младенца доверие к тому, что основные механизмы дыхания, пищеварения, сна и т. д. имеют закономерную и привычную связь с предлагаемой пищей и заботой, придает вкус развитию умения садиться и вставать на ноги. Вторая промежуточная станция (достигаемая лишь к концу второго года жизни) - способность сидеть не только уверенно, не падая, но и не уставая: проявления большой ловкости, позволяющей постепенно использовать мышечную систему для более тонкого различения и более автономных способов отбора и отбрасывания, нагромождения различных предметов (pilling things up) и разбрасывания их с силой и меткостью.

Третья промежуточная станция обеспечивает ребенка умением самостоятельно и энергично передвигаться. Ребенок не только готов к обнаружению своей половой роли, но и начинает постигать свою роль в хозяйстве (economy) или, по крайней мере, понимать, каким ролям стоить подражать. Еще немного, и он уже может вступать в отношения со сверстниками и под руководством старших детей или специально присматривающих за ним женщин постепенно включается в детскую политику детского сада, улицы и двора. Учение носит теперь интрузивный характер и увлекает его всякий раз новыми событиями и занятиями. Ребенок начинает остро сознавать различия между полами. Все это создает сцену для инфантильной генитальности и первичного развития интрузивного и инклюзивного модусов.

Конечно же, инфантильной генитальности суждено оставаться рудиментарной, или

перспективой того, что еще придет. Если ее преждевременное проявление специально не провоцируется особыми фрустрациями или особыми обычаями (такими, как сексуальные игры в группах), детская генитальность, вероятно, оборачивается всего лишь серией пленительных переживаний, которые достаточно пугающи и бессмысленны, чтобы подавляться в течение стадии, названной Фрейдом периодом «латентности», то есть длительной отсрочки физического полового созревания.

На этой стадии сексуальная ориентация мальчика является фаллической. Хотя эрекции, бесспорно, случаются и раньше (либо рефлекторно, либо как явно сексуальные реакции на вещи и людей, которые заставляют ребенка испытывать сильные чувства), теперь развивается направленный интерес к гениталиям обоих полов, вместе со смутным, ненаправленным побуждением к совершению половых актов. Наблюдения за жизнью «примитивных» народов обнаруживают сцены половых сношений между трех-четырехлетними детьми - сцены, судя по сопутствующему хохоту, прежде всего игровой имитации. Такие откровенные и шутливые действия, вероятно, помогают ослабить напряжение потенциально опасного развития: концентрацию ранних сексуальных импульсов исключительно на родителях, особенно там, где существует полный запрет на сообщение подобного желания. Ибо возросшему локомоторному мастерству ребенка и его чувству гордости, вызванному тем, что он теперь большой и почти такой же умелый, как Отец и Мать, наносится жесточайший удар очевидным фактом: в половой сфере он значительно уступает родителям. И более того: даже в отдаленном будущем ему никогда не занять место этого отца в сексуальных отношениях с *этой* матерью (или место этой матери в сексуальных отношениях *с этим* отцом). Самые глубокие следствия такого прозрения и составляют, если воспользоваться термином Фрейда, эдипов комплекс.

Конечно, этот термин запутал дело, поскольку уравнивает то, что можно предполагать в детстве, с тем, что можно вывести из истории царя Эдипа. Иначе говоря, он устанавливает сходство между двумя неопределенностями. Сама же идея заключается в том, что Эдип, по незнанию убивший отца и женившийся на матери, стал мифологическим героем и вызывает сильное сострадание и ужас у театральных зрителей потому, что занять место отца и обладать матерью - всем присущее, но запретное желание.

В повседневной работе психоанализ подтверждает тот простой вывод, что мальчики адресуют свою первую половую любовь взрослым материнским фигурам, которые иным способом утешали их тела, и что мальчики обнаруживают первое сексуальное соперничество с теми, кто оказывается половым собственником этих материнских фигур. Другой вывод (к которому когда-то пришел Дидро): если бы маленький мальчик обладал возможностями мужчины, он бы силой взял мать и убил отца, - свидетельствует об интуиции и, все-таки, нелогичен. Если бы мальчик обладал такими возможностями, то не был бы ребенком и не испытывал бы нужды оставаться с родителями, а значит, мог бы предпочесть иные сексуальные объекты. Фактически, инфантильная генитальность находится под арестом защитников детства и его идеалов и, отсюда, испытывает серьезные осложнения.

Интрузивный модус, господствующий в большей части поведения на этой стадии, служит характерным признаком целого ряда конфигурационно «подобных» активностей и фантазий. Все они включают интрузию (вторжение) в другие тела посредством физической атаки: вторжение в уши и умы других людей с помощью агрессивного, напористого говорения; вторжение в пространство посредством энергичной локомоции; вторжение в неизвестное благодаря неуемному любопытству. В общем, достаточно очевидно, что детям на этой стадии половые акты взрослых видятся опасными актами взаимной агрессии. Даже в тех случаях, когда идет групповая сексуальная игра, ребенок, по-видимому, интерпретирует половые акты старших членов семьи как интрузивные со стороны мужчины и как инкорпоративные, в паучьей манере, со стороны женщины; и это чаще случается тогда, когда взрослую половую жизнь окружает темнота, когда сопровождающие ее звуки истолковываются как выражение боли, когда дети тайком наблюдают менструальную кровь и когда они ощущают неприязнь и раздражение у недостаточно удовлетворенных родителей.

Девочки приобретают на этой стадии важный опыт в том смысле, что должны понять непреложность следующего факта: хотя их локомоторная, умственная и социальная интрузивность равным образом увеличивается и столь же адекватна, как интрузивность мальчиков, у них нет одной штуки: пениса. Тогда как мальчики имеют этот видимый, способный напрягаться и понятный орган, у девочек клитор не в состоянии поддерживать мечты о сексуальном равенстве. И груди, как сопоставимо заметный признак их будущего, у них пока еще не развиты, а материнские инстинкты переводятся в игровую фантазию или уход за малышами. Там, где нужды хозяйственной жизни и мудрость ее социального устройства делают женскую роль, ее особые полномочия и вознаграждения понятными, конечно, все это легче интегрируется - и создается женская сплоченность. В противном случае девочка

склонна развивать, наряду с основными модусами *женской инцепции* и материнской *инклюзии*, либо дразнящую, требующую, цепкую позицию, либо прилипчивую и чрезмерно зависимую детскость.

Итак, наша карта близка к завершению (рис. 4 и 5). На рис. 4 (для мальчиков) и рис. 5 (для девочек) мы добавляем IV слой - локомоторно-генитальную стадию, на протяжении которой модус интрузии (5) обнаруживается в изобилии ходьбы, агрессивном умонастроении и сексуальных фантазиях и действиях. Оба пола участвуют в общем развитии локомоторных и интрузивных паттернов, хотя у девочек паттерны требующей и ласкающей инцепции (1, 2) развиваются в пропорции, определяемой предшествующим опытом, темпераментом и культурным акцентом.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 5 показывает психосексуальный прогресс девочки на IV стадии как частичное возвращение к инкорпоративным модусам, первоначально развиваемым на оральном и сенсорном уровнях. Я полагаю, это не случайный результат нашего метода картирования. Ибо девочка на IV стадии противопоставляет потенциально более энергичной мышечной жизни мальчика потенциальность более богатого сенсорного различения и воспринимающих и принимающих черт будущего материнства. Она склонна стать еще более зависимой и более требующей; и, фактически, ей позволяют это сделать, за исключением тех случаев, когда культура предпочитает развивать вспомогательный модус интрузивного и явно локомоторного поведения (IV_5). Позднее мы вернемся к той общей эксплуатируемости, которая стала уделом женщины вследствие близости ее генитальных модусов (инцепции, инклюзии) модусам оральности (инкорпорации).

Локомоторно-генитальная стадия добавляет к инвентарю основных социальных модальностей обоих полов модальность «делания» («making») в смысле «занятия чем-либо исключительно с целью достижения личного успеха, выгоды, преимущества и т. д.» Нет более простого и выразительного слова, которое бы так подходило к набору перечисленных ранее социальных модальностей. Оно наводит на мысль о лобовой атаке, наслаждении состязанием, упорстве в достижении цели, радости победы. У

мальчика сохраняется акцент на «делании» фаллически-интрузивными способами; у девочек он раньше или позже смещается к «деланию» либо посредством приставания и провоцирования, либо с помощью более мягких форм «заманивания в ловушку», то есть посредством делания себя привлекательной и внушающей любовь. Таким образом, ребенок развивает предпосылки *инициативы,* или необходимые условия отбора целей и упорства в их достижении.

Однако эта общая готовность к инициативе сразу встречает своего заклятого врага в неизбежности отсрочивания и замещения ее сексуального ядра; ибо оно оказывается и биологически незрелым, и культурно отвергаемым вследствие табу инцеста. «Эдиповы» желания (столь просто и доверчиво выражаемые в заверениях мальчика, что он женится на матери и заставит ее гордиться им, равно как и в заверениях девочки, что она выйдет замуж за отца и будет гораздо лучше о нем заботиться) ведут к неотчетливым, смутным фантазиям, граничащим с убийством и насилием. Следствием этого является глубокое чувство вины - странное чувство, поскольку оно, вероятно, постоянно подразумевает, что индивидуум совершил преступление, которое, в конце концов, не только не совершалось, но было в принципе невозможным по биологическим причинам. Тем не менее, такая затаенная вина также помогает направить всю силу инициативы и энергию любопытства на подходящие идеалы и ближайшие практические цели, на познание мира фактов и методов делания вещей (а не «делания» людей).

Все это предполагает, что идет поиск устойчивого разрешения третьего нуклеарного конфликта, а именно, конфликта между *инициативой и чувством вины* (мы обсудим его в главе, посвященной эго).

На этом заканчивается наше переложение теории инфантильной сексуальности, которая на самом деле является теорией прегенитальных ступеней, ведущих к рудиментарной генитальности. Но мы должны дополнить и текст, и карту описанием дальнейшего развития. Речь пойдет о рудиментарном генеративном модусе, представляющем смутное предчувствие того обстоятельства, что генитальность имеет прокреативную функцию. В четвертом (заключительном) разделе этой главы мы приведем данные о том, что мальчики отличаются от девочек не только органами, возможностями (capacities) и ролями, но и специфичностью субъективного опыта (о чем клиницисту известно и с чем он работает, даже если не всегда знает, как это концептуализировать). Такая специфичность опыта - результат работы эго по организации всего того, что человек имеет, чувствует, предвидит. Тогда явно недостаточно характеризовать пол, указывая лишь на то, чем различаются мужчина и женщина, хотя такое различие дополнительно подчеркивается культурными ролями. Скорее, каждый пол характеризуется уникальностью, которая включает и его отличия от противоположного пола, но не складывается из них. В ее основе лежат предобразованные функции будущего осеменителя и будущей роженицы, независимо от системы разделения труда и типа культуры. Здесь модусы интрузии и инклюзии поляризуются, обслуживая произведение и рождение потомства.

В V слое карты (рис. 4 и 5) предвосхищается рудиментарная «генитальная стадия». Дополнительный маленький кружок внутри мужского и женского организмов обозначает два новых модуса: женский генеративный ($V_Ж$) и мужской генеративный ($V_М$); и передает ту истину, что женская инклюзия и мужская интрузия все больше и больше ориентируются на смутно угадываемую внутреннюю потенциальность, а именно, на объединение яйцеклетки и спермы в акте произведения потомства.

Несмотря на то, что наш метод развертывания карты был аддитивным, как если бы на каждой стадии появлялось что-то совершенно новое, получившуюся теперь полную карту следует рассматривать как репрезентацию последовательной дифференциации частей, каждая из которых существует в некоторой форме с самого начала и до конца, причем всегда внутри органического целого - созревающего организма. В этом смысле правомерно допустить, что добавленные последними модусы (мужской и женский генеративный) были центральным, хотя и рудиментарным фактором на всем протяжении более раннего развития. [Итак, наша карта составлена. Многим (и мне в том числе) она временами будет, вероятно, казаться непривлекательно стереотипным, шаблонным способом объяснения феноменов развития. Такая стереотипность до некоторой степени вызвана происхождением этой карты из клинического наблюдения. Но ведь именно из клинического наблюдения берет начало и наша книга: и нам не следует слишком легко отказываться от того, что однажды доказало свою полезность при упорядочивании данных наблюдения.

Если, например, карта изображает *инцептивный и инклюзивный* модусы как реставрацию *инкорпоративных* модусов, было бы хорошо поразмышлять как над социальным, так и над клиническим подтекстом этого. Ибо подобная реставрация говорит о тенденции к соответствующей рекапитуляции темы младенческой *зависимости,* как в смысле (регрессивной) потребности быть

зависимым, так и в смысле (прогрессивной) способности к производящей заботе об иждивенцах. В некоторых системах культуры эта тенденция, в свою очередь, может создавать основу для особенной эксплуатируемости женщины как существа, которое остается иждивенцем (сохраняет зависимость) и имеет дело главным образом с иждивенцами; тогда как у мужчины соответствующий страх регрессивной зависимости может вести к сверхкомпенсации в неумеренно интрузивных стремлениях. Должно быть, необходимо понять, что это происходит в несознаваемой дифференциации и совместной идентификации, прежде чем освобождение от эксплуатируемости и от потребности эксплуатировать окажется действительно возможным. Насколько применимо понятие выразительности модуса (mode-emphasis) к неклиническим данным, станет ясно из заключительного раздела этой главы, тогда как о его применимости к культурным феноменам говорится во второй части книги.]

Г. Прегенитальность и генитальность

Всякая система должна иметь свою утопию.

Для психоанализа такой утопией является «генитальность». Сначала под ней понимали интеграцию прегенитальных стадий до точки совершенства - высшей ступени, которая позднее (после пубертата) обеспечивала бы три трудных примирения: 1) примирение генитального оргазма и экстрагенитальных сексуальных потребностей; 2) примирение любви и сексуальности; 3) примирение сексуальных, прокреативных и связанных с продуктивным трудом паттернов.

Фактически, при близком рассмотрении оказывается, что все невротики испытывают затруднения в сексуальных циклах: половые расстройства возникают у них, когда они только делают предложения потенциальным партнерам, когда начинают, совершают, либо завершают половой акт или когда отворачиваются от соответственных «органов» и от партнера. Здесь следы прегенитальности оказываются наиболее очевидными, хотя и редко сознаваемыми. Невротичные люди, вместо наслаждения взаимностью генитальных паттернов, в глубине души, вероятно, предпочли бы инкорпорацию или ретенцию, элиминацию или интрузию. Многие другие скорее предпочли бы быть зависимыми или ставить кого-то в зависимость, губить или погибать, чем зрело любить, - и это часто без видимых невротических нарушений, поддающихся какой-либо классификации, диагностике и лечению. Бесспорно, забавная сексуальная игра лучше всего подходит для того, чтобы уделить внимание прегенитальным остаткам. Но связи секса и игры, игры и работы, работы и секса требуют более позднего и более обстоятельного обсуждения.

Здесь же нашей картой можно воспользоваться для классификации направлений нарушения генитальности, вызываемого прегенитальной девиацией. На рис. 4 модус феминной прокреации ($V_Ж$), а также модусы V_1 и V_2 не следует понимать слишком буквально. Рудименты желания произвести на свет потомство (= родить) утилизируются в идентификации с женщиной и в поддержке женщины, а также поглощаются в творчестве. Что касается рецептивных тенденций, то мужской орган не имеет морфологического сходства со ртом, хотя вокруг и позади корня полового члена находятся рудименты женского органа; именно эта зона эротизирована у пассивно-рецептивных мужчин. В противном случае, вступить во владение сексуальными остатками инкорпоративных желаний мужчины должны рот и анус. Модус V_1, окажись он доминирующим или столь же влиятельным, как и V_5, означал бы акцентирование генитальной рецептивности - желание получать, но не давать. Тогда как доминирование V_2 указывало бы на «самку» мужского пола (male «bitch») - например, гомосексуалиста, стремящегося к половым сношениям с мужчинами с целью (более или менее сознательной) поймать в ловушку их энергию (power). Модус V_3 подразумевал бы ретентивную, а V_4 - элиминативную акцентуацию генитального поведения мужчины, откуда берут начало такие формы эякуляции, как задержанная и неполная, преждевременная и «текучая» («flowing»). Модус V_5 уже был охарактеризован нами как фаллически-агрессивный аттитюд. Кроме того, эти девиации можно проследить в обратном направлении вдоль вертикальных путей фиксации модуса до других зон, из которых они берут начало, и к которым они имеют тенденцию регрессировать. Конечно, в зрелой мужской сексуальности все эти модусы должны интегрироваться и признать господство мужского прокреативного модуса ($V_М$).

Последний слой на рис. 5 имеет двойное применение: к половой жизни и к деторождению (и уходу за ребенком). Модус $V_Ж$ был сформулирован как господствующая конечная позиция. Модусы V_1, V_2 рассматривались нами как наиболее распространенная девиация: относительная фригидность в сочетании либо с сексуальной алчностью (в ее худшем варианте - неспособности отдаваться генитально, а значит и вознаграждать действия мужчины, которых, тем не менее, такая женщина требует, часто дразня и провоцируя «избранника»). V_3 - это неспособность расслабиться настолько,

чтобы позволить мужчине начать, дать ему возможность почувствовать себя уверенно или проявить всю силу чувств. V_4 - элиминативная генитальность - выражается в частых оргастических спазмах, которые не складываются в одно адекватное переживание (experience). V_5 - неперестраиваемая фаллическая позиция, выражающаяся в исключительно клиторальном эротизме и во всевозможных формах интрузивного принуждения. V_M у женщины - это такая способность идентифицироваться с прокреативной ролью мужчины и участвовать в ней, которая делает женщину понимающим товарищем и уверенным наставником сыновей. К тому же у женщин, как и у мужчин, творчество требует определенной пропорции V_M и $V_Ж$.

Общее для мужской и женской карт правило гласит: все девиации, при условии подчинения господствующему модусу, столь же нормальны, сколь и часты. В тех случаях, когда девиации замещают собой нормальный господствующий модус, они приводят к несоответствиям в совокупном либидинальном хозяйстве, что не может продолжаться сколько-нибудь долго без существенного искажения социальных модальностей индивидуума. Это, в свою очередь, не может происходить слишком часто без искажения социальной жизни группы, если только группа не способна, на время, справиться с проблемой посредством образования организованных подгрупп девиантов.

Однако только ли ради генитальности существует прегенитальность? По-видимому, нет. Фактически, истинной сущностью прегенитальности, видимо, выступает абсорбция либидинальных интересов в раннем столкновении созревающего организма с индивидуальным стилем ухода за ребенком и в преобразовании его врожденных форм достижения (агрессии) в социальные модальности определенной культуры.

Давайте снова начнем с того, что, казалось бы, служит биологическим началом. Когда мы говорим, что животные обладают «инстинктами», то подразумеваем, что по крайней мере более низкие в эволюционном отношении виды располагают относительно ранними, относительно врожденными и готовыми к употреблению способами взаимодействия с тем сегментом природы, в качестве части которого они выжили. Эти паттерны широко варьируют от вида к виду, но внутри одного вида остаются чрезвычайно негибкими; животные способны научаться очень немногому. Здесь приходит на ум история с ласточками из Англии, которые были завезены в Новую Зеландию тоскующими по родине эксангличанами. С наступлением зимы все они улетели на юг и больше не возвращались, ибо их инстинкты указывали южное, а не теплое направление. Давайте не забывать, что наши прирученные животные и домашние питомцы, кого мы так легко принимаем за мерило животного мира, - это тщательно отобранные и чистопородные существа, которые научаются служить нашим практическим и эмоциональным нуждам в той мере, в какой мы заботимся о них. То, чему они научаются от нас, не увеличивает их шансы выживания в любом сегменте природы или во всяком взаимодействии с себе подобными. В данном контексте нас интересует не столько то, чему может научиться отдельное животное, сколько то, чему вид способен обучать свой молодняк из поколения в поколение.

У высших видов животных мы наблюдаем *разделение инстинкта* (используемый термин аналогичен термину «разделение труда»). Здесь речь идет о совместном регулировании инстинктивного стремления детеныша к контакту и инстинктивного предоставления контакта родителем, которое завершает приспособительное функционирование у детеныша. Было замечено, например, что некоторые млекопитающие могут научиться дефекации, только если мать вылизывает ректальное отверстие своего детеныша.

Можно было бы предположить, что человеческое детство и обучение человеческого детеныша есть просто высшая форма такой инстинктивной реципрокности. Однако влечения, с которыми человек появляется на свет, - это не инстинкты; равно как и комплементарные влечения его матери нельзя считать всецело инстинктивными по природе. Ни те, ни другие не несут в себе паттернов завершения, самосохранения, взаимодействия с каким-либо сегментом природы; их должны еще организовать традиция и совесть.

Как животное, человек ничего не значит. Бессмысленно говорить о ребенке так, как если бы это было животное в процессе приручения; или говорить о его инстинктах как о наборе паттернов, подверженных вторжению или блокированию со стороны автократической среды. «Врожденные инстинкты» человека - это фрагменты влечения, которые собираются, наделяются значением и организуются в течение длительного детства методами ухода за ребенком и его дисциплинирования, варьирующими от культуры к культуре и определяемыми традицией. В этом кроется его шанс как организма, как члена общества и как индивидуума. В этом же заключается и его ограниченность. Ибо, если животное выживает в тех случаях, когда его сегмент природы остается достаточно предсказуемым, чтобы соответствовать врожденным паттернам его инстинктивной реакции, или когда эти реакции

содержат в себе основы для необходимой мутации, человек выживает только тогда, когда традиционное детское воспитание снабжает его совестью, которая будет руководить им, не подавляя, и которая настолько тверда и одновременно гибка, чтобы приспосабливаться к превратностям исторической эпохи. Для достижения этой цели детское воспитание утилизирует те темные *инстинктуальные* (сексуальные и агрессивные) силы, которые наделяют энергией инстинктивные паттерны (животных), а у человека, именно вследствие его минимального *инстинктивного* оснащения, оказываются высокомобильными и чрезвычайно пластичными. [Что касается попыток пересмотра и прояснения психоаналитической теории инстинктов, см.: H. Hartmann, E. Kris and R. Loewenstein, *The Psychoanalytic Study of the Child*, Vols. I-IV, International Universities Press, New York, 1945-49.]

Здесь мы просто хотим достичь начального понимания (и согласования) графика прегенитальности и систематической взаимосвязи ее модусов органа, создающих ту базисную ориентацию, которую организм или его части могут испытывать к другому организму или его частям и к миру вещей. Наделенное органами существо может вбирать в себя объекты или другие существа, может удерживать их или выпускать, а может и само проникать в них. Существа с органами способны также выполнять такие модальные действия с частями другого существа. Человеческое дитя за свое долгое детство усваивает эти модусы физического подхода, а с ними - и модальности социальной жизни. Ребенок научается жить в пространстве и времени, так же как он научается быть организмом в пространстве - времени его культуры. Каждая усваиваемая таким образом частная функция базируется на интеграции всех модусов органа друг с другом и с образом мира соответствующей культуры.

Если в качестве частной функции мы возьмем интеллектуальную деятельность, то обнаружим, что она либо составляет целое с модусами органа, либо будет искажаться ими. Мы воспринимаем информационное сообщение; по мере того, как мы его принимаем (= инкорпорируем), мы интуитивно схватываем то, что кажется заслуживающим присвоения; усваивая такую информацию, мы пытаемся понять ее по-своему, сравнивая с другими порциями информации; удерживаем одни части сообщения и отбрасываем (= элиминируем) другие; наконец, мы передаем сообщение другому лицу, в интеллектуальном аппарате которого соответствующее усвоение или оплодотворение повторяется. И так же как модусы взрослой генитальности могут нести более или менее искажающий отпечаток ранних опытов модуса органа, так и интеллектуальность человека - к радости или к огорчению - может характеризоваться недоразвитием или сверхразвитием того или иного из основных модусов. Кто-то набрасывается на знания столь же жадно, как та коза (персонаж комиксов), которую другая спрашивала, удалось ли ей съесть за последнее время свежую книгу. Кто-то затаскивает свои знания в угол и грызет их там, как кость. Еще кто-то превращает себя в склад информации, вообще не надеясь когда-либо переварить ее. Некоторые же предпочитают источать и расточать информацию, которая не усвоена, и неусваиваема. А интеллектуальные насильники упорствуют в том, чтобы их мнения считались обязательными, пробивая защиту невосприимчивых слушателей.

Однако все это - карикатуры, лишь иллюстрирующие тот факт, что не только зрелые половые сношения, но и любой другой тип связей развивается на основе правильной (или неправильной) пропорции прегенитальных модусов органа, и что каждую форму связи можно охарактеризовать относительной взаимностью модусов подхода или односторонними формами агрессии. Чтобы установить конкретную пропорцию, социетальный процесс использует раннюю сексуальную энергию, так же как ранние модусы подхода. Он доводит дело до конца благодаря традиционному воспитанию фрагментарных влечений, с которыми человеческое дитя появляется на свет. Другими словами, там, где фрагменты инстинкта у детеныша млекопитающих животных собираются (относительно) более полно за (относительно) более короткое время посредством инстинктивной заботы со стороны его родителей, гораздо более фрагментарные паттерны человеческого дитя находятся в зависимости от предписаний традиции, которая направляет и наделяет значением родительские реакции. Исход этого более вариабельного завершения паттернов влечения посредством традиции (знаменитого как раз совместными достижениями и изобретательными специализациями и усовершенствованиями) навсегда привязывает индивидуума к традициям и институтам социального окружения его детства и оставляет незащищенным перед (не всегда логичной и справедливой) автократией его внутреннего правителя - совести.

4. Генитальные модусы и пространственные модальности

Эта глава начиналась двумя клиническими эпизодами, где было показано, что зоны и модусы имеют влияние на игру, а также на симптомы и поведение двух маленьких пациентов. Я намерен

закончить ее результатами наблюдений, полученных на большой выборке детей - не пациентов, а испытуемых, участвовавших в генетическом исследовании, выполненном в Калифорнийском университете. [J. W. Macfarlane, Studies in Child Guidance. I. Methodology of Data Collection and Organization. Society for Research in Child Development *Monographs*, Vol. III, № 6, 1938.] К тому же, эти дети вышли из возраста игр. Десяти-, одиннадцати- и двенадцатилетних, их уже опрашивали и наблюдали регулярно в течение десятилетия, а все различные аспекты роста и развития их тел, умов и личностей тщательно протоколировались. Когда я присоединился к проводившей это исследование группе, чтобы проанализировать их записи, мы сочли интересным проверить на большой выборке клиническое утверждение, служащее основанием для таких наблюдений, как наблюдение игры Питера и Энн, а именно, что наблюдение игры может добавить важные указания (pointers) к доступным из других источников данным. Снабдит ли меня имеющаяся в распоряжении процедура образцами игры, которые могли бы служить реальными ключами к данным, накопленным в отчетах по этому исследованию? Может быть то, о чем я узнал из историй болезни, здесь удалось бы применить к продолжающимся историям жизни?

Я установил игровой стол со случайным набором игрушек и приглашал участвующих в исследовании мальчиков и девочек подойти к нему и вообразить, что стол - это киностудия, а игрушки - актеры и декорации. Затем просил их «создать на столе захватывающую сцену из воображаемого кинофильма». (Каждый выполнял мое задание в одиночку, т. е. игра была индивидуальной.) Такая инструкция давалась с целью избавить этих детей, большинству которых уже исполнилось одиннадцать лет, от «оскорбительного» предложения играть с «детским барахлом»; в то же время предполагалось, что инструкция такого рода будет достаточно безличным «стимулом» для нестесненного самосознанием использования воображения. Но здесь нас сразу ждал сюрприз: хотя за полтора с лишним года около 150 детей построили примерно 450 сцен, лишь полдюжины из них оказались киносценами и только несколько кукол были названы именами конкретных актеров. Вместо этого дети выстраивали свои сцены так, как если бы руководствовались внутренним замыслом, рассказывали короткую историю с более или менее увлекательным сюжетом и оставляли меня перед задачей раскрыть, что (если вообще что-то) эти конструкции могли «значить». Я помнил однако, что за несколько лет до исследования детей, когда я испытывал аналогичный метод на меньшей группе специализировавшихся по английскому языку и литературе студентов Гарварда и Рэдклиффа, просив их придумать «драматическую» сцену, ни одна сцена не напоминала творений Шекспира или какого-то другого драматурга. Судя по всему, такие неопределенные инструкции действительно совершают то, что поощрение «свободно ассоциировать» (то есть позволять мыслям блуждать, а словам течь без самоцензуры) производит в психоаналитическом интервью, так же как и предложение поиграть - в интервью с детьми, а именно, - создают тенденцию к появлению с виду произвольных тем, которые при более тщательном изучении оказываются тесно связанными с движущими силами истории жизни конкретного человека. И то, что я стал называть «уникальными элементами», в данном исследовании часто служило ключом к искомому значению. Например, один из немногих участвовавших в исследовании цветных мальчиков (к тому же, самый маленький из них) оказался единственным ребенком, построившим свою сцену под столом. Тем самым мальчик представляет полное и оттого приводящее в уныние доказательство значения своей улыбчивой кротости: он «знает свое место». Или возьмем единственную сцену, в которой стул задвинут под рояль, так что совершенно ясно - никто не играет. Поскольку построившая эту сцену девочка - единственная испытуемая, чья мать была музыкантом, предположение о том, что функциональное значение громких музыкальных звуков в ее детстве (при подтверждении другими данными) заслуживает нашего внимания, становится правдоподобным. Наконец, упомянем об одном из главных случаев, где ребенок (девочка) выдает в игре осведомленность в чем-то таком, чего, как предполагалось, она не знает. Об этой девочке, которая тогда страдала злокачественным заболеванием крови и, увы, теперь уже умерла, нам было сказано, будто ей неизвестно, что ее жизнь поддерживается только благодаря новому медицинскому препарату, в то время еще проходившему испытания. Она оказалась единственной девочкой, построившей руины и поместившей в центре развалин игрушечную «девочку, которая чудом ожила после того, как ее принесли в жертву богам». Приведенные примеры не затрагивают трудной проблемы интерпретации бессознательного содержания; они только показывают, что подобные сцены достаточно часто оказываются тесно связанными с жизнью. Но и это тоже не будет предметом ближайшего обсуждения. Здесь я намерен рассмотреть лишь проявления силы модусов органа в пространственных модальностях.

Чтобы передать степень моего удивления при обнаружении модусов органа среди того, что (в противоположность *уникальным* элементам) я стал называть *общими* элементами в конструкциях этих

детей, нужно признаться в том, во что, вероятно, трудно поверить: я ни на что особенное не рассчитывал и, фактически, был движим удовольствием от свежести опыта работы с таким количеством детей, к тому же здоровых. Готовность удивляться относится к профессиональным качествам клинициста; ибо без нее клинические «данные» вскоре утратили бы поучительное качество новых (или правдиво подтверждающих) находок.

По мере того, как дети - один за другим - сосредоточивались с ответственностью мастера на своих конфигурациях, которые должны были стать «совершенно правильными», прежде чем можно было бы объявить о выполнении задания, я постепенно начал сознавать, что приучаюсь ожидать различных конфигураций от мальчиков и девочек соответственно.

В качестве примера, приводящего нас непосредственно к модусу женской инклюзии (IV_1), укажем, что девочки гораздо чаще мальчиков устраивали комнату в виде расставленной по кругу мебели, без стен. Иногда такая круглая конфигурация из мебели подавалась так, будто в нее вторгается что-то угрожающее (хотя бы и смешное), например, поросенок (см. рис. 6) или «отец, возвращающийся домой верхом на льве». Однажды мальчик выстроил такую «феминную» сцену с дикими зверями в роли незванных гостей, и я ощутил неудобство, которое, как полагаю, часто выдает экспериментатору наличие у него сокровенных ожиданий. И на самом деле, уходя, уже у самой двери, мальчик воскликнул: «Здесь что-то не так», вернулся и с видом облегчения расположил зверей по касательной к окружности из мебели. Только один мальчик построил и оставил без изменений такую конфигурацию, причем дважды. Он страдал ожирением и имел женоподобное сложение. Когда гормональная терапия начала давать желаемый эффект, он возвел в своей третьей конструкции (через полтора года после первой) самую высокую и самую тонкую из всех башен, какую только можно было ожидать от мальчика.

Рис. 6

То, что башня этого мальчика теперь, когда он сам, наконец, стал стройнее, оказалась самой тонкой - это один из тех «уникальных» элементов, который дал возможность предположить, что в какой-то мере ощущение телесной стороны своей персоны повлияло на пространственные модальности создаваемых ребенком конструкций. Отсюда один шаг до предположения, что модальности, *общие* для одного из двух полов, могут в известной степени выражать чувство пола - мужского или женского. Вот когда я почувствовал симпатию к кубикам за их податливость методам обработки материалов исследования, в которое мы пустились. Ибо строительные кубики оказываются не требующим слов средством, легко поддаются подсчету, измерению и сравнению там, где дело касается пространственной аранжировки. В то же время кубики кажутся настолько безлично-геометрическими, что (вероятно) в наименьшей степени подвергаются влиянию смыслов. Кубик есть кубик и почти ничего, кроме кубика. Тем более поразительно (если не считать это просто функцией различия в темах), что мальчики и

девочки отличались друг от друга и по *количеству* используемых кубиков, и по создаваемым *конфигурациям*. [M. P. Honzik, «Sex Differences in the Occurrence of Materials in the Play Constructions of Preadolescents», *Child Development*, XXII, 15-35.]

Итак, я решил обозначить эти конфигурации такими простейшими терминами, как башни, здания, улицы и переулки, сложные и простые ограды, интерьеры в стенах и без стен. Затем я дал фотографии игровых сцен двум объективным наблюдателям [Frances Orr and Alex Sherriffs.], чтобы посмотреть, смогут ли они согласиться с наличием или отсутствием таких конфигураций (или их комбинаций). Совпадение их мнений действительно оказалось «значимым», после чего, опираясь на оценки наблюдателей (не знавших о моих ожиданиях), можно было установить, как часто эти конфигурации встречались в конструкциях мальчиков и девочек. Здесь я резюмирую в общих словах их выводы.

Читатель может принять к сведению, что каждая упомянутая конфигурация в принадлежащих определенному полу конструкциях отнимает больше (и часто - значительно больше) двух третей рабочего времени ребенка, а оставшаяся треть обычно отводится на подчеркивание особых обстоятельств, которые нередко демонстрируются, чтобы «подтвердить правило».

Самым существенным половым различием оказалась склонность мальчиков сооружать различные строения, дома, башни или улицы (см. рис. 7), при склонности девочек использовать игровой стол как интерьер дома с незатейливыми конструкциями из малого количества кубиков или вообще без них.

Рис. 7

Далее, в конфигурациях мальчиков преобладали высокие строения. Однако противоположность возвышению, то есть *падение,* было в равной мере типичным для них: развалины или рухнувшие строения встречались только у мальчиков (выше я указал единственное исключение). В связи с самыми высокими башнями систематически проявляется что-то вроде понижательной тенденции, но в таких разных формах, что ее можно проиллюстрировать лишь с помощью «уникальных» элементов. Один мальчик после долгих колебаний разобрал чрезвычайно высокую и прочно сложенную башню, чтобы выстроить окончательную конфигурацию в виде простого и низкого сооружения без какого-либо «волнующего» содержания; другой весьма ненадежно сбалансировал свою башню и указал на то, что прямая угроза падения и есть «захватывающий» элемент в его истории (на самом-то деле именно в этом падении *состояла* его история). Третий мальчик, построивший особенно высокую башню, положил у ее основания игрушечного мальчика и пояснил, что тот упал с ее вершины; четвертый оставил кукольного мальчика сидящим высоко на одной из нескольких искусно сделанных сложных башен, но заявил, что этот «мальчик» страдал психическим расстройством (рис. 7). Самую высокую башню построил самый низенький мальчик; а цветной мальчик, как уже отмечалось, построил свою сцену под столом. Все эти вариации бесспорно указывают на то, что *переменная «высокое-низкое»* является *маскулинной переменной*. Изучив ряд историй участвовавших в нашем исследовании детей, я осмелюсь дополнить этот основной вывод клиническим суждением: крайняя высота (в сочетании с элементом разборки или

падения) отражает потребность ребенка в сверхкомпенсации сомнения в собственной маскулинности или страха за свою маскулинность.

Сооружения мальчиков заключали меньше людей и животных внутри домов. Скорее они направляли в определенное русло движение автомобилей, животных и индейцев. И еще они блокировали дорожное движение: единственный игрушечный полицейский был как раз той куклой, которую чаще всего использовали мальчики! (Рис. 8)

Рис. 8

Девочки редко строили башни. А когда строили, то ставили их на заднем плане, вблизи стены или прямо прислонив к ней. Самая высокая башня, построенная девочкой, вообще находилась не на столе, а на полке, помещавшейся в нише за столом.

Если «высокое» и «низкое» - маскулинные переменные, то «открытое» и «закрытое» - феминные модальности. Интерьеры домов без стен создавались большинством девочек. Во многих случаях такие интерьеры носили явно мирный характер. Когда это был дом, а не школа, игрушечная девочка часто играла на фортепьяно: в высшей степени банальная «захватывающая киносцена» у девочек данного возраста.

Однако в ряде случаев встречалось нарушение спокойствия. Вбегающая в дом свинья вызывает в семье переполох и вынуждает девочку спрятаться за фортепьяно; учительница вскочила на стол, потому что в класс вошел тигр. Хотя пугаемые таким образом лица в большинстве своем оказываются женщинами, вторгающийся элемент - всегда мужчина, мальчик или животное. Если это, к примеру, собака, то это определенно собака мальчика. Довольно странно, однако, что идея вторгающегося живого существа не приводит к защитному возведению стен или запиранию дверей. Скорее, бОльшая часть подобных вторжений содержит элемент юмора и приятного возбуждения.

Простые огороженные места, с низкими стенами и без всяких украшений, были самыми многочисленными среди построенных девочками конфигураций. Однако такие примитивно огороженные места часто имели искусно сделанные входы-выходы (рис. 9), и это единственный элемент, который девочки заботливо строят и богато украшают. Блокирование входа или укрепление (наращивание) стен, как можно было обнаружить при дополнительном исследовании, отражает острую тревогу относительной женской роли.

Рис. 9

Самые существенные половые различия в использовании игрового пространства суммировались в следующих модальностях. У мальчиков характерными переменными оказались высота, падение, интенсивное движение (индейцы, животные, автомобили) и его направление по заданному руслу или задержка (полицейский); у девочек - статичные интерьеры, незатейливо огороженные, открытые, отличающиеся мирным характером или подвергающиеся вторжению. Мальчики украшали высокие строения, девочки - входы (выходы).

Теперь уже ясно, что пространственные тенденции, направляющие эти конструкции, напоминают о *генитальных модусах* (обсуждавшихся в этой главе) и фактически находятся в тесном соответствии с морфологией половых органов. У мужчины - это *наружные* половые органы, по своей природе *способные к напряжению и вторжению и проводящие* высоко *подвижные* сперматозоиды; у женщины - *внутренние* органы с вестибулярным *проходом*, ведущим к *неподвижно ожидающей* яйцеклетке. Служит ли это отражением острого и временного акцента на модальностях половых органов, который возникает вследствие переживания надвигающегося полового созревания? Моя клиническая позиция (и недолгое изучение «драматических постановок» студентов колледжа) склоняют меня считать, что господство генитальных модусов над модальностями пространственной организации отражает глубокое различие в чувстве пространства у двух полов, и что половая дифференциация как раз и обеспечивает наиболее убедительное различие в принципиальной схеме человеческого тела, а оно (различие), в свою очередь, соопределяет биологический опыт и социальные роли.

Конструктивную игру можно также рассматривать и как пространственное выражение множества социальных коннотаций. В таком случае, склонность мальчика изображать направленное наружу и вверх движение - это, возможно, лишь иное выражение сознаваемой им обязанности показать себя сильным и агрессивным, подвижным и независимым в нашем мире, достичь «положения в обществе». Репрезентация интерьеров дома у девочек (которая имеет ясный антецедент в их ранней игре с куклами) означала бы тогда, что они сконцентрированы на предвосхищаемой заботе о домашнем очаге и воспитании детей.

Однако эта распространенная интерпретация ставит больше вопросов, чем разрешает. Если, сооружая эти сцены, мальчики думают, главным образом, о своих теперешних и предвосхищаемых ролях, почему кукольные фигурки мальчиков чаще всего не используются ими? Полицейский - вот их любимая фигура; хотя можно с уверенностью сказать: мало кто из них видит себя в будущем полицейским или считает, что мы ожидаем от них подобного выбора. Почему мальчики не сооружают никаких спортивных площадок в своих конструктивных играх? При той изобретательности, рождаемой сильной мотивацией, это могло быть посильной задачей, в чем можно убедиться на примере постройки одного футбольного поля с трибунами для зрителей и всем прочим. Но оно было построено девочкой, которая в то время страдала ожирением, обладала мальчишескими ухватками и носила «неестественно короткую стрижку», что говорит об уникальной детерминации в ее случае.

Как уже упоминалось, во время начальных этапов нашего исследования мир вплотную подошел ко второй мировой войне, и она вспыхнула. Быть летчиком стало одной из самых сильных надежд многих мальчишек. Тем не менее, игрушечному пилоту они отдавали предпочтение лишь по сравнению с куклой-монахом, да еще пупсом; тогда как полицейский встречается в их игровых сюжетах в два раза чаще, чем ковбой - определенно более близкий ролевой идеал мальчишек американского запада, ибо именно ему они более всего подражают в манере одеваться и в привлекательных аттитюдах.

Если главная мотивация девочек состоит в любви и привязанности к их нынешним семьям и в ожидании появления собственных семей в будущем, помимо всех тех стремлений, которые, возможно, одинаковы у них с мальчиками, то этим еще не удается прямо объяснить, почему девочки обносят свои дома редкими и низкими стенами. Любовь к домашней жизни могла бы, предположительно, иметь результатом как раз прирост высоких стен и запертых дверей в качестве гарантов интимности и безопасности. Большинство кукол-девочек в этих мирных сценах играют на фортепьяно или спокойно сидят со своими домашними в гостиной. Действительно ли это можно рассматривать как репрезентацию желаемого ими поведения? И можно ли считать, что они стали бы делать то, что им хочется, когда их просили построить захватывающую киносцену?

Если фортепьянная игра маленькой девочки выглядит столь же характерной для репрезентации мирного интерьера в конструкциях девочек, как и перекрываемое полицейским дорожное движение в уличных сценах мальчиков, то можно предположить, что первая выражает *благополучие внутри дома*, а второе - *осторожность на улице*. Такой акцент на благополучии и осторожности в ответах на ясную инструкцию придумать «захватывающую киносцену» наводит на мысль, что в этих реакциях выражаются динамические переменные и острые конфликты, которые не объяснить теорией простого соответствия культурным и сознательным идеалам.

Тогда мы можем принять признаки модусов органа в детских конструкциях как напоминание о том, что наш жизненный опыт прочно связывается с основной схемой тела. За модусами органа и их анатомическими моделями мы видим намек на мужской и женский опыт пространства (experience of space). Его основные принципы станут яснее, если вместо простых конфигураций мы отметим те характерные функции, которые акцентируются в различных способах использования (или не использования) кубиков. Одни конструкции (дороги, туннели, перекрестки) служат *канализации* движения. Другие структуры являются выражением возводящей (поднимающей), *конструирующей* и *совершенствующей* (перерабатывающей) тенденции. С противоположной стороны, простые стены *включают и огораживают,* тогда как открытые интерьеры *безопасно содержат в себе* без необходимости исключать внешний мир.

Взятые вместе, структурированное пространство и описанные темы, говорят о том, что именно взаимопроникновение биологического, культурного и психологического составляет предмет этой книги. Если психоанализ и по сей день разграничивает психосексуальное и психосоциальное, я попытался в данной главе связать мостом эти два берега.

Культуры, как мы постараемся показать, развивают биологически данное и стремятся к разделению функций между полами таким образом, чтобы оно одновременно было осуществимо в рамках схемы тела, значимо для конкретного общества и выполнимо для индивидуального эго. [Что касается других результатов нашего исследования, то они освещены в «Sex Differences in the Play Configurations of Pre-Adolescents», *American Journal of Orthopsychiatry*, XXI, № 4 (1951) [Переработанные варианты этой статьи опубликованы в *Childhood in Contemporary Cultures*, Margaret Mead and Martha Wolfenstein, editors, University of Chicago Press, 1955 и в *Discussions of Child Development*, Vol. III; Tavistock Publications, London, 1958, and International Universities Press, New York, 1958].

Совсем недавно я имел возможность наблюдать начальные стадии исследования конструктивной игры у младших школьников в Индии. Первые впечатления показывают, что хотя общие характеристики их мира игры заметно отличаются от игрового мира американских детей (соответственно различиям в социальном мире), половые различия выражаются пространственными модальностями, описанными в этой главе. Однако, окончательный ответ должны дать дальнейшие исследования К. Сарабхаи (Kamalini Sarabhai) и ее коллег в B. M. Institute (г. Ахмадабад) - *Э. Г. Э.*]

Часть II. Детство у двух племен американских индейцев

Введение

Переходя от детей и больных к индейцам, мы следуем традиционным курсом современного исследования, ведущего поиск упрощенного проявления законов, по которым живет человек, в периферических относительно нашего сложного взрослого мира областях. Изучение стереотипии психического расстройства - одна из таких областей. Как говорил Фрейд, кристаллы обнаруживают свою невидимую структуру там и тогда, где и когда их разламывают. В области детства мы стремимся найти регулярности, изучая шаг за шагом, как из ничего развивается нечто или, по крайней мере, что-то более дифференцированное из чего-то более простого. Наконец, мы обращаемся к культурной примитивности в видимом младенчестве человечества, где люди кажутся - нам по крайней мере - то наивными, как дети, то ненормальными, как душевнобольные. Сравнительные исследования в трех областях продемонстрировали множество поразительных аналогий. Однако стремление пойти дальше и развить кажущийся параллелизм между совокупными человеческими обстоятельствами жизни дикаря и подобными обстоятельствами жизни ребенка или одержимого симптомом взрослого оказалось ошибочным. Теперь нам известно, что так называемые «примитивные» народы обладают своей собственной взрослой нормальностью, страдают своими собственными видами неврозов и психозов и, самое важное, имеют свои собственные разновидности детства.

Вплоть до последних десятилетий воспитание ребенка оставалось необитаемой антропологической территорией. Даже годами живущим среди туземных племен антропологам не удавалось увидеть, как эти племена воспитывали детей каким-то систематическим образом. Скорее, специалисты, вместе с широкой публикой, молчаливо допускали, что дикарям вовсе неизвестно воспитание детей и они растут «подобно детенышам животных» - представление, вызывающее у перегруженных обучением и воспитанием членов нашей культуры либо раздраженное презрение, либо романтический восторг.

Открытие «примитивных» систем детского воспитания ясно показывает, что примитивные сообщества не относятся ни к младенческим стадиям человечества, ни к вызванным задержкой отклонениям от олицетворяемых нами гордых прогрессивных норм. Они являют собой совершенную форму зрелой человеческой жизни, гомогенность и простая цельность которой вполне могли бы вызвать у нас в ряде случаев чувство доброй зависти. Давайте заново откроем для себя характерные особенности некоторых из этих форм жизни, изучая образцы, добытые в ходе наблюдений за жизнью американских индейцев.

Люди, собирательно называемые американскими индейцами, составляют сегодня весьма разнородное национальное меньшинство Америки. Как устойчивые сообщества индейские племена приходится признать вымершими. Правда, следы их неподвластных времени культур можно обнаружить и в древних реликтах на вершинах столовых гор, всего в нескольких милях от автобусных дорог, и в немногих величественных, но культурно мумифицированных личностях. Однако там, где древние индейские обычаи терпеливо поддерживаются правительственными агентствами или развиваются коммерцией ради туристского бизнеса, эти обычаи больше не составляют часть независимого общественного существования.

В таком случае можно спросить, почему я предпочитаю использовать племена американских индейцев в качестве иллюстрации к тому, что мне нужно рассказать, и не пользуюсь материалом, собранным другим исследователем в районах, которые до сих пор остаются первобытными? Мой ответ: потому что эта книга рассматривает не только факты, но и клинический опыт разыскания этих фактов; и за два моих самых поучительных опыта в этой области я обязан антропологам, предложившим мне пойти с ними и понаблюдать их любимые племена среди американских индейцев. Скаддер Микил познакомил меня с полевыми исследованиями, взяв с собой в резервацию индейцев сиу в Южной Дакоте, а Альфред Крёбер позже помог мне сделать образ сиу (которых слишком вольно считали «самым» индейским племенем) здраво компаративным. Он взял меня с собой к индейцам племени юрок, живущим на побережье Тихого океана и занимающимся ловлей рыбы и сбором желудей.

Эта обращенность к антропологии оказалась стОящей по ряду причин. Мои проводники предоставили в мое распоряжение свои личные записи и другие материалы еще до наших совместных поездок. Племена, о которых идет речь, были их первой и последней любовью в полевой работе; и эти два человека могли в личном общении спонтанно передать мне больше того, что они успели подготовить к публикации во время своих первых исследований. [A. L. Kroeber, «The Yurok», in *Handbook of the Indians of California,* Bureau of American Ethnology, Bulletin 78, 1925; H. S. Mekeel, *A Modern American Community in the Light of Its Past.* Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, Hale

University, 1932.] Они имели заслуживающих доверие и доверяющих им информантов среди старейших членов племени - единственных, кто мог помнить древние народные обычаи воспитания детей. И прежде всего, оба моих наставника имели некоторую психоаналитическую подготовку и были полны желания интегрировать ее со своей антропологической работой. Если я, отчасти, служил интегратором, то лишь потому, что как детский психоаналитик был близок к формулированию тех проблем и решений, круг которых очерчен в предыдущей главе. Чувствуя, что вместе нам, возможно, удалось бы спасти некоторые обделенные вниманием факты современной истории американских аборигенов, оба сводили меня со своими любимыми и наиболее подготовленными информантами в данной области и убеждали их говорить со мной столь же откровенно, как говорили бы с каждым из них, знай они, что спрашивать по поводу круга значимых для детства и общества проблем.

Глава 3. Охотники прерий

1. Исторические сведения

Во время нашего путешествия в Южную Дакоту Скаддер Микил был полевым уполномоченным Комиссара по делам индейцев. От нас крайне настоятельно и срочно требовалось выяснить, откуда берется то ужасное безразличие, с каким дети индейцев сиу спокойно принимали, а затем столь же спокойно отказывались от многих ценностей, которые им прививали в хорошо продуманном и дорогом эксперименте федерального управления образования индейцев. В чем заключалась ошибочность работы с индейскими детьми, было достаточно очевидно; для них существовало две правды: одна - белая, другая - индейская. Но именно благодаря изучению этого противоречия мы обнаружили следы того, что когда-то было правдой для детей прерии.

Чтобы сохранить верность клинической природе нашего исследования, я должен предварить материал о древнем детском воспитании, который будет здесь представлен, описанием множества привходящих обстоятельств. Для достижения расчищенного участка леса, где мы можем лучше увидеть проблему младенчества и общества, я должен провести читателя сквозь колючий подлесок современных расовых отношений.

Индейская резервация Пайн Ридж расположена вдоль границы со штатом Небраска в юго-западной части Южной Дакоты. Об этих бескрайних холмистых равнинах народное предание гласит:

The slow hot wind of summer and its withering
or again the crimp of the driving white blizzard
and neither of them to be stopped
neither saying anything else than:
«I'm not arguing. I'm telling you».
[Carl Sandburg, *The People, Yes*, Harcourt, Brasce, New York, 1936.]

Медленное дыхание знойного лета
Иль леденящий вихрь зимней бури, -
Ничто не остановит их круговращенья,
Они не просят позволенья, они - велят.

Здесь 8000 членов рода оглала пламени сиу (или дакота [«Дакота» и «сиу» употребляются здесь как синонимичные названия самого знаменитого племени степных (иначе, прерийных) индейцев-кочевников. Сиу - это сокращение от французского nedow-essioux, возникшего из исковерканного оджибвского Nadowe-Is-Iw, что означало «змеи», «гады». Таким ругательным прозвищем оджибва окрестили воинственных индейцев прерий. Вообще, ни одно индейское племя Северной Америки само себя «сиу» не называло. Те, кого европейцы наградили этим исковерканным французами именем, называли себя дакота - «союзники». См.: Стингл М. Индейцы без томагавков. - М, 1978. - С. 298. - *Прим. пер.*]) живут на земле, выделенной им властями. Когда индейцы поселились в этой резервации, они отказались от своей политической и экономической независимости в пользу правительства США на условиях, что оно не позволит белым охотиться и селиться на отведенных индейцам землях.

Вероятно, только самые неисправимые романтики еще надеются найти в сегодняшней резервации что-нибудь похожее на образ старых дакота, бывших когда-то воплощением «настоящего

индейца» - воина и охотника, наделенного силой духа, коварством и жестокостью. Изображение индейца сиу до недавнего времени украшало пятицентовую монету - странная дань странным отношениям, ибо побежденный предшественник занимает здесь место, зарезервированное для монархов и президентов. Но историческая реальность индейцев дакота происходит из далекого прошлого.

«Хорошей была жизнь на этих высоких равнинах Дакоты до того времени, как сюда пришли белые люди... Стада бизонов темными тучами проходили по пастбищам. Черные и Скалистые горы были густо населены оленями, бобрами, медведями и другой дичью... Голодная смерть обычно не навещала типи [Типи - конусообразные палатки из бизоньих шкур, служившие жильем прерийных индейцев. - *Прим. пер.*] индейцев.» [P. I. Wellman, *Death on the Prairie,* Macmillan, New York, 1934.]

Организованные в гибкую систему «отрядов» (bands), дакота в те давние времена преследовали бизонов в долгих скачках на лошадях по бескрайним просторам прерии. Периодически они собирались вместе в хорошо организованные лагеря, составленные из легких типи. Что бы они не делали сообща - собирались ли лагерем, устраивали большую охоту или танцевали - все строго регламентировалось. Но малые группы, раскрашенные и шумные, часто поддавались искушению отделиться от основного ядра, чтобы поохотиться на мелкую дичь, украсть лошадей и неожиданно напасть на врагов. Жестокость сиу вошла в поговорку у первых поселенцев. Сиу распространяли свою жестокость и на себя, когда, уединившись, подвергали себя мучениям, добиваясь указующего видения от Великого Духа.

Однако этот некогда гордый народ был осажден апокалипсической чередой катастроф, как если бы природа и история объединились для тотальной войны со своим чересчур мужественным детищем. Не следует забывать, что сиу пришли на высокие равнины с верховий Миссури и Миссисипи и организовали свою жизнь вокруг охоты на бизонов всего за несколько столетий до появления в этих краях белых поселенцев. Относительной молодостью приспособления сиу к местным условиям вполне можно объяснить то, что, по словам Уисслера: «Когда пропали бизоны, умер и сиу, этнически и духовно. Туша бизона давала не только пищу и материал для одежды, ложе и кров, тетиву для луков и нити для шитья, чашки и ложки. Из частей тела бизона изготавливали амулеты и украшения, а его помет, высушенный на солнце, зимой служил топливом. Объединения и времена года, обряды и танцы, мифология и игры детей превозносили его имя и образ». [C. Wissler «Depression and Revolt», *Natural History,* 1938, Vol. 41, №2.]

Исчезновение бизонов и стало первой катастрофой. Белые, стремясь проложить торговые пути к более богатым пастбищам Запада, разрушали охотничьи угодья и бестолково, забавы ради, тысячами убивали бизонов. В поисках золота они толпой хлынули в Черные горы - священные горы сиу, заказник и зимнее убежище одновременно. Сиу пытались оспаривать это нарушение ранних договоров с правительством, ведя переговоры с американскими генералами — «воин с воином», но убедились, что пограничный форт не знал ни федерального, ни индейского закона.

Последующие беспорядочные столкновения между индейцами и войсками не приводили к какому-то определенному результату вплоть до 1890 года, когда Седьмой кавалерийский полк отомстил за своего погибшего многими годами раньше товарища, генерала Картера, отличавшегося излишним рвением в истреблении индейцев. В побоище у Вундэд-Ни сотни индейцев сиу были уничтожены хорошо вооруженными солдатами (по 4 на каждого солдата), хотя большинство из них и не сопротивлялось. «Тела женщин и детей находили в двух-трех милях от места этой бойни, где их настигли и убили». [Wellman, *op. cit*] В 1937 году приколотые кнопками фотографии растерзанных женщин и детей все еще можно было увидеть на стенах единственной лавки и киоска с газированной водой в Пайн Ридж.

В течение этого исторического периода поиска новых принципов хозяйственной жизни сиу сталкивались с идущими одна за другой волнами разного рода новых американцев, которые олицетворяли собой беспокойные поиски белыми людьми пространства, власти и новой этнической идентичности. Странствующие трапперы и торговцы пушниной казались кочующим сиу вполне приемлемыми. Они разделяли установленное индейцами правило не причинять вреда зверю, снабжали их ножами и ружьями, бусами и чайниками; брали в жены индейских женщин и были нежными и преданными мужьями. Некоторые американские генералы тоже оказались полностью приемлемыми для индейцев и, фактически, почти обожествлялись ими только за то, что храбро сражались. Даже негритянская кавалерия вписывалась в систему ценностей сиу. Из-за впечатляющей внешности тех, кого лошади несли на спинах, кавалерии было дано дорогое индейцам имя «Черные Бизоны». Демонстрируемая квакерами и первыми миссионерами освященная вера в человека также не могла не произвести впечатление на благородных и религиозных вождей сиу. Однако в процессе поиска подходящих образов, связывающих прошлое с будущим, сиу нашли наименее приемлемым для себя

именно тот класс людей, которым было суждено приучать их к благам цивилизации, а именно, государственных служащих.

Молодая и бурлящая американская демократия утратила мир с индейцами, когда не сумев прийти к ясному плану - завоевать или колонизировать, обратить в свою веру или дать свободу, - предоставила делать историю случайной веренице своих представителей, преследовавших то одну, то другую из этих целей и демонстрировавших тем самым очевидную непоследовательность, которую индейцы истолковывали как ненадежность и нечистую совесть. Бюрократия - плохая замена политики, и нигде расхождение между демократической идеологией и практикой не обнаруживается столь очевидно, как в иерархии централизованной бюрократии. Индейцы постарше, кого воспитали в духе демократии охотника, нивелирующей каждого потенциального диктатора и каждого потенциального капиталиста, имели зоркий, если не сказать злобный, глаз. Трудно представить себе ту незащищенную и, тем не менее, ответственную роль, в которой оказывались агенты правительства в те времена. И несмотря на это, часть из них хорошо справлялась со своей задачей благодаря одной только гуманности.

Затем последовала партизанская война за детей, которая, по воспоминаниям старых индейцев, сделала начальную стадию федерального образования далеко не привлекательной. В ряде мест «детей, по существу, похищали из дома, чтобы насильно засадить в государственные школы; волосы коротко стригли, а индейскую одежду выбрасывали. Им запрещали говорить на родном языке. Жизнь в такой школе подчинялась воинской дисциплине, а соблюдения учениками правил добивались с помощью телесных наказаний. Тех же, кто упорно придерживался старого образа жизни, и тех, кто сбегал и был пойман, бросали за решетку. Возражавших родителей также отправляли в тюрьму. Когда было возможно, детей держали в стенах школы, чтобы избежать влияния их семей». [G. MacGregor, *Warriors without Weapons*, University of Chicago Press, 1946.] Эта общая установка полностью сохранялась до 1920 г.

В течение всего этого времени только один тип белого человека - ковбой - волновал воображение индейца до такой степени, что оказывал влияние на его одежду, манеру держать себя, привычки и игру детей. С 1900 по 1917 год сиу решительно пытались развивать скотоводство и стать владельцами стад крупного рогатого скота. Но Вашингтон, сознавая «превосходящие силы» эрозии почв и интересов скотоводов Среднего Запада, был вынужден издать декрет, по которому сиу не могли быть ковбоями на отведенных им правительством землях. Потеря своих стад, быстро увеличившихся, а позднее - земельный бум, сделавший из неготовых к нему сиу мелких расточителей капитала, стали новыми катастрофами, по психологическому значению равными пропаже бизонов. Тогда неудивительно, почему некоторые мессионеры убеждали орлиноносых сиу, что они последнее колено израилево, и что на них лежит вечное Божье проклятие.

Вслед за этим наступил самый близкий к нашему времени период, когда индейцы сиу были обязаны становиться фермерами на отведенных им землях, уже настолько испорченных эрозией, что еще немного - и они превратятся в громадную пустыню. Даже сегодня только малая часть этих земель пригодна для посева пшеницы, кукурузы и других зерновых.

В таком случае понятно, почему сиу постоянно и безрезультатно обвиняли правительство США в нарушении обещаний и в административных ошибках прежних режимов. Что касается белых, то случаи заблуждений и вероломства никогда не отрицались даже теми, кто невольно или от бессилия допускал и то, и другое. Доклады американских генералов правительству и отчеты комиссаров по делам индейцев Конгрессу США говорят о глубоком чувстве стыда, которое эти люди испытывали, выслушивая благородные упреки старых индейцев. Фактически, совесть американского народа временами так легко пробуждалась, что сентименталисты и политические деятели могли использовать ее явно во вред реалистическому подходу к проблемам индейцев.

Правительство отозвало военных и создало для американских индейцев впечатляющую и гуманную организацию. Администратора заменили учителем, врачом и социальным антропологом. Но годы разочарований и зависимости сделали равнинных индейцев неспособными доверять даже тогда, когда у них едва ли могли быть основания для подозрений. Если когда-то индеец был просто обиженным человеком, то сейчас его состояние сравнимо с тем, что в психиатрии называют «невротической компенсацией»: он черпает все свое чувство безопасности и идентичности из статуса человека, которому что-то должны. Однако надо полагать, что даже если бы миллионы бизонов и добытое в Черных горах золото можно было возвратить индейцам, сиу не смогли бы отвыкнуть от зависимости или создать общину, адаптированную к современному миру, диктующему условия, в конце концов, как победителям, так и побежденным.

Не удивительно тогда, что посетитель резервации довольно скоро начинает чувствовать себя так,

как будто попал в замедленный фильм, как если бы груз истории затормозил жизнь вокруг него. Да, административный центр Пайн Ридж очень похож на центральную усадьбу сельского округа в каком-нибудь небогатом районе Среднего Запада. Административные постройки и школы - чистые, просторные и хорошо оборудованные. Учителя и служащие - индейцы и белые - чисто выбриты и дружелюбны. Но чем дольше посетитель остается в резервации, чем больше бродит по ней и внимательнее присматривается, тем очевиднее становится, что сами индейцы владеют весьма немногим, да и это немногое содержат плохо. Внешне спокойные, обычно дружелюбные, но в целом медлительные и апатичные, индейцы обнаруживают неожиданные признаки недоедания и болезни. Только в редких ритуальных танцах и пьяных ссорах в находящихся за пределами резервации кафе, тайно торгующих спиртным, можно частично наблюдать ту огромную энергию, которая скрывается под ленивой внешностью. Во время нашего посещения Пайн Ридж проблема индейцев, казалось, состояла в том, чтобы удержаться где-то между величественной сменой сезонов дождей и засухи, между божественной расточительностью демократического процесса и веселой безжалостностью системы свободного предпринимательства; а мы-то знаем, что тех, кто попался в эти жернова неподготовленным, мельница пролетаризации перемалывает быстро и мелко. Здесь индейский вопрос утрачивает древнюю патину и сливается с проблемами цветных меньшинств, сельских и городских, которые ждут, когда занятый демократический процесс найдет время и для них.

2. Джим

Однажды Микил и я познакомились в оптовой лавке с Джимом, бедным и искренним молодым индейцем сиу, явно одним из тех более ассимилированных выпускников средней школы, что несут в душе, как мы уже научились предугадывать, напряжение и беспокойство. Джим покинул эту резервацию несколько лет назад, чтобы жениться на девушке, принадлежащей к другому, хотя и близко родственному племени равнинных индейцев, и жить среди ее народа. Когда за разговором выяснился род моих профессиональных занятий, Джим сказал, что недоволен тем, как осуществляется воспитание его детей, и что он хотел бы пригласить нас поехать к нему вместо Пайн Ридж, чтобы они с женой могли подробно обсудить это со мной. Мы пообещали вскоре приехать.

Когда мы подъехали к скромной, чистой усадьбе, маленькие сыновья Джима играли в любимую игру индейских мальчишек - набрасывали аркан на пенек дерева, а маленькая девочка лениво сидела на коленях отца, играя с его терпеливыми руками. Жена Джима работала в доме.

Мы прихватили с собой запасы съестного, зная, что с индейцами ни в чем невозможно разобраться за несколько часов; скорее всего, наш разговор придется вести в медленно-осторожной, обдумывающей манере хозяев. Жена Джима пригласила нескольких родственниц прийти на нашу встречу. Время от времени она подходила к двери и вглядывалась в прерию, которая катила пологие волны во все стороны, сливаясь вдалеке с белыми владениями медленно плывущих облаков. Пока мы устраивались и немного поболтали, у меня было время, чтобы обдумать возможное положение Джима среди его живущих ныне соплеменников.

Несколько длинноволосых старейшин среди нынешних обитателей этих резерваций помнят времена, когда их отцы были хозяевами прерии и встречались с уполномоченными правительства США как с равными. Тогда, после прекращения настоящей войны, индейцам довелось знать то старшее поколение американцев, чей Бог был не столь уж далеким родственником Великого Духа индейцев и чьи идеалы агрессивной, но достойной и щедрой человеческой жизни не столь сильно отличались от храбрости и благородства «достойного мужчины» в понимании индейцев.

Второе поколение индейцев знало об охоте и торговле пушниной только понаслышке. Они стали считать паразитическую жизнь, основанную на государственных пособиях, своим неотъемлемым правом по договору и, поэтому, «естественным» образом жизни.

Джим принадлежал к третьему поколению, которое пользовалось всеми преимуществами обучения в государственных школах-интернатах и было уверено в том, что благодаря лучшему образованию оно лучше экипировано для ведения дел с белым человеком. Однако поколение Джима не может похвастаться каким-то существенным достижением, помимо довольно поверхностной адаптации, ибо у большинства настолько ограниченное представление о будущем, насколько коротко (в их представлении) прошлое. Это самое молодое поколение оказывается между впечатляющим достоинством своих дедов, которые прямо отказываются делать вид, будто белый человек должен оставаться здесь, и позицией самих белых, которые считают, что индеец упрямо стремится быть довольно бесполезным реликтом мертвого прошлого.

Через какое-то время, прошедшее в задумчивом ожидании, жена Джима известила нас о том, что ее родственницы на подходе. Это произошло за несколько минут до того, как мы смогли различить вдалеке две приближающиеся фигуры.

Когда они, наконец, подошли, последовал обмен робкими, но забавными приветствиями и мы уселись в кружок под сенью сосновых ветвей. Случайно я сел на самый высокий фруктовый ящик (стулья в прерии были редкостью). Шутливо заметив, что мне неудобно возвышаться над ними, подобно проповеднику, я перевернул ящик другой стороной. Но в этом положении он оказался менее прочным: пришлось вернуть его в прежнее положение. Тогда Джим молча развернул свое сиденье так, чтобы оказаться на одной высоте со мной. Я вспоминаю это лишь как один типичный эпизод присущего индейцам скромного такта. В то время как Джим выглядел явно обеспокоенным предстоящей беседой, его жена имела вид человека, готовящегося к очень серьезному разговору, на который она, однако, уже решилась.

Микил и я договорились, что в нашей беседе мы не будем прямо нацеливаться на домашние проблемы Джима, а попросим группу прокомментировать то, что мы уже слышали в Пайн Ридж о различных фазах жизни ребенка в прериях. Поэтому мы заговорили об обычаях, касающихся рождения и воспитания ребенка, пытаясь подкрепить фрагментарные сведения о том, что делалось в давние времена и что изменилось теперь. Женщины демонстрировали забавную откровенность на протяжении всей беседы, хотя их застенчивые улыбки показывали, что они не осмелились бы заводить разговор о некоторых вещах в присутствии мужчин, не окажись Микил способным вставлять в диалог такие подробности, которые удивляли этих женщин и приводили в действие их память и критические способности. Они явно никогда не думали, что подобные подробности могут быть интересны белым людям или иметь отношение к миру, отражаемому в английском языке.

Джим не много добавил к этому разговору, продолжавшемуся несколько часов. Когда обсуждение подошло к середине первого десятилетия жизни ребенка, контраст между его мрачным молчанием и веселым одобрением женщинами различных способов, которыми дети предвосхищают занятия взрослых, стал еще более заметным.

Наконец настало время перекусить и женщины пошли в дом, чтобы приготовить еду. Теперь подошла очередь Джима и он сразу приступил к своей проблеме. Его дети, играя, употребляли сексуальную лексику, а он терпеть этого не мог. Жена смеялась и над детьми, и над ним, заявляя, что все дети употребляют такие слова и это не имеет никаких последствий. Он же болезненно реагировал на намеки белых, будто индейцы ведут себя непотребно и имеют нежелательные сексуальные привычки. Мы согласились, что белые мужчины действительно за глаза обвиняют индейцев в потакании своим сексуальным желаниям, но ведь все люди обвиняют ближних в извращениях, которых сами же больше всего и стыдятся; фактически, им нравится называть чужими именами собственные извращения. Он считал, что сиу на самом деле были «сильными» мужчинами, справлявшимися со своими сексуальными побуждениями и не позволявшими детям употреблять непристойные слова; и что нет никаких причин, почему его детям следует делать то, чего детям сиу делать не разрешалось. Тем самым он продемонстрировал, что всегда придерживался мнения, будто сиу существенно «сильнее» близко родственного племени его жены, и, фактически, имел в отношении племени жены те же самые предрассудки, какие белые люди имели в отношении его родного племени - сиу. Такое отражение предрассудков доминирующей группы в обоюдной дискриминации подгрупп является, конечно, универсальным. Поэтому, вероятно, сиу со значительной примесью белой крови называют своих чистокровных собратьев «черномазыми», а в ответ получают прозвище «белая рвань».

Подобно пациентам в психотерапевтических интервью Джим настолько противоречил сам себе, что все закончилось признанием: во время последнего посещения родительского дома в Пайн Ридж его расстроили неприличные выражения, которые употребляли дети родственников. «Такого просто не могло случиться, когда я был ребенком», - сказал Джим. Мы спросили, кто же тот человек, который был бы способен пресечь это. «Мой отец», - ответил он.

Дальнейшие расспросы обнаружили, что отец Джима провел большую часть детства в чужих краях. По мере того как Джим развивал эту тему, становилось все очевиднее, что жизнь в чужой среде оставила след в личности отца и побудила его, после возвращения к своему народу, поддерживать у собственных детей нормы поведения, отличавшиеся от норм других детей сиу. Поступая так, он возвел стену между своими детьми и детьми его соплеменников, стену, которая теперь отделяла Джима от его детей и... от самого себя. Несчастный (вследствие этой внутренней блокировки) Джим оказался в положении человека, неизбежно создающего конфликты в собственной семье, поскольку настаивал, чтобы его добрая жена, используя прямой родительский запрет, препятствовала привычкам, на которые

индейцы сиу, как и ее родное племя, смотрели довольно снисходительно. Употребление детьми сексуальной лексики воспринималось взрослыми скорее как повод для того, чтобы пристыдить их или, если было необходимо, использовать авторитет бабушек и дедушек для спокойного предостережения.

Мы попытались растолковать Джиму силу конфликтов амбивалентности. Должно быть, он тайно восстал против желания отца отдалить его от партнеров по играм. Джиму удалось подавить открытый бунт лишь ценой переноса на собственных детей того, что некогда отец проделал с ним. Но поскольку Джим никогда не считал инородный мотив отца своим, его действия лишь раздражали жену, досаждали детям и вызывали парализующее сомнение у него самого:

Над нашим объяснением Джим размышлял несколько минут, а затем сказал: «Полагаю, в ваших словах что-то есть», - высокая и многословная похвала от индейца. Обед был готов. Взбунтовавшаяся жена и ее союзницы церемонно ждали за дверью, пока хозяин дома и его гости не закончат разговор.

Вот так и проходили в то время задушевные разговоры с несущими на сердце тяжесть индейцами высоких равнин. Эти беседы были одним из главных источников нашего материала, относящегося к тому детству индейцев сиу, каким оно когда-то было. Очевидно, что в этой области нет фактов, свободных от самых широких коннотаций. Отчаянная попытка Джима заново обрести чувство добродетельности враждебным по отношению к себе и своим близким способом может дать нам первое представление о довольно странном механизме - компульсивной идентификации мужчины, родовая целостность которого была разрушена, с самим этим разрушителем. По-видимому, интуитивно люди всегда сознавали то, что мы научились концептуализировать лишь недавно, а именно, что небольшие различия в воспитании детей имеют постоянное, а иногда и фатальное, значение в дифференциации у людей образа мира, чувства порядочности и чувства идентичности.

3. Межэтнический семинар

Нашим вторым важным источником данных стал небольшой семинар, участвовать в котором нас - меня и Микила - пригласили педагоги и социальные работники (белые и индейцы). Цель семинара - обсуждение различных мнений, отстаиваемых учителями Службы образования индейцев. Здесь с самого начала необходимо было отдавать себе отчет в том, что та информация о детстве, которая в невротических конфликтах подвергается подавлению и искажению, в диспуте представителей двух рас лежит в основе почти непроницаемой обоюдной обороны. Каждая группа, независимо от природы, по-видимому, требует от своих детей жертв, которые они впоследствии способны вынести только при твердом убеждении или решительной отговорке, что опирались на неоспоримые абсолюты поведения; усомниться в одном из этих имплицитных абсолютов - значит подвергнуть опасности все. Поэтому и случается так, что мирные соседи, защищая какие-то мелкие вопросы воспитания ребенка, встают на дыбы, подобно разъяренным медведям, встающим на задние лапы, когда медвежатам грозит смертельная опасность.

Внешне выносимые на наш семинар жалобы звучали здраво и профессионально. Самой характерной была жалоба на манкирование школой: испытывая сомнения, индейские дети просто убегали домой. Вторым по значению недугом, представленным в жалобах учителей, было воровство или, во всяком случае, грубое игнорирование прав собственности (как мы их понимаем). За воровством следовала апатия, включавшая весь спектр проявлений: от отсутствия честолюбия и интереса до своего рода вежливого пассивного сопротивления в ответ на вопрос, просьбу или требование. Наконец, отмечалась излишняя сексуальная активность, причем этим термином обозначалось множество неприличных ситуаций, варьирующих от ночных прогулок после танцев до простого собирания кучей тоскующих по дому девочек в интернатских койках.

Меньше всего жаловались на дерзость, и все же чувствовалось, что само отсутствие открытого сопротивления пугало учителей, как если бы это было секретным оружием индейцев. Через всю дискуссию красной нитью проходила озадачивающая жалоба, будто независимо от того, что делаешь с этими детьми, они не дерзят. Индейские дети, мол, уклончивы и ко всему относятся стоически. В общении с ними часто кажется, будто они понимают, что от них хотят, пока вдруг не выясняется, что они все сделали иначе. «Их невозможно понять», - говорили учителя.

Глубокая и часто неосознанная ярость, которую это обстоятельство постепенно вызвало даже у самых благонамеренных и дисциплинированных педагогов, фактически прорывалась только в «личных» мнениях учителей, добавляемых к их официальной позиции. Гнев одного потертого жизнью, пожилого педагога вызвало спокойное упоминание со стороны нескольких учителей индейского происхождения о любви индейцев к детям. Он резко возразил, будто индейцы не знают, что значит

любить ребенка. Вступив в спор, он обосновал свое мнение, ссылаясь на голый факт: родители-индейцы, не видевшие своих детей аж три года, приехав наконец навестить их, не плакали и даже не целовались с ними при встрече. Этот опытный педагог не мог согласиться с предположением, подтвержденным, кстати, не менее опытными наблюдателями, что подобная сдержанность с ранних пор направляла встречу между индейцами-родственниками, особенно в присутствии чужих людей. Для него такие книжные знания опровергались двумя десятилетиями личных - вызывающих возмущение - наблюдений. Он настаивал, что родители-индейцы меньше сочувствуют своим детям, чем животные - своим детенышам.

При условии, что именно культурная дезинтеграция и невозможность экономически или духовно заботиться о детях, могут приносить с собой безразличие в личных отношениях, было, конечно, ужасно столкнуться с таким радикальным заблуждением, которое никак нельзя считать пережитком менее понимающего периода. Полковник Уилер, знавший сиу как завоеватель, а не как педагог, утверждал, что «едва ли на земле существует такой народ, который бы любил свои семьи больше американских индейцев». Кто же прав? Сделался ли побеждающий полководец излишне сентиментальным или усталый учитель стал слишком циничным?

Самые серьезные мнения высказывались добровольно лишь частным образом. «На самом деле, труднее всего справиться с энурезом», - сказал учитель (наполовину индеец), а затем добавил, - «но мы, индейцы, не могли обсуждать энурез в группе, включающей женщин». Он считал, что отсутствие надлежащего приучения к туалету служило причиной большинства трудностей в воспитании индейцев. Белый служащий по собственной инициативе указал на другую проблему, в его глазах «действительно самую скверную». Ссылаясь на конфиденциальные высказывания специалистов-медиков из Службы образования индейцев, он заявил: «Родители-индейцы не только позволяют своим детям мастурбировать - они их этому учат». По его мнению, именно в этом сокрыт корень всех зол; однако он не хотел обсуждать проблему детского онанизма в присутствии индейцев. По тем фактам, которые удалось установить, и энурез, и мастурбация встречались в индейских школах не чаще, чем в любых других школах-интернатах или приютах. Фактически, мастурбация оказалась только предположением, ибо никто из упоминавших о ней не видел ничего, кроме того, что маленькие дети трогали себя за половые органы. В таком случае интересно отметить, что «подлинное», самое возмущенное и скрытое (неофициальное) недовольство касалось областей раннего обусловливания, которое вызвало внимание психоаналитиков в Западной культуре (и которое обсуждалось в разделе о прегенитальности).

Оказалось, активно участвующие в воспитании белые считают каждое такое упущение в воспитании ребенка, как то: полное отсутствие внимания родителей-индейцев к анальным, уретральным и генитальным проблемам у маленьких детей, явно злонамеренным и преступным деянием. Индейцы, с другой стороны, будучи снисходительными к младшим детям и только на словах суровыми к старшим, считали активный подход белого человека к вопросам ухода за ребенком явно деструктивной и преднамеренной попыткой обескуражить малыша. Белые, по их мнению, хотят отдалить своих детей от этого мира с тем, чтобы заставить их перейти на следующую ступень жизни с предельной быстротой. «Они учат своих детей плакать!» - с негодованием заметила одна индейская женщина, столкнувшись с практикой разлучения (из гигиенических соображений) матери и ребенка в государственной больнице; особенно возмутил ее эдикт больничных сестер и докторов, будто младенцам полезно кричать, пока не побагровеют от напряжения. Пожилые индейские женщины обычно смиренно ждали появления на свет внука, подобно иудеям перед священной стеной, оплакивающим уничтожение своего народа. Но даже образованные индейцы не могли подавить ощущения, что весь этот дорогостоящий уход, предоставляемый их детям, есть не что иное, как дьявольская система национальной кастрации. Сверх того, среди индейцев было распространено странное предположение, будто белые испытывали необходимость в том, чтобы уничтожать своих детей. Со времени самых ранних контактов между двумя этими расами индейцы считали наиболее отвратительной чертой белых добиваться согласия детей шлепками или битьем. Индейцы обычно лишь пугают ребенка, говоря, что может прилететь сова (или прийти «белый человек») и забрать его. Какие конфликты они тем самым вызывали и увековечивали в душах своих детей, индейцы, конечно, знать не могли.

В таком случае, неофициальные жалобы предполагают (в согласии с нашими самыми передовыми теоретическими допущениями), что даже казалось бы произвольные моменты воспитания ребенка выполняют определенную функцию, хотя в тайных жалобах это прозрение используется большей частью как средство выражения и распространения взаимных предубеждений и как прикрытие для индивидуальных мотиваций и бессознательных интенций. Здесь поистине нетронутое поле деятельности для «групповой терапии» того сорта, которая нацелена не на улучшение

психиатрического статуса отдельного участника сеансов, а на улучшение культурных связей у собранных вместе лиц.

Из вопросов, играющих важную роль в культурных предрассудках, я кратко проиллюстрирую три: отношение к собственности, чистоплотность и дееспособность.

Однажды школьный учитель принес с собой список своих учеников. В нем не было ничего примечательного, за исключением, пожалуй, поэтичности детских имен (эквиваленты: «Звезда-которая-появляется-на-небе», «Утренняя Охота», «Боящаяся лошадей»). Все дети отличались благонравным поведением, уступая белому учителю в том, что имело отношение к учению, и следуя индейской семье в том, что было связано с домом. «У них две правды», - пояснил учитель, выражаясь более вежливо по сравнению с некоторыми его коллегами, убежденными, что индейцы «рождаются лгунами». В целом, его удовлетворяли успехи учеников. Единственную проблему, которую он хотел обсудить, преподнес один мальчуган, живший относительно изолированно среди других детей, как если бы оказался почему-то отверженным.

Мы исследовали положение семьи мальчика среди индейцев и белых. И те, и другие характеризовали его отца тремя роковыми словами: «У него есть деньги». [По-английски «He has money». - *Прим. пер.*] Регулярные посещения банка в ближайшем городке, по-видимому, придали ему тот «чужой запах», который приобретает муравей, пересекая территорию другого «племени», и за который его убивают по возвращению в свой муравейник. Здесь же, вероятно, изменник становится социально мертвым после того, как он сам и его семья раз и навсегда обрели порочную идентичность «того-кто-бережет-свои-деньги-для-себя». Она оскорбляет один из старейших принципов экономики сиу - щедрость.

«Идея длительного накапливания средств чужда индейцам дакота. Если мужчина имеет достаточно средств, чтобы не умереть от голода, по крайней мере, в ближайшем будущем, и к тому же располагает резервом времени для медитации и еще чем-то, что можно дарить другим по случаю, он относительно доволен... Когда еды мало или вовсе нет, он может запрячь лошадей и отправиться со своей семьей в гости. Еда делится поровну, пока ее совсем не остается. Самый презираемый человек - тот, кто богат, но не делится своим богатством с окружающими его людьми. Вот он и есть действительно «бедный».» [H. S. Mekeel, *The Economy of a Modern Teton-Dakota Community,* Yale Publications in Anthropology, №№.1-7, Yale University Press, New Haven, 1936.]

Венцом принципа уравнивания богатства в экономической системе сиу было «раздаривание», т. е. предложение всей собственности хозяина гостям на празднике в честь друга или родственника. Чтобы полнее почувствовать эту идеальную антитезу мерзкому образу скряги, нужно понаблюдать за тем, как даже сегодня индейский ребенок на каком-нибудь обрядовом празднике раздаривает свои скудные сокровища (монетки или вещи), которые его родители скопили именно для такого случая. Он буквально излучает нечто такое, что позднее мы сформулируем как чувство идеальной идентичности: «Я действительно такой, каким вы меня видите сейчас, и такими же всегда были мои предки».

Экономический принцип раздачи (дарения) и высокий престиж щедрости были, конечно, в давние времена тесно связаны с необходимостью. Кочевники нуждаются в неприкосновенном минимуме домашнего имущества, который они способны переносить с собой, и не более того. Племена, живущие охотой, зависят от щедрости наиболее удачливых и умелых охотников. Однако насущные потребности изменяются гораздо быстрее истинных добродетелей, и одна из самых парадоксальных проблем человеческой эволюции заключается именно в том, что добродетели, первоначально предназначавшиеся для обеспечения самосохранения индивидуума или группы, затвердевают под давлением анахронического страха вымирания и, поэтому, могут сделать людей неспособными адаптироваться к изменившимся нуждам. Фактически, такие окаменелости былых добродетелей становятся неподатливыми и, в то же время, трудноуловимыми препятствиями к перевоспитанию. Ибо, однажды лишенные универсального экономического значения и всеобщего почтения, они распадаются. При этом они сочетаются с прочными чертами характера, которыми одни люди наделены в большей степени, другие - в меньшей, и сливаются с особенностями окружающей группы, такими, например, как расточительность и беззаботность белой бедноты. В конце концов, администратор и учитель могут и не отличить, когда они имеют дело со старой добродетелью, а когда - с новым пороком. Взять хотя бы денежные пособия или продуктовую и техническую помощь, причитающуюся отдельным семьям на основе прошлых договоров и официально распределяемую в соответствии с нуждой и заслугами. Так вот, всегда можно узнать, когда кто-то получил такие «дары», ибо по всей прерии в маленьких фургонах к нему съезжались бы его менее удачливые (в данный момент!) родственники для законного участия в празднике первобытного коммунизма. Значит, несмотря на продолжавшиеся несколько

десятилетий попытки посредством образования добиться включения индейцев в нашу монетарную цивилизацию, их древние аттитюды сохраняют господство.

Первый инсайт, который возник при обсуждении этих вопросов в нашем семинаре, состоял в следующем: нет ничего более бесплодного во взаимоотношениях отдельных лиц или групп, чем подвергать сомнению идеалы противной стороны, демонстрируя, что, согласно логике сомневающегося, представитель противной стороны непоследователен в своей проповеди. Ибо всякая совесть, индивидуальная или групповая, обладает не только специфическим содержимым, но и своей специфической логикой, которая охраняет ее согласованность.

«Они безынициативны», - говорили обычно раздраженные белые учителя по поводу индейских детей. И действительно, желание индейского мальчика выделяться и состязаться, вполне выраженное при одних обстоятельствах, может полностью исчезать при других. Члены легкоатлетической команды, например, могут колебаться на старте забега. «Почему мы должны бежать? - говорят они. - «Ведь уже известно, кто собирается победить». Возможно, у них существует подсознательная мысль, что того, кто выигрывает, ждет не слишком хорошее будущее. Ибо история Мальчика-Чей-Отец-Имел-Деньги имеет свои параллели в судьбе всех тех индейских мальчиков и девочек, которые показывают, что всерьез принимают требования своих педагогов и находят удовольствие и получают удовлетворение, выделяясь среди других в школьных занятиях. Их оттягивают назад, к среднему уровню, неуловимые насмешки остальных детей.

Микил проиллюстрировал особые проблемы индейской девочки, обратив внимание участников на одну поистине трагическую подробность. Первое впечатление, неизбежно получаемое маленькой индейской девочкой от поступления в белую школу, состоит в том, что она (девочка) - «грязная». Некоторые учителя признаются, что они вряд ли способны скрыть свое отвращение к домашнему запаху индейского ребенка. Разборные типи североамериканских индейцев, конечно, легче освобождались от накопленного запаха, чем их сегодняшние каркасные дома. В школьные годы ребенка приучают к опрятности, личной гигиене и пользованию стандартным набором косметики. Отнюдь не усвоив полностью других аспектов свободы действий и амбиций белых женщин, преподносимых ей с исторически гибельной внезапностью, девочка-подросток возвращается домой привлекательно одетой и чистой. Но скоро приходит тот день, когда родная мать и бабушки назовут ее «грязной девушкой». Ибо чистая, в индейском смысле, девушка - это такая девушка, которая научилась избегать определенных вещей в период менструации; например, предполагается, что она не будет брать руками определенную пищу, поскольку та, мол, портится от ее прикосновения. Большинство девушек неспособны снова принять статус прокаженных на время менструального периода. И все-таки они еще не достаточно эмансипированны. Им почти никогда не дают возможности, да и сами они, фактически, не готовы и не хотят жить жизнью американской женщины; но и снова быть счастливыми в условиях замкнутого пространства, негигиеничной интимности и бедности окружения они способны лишь в редких случаях.

Прочно укоренившиеся образы мира не поддаются ни ослаблению посредством фактологии, ни согласованию путем идеологической аргументации. Несмотря на идеологические расхождения, продемонстрированные в этих примерах, многие родители-индейцы, по сообщениям учителей, предпринимают искренние и удачные попытки склонить своих детей к послушанию белому учителю. Однако дети, казалось, соглашаются с таким давлением, просто делая уступку, не подкрепленную чувством более глубокого долга. Они часто реагировали на него с невероятным стоицизмом. И это был, на наш взгляд, самый удивительный факт, заслуживающий отдельного исследования. То есть индейские дети могли без открытого бунта или без каких-либо признаков внутреннего конфликта годами жить между двумя системами норм, которые отстояли друг от друга несравнимо дальше, чем нормы любых двух поколений или двух классов в нашем обществе. Нам не удалось найти у маленьких сиу признаков индивидуальных конфликтов, внутреннего напряжения или неврозов, то есть всего того, что позволило бы применить наши знания психической гигиены, какими мы располагали, к решению индейской проблемы. То, что мы обнаружили, относилось к культурной патологии, иногда в форме алкогольной делинквентности или мелкого воровства, но, большей частью, в форме общей апатии и неуловимого пассивного сопротивления всякому дальнейшему и более решительному воздействию норм белого человека на совесть индейца. Лишь у нескольких «индейцев белого человека», обычно успешно работающих в органах федерального управления, обнаружили мы невротическое напряжение, выражавшееся в компульсиях, гиперответственности и общей ригидности. Однако среднему индейскому ребенку, по-видимому, было не знакомо то, что мы называем «нечистой совестью», когда в пассивном сопротивлении белому учителю он уходил в себя. Не терзался он и отсутствием сочувствия со стороны родственников, когда решал стать прогульщиком. Следовательно, в целом, никакой истинно

внутренний конфликт не отражал конфликта двух миров, в каждом из которых индейский ребенок существовал.

Казалось, жизнь такого ребенка вновь обретает свой былой тонус и темп только в те редкие, но яркие моменты, когда старшие члены семьи превозносили прошлую жизнь; когда расширенная семья или остатки старого отряда укладывали свои повозки и съезжались вместе где-то в прерии на церемонию или празднество, чтобы обмениваться подарками и воспоминаниями, новостями и сплетнями, шутить и, теперь уже реже, танцевать старинные танцы. Именно тогда его родители и, особенно, бабушки и дедушки ближе всего подходили к чувству идентичности, которое снова связывало их с беспредельным прошлым, где не было ничего, кроме индейца, игры и врага. Пространство, в котором индеец мог чувствовать себя свободно, по-прежнему было без границ и давало возможность для произвольных скоплений и, в то же время, для внезапного распространения и рассеивания. Индеец охотно принял центробежные моменты белой культуры, такие как лошадь и ружье, а позднее легковой автомобиль и мечту о трейлерах. В остальном же могло существовать лишь пассивное сопротивление бессмысленному настоящему с мечтами о реставрации, когда будущее вело бы обратно в прошлое, время вновь стало бы аисторическим, пространство - безграничным, а запасы бизонов - неистощимыми. Племя сиу, как целое, все еще ждет, что Верховный Суд США возвратит им Черные горы и вернет на прежнее место пропавших бизонов.

С другой стороны, федеральные педагоги продолжали проповедовать систему жизни с центростремительными и локализованными целями: участок, очаг, счет в банке, - каждая из которых приобретает смысл в таком пространстве-времени, где прошлое преодолевается и где полная мера осуществления в настоящем приносится в жертву все более высокому уровню жизни во все более отдаленном будущем. Путь к этому будущему - не внешняя реставрация, а внутренняя реформа и экономическая «модернизация».

Таким образом, мы узнали, что историко-географические перспективы и экономические цели и средства содержат в себе все то, что группа усвоила из своей истории, и поэтому характеризуют концепции действительности. Способы воспитания сохраняются, по возможности, в своем первоначальном виде, а при необходимости, - даже в искаженных копиях, упорно указывая на то, что новому образу жизни, навязанному завоевателями, еще не удалось пробудить образы новой культурной идентичности.

4. Воспитание ребенка у индейцев сиу

А. Роды

Женщины племени дакота, снабжавшие нас сведениями о старинных методах воспитания детей, поначалу вели себя весьма сдержанно. Начать с того, что они были индеанками. Далее, Микил, которого они раньше знали как антрополога и друга, теперь был «государственным человеком». И наконец, считалось не вполне приличным говорить с мужчинами о вещах, касающихся человеческого тела. Особенно тема неизбежного начала жизни, то есть беременности, всегда вызывала хихиканье. Хотя и говорят, что рвота и другие физиологические расстройства беременности редки среди индейских женщин, последние, по-видимому, сознают радикальное изменение характера в течение этого периода, ретроспективно кажущееся стесняющим. Утверждают, что только в состоянии беременности обычно кроткие индейские женщины бранят мужей, а иногда даже бьют детей. Таким образом, разные культурные системы имеют различные каналы для выражения глубокой амбивалентности, наполняющей женщину, которая, как бы радостно она ни принимала первые признаки беременности и как бы сильно ни хотела родить ребенка, вдруг обнаруживает, что в ней поселилось на девять месяцев маленькое и неизвестное, но диктующее свои условия существо.

Конечно, касающиеся родов обычаи теперь полностью изменились. Белые женщины обычно презрительно говорят о «негигиеничной» технике родов индеанок старшего поколения, которые устраивали себе ложе из песка прямо в доме или рядом с ним, где лежа или стоя на коленях и упираясь ступнями в два колышка, вбитых в землю, а руками схватившись за два других колышка, тужились, чтобы произвести ребенка на свет. Однако это ложе, называемое белыми «кучей грязи», по-видимому, было важной деталью специфической системы гигиены обитателей равнин, в соответствии с которой любые отходы тела отдаются песку, ветру и солнцу. Проявления такой системы, вероятно, озадачивали белых людей: использованные гигиенические пакеты и даже плаценты индейцы развешивали на деревьях, тела умерших клали на высокие деревянные помосты, а испражнялись в отведенных для этого

сухих местах. С другой стороны, индейцам трудно увидеть гигиеническое превосходство уборной во дворе, которая хотя и более благопристойна, по общему признанию, однако препятствует солнцу и ветру, но не мухам, достигать отходов тела.

Белые и индейские женщины обычно отмечают, что не слышали «ни жалоб, ни стонов» от индеанок старшего поколения во время родов. Ходят предания об индейских женщинах, вынужденных сразу после родов несколько часов нагонять своих родственников, оставивших их одних рожать прямо в прерии. По-видимому, прежняя бродячая жизнь, заставлявшая приспосабливаться к сезонным изменениям и внезапным перемещениям бизонов и врагов, часто (или почти) не оставляла времени для послеродового ухода за женщиной и восстановления ее сил. Индейские женщины старшего поколения видят в изменениях обычаев деторождения у индеанок младшего поколения, вызываемых гигиеной и родильными домами, не только угрозу традициям стойкости, но и несправедливость по отношению к ребенку, которого в результате таких перемен приучают плакать «подобно белому младенцу».

Б. Получение и взятие

Что касается представляемого здесь перечня фактов, имеющих значение в принадлежащей сиу системе детского воспитания, то каждый отдельный факт обязан своим значением, в основном, желанию женщин сообщить нечто дорогое их традиционному этносу, а иногда, увы, и нашему желанию услышать подтверждение своих драгоценных теоретических ожиданий. В таком случае, подобный перечень просто не может быть исчерпывающим и окончательным. Однако, на наш взгляд, мы обнаружили удивительную конвергенцию тех разумных объяснений, которые индейцы дают своим древним методам воспитания, и той психоаналитической аргументации, благодаря которой и мы сочли бы те же самые факты релевантными.

Обычно считалось, что молозиво (первое водянистое выделение молочных желез) ядовито для новорожденного, поэтому и грудь ему не давали до тех пор, пока не появлялась надежная струя настоящего молока. Индейские женщины утверждали, что несправедливо позволять малышу самостоятельно выполнять эту первую работу только ради того, чтобы оказаться вознагражденным жидкой, водянистой субстанцией. Скрытый смысл этих слов очевиден: как бы он мог доверять миру, который встретил его подобным образом? Взамен, в качестве радушного приема со стороны всей общины, первую еду новорожденному готовили родственники и друзья родителей. Они собирали лучшие ягоды и травы, какие только есть в прерии, и выжатый из них сок наливали в бизоний пузырь, приспособленный под детский рожок, напоминающий по форме материнскую грудь. Женщина, по общему мнению бывшая «хорошей женщиной», пальцем стимулировала рот новорожденного, а затем кормила его этим соком. Тем временем, пожилые женщины, которые в своих снах получили приказ выполнять такие функции, отсасывали водянистое молоко из груди роженицы, а саму грудь стимулировали продуктивно работать.

Как только индейский ребенок начинал пользоваться и наслаждаться материнским молоком, ему давали грудь всякий раз, когда он хныкал (днем ли, ночью ли), и к тому же позволяли свободно играть с грудью. Подразумевалось, что малыш не должен реветь в состоянии беспомощной фрустрации, хотя позднее крик в разъяренном состоянии мог «сделать его сильным». По общему признанию, индейские матери возвращаются к своим старинным «балующим» обычаям в тех случаях, когда могут быть уверены, что к ним не будут приставать белые медики.

При старых порядках выкармливание ребенка считалось настолько важным, что даже сексуальным привилегиям его отца не позволялось, по крайней мере в принципе, нарушать либидинальное сосредоточение матери на кормлении. Говорилось, что понос у малютки - следствие водянистого молока матери, разжижение которого вызвано половым сношением с отцом ребенка. Мужа настойчиво убеждали держаться от жены подальше в течение всего периода выкармливания ребенка, продолжавшегося, как утверждали, от трех до пяти лет.

По словам индейцев, старшего сына выкармливали дольше всех, тогда как средний период выкармливания ребенка составлял три года. В наше время он намного короче, хотя случаи пролонгированного вскармливания имеют место к вящему ужасу тех, кто по должности призван поощрять здоровье и нравственность. Один учитель рассказывал нам, что совсем недавно мать-индеанка приходила в школу, чтобы на большой перемене покормить грудью восьмилетнего сына, который был простужен. И она кормила его с тем же наполненным беспокойства энтузиазмом, с каким мы пичкаем наших сопящих детей витаминами.

У прежних сиу вообще не происходило систематического отлучения младенца от груди.

Конечно, некоторым матерям приходилось прекращать кормление грудью по независящим от них причинам. В иных случаях дети отвыкали от кормящей матери благодаря постепенному переключению на другую пищу. Однако прежде чем окончательно и бесповоротно отказаться от груди, младенец, вероятно, многие месяцы кормился другой пищей, давая матери время на то, чтобы родить следующего ребенка и восстановить запас молока.

В этой связи я вспоминаю забавную сцену. Маленький индеец, примерно трех лет от роду, сидел на коленях у матери и с хрустом грыз сухое печенье. Ему часто хотелось пить. С властным выражением лица, он опытным движением лез под блузку матери (имевшую, как в прежние времена, по бокам - вниз от подмышек - разрезы), пытаясь добраться до груди. Из-за нашего присутствия, мать смущенно, но отнюдь не возмущенно, осторожными движениями большого животного, отодвигающего в сторону своего детеныша, не позволяла ему достичь цели. Тем не менее, малыш ясно давал понять, что имел обыкновение получать время от времени маленький глоток в ходе еды. Вид этой пары лучше любых статистических данных говорил о том, когда такие маленькие «ухажеры» - в том случае, если они способны искать других приключений, - определенно перестают залезать в блузку матери или, ради того же, в блузку любой женщины, у которой случайно есть молоко. Ибо материнское молоко, когда его запасы превосходят непосредственные потребности грудного младенца, является общинной собственностью.

В этом раю практически неограниченной привилегии ребенка в отношении материнской груди имелся и свой запретный плод. Чтобы быть допущенным до сосания, младенцу приходилось прежде научиться не кусать грудь. Бабушки-сиу рассказывают о том, какие трудности они испытывали со своими избалованными малышами, когда начинали использовать соски против первого сильного укуса. Они со смехом признаются, как бывало «надували» малыша и как он ярился. Именно в это время матери-сиу обычно говорят то, что наши матери говорят намного раньше в жизни своих детей: пусть покричит - здоровее будет. Особенно будущих хороших охотников можно было узнать по силе их младенческой ярости.

Переполненный яростью малыш-сиу, как правило, оказывался связанным в переносной люльке ремешками, буквально, по рукам и ногам. Он был лишен возможности выразить свой гнев обычными в таких случаях бурными движениями конечностей. Я не собираюсь делать из этого вывод, будто индейская люлька или тугие свивальники суть жестокие ограничения. Напротив, по крайней мере на первый взгляд, они бесспорно напоминают материнское лоно и достаточно прочны и удобны для того, чтобы укутывать младенца, укачивать и переносить его, когда мать занята работой. Предположение, которое я действительно хочу высказать, заключается в том, что особая конструкция люльки, ее обычное размещение в доме и продолжительность употребления - все это переменные, используемые разными культурами в качестве усилителей базисного опыта и ведущих черт личности, развиваемых ими у молодого поколения.

Какое сближение можно усмотреть между оральностью ребенка племени сиу и этическими идеалами этого племени? Мы уже упоминали щедрость как характерную добродетель, необходимую в жизни индейцев сиу. Первое впечатление таково, что спрос данной культуры на щедрость основан на существующей в раннем детстве привилегии пользования питанием и утешением, происходящим от неограниченного кормления грудью. Составляющей пару щедрости добродетелью была сила духа, у индейцев - качество более свирепое и более стоическое, чем просто храбрость. Это качество включало в себя запас легко возбуждаемого и быстро пополняемого охотничьего и боевого духа, склонность наносить садистический вред врагу, способность выдерживать крайние лишения и боль как под пытками, так и в результате самоистязания. Способствовала ли необходимость подавления ранних желаний кусания такой всегда готовой к проявлению свирепости индейцев сиу? Если да, то здесь не могло не сказаться одно обстоятельство: щедрые матери сами возбуждали «свирепость охотника» у своих малышей на стадии прорезывания зубов, поощряя эвентуальный перенос провоцируемой ярости младенца на идеальные образы преследования, окружения, захвата, убийства и похищения.

Речь здесь не о том, что характерное обращение с младенцами *служит причиной* образования у ставших взрослыми людей определенных черт, как будто повернул несколько ручек в своей машине воспитания ребенка и изготовил тот или иной тип родового, либо национального характера. На самом деле мы не обсуждаем типологические черты в смысле необратимых сторон характера. Мы ведем разговор о целях и ценностях, а также той энергии, которая предоставляется в их распоряжение системами воспитания ребенка. Такие ценности сохраняются потому, что культурный этос продолжает считать их «естественными» и не допускает альтернатив. Они продолжают существовать, потому что стали неотъемлемой частью чувства индивидуума, которое он должен оберегать как ядро нормальной

психики и дееспособности. Но ценности не могут устоять, если они не работают - экономически, психологически и духовно. Я полагаю, что их поэтому нужно продолжать закреплять, поколение за поколением, в раннем детском воспитании; в то время как детское воспитание, чтобы оставаться непротиворечивым и последовательным, должно быть встроено в систему непрерывного экономического и культурного синтеза. Ибо именно этот синтез, действующий в пределах культуры, имеет нарастающую тенденцию приводить в тематическое родство и обеспечивать взаимное усиление таких вопросов, как климат и анатомия, экономика и психология, общество и воспитание детей.

Каким образом мы можем это доказать? Наше доказательство должно заключаться в ясном и непротиворечивом значении, которое, вероятно, можно придать иррациональным на вид фактам внутри одной культуры и аналогичным проблемам в сравнимых культурах. Поэтому мы покажем, каким образом собранные нами разнообразные сведения по культуре сиу получают такое значение исходя из наших допущений, а затем перейдем к сравнению этого племени охотников с племенем рыбаков.

Когда мы наблюдали за детьми сиу, сидящими в темных углах своих палаток, идущими по тропе или собравшимися большой группой на танцах в честь Дня независимости [4 июля - день провозглашения независимости США. - *Прим. пер.*], то обратили внимание, что они часто держали пальцы во рту. Причем они (как и некоторые взрослые, обычно женщины) не сосали пальцы, а играли с зубами, щелкая и ударяя по ним чем-то, используя, например, жевательную резинку или наслаждаясь игрой, в которой участвуют зубы и ногти пальцев одной или обеих рук. Однако губы, даже если рука настолько глубоко проникала в рот, насколько вообще возможно, в такой игре не участвовали. Наши расспросы вызвали удивленный ответ: да, конечно, они всегда это делали; а разве все этого не делают? Как клиницисты, мы не могли избежать вывода, что подобная особенность поведения - наследие тех желаний кусания, которые были столь безжалостно блокированы в раннем детстве; аналогично, в нашей культуре мы предполагаем, что сосание пальца и другие сосательные привычки детей (и взрослых) компенсируют связанные с кормлением грудью удовольствия, фрустрированные или сделанные ненадежными непоследовательным уходом за грудным ребенком.

Это привело к интересному дополнительному вопросу: почему женщины оказались более склонными к проявлению такой особенности, чем в равной степени фрустрированные мужчины? Мы нашли на него дублирующий ответ: в былые времена женщины использовали зубы не только по прямому назначению, но и для того, чтобы разминать кожу и расплющивать иглы дикобраза, которые требовались им при вышивании. Тем самым они могли обращать позывы кусания в высоко практичную деятельность зубов. И действительно, я видел, как сидевшая в своей палатке древняя старуха в полузабытьи протаскивала кусок кинопленки между немногими сохранившимися зубами, так же как, возможно, расплющивала иглы дикобраза много лет назад. В таком случае «зубные привычки» (tooth habits) сохранились у женщин, вероятно, потому, что для них эти привычки считались «нормальными» даже тогда, когда перестали быть особо полезными.

Щедрость в более поздний период жизни ребенка сиу подкреплялась не запрещением, а примером отношения старших (прежде всего, родителей и родственников) к собственности вообще и к детской собственности в частности. Родители индейского ребенка были готовы в любую минуту расстаться с утварью и другими сокровищами, стоило гостю восхититься чем-то, хотя, конечно, существовали обычаи, сдерживающие выражение восторга у гостей. Так, было дурным тоном обращать внимание на вещи и предметы, составляющие необходимый для жизни минимум. Однако ожидание, что взрослый должен был и хотел бы избавиться от излишка собственности, служило причиной неподдельного страха в те давние времена, когда «даритель-индеец» предлагал белому другу не то, в чем этот друг нуждался, а то без чего индеец мог обойтись, и предлагал лишь с той целью, чтобы унести с собой то, без чего, по его мнению, белый человек мог обойтись. Правда, все это касалось только собственности взрослых. Родитель-индеец с притязаниями на доброту и честность не прикоснулся бы к имуществу ребенка, поскольку ценность собственности - в праве владельца освободиться от нее, когда он испытывал побуждение это сделать, то есть когда это увеличивало престиж его самого и того лица, которому он мог решить отдать свое имущество. Поэтому собственность ребенка оставалась неприкосновенной до тех пор, пока он не обретал свободу волеизъявления, достаточную для принятия решения о раздаче имущества.

B. Удерживание и отпускание

Щедрость (и в наших интересах указать на это) прививалась детям не путем называния скаредности дурным качеством, а «денег» - грязными, но посредством подчеркивания

добродетельности дарения. Сама по себе собственность, за исключением вышеупомянутого минимума охотничьего снаряжения и домашней утвари, не обладала никакой ценностью. Торговцам не надоедает повторять истории о родителях-индейцах, которые приходят в город, чтобы купить уже давно нужные им припасы на заранее отложенные для этого деньги, но с довольной улыбкой оплачивают каждый каприз своих детей, включая их тягу к развинчиванию на части новых технических безделушек, и в итоге возвращаются домой без припасов.

В главе о прегенитальности много говорилось о клиническом впечатлении, согласно которому существует внутренняя связь между склонностью держаться за собственность (или раздавать ее даром) и возможностью ребенка распоряжаться экскрементами как собственностью своего тела.

Кажется, и в самом деле ребенку племени сиу предоставлена возможность самостоятельно достигать постепенного соответствия с любыми существовавшими правилами скромности и опрятности. Хотя лавочник и жаловался, что даже пятилетки никак не контролировали свои экскреторные нужды, находясь в магазине с совершающими покупки родителями, учителя утверждают: как только самый маленький индейский ребенок узнает, чего от него ждут, и, самое главное, увидит, как это делают старшие дети, чрезвычайно редко случается, чтобы он испачкал или обмочил штанишки в обычной школе. Жалобы на то, что индейские дети, подобно детям других культур, мочатся в постели в школах-интернатах - это другой вопрос. По некоторым соображениям энурез, по-видимому, относится к «нормальным» симптомам живущего в общежитии и тоскующего по дому ребенка. Следовательно, можно сказать, что эти дети, которым отнюдь не неведомы какие-то формы контроля, в состоянии приспособиться к двум нормам без компульсивных тенденций к ретенции или элиминации. Кишечник начинает регулироваться вследствие примера, подаваемого другими детьми, а не в результате мер, отражающих превратности взаимоотношений родителей и ребенка. Маленького ребенка, как только он овладевает ходьбой, старшие дети за руку отводят к месту, предназначенному по обычаю для испражнений. Вероятно, именно в таком контексте маленький ребенок впервые учится следовать принуждению к подражанию и руководствоваться избеганием «позора», которые столь характерны для первобытной морали. Ибо эти на вид «безнравственные дикари» часто робко интересуются сплетней, указывающей на то, что они не сделали чего-то надлежащего или сделали это не надлежащим образом. Ребенок сиу несомненно начинает сознавать переключение длины волны дидактической сплетни раньше, чем способен полностью разобраться в ее содержании, пока постепенно, но неумолимо эта сплетня не захватывает и его самого. Тогда она подстрекает автономную гордость и побуждает его стремиться быть тем, на кого смотрят с одобрением; заставляет его смертельно бояться разоблачения и изоляции; и отводит всякий бунт, который тем самым мог бы быть вызван в нем, позволяя самому участвовать в распространении сплетен о других.

Мы в праве сказать, что отношение индейцев сиу к анальному воспитанию в детстве не противоречит их отношению к собственности. В обоих аттитюдах акцент ставится на свободном избавлении, а не на строгом удерживании, и в обеих сферах окончательное регулирование отсрочивается до стадии развития эго, когда ребенок способен принять автономное решение, которое придает ему непосредственный реальный статус в сообществе сверстников.

Г. «Делание» и делание

В детстве индейцев сиу первые строгие табу, выраженные в устной форме и сделанные неизбежными благодаря плотной сети осмеивающих сплетен, касаются не тела и его модусов, а скорее моделей социальной близости. По достижении определенной стадии развития (вскоре после пяти лет) брату и сестре нужно было научиться не смотреть друг на друга прямо и не обращаться друг к другу непосредственно. Девочку обычно побуждали придерживаться женских занятий и оставаться рядом с матерью и типи, тогда как мальчика поощряли присоединиться к компании старших мальчиков: сначала в играх, а затем в охотничьих упражнениях.

Несколько слов об игре. Любопытнее всего для меня было увидеть игрушки индейских детей и понаблюдать за их играми. Когда я первый раз подошел к лагерю индейцев, разбитому неподалеку от агентства, продвигаясь осторожно и не обнаруживая своего интереса, чтобы не помешать игре хотя бы нескольких детей, маленькие девочки убежали в палатки и сели там около своих матерей, прикрыв колени и опустив глаза. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять: они вовсе не испугались, а просто вели себя «прилично». (В подтверждение тому, они немедленно были готовы играть в «ку-ку», выглядывая из-за материнских спин). И все же одна из девочек, лет шести, осталась на месте, так как сидела за большим деревом и была слишком поглощена своей уединенной игрой, чтобы обращать на

меня внимание или подчиняться правилам женской скромности. Когда, полный нетерпения, я подкрался к этому ребенку прерий, то застал девчушку согнувшейся над игрушечной пишущей машинкой. А ее губы, равно как и ногти, были накрашены красной краской.

Таким образом, даже самые маленькие девочки в своих играх испытывают влияние радикальных перемен, происходящих среди их старших сестер - учениц школ-интернатов. Это стало очевидным, когда женщины лагеря, желая показать, во что они играли в детстве, наделали для меня маленьких типи, повозок и кукол. Все эти игрушки явно предназначались для того, чтобы вести маленьких девочек по пути к индейскому типу материнства. Однако одна такая девочка, играя с только что сделанной мамой старинной игрушечной повозкой, уверенно разместила двух кукол-женщин на передке, побросала кукол-детей в заднюю часть повозки и повелела дамам «править в Шадрон, в кино». Тем не менее, даже такие игры остаются пока феминными играми. Девочку безжалостно высмеяли бы, попробуй она увлечься «мальчишеской» игрой или посмей стать сорванцом.

В играх мальчиков развивались честолюбивые стремления, да и сами их игры меньше изменились по сравнению с играми девочек, хотя деятельность ковбоя и здесь в значительной степени вытеснила деятельность охотника на бизонов. Поэтому, пока я наблюдал «сбегающих в город» маленьких кукол, младший брат играющей девочки с ликующим удовлетворением заарканил пень дерева, рядом с которым я расположился. Психологически старшие дети и взрослые считают такую игру важной тренировкой, хотя фактически она «бесполезна». Однажды я посмеялся, как мне казалось, вместе, а не над мальчиком, уверявшим мать и меня, что мог бы догнать и поймать дикого кролика голыми руками. Мне дали понять, что я совершил большую бестактность. Такие фантазии - не пустая «забава». Они служат подготовкой к мастерству, которое, в свою очередь, обеспечивает развитие идентичности охотника или ковбоя.

В этом отношении особый интерес представляет один очень старый обычай. Имеется в виду игра с «лошадиными костями» («bone horses») - мелкими костями трех-четырех дюймов длиной, собираемых мальчишками в тех местах, где забивали скот (а прежде - бизонов). В соответствии с формой кости назывались лошадьми, коровами или быками. Игра с ними заключалась в том, что либо мальчики непрерывно перебирали их пальцами в карманах, либо использовали в совместных играх в скачки или охоту на бизонов. Для мальчиков сиу эти кости имеют то же значение, какое маленькие игрушечные машинки имеют в жизни наших ребят. Фаллическая форма костей наводит на мысль о том, что они могут служить средством, которое позволяет маленьким мальчикам, перебирая пальцами «лошадей», «бизонов», «коров» и «быков», культивировать в течение фаллической и локомоторной стадии фантазии соперничества и агрессии, свойственные всем мужчинам этого племени. На этой стадии на долю старших братьев выпадало ввести маленького мальчика в этос охотника и сделать братскую верность цементом общества индейцев дакота. Вследствие исключительной близости с хвастающимися своими победами старшими мальчиками, младшие, должно быть, начинали довольно рано сознавать, что прямая фаллическая агрессивность оставалась уравненной со свирепостью охотника. Для юноши считалось должным взять силой любую девушку, которую он поймает за пределами отведенных для порядочных девушек мест; а та, которая не знала «своего места», становилась его законной добычей и он был вправе похваляться содеянным.

Все воспитательные средства использовались для развития у мальчика максимума уверенности в себе, сначала благодаря материнской щедрости и надежности, затем - братскому воспитанию. Он должен был стать охотником согласно игре, женщине, духу. Освобождение мальчика от матери и рассеивание любой регрессивной фиксации на ней достигалось чрезвычайным подчеркиванием его права на автономию и собственную инициативу. При условии безграничного доверия, постепенно научаясь (благодаря воздействию стыда, а не влиянию внутреннего торможения) сдержанно и крайне почтительно обращаться с матерью, мальчик, по-видимому, направлял все чувство неудовлетворенности и гнева в преследование дичи, врага и распущенных женщин, а также - против себя самого, в поисках духовной силы. Подобными поступками ему позволялось хвастаться повсюду, открыто и громогласно, тем самым обязывая отца демонстрировать гордость за своего незаурядного отпрыска. Совершенно очевидно, что такое стремительное приглашение с младых ногтей быть мужчиной и хозяином делало необходимым введение уравновешивающих гарантий для девочек. Хотя устройство этих гарантий весьма искусно, невозможно избавиться от ощущения, что женщину подвергали эксплуатации во имя несломленного «духа» охотника. И действительно, если верить словам, самоубийства были не редки среди женщин сиу, но неизвестны среди мужчин.

Девочку сиу воспитывали быть помощницей охотника и матерью будущего охотника: учили шить, готовить еду и хранить провизию, а также ставить палатку. В то же время ее подвергали строгой

дрессуре с целью выработки застенчивости и открытого опасения мужчин. Приучали ходить размеренно-неторопливым шагом, не пересекать установленные вокруг стойбища границы и, с наступлением зрелости, спать ночью со связанными у бедер ногами, чтобы не допустить изнасилования.

Девушка знала: если мужчина мог заявить, что прикоснулся к vulva женщины, то считалось, будто он одержал победу над ее невинностью. Эта победа простым прикосновением имела сходство с его правом на «count coup» [«Count coup» - «засчитанную победу». - *Прим. пер.*], то есть с притязанием на новое перо в головном уборе в тех случаях, когда ему удавалось в сражении прикоснуться к опасному врагу. Насколько сходны эти две победы, можно до сих пор увидеть в колонке «Частная жизнь» школьной газеты, выпускаемой детьми индейской резервации: там указывается, сколько раз такие-то мальчики одержали «засчитанную победу» над такими-то девочками, то есть поцеловали их.

Однако в былые времена любое публичное бахвальство со стороны юношей наносило оскорбление затронутой им девушке. Девушка знала, что во время праздника Девственницы ее могли вызвать защищать свою претензию на невинность против любого обвинения. Церемония этого праздника состояла из символических актов, явно принуждающих к правдивому признанию. Любой мужчина, который вознамерился бы и смог в церемониальной обстановке заявить, что ему удалось прикоснуться к гениталиям девушки, вполне мог добиться, чтобы ее удалили из круга элиты.

Все же было бы неверно предполагать, что такая ритуальная война препятствовала нежной половой любви. В действительности, парадоксальным на вид результатом подобного воспитания было развитие особенно глубокой привязанности друг к другу у тех, кто оказывался готовым пожертвовать вопросами престижа ради любви. И у юноши, чья нежность смиряла его гордость настолько, что он ухаживал за девушкой, призывая ее флейтой любви и закутывая ее и себя особым, предназначенным для ухаживания, шерстяным одеялом, чтобы попросить выйти за него замуж; и у девушки, которая отвечала на призыв, не сомневаясь в благородных намерениях ухажера и не хватаясь за охотничий нож, бывший всегда под рукой, на всякий случай.

Итак, девушку воспитывали таким образом, чтобы она прислуживала охотнику и, одновременно, была настороже по отношению к нему; но, кроме того, ее воспитывали так, чтобы она стала матерью, которая была бы не в силах истребить у сыновей характерные черты, совершенно необходимые охотнику. При помощи высмеивающей сплетни («люди делали такую-то неслыханную вещь») она постепенно, как это делала ее мать, будет обучать детей иерархии главных и второстепенных избеганий и обязанностей в отношениях мужчины с мужчиной, женщины с женщиной и, особенно, в отношениях между мужчиной и женщиной. Брату и сестре или тестю (свекру) теще (свекрови) и зятю (снохе) не позволялось, например, сидеть рядом друг с другом, так же как и беседовать наедине. Братьям и сестрам со стороны жены и мужа разрешалось говорить друг с другом только в шутливом тоне; это же требование касалось отношений любой девочки и ее дяди по материнской линии.

Однако эти запреты и предписания сделались частью крайне важных и серьезных взаимоотношений. Девочка, повзрослевшая настолько, чтобы избегать брата, знала: в конечном счете она употребит свое умение шить и вышивать - на чем и должна была сосредоточиться с этого времени - для изготовления и украшения орнаментом красивых вещей для будущей жены и детей брата. «У него искусная сестра», - обычно было высокой похвалой для воина и охотника. Брат знал: он отдаст сестре лучшее из того, что он добудет охотой или воровством. Самая жирная, самая упитанная добыча предлагалась для разделки сестре; и трупы его злейших врагов оставлялись ей же - для нанесения им увечий. Таким образом сестра, через силу духа и щедрость брата, тоже обретала возможность активно и агрессивно участвовать по крайней мер в некоторых кульминационных моментах охоты и войны. И прежде всего, в танце Солнца, при условии целомудрия, она омывала раны брата, нанесенные им самому себе, и тем самым разделяла с ним духовный триумф его наиболее возвышенного мазохизма. Первое и основное избежание - в отношениях между сестрой и братом - стало моделью всех отношений уважения и эталоном щедрости и готовности помочь среди всех «братьев» и «сестер» расширенного родства, а верность братьев друг другу стала образцом всех товарищеских отношений.

Я полагаю, было бы излишним упрощением сказать, что такие избежания служили предупреждению «естественного» инцестуозного напряжения. Крайняя степень, до какой некоторые из этих избежаний доходят, и откровенные намеки на то, что поддразнивание между братьями и сестрами супругов *должно* носить сексуальный характер, указывают скорее на искусную провокацию, равно как и на отвод потенциального инцестуозного напряжения. Такое напряжение утилизировалось в рамках универсальной задачи создания социальной атмосферы уважения внутри группы (к каждому в соответствии с его семейным статусом), а также безопасного отвлечения на добычу, врага и парию потребности в манипулятивном контроле и генерализованной агрессивности, спровоцированной и

фрустрированной еще на стадии кусания. В прежние времена существовала высоко стандартизированная система «должных» взаимоотношений, которая обеспечивала доброжелательность, дружелюбие и внимание к другим в пределах расширенной семьи. Чувство принадлежности целиком и полностью зависело от способности приобретать репутацию человека, заслуживающего похвалы за должное поведение. А тот, кто после постепенного усиления давления со стороны стыдящих его членов общины все же продолжал упорствовать в неуместном поведении, становился жертвой безжалостно жалящей сплетни и убийственной клеветы, - как если бы, отказываясь помочь в отводе согласованной агрессивности, сам оказался врагом.

В наше время юноша сиу обыкновенно мельком видит ту жизнь, к которой ритуалы мальчишеских игр все еще готовят его, а именно, наблюдая и (при возможности) присоединяясь к исполняющим обрядовые танцы старшим соплеменникам. Белыми людьми эти танцы часто характеризовались как «дикие» и «разнузданные», поскольку в них явно чувствовалась двойная опасность, вырастающая из постепенного подъема группового духа и нарастания «животного» («чувственного») ритма. Однако когда мы наблюдали старых танцоров сиу на одном из уединенных танцевальных сеансов, казалось, что они, с каждым уходящим часом ночи, выражали своими пылающими лицами только усиливающуюся концентрацию на ритме, который овладевал их телами с нарастающей точностью. Законность здесь шла в ногу с дикостью и необузданностью. Для сравнения: было просто неудобно смотреть на позднее прибывшую группу молодых мужчин, явно знакомых с танцами под джазовую музыку. Их танец выглядел совершенно «вывихнутым», а пристальный взгляд самодовольно блуждал по зрителям, что делало, при сравнении, духовную концентрацию их старших соплеменников только более впечатляющей. Присутствовавшие на этом показе старые индейцы пытались ладонями прикрыть выражающие жалость улыбки.

Таким образом, при случае, танцы и церемонии до сих пор свидетельствуют о существовании мужчины с «отважным сердцем», который научился использовать орудия его материальной культуры для экспансии своих охотничьих способностей за пределы ограниченных возможностей собственного тела. Владея лошадью, он получил прибавку в быстроте (на которую его ноги неспособны), чтобы приближаться к зверю и врагу с парализующей внезапностью. С помощью лука, стрел и томагавка он развил ловкость и увеличил силу своей руки. Приятный запах дыма священной курительной трубки завоевывал ему расположение мужчин, а голос любовной флейты - благосклонность женщин. Амулеты приносили любого рода удачу в большей степени, чем «голый» вздох, слово или желание. Однако, как он усвоил, к Великому Духу надо обращаться только в состоянии тщательной концентрации человека, который, будучи нагим, одиноким и безоружными, отправляется в пустыню, чтобы поститься и молиться.

5. Сверхъестественное

А. Танец солнца

Рай оральности и его утрата во время вспышек ярости на стадии кусания, как мы предположили в предыдущей главе, могут быть онтогенетическим источником того глубокого чувства испорченности, которое религия трансформирует в сознание первородного греха во всемирном масштабе. Поэтому молитва и искупление должны отвергать всякое слишком алчное желание «мирских благ» и демонстрировать - покорной позой и интонацией настойчивой мольбы - возвращение к телесной ничтожности, технической беспомощности и добровольному страданию.

В жизни индейцев дакота религиозной церемонией огромного значения был танец Солнца, занимавший два четырехдневных периода лета, «когда бизоны нагуляли жир, ягоды поспели, а трава еще высока и зелена». Праздник начинался с ритуального пиршества, выражения благодарности Духу Бизона и демонстраций чувства товарищества среди соплеменников. Затем следовали обряды плодородия, сопровождаемые актами сексуальных вольностей, аналогичных тем, что служат отличительным признаком подобных обрядов во многих частях света. Потом шли охотничьи и военные игры, прославляющие состязательность среди мужчин. Мужчины шумно хвалились своими подвигами на войне; женщины и девушки вступали в общий хор, чтобы объявить всем о своем целомудрии. И наконец, взаимозависимость всех членов племени дакота возвеличивалась и утверждалась в обмене подарками и актах братания.

Кульминационный пункт празднества наступал, когда избранные участники истязали себя во исполнение клятв, данных в критические моменты текущего года. В последний день церемонии

«кандидаты четвертого танца» подвергали себя наивысшей разновидности самоистязания, протыкая мышцы груди и спины небольшими вертелами, прикрепленными к «солнечной оси» [То есть к вертикально вкопанному в землю деревянному колу. - *Прим. пер.*] кожаными ремнями. Пристально вглядываясь в солнце и медленно отступая назад от центра в ходе танца, мужчины могли освободиться от добровольной привязи, только вырывая куски плоти из открытой груди. Так они становились духовной элитой года, которая своим страданием обеспечивала непрерывную благожелательность Солнца и Духа Бизона - основных источников плодородия и плодовитости. Этот специфический подвиг вскрытия собственной грудной клетки *ad majorem gloriam* [К вящей славе (лат.) - *Прим. пер.*] — всего лишь один из тех бесчисленных способов, которыми по всему свету искупается сознание греха и обеспечивается непрерывная щедрость вселенной, и это часто после соразмерно буйного прощания со всем плотским (carne vale).

К значению институционализированной формы искупления следует подходить и онтогенетически, как к соответствующей части типичной последовательности личного опыта большинства, и филогенетически, как к составной части религиозного направления. Для обсуждаемой здесь конкретной племенной разновидности я считаю продуктивным предположение о том, что должна существовать связь между самой ранней, перенесенной в младенчестве, травмой (онтогенетической, но тем не менее характерной для большинства культур утратой рая) и итоговой особенностью религиозного искупления. В таком случае, рассмотренная церемония могла бы быть кульминационным пунктом превратностей того умышленно культивируемого (хотя бы и давно забытого) гнева на грудь матери в период кусания, которое мешает продлению прав ребенка на сосание. Здесь верующие, вероятно, обращали разбуженные впоследствии садистические желания, некогда приписываемые матерями свирепости будущих охотников, на самих себя, делая собственную грудь специфическим центром самоистязания. Возможно, тогда данная церемония реализует старый принцип «око за око», за исключением того, что малыш конечно же был не способен совершить тех разрушений, которые он став теперь мужчиной, искупает. Нашим рациональным умом трудно постичь, если только он не вышколен в условиях иррациональности, что фрустрированные желания и, в особенности, желания ранние, доречевые и чрезвычайно смутные, способны оставлять осадок греха, залегающий глубже следов любой вины за поступки, на самом деле совершенные и оставшиеся в памяти. В нашем мире только магические слова Иисуса приводят нас к сознанию греховности этих темных сущностей. Мы принимаем Его слова за идеал, согласно которому лелеемое в тайне от других желание столь же добродетельно или, скорее, столь же дурно, как и совершенный поступок; и любой орган, соблазняющий нас упорными желаниями, должен быть вырван с корнем. [По-видимому, Эриксон имеет в виду предупреждение Иисуса Христа о последствии греха. См.: Евангелие от Матфея. 5: 29-30. - *Прим. пер.*]

Конечно, вовсе не обязательно, чтобы все племя или все прихожане следовали такому предписанию буквально. Скорее культура должна предусматривать обычай магического верования и стойкую ритуальную систему, дающую возможность нескольким исключительным личностям, которые чувствуют специфическое, связанное с их культурой клеймо внутреннего проклятия особенно глубоко (и, возможно, достаточно сценичны, чтобы испытывать желание сделать из этого величественное представление), инсценировать для всех остальных ту истину, что спасение существует. (В наше время убежденным скептикам и неверующим часто приходится находить убежище в болезни, случайном на вид увечье или, казалось бы, неизбежном несчастье, чтобы выразить бессознательную идею: они хотели слишком многого в этом мире - и вот что получилось.)

Б. Путеводные сны и видения

Мы постепенно начинаем понимать, что гомогенные культуры располагают систематическим способом вознаграждения - в виде высшего ободрения и достойного престижа - за те жертвы и фрустрации, которые ребенок должен принести и пережить в процессе становления добродетельным и сильным в традиционном смысле. А как же те, кто считает себя «иным», а предоставляемые возможности завоевать престиж - не отвечающими личными потребностям? Как обстоят дела с мужчинами, не желающими быть героями, и с женщинами, которых не легко уговорить стать супругами и помощницами героев?

В нашей культуре Фрейд учил нас исследовать сновидения невротических личностей для того, чтобы установить, какому несовершённому поступку они не могли позволить оставаться несовершённым, какой мысли - непомысленной и какому воспоминанию - неприпомненным в ходе их

абсолютно негибкой адаптации. Мы используем такое знание для обучения страдающего индивидуума находить место в своей культурной среде или для критики системы воспитания за то, что она подвергает опасности слишком многих людей, требуя от них чрезмерной уступчивости, и тем самым подвергает опасности самое себя.

Сиу, подобно другим примитивным народам, использовали сновидения в качестве руководства к действию «власть предержащих», а также в целях предотвращения анархических тенденций. Но они не дожидались сновидений взрослых для принятия мер к неправильному ходу развития детей; подростки сиу уходили искать сновидения, а вернее, - видения, когда еще было время для того, чтобы окончательно выбрать свой жизненный путь. Безоружным и голым, если не считать набедренной повязки и мокасин, подросток уходил в прерию, подвергая себя действию солнца, опасности и голоду, и там обращался к божеству, уверяя его в полном смирении и прося руководства. Оно обычно приходило на четвертый день в форме видения, которое, будучи затем истолковано специальной комиссией знатоков сновидений, поощряло подростка: а) особенно хорошо выполнять обычные дела: охотиться, воевать, красть лошадей; б) вносить небольшие новшества в институты своего племени, придумывая песню, танец или молитву; в) сделать что-то особенное, например, стать врачом или священником; или, наконец, г) принять одну из тех немногих ролей, имеющихся в распоряжении закоренелых девиантов.

Вот пример: один человек, убежденный в том, что видел Птицу Грома, сообщил об этом советникам, и с этого времени во всех общественных мероприятиях исполнял роль «*beyoka*». Он был обязан вести себя как можно глупее и смешнее до тех пор, пока советники не сочли его исцелившимся от проклятия. Уисслер описывает следующий поучительный случай *beyoka* у подростка:

«Однажды, в самом начале года (мне было тогда около тринадцати лет), солнце стояло низко, надвигался дождь с грозой, и моя родня укрылась в лагере из четырех типи. Мне привиделось, будто вся наша семья вместе с отцом сидела в типи, когда молния ударила прямо в середину их тесного круга. Все были оглушены. Я очнулся первым. Где-то поблизости от лагеря громко кричал сосед. Меня всего скрючило, когда я начал приходить в себя. Подошло время выводить лошадей, что я и сделал.

По мере того, как я окончательно приходил в себя, я начал понимать, что произошло, и что в связи с этим мне придется пройти церемонию *beyoka*, когда полностью оправлюсь. Громкий голос вестника сообщил мне об этом, но я не уверен, что это было на самом деле. Я знал, что мне предназначено испытать *beyoka*. Я что-то кричал самому себе. Затем я сказал отцу, что видел Птицу Грома. «Что ж, сын, - ответил он, - ты должен пройти этот путь до конца». Мне сказали, что я должен быть *beyoka*. Если я не пройду эту церемонию до конца, то буду убит молнией. После этого я отчетливо понял, что должен, соблюдая правила обряда, рассказать на церемонии именно то, что я пережил». [C. Wissler, *Societies and Ceremonial Associations in the Oglala Division of the Teton-Dakota*, Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, Vol. XI, Part I, New York, 1912.]

Как можно увидеть, было важно, чтобы «сновидец» преуспел в донесении до слушателей такого впечатления от случившегося с ним во сне, которое совпадало бы с признаваемой формой явного содержания сновидения и, кроме того, передавало бы потрясение рецепиента; в этом случае предполагалось, будто высшие силы подали ему убедительный знак: они хотят, чтобы рецепиент определенным образом спланировал или изменил ход своей жизни.

Искупление могло состоять из противоестественного поведения в течение установленного периода или всей жизни, в зависимости от истолкования видения советниками. Абсурдная деятельность требовала от невезучего сновидца быть либо просто смешным и безобидным, либо наводящим ужас. Иногда ему даже выносили приговор убить кого-то. Друзья сновидца обычно убеждали его покориться этому, ибо защита от злых духов была важнее сохранения отдельной жизни.

Те, кто хорошо знаком с присущими эго искусными приемами преодоления тревоги и вины, не могут не признать в фиглярстве *beyoka* сходства с действиями детей, дурачащихся, унижающих свое достоинство или иным путем наносящих себе ущерб, когда их пугает или мучает нечистая совесть. Один способ избежать оскорбления богов - унизить или выставить себя в дурном свете перед обществом. Когда у любого человека можно вынудить позволение дурачить его и смеяться над ним, духи забывают обиду и прощают (возможно, даже аплодируют). Клоун с известной всем загадочной грустью, равно как и радиокомик, наживающий капитал на собственных недостатках, служат профессиональными разработками в нашей культуре этого защитного механизма. И среди индейцев сиу почти презираемый *beyoka* мог оказаться настолько ловким в своем фиглярстве, что в конечном счете мог стать вождем племени.

Другим могла присниться луна, бизон-гермафродит или женщина-двойник (the double-woman), и таким образом они узнавали, что не должны больше следовать образу жизни, соответствующему их

полу. Так, девушка (во сне) может неожиданно встретиться с женщиной-двойником, которая приводит ее в одиноко стоящий типи.

«Когда девушка подходит ко входу в типи и заглядывает внутрь, она видит двух женщин-олених, сидящих в глубине у задней стенки. Они приказывают ей выбрать сторону, по какой она войдет внутрь. По одной стороне вдоль стены в ряд расположены инструменты для обработки кож, по другой - ряд мешков с праздничными головными уборами из перьев. Если выбирается первая сторона, женщины-оленихи скажут: «Ты выбрала неправильно, но ты станешь очень богатой». Если же девушка выберет другую сторону, они скажут: «Ты на правильном пути и все, что ты будешь иметь, это пустой мешок».» [Там же.]

Такой девушке пришлось бы оставить традиционный образ жизни женщины сиу и проявить активность в погоне за мужчинами. Ее обычно называли *witko* (помешанной на) и считали шлюхой. Но она также могла добиться славы на пути признания ее ловкости и достичь статуса гетеры.

Юноша мог увидеть:

«... луну с двумя руками: в одной - лук и стрелы, в другой - кожаный ремень, используемый женщиной для переноски тяжестей. Луна приказывает сновидцу сделать выбор. Когда юноша тянется за луком, руки луны неожиданно перекрещиваются и пытаются силой навязать ему женский ремень. Юноша отбивается, чтобы успеть проснуться раньше, чем луна заставит его взять этот ремень; одновременно он пытается силой захватить лук. И в том, и в другом случае успех избавляет его от наказания сновидения. Если же он терпит неудачу и оказывается обладателем женского ремня, то обречен стать женоподобным существом.» [T. S. Lincoln, *The Dream in Primitive Cultures,* Cresset Press, London, 1935.]

Если такой юноша не предпочтет покончить жизнь самоубийством, он должен будет отказаться от карьеры воина и охотника и стать *berdache* - мужчиной-женщиной, одевающимся как женщина и выполняющим женскую работу. *Berdache* не были непременно гомосексуалистами, хотя говорят, что с некоторыми из них мужчины вступили в брак, а некоторых воины посещали перед сражением. Однако большинство *berdache* походили на евнухов, просто считавшихся неопасными для женщин и, следовательно, их хорошими компаньонами и даже учителями, поскольку часто выделялись в искусстве приготовления пищи и вышивания.

Итак, гомогенная культура, такая как культура сиу, борется с девиантами, отводя им вторичную роль - шута, проститутки или мастера своего дела, но не освобождая их полностью от осмеяния и смешанного с ужасом отвращения со стороны подавляющего большинства соплеменников, чтобы последние могли подавить в себе то, что девианты олицетворяют. Однако ужас и отвращение остаются направленными против могущества духов, внедряющихся в сновидения девиантной личности, и не восстанавливают остальных людей против самого пораженного индивидуума. Таким образом, «примитивные» культуры признают власть бессознательного. Если только девиант способен убедительно доказать, что видел соответствующий сон, считается, что его отклонение основывается на сверхестественной «божьей каре», а не на индивидуальной мотивации. Как психопатологи, мы должны восхищаться тем способом, который эти «примитивные» сообщества выбрали для сохранения гибкого влияния там, где более изощренные общественные устройства часто терпят неудачу.

6. Резюме

Индеец сиу, при травматических обстоятельствах, лишился действительности, которой соответствовала последняя историческая форма его общинной целостности. До прихода белого человека он был воюющим кочевником и охотником на бизонов. Бизоны исчезли, истребленные оккупантами. Тогда сиу стал воином - защитником своих рубежей, но был разбит. Почти с радостью он научился сгонять скот вместо того, чтобы окружать бизонов; скот у него отобрали. Сиу смог стать оседлым фермером, но ценой превращения в тоскующего на оскудевшей земле человека.

Так, шаг за шагом, индейцам сиу отказывали в опорах для формирования коллективной идентичности, а с ней и источника коллективной целостности, откуда индивидуум должен наследовать свое положение в качестве социального существа.

Страх голода заставил сиу уступить общинные функции кормящему завоевателю. Оставаясь отнюдь не переходным предметом договорного обязательства, федеральная помощь продолжала быть необходимой, причем все больше в форме пособия по безработице. В то же время правительство не преуспело ни в примирении старых и новых имиджей, ни в закладывании ядра совести, действительно новой и по форме, и по содержанию. Поэтому мы считаем, что воспитание ребенка остается

чувствительным инструментом единого культурного синтеза, пока новый инструмент не окажется убедительным и неизбежным.

Проблема воспитания индейцев - это, фактически, проблема культурных контактов между группой служащих - представителей ценностей среднего класса общества свободного предпринимательства с одной стороны и, с другой стороны, остатками племени, которые, стоит им покинуть сень правительственной поддержки, всегда оказываются среди неимущих того же общества.

В действительности, древние принципы воспитания ребенка, еще действующие в остатках племени, подрывают совокупность основ и устоев белой совести. Принцип развития в системе индейского воспитания утверждает, что ребенку следует позволять быть индивидуалистом, пока он мал. Родители не выказывают никакой неприязни к телу как таковому и практически не порицают, особенно у мальчиков, своеволия. Никто не осуждает инфантильных привычек, пока ребенок развивает ту систему коммуникации между собой и телом, а также между собой и родственниками, на которую опирается детское эго. И лишь тогда, когда появляется сила в теле и уверенность в себе, от него требуют подчинения традиции безжалостным пристыживанием через общественное мнение, сосредоточенное на его актуальном социальном поведении, а не на телесных функциях или фантазиях. Он инкорпорируется в гибкую традицию, которая строго институционализированным образом заботится о его социальных нуждах, отводя опасные инстинктуальные побуждения на внешних врагов и всегда позволяя ему проецировать источник возможной вины на сверхъестественные силы. Мы видели, сколь неподатливой эта совесть осталась даже перед лицом грубой действительности исторических перемен.

В противоположность этому, господствующие в западной цивилизации классы, представленные здесь их бюрократией, руководствовались убеждением, что систематическое регулирование функций и импульсов в самом раннем детстве есть твердая гарантия более позднего эффективного функционирования в обществе. Они имплантируют никогда не смолкающий метроном режима восприимчивому младенцу и маленькому ребенку, который и регулирует его первые опыты познания собственного тела и непосредственного физического окружения. Только после такой механической социализации ребенка поощряют продолжать развивать в себе сильного индивидуалиста. Он неотступно следует честолюбивым устремлениям, однако вынужденно остается внутри стандартизованного набора профессий, которые по мере усложнения хозяйственной жизни имеют тенденцию замещать более общие обязанности. Развившаяся до такой степени специализация привела западную цивилизацию к овладению техникой, но также и к сокрытому в глубинах души безграничному недовольству и дезориентации индивидуума.

Как и следовало ожидать, вознаграждения одной системы мало что значат для членов другой системы, хотя ее издержки даже слишком очевидны для них. Несломленный индеец сиу не в силах понять, к чему еще кроме как к *реставрации* стоит стремиться, когда этническая и индивидуальная история уже снабдила его памятью изобилия. С другой стороны, совесть белого человека требует его непрерывного *усовершенствования* в погоне за профессиональными занятиями, ведущими ко все более высоким стандартам. Это *усовершенствование,* в свою очередь, требует все более и более интериоризованной совести, способной бороться с искушением автоматически и бессознательно, в отсутствие критически настроенных наблюдателей. Индейская совесть, в большей степени озабоченная тем, как избежать соблазнов внутри системы четко определенных ситуаций славы и позора, обходится без ориентации в противоречивых ситуациях, разрешение которых зависит от «внутреннего голоса».

Система, лежащая в основе педагогики сиу, - это примитивная система; иначе говоря, она базируется на адаптации чрезвычайно эгоцентрической и относительно небольшой группы людей, считающих только себя релевантными роду человеческому, к одному сегменту природы. Примитивные культурные системы ограничиваются тем, что: а) специализируют каждого отдельного ребенка в одном главном профессиональном занятии, в данном случае - в охоте на бизонов; б) совершенствуют ту область мира орудий, которая расширяет пределы досягаемости человеческим телом добычи; в) используют магию в качестве единственного средства принуждения природы.

Такое самоограничение способствует гомогенности. Образуется устойчивый синтез географических, экономических и анатомических паттернов, которые в жизни сиу находят свой общий знаменатель в центробежности, выраженной в ряде таких уже затронутых в нашем обсуждении вопросов, как: а) социальная организация в форме отрядов, способствующая легкому рассеиванию и миграции; б) рассеивание напряжения в системе расширенной семьи; в) кочевая технология и охотное использование лошади и огнестрельного оружия; г) распределение собственности через дарение; д) отвлечение агрессии на охотничью добычу и чужаков.

Воспитание ребенка у индейцев сиу формирует прочную основу для этой системы центробежности, создавая постоянный центр доверия, именно, кормящую и угождающую мать, а затем регулируя вопросы прорезывания зубов, младенческого гнева и мышечной агрессии таким образом, что предельно возможная степень свирепости провоцируется, направляется в социальное русло и, в конечном счете, выпускается на добычу и врага. Мы полагаем, что имеем здесь дело не с простой причинностью, а с взаимной ассимиляцией соматических, ментальных и социальных паттернов, которые усиливают друг друга и делают культурный план жизни экономным и эффективным. Лишь такая интеграция дает возможность чувствовать себя уютно в этом мире. Однако при пересадке в нашу систему одно только проявление поведения, считавшегося некогда рациональным и аристократическим, как то: пренебрежение собственностью и отказ состязаться, - ведет к выравниванию с самым нижним слоем нашего общества.

7. Последующее изучение детства индейцев сиу

В 1942 году, спустя пять лет после наших с Микилом полевых исследований, Гордон Мак-Грегор, работавший в 1937 году с нами в резервации, возглавил углубленное и обширное исследование 200 детей из Пайн Ридж. Оно было частью более широкого проекта изучения индейского воспитания, предпринятого с целью собрать подробный материал о детстве и родовой личности в пяти племенах американских индейцев. Кадровое обеспечение и финансирование этого проекта осуществлялось Чикагским университетом и Службой образования индейцев. Мак-Грегор и его группа имели возможность (которой мы были лишены) наблюдать индейских детей в школьной и домашней обстановке на протяжении всего года, причем участники проекта имели опыт наблюдения за другими индейскими племенами, равно как и за белыми детьми, и к тому же располагали множеством адаптированных тестов. Поэтому исследование Мак-Грегора может служить как образцом верификации клинических впечатлений, так и научным отчетом о продвижении в данной области исследований.

Сначала я резюмирую данные, касающиеся ряда моментов традиционного воспитания ребенка, которые, согласно отчету Мак-Грегора [G. MacGregor, *Warriors without Weapons,* University of Chicago Press, 1946.], по-видимому, сохранились в той или иной форме, особенно у чистокровных или имеющих незначительные примеси чужой крови индейцев - жителей резервации Пайн Ридж.

По сообщению Мак-Грегора, малышей сиу туго пеленают. Держа на руках, их легонько, но непрерывно укачивают. Одних детей отнимают от груди уже в девять месяцев, других только в тридцать шесть месяцев; большинство же из них расстается с грудью матери где-то между одиннадцатью и восемнадцатью месяцами. Сосание пальца почти не встречается. Применение «успокоителей» [Аналогов соски. - *Прим. пер.*] наблюдалось в трех случаях: один «успокоитель» был куском резины, другой - куском свинины, третий - обычной сосиской. Привычка «щелкать ногтем большого пальца по передним зубам» широко распространена у индейцев дакота. Щелкание зубами (tooth-clicking) встречается преимущественно у женщин и девочек.

Взрослые с удовольствием и должным терпением следят за ранним развитием ребенка. Никто не подгоняет малыша на пути овладения ходьбой и речью. С другой стороны, отсутствует детская речь (baby talk) как таковая. Первый язык, которому учат ребенка, - это индейский язык прежних времен; английский же до сих пор оказывается проблемой для многих детей, когда они поступают в школу.

Приучение к туалету совершается главным образом через подражание. Когда поблизости нет белых, малыш расхаживает без повязки или трусов. Однако отмечается тенденция ускорять формирование умения контролировать стул и точно обозначать участки для отправления естественных надобностей.

Детей современных дакота заботливо приучают быть щедрыми. Им до сих пор дарят ценные подарки, например, лошадей. Дети пяти, шести и семи лет дарят свободно - и с удовольствием. «Как-то на похоронах, где много дарили, маленький мальчик из семьи умершего потратил свою единственную монету в 10 центов на покупку порошкового лимонада, чтобы в соответствии с обычаем выставить ведро оранжада для угощения приходящих навестить его семью мальчиков». Имущество иногда убирают, но в остальном никак не защищают от детей - факт, воспринимаемый белыми людьми «с недоумением и полным разочарованием».

Главные средства воспитания - предостеречь и пристыдить. Детям позволяют вопить от ярости: «это сделает их сильными». Шлепки хотя и встречаются, но все-таки редко. Стыдят же ребенка все сильнее, особенно если он продолжает дурно вести себя, причем и в семье взрослые выделяют в качестве проступков прежде всего эгоизм и соперничество, стремление извлечь выгоду из трудного

положения других. Напряженные семейные ситуации гости предпочитают обходить на почтительном расстоянии.

Маленькие мальчики (вместо игры с луком и стрелами, да костями бизона) увлечены арканами и рогатками, и ради торжества духа охотника их поощряют гоняться за петухами и другими мелкими животными. Девочки играют в куклы и посильно участвуют в ведении хозяйства.

К пяти-шести годам ребенок племени дакота уже сознавал, что в семье он нежно любим и находится в полной безопасности. Какое-то разделение полов вступает в силу, но от обычая избегания уже отказались, и это отмечается практически всеми наблюдателями как наиболее характерная перемена. Лишь в парных танцах братья и сестры продолжают избегать друг друга.

В школе дети с большей примесью индейской крови учатся получать удовольствие от состязания, и вообще школа используется как место встреч, когда семейные узы становятся тесными. Все же многие выходят из соревнования, а некоторые совсем отказываются отвечать на вызов. «Требование конкурировать в классе противоречит характеру ребенка дакота, и он осуждает соперничающих детей среди своих товарищей». Это препятствие, в сочетании с неспособностью говорить по-английски и боязнью белого учителя, приводит к частым случаям смущенного ухода в себя или побегам. Ребенка не наказывают, когда он сбегает домой: его родители сами имеют обыкновение бросать работу или покидать общину, когда испытывают растерянность или гнев.

Младшие мальчики бьют девочек больше, чем это обычно бывает в белых школах. Старших мальчиков соревновательные игры, такие как бейсбол, могут иногда приводить в замешательство из-за необходимости проявлять соревновательность. Однако среди мальчиков отмечается возросшая тенденция драться яростно (теряя контроль над собой) как в школе, так и дома.

Старшие девочки до сих пор ведут себя с опаской по отношению к юношам и мужчинам, путешествуют всегда в компании с другими девочками, отказываются ездить верхом и держатся совершенно обособленно от мальчиков.

Школа-интернат, которая (по сравнению с домашней жизнью) оказывается местом материальной роскоши и богатых возможностей для реализации разнообразных интересов, несет с собой самые приятные годы в жизни индейского ребенка. Тем не менее, подавляющее большинство учеников средней школы ее не заканчивают. Рано или поздно они начинают прогуливать уроки и, в конце концов, бросают учебу навсегда. Причина - опять-таки состояние замешательства и растерянности в ситуациях, где проблемы стыда и конкуренции, чистокровности и нечистокровности, мужского и женского стали неразрешимыми из-за изменения нравов. Кроме того, длительное обучение, по-видимому, не сулит в данном случае более определенной идентичности (или более гарантированного дохода).

Исключая годы экономического бума, повзрослевшие мальчики и девочки склонны оставаться в резервации или возвращаться в нее. Вследствие полученного в раннем детстве воспитания, их родной дом, вероятно, остается самым безопасным местом, несмотря на то, что школьные годы сделали старшее и младшее поколение менее приемлемыми друг для друга. Узнав, что нужды можно избежать, юноши уже не желают мириться с тем, чтобы их отцы оставались безработными или просто бездельничали. Став более честолюбивыми, они порицают устойчивую тенденцию к зависимости от правительства. Привыкшие теперь в большей степени к образу жизни белых, они находят постоянное давление критических сплетен деструктивным, особенно в тех случаях, когда оно разрушает то немногое, что им самим удалось ассимилировать из этого образа жизни. То, чему молодые люди научились в школе, подготовило их к гомогенному развитию племенной реабилитации, которая удерживается от кристаллизации соблазнами армейской службы, сезонного труда или работы на заводах. Последние тенденции ставят индейских юношей перед проблемами беднейших белых селян и цветных горожан. И только служба в армии придает новый блеск древней роли, да и то, когда выпадает жребий побывать на войне.

Те, кто следует примеру своих учителей и поступает в колледж или готовится к должности государственного служащего, как правило, ищут работу в других резервациях, дабы избежать двойной морали, согласно которой их признают лучше подготовленными, но ожидают, что они будут молчать, когда говорят их более опытные и старшие соплеменники. Таким образом община теряет своих потенциальных лидеров. Молодые мужчины и женщины, отличающиеся цельной натурой и запасом жизненных сил, появляются до сих пор, однако они составляют исключение. Заслуживающие доверия новые модели для детей дакота еще не кристаллизовались.

Мы отметили в общих чертах то, что согласно исследования Мак-Грегора, осталось неизменным в воспитании индейского ребенка. Теперь посмотрим, что изменяется.

Самое большое изменение в жизни дакота, вероятно, коснулось статуса семьи в целом: вместо

того чтобы служить укреплением самодостаточности, она стала прибежищем тех, кто ощущает себя изолированным и неспособным.

Братские узы, по-видимому, остаются самой прочной связью: здоровой, допускающей легкую замену и удобной для устройства и упрочивания общинных дел. А самыми слабыми, вероятно, становятся взаимоотношения детей и отцов, не способных ничему научить сыновей и, фактически, переставших быть образцами для подражания. Взамен мальчики стремятся заслужить похвалу от сверстников. В среде девочек почти от всех старинных избежаний отказались или смягчили их до такой степени, когда они оказываются лишь пустым актом уступчивости. Странная смесь уныния, гнева и, опять-таки, стыда и смущения проникла в разрыв этих старинных уважительных отношений. Получение образования и работы - это новые и сильные стремления, однако они, по-видимому, быстро истощаются, так как не могут соединиться с любыми конкретными ролями и функциями. Дети чувствуют то, что старшим хорошо известно, а именно (это мои слова): «Вашингтон», климат и рынок делают любой прогноз невозможным.

В исследовании Мак-Грегора использовалась широкая «батарея» анкет и тестов с целью прийти к формулировке конструкта «личность дакота». По утверждению Мак-Грегора это - сводный портрет, который не изображает «личность какого-то одного ребенка или личности большинства индейских детей; о ней невозможно сказать, что она во всех своих элементах существует у кого-либо из детей, не говоря уже об их большинстве». Я не буду оспаривать или обсуждать методологию данного исследования, а лишь резюмирую некоторые его результаты, проливающие свет на внутреннюю жизнь этих детей.

Следует сразу разделаться с одним вопросом, который, я уверен, многие читатели давно хотели бы задать; так вот, интеллект детей дакота немного выше интеллекта белых детей. Однако их здоровье соответствует здоровью непривилегированных белых деревенских детей. Хроническое голодание определенно служит причиной апатии и, в значительной степени, медлительности и отсутствия честолюбивых устремлений; гнетущая тяжесть жизни резервации также вызвана голодом. Хотя группа Мак-Грегора после исчерпывающего изучения проблемы полагает, что общая апатия - настолько же причина, насколько и следствие голода, ибо она обычно служила помехой инициативе и трудолюбию в ситуациях, которые предоставляют возможности улучшить положение.

Результаты тестов тематического воображения и спонтанные истории, придумываемые детьми племени дакота, отражают их образ мира. Нужно иметь в виду, что подобные тесты не содержат вопросов типа «Каким ты видишь мир?» или «Как ты смотришь на происходящее?», поскольку найдется немного взрослых, а еще меньше - детей, тем более индейских, знающих, что ответить. Поэтому те, кто проводит тестирование, рассказывают историю, показывают сюжетную картинку или листы с чернильными пятнами неопределенных очертаний и спрашивают: «Что ты здесь видишь?» Такая процедура заставляет ребенка забывать о действительности, но тем не менее, бессознательно выдавать свои действительные разочарования, желания и, прежде всего, базисную позицию (или аттитюд) в отношении человеческого существования.

Дети индейцев дакота, как утверждают исследователи после тщательного количественного анализа продуцированных тем и обнаруженных апперцепций, характеризуют мир как опасный и враждебный. Нежные отношения в ранней семейной жизни вспоминаются с тоской по прошлому. В остальном мир для них, по-видимому, почти не имеет определенности и значения. В рассказах детей дакота персонажи не имеют имен, нет ясно очерченного действия и определенного исхода. Соответственно, осторожность и негативизм оказываются главными характеристиками высказываний этой группы детей в целом. Их комплекс вины и гнева выражается в историях, сводящихся к мелочной и тривиальной критике, бесцельному битью или импульсивному воровству, просто из мести. Подобно всем детям, они любят истории, в которых можно уйти от настоящего, однако творческое воображение ребенка дакота возвращается к временам до прихода белого человека. Фантазии о прежней жизни «подаются детьми не как истории о былых подвигах и славе дакота, а как рассказы о том приятном, что может возвратиться, дабы компенсировать лишения и страхи настоящего». В рассказах детей действие большей частью инициируется другими, и обычно - это необдуманное, ненадежное и враждебное поведение, ведущее к дракам и уничтожению игрушек и имущества и вызывающее у рассказчика печаль, страх и гнев. Действие, принадлежащее рассказчику, почти всегда приводит к драке, порче имущества, нарушению правил и воровству. Животные также изображаются дерущимися, и не только в традиционных случаях гремучих змей, бродячих собак и злобных быков, но и в случае лошадей, с которыми эти дети в действительности учатся обращаться довольно рано и с удовольствием. По частоте тем тревога по поводу смерти других людей, их болезни или отъезда занимает второе место, уступая

только описаниям враждебности, исходящей от людей или животных. На положительном полюсе имеет место универсальное желание пойти в кино, на ярмарку и родео, где (по интерпретации проводивших обследование специалистов) дети могут быть вместе со многими вообще без того, чтобы быть с кем-то в частности.

В данном исследовании делается вывод, что дети самой ранней возрастной группы в обследуемой совокупности (от 6 до 8 лет) обещают в перспективе обрести более организованную личность, чем они будут впоследствии иметь на самом деле; что возрастная группа от 9 до 12 лет кажется (относительно остальных) наиболее свободной и непринужденной, хотя уже отстает от белых детей в неудержимости и живости; и что с наступлением половой зрелости дети начинают глубже уходить в себя и утрачивать интерес к окружающему миру. Они смиряются и становятся безразличными и пассивными. Мальчики, однако, демонстрируют больше экспрессии и честолюбия, хотя и в несколько неуравновешенной манере. Девочки же, вступив в пору полового созревания, склонны проявлять ажитацию, за которой следует своего рода паралич действия. В подростничестве количество совершаемых краж утраивается, а страх перед недоброжелательностью общества включает, по-видимому, боязнь взрослых и институтов - белых и индейских.

Принимая во внимание все эти наблюдения, трудно понять, как группа Мак-Грегора могла прийти к своему главному выводу, именно, что «деформированное и пессимистическое» состояние личности ребенка племени дакота и неприятие такой личностью динамизма жизни, волнения души и спонтанности обусловлено «репрессивными силами, приводимыми в действие на ранних этапах жизни ребенка». Мой вывод, как и прежде, состоял бы в том, что раннее детство индейцев дакота, в границах нищеты и общего безразличия, остается относительно богатым и непринужденным существованием, позволяющим ребенку школьного возраста выйти из семьи с относительной интеграцией, то есть с выраженным доверием к миру, некоторой автономией и определенной инициативой. В возрасте от 9 до 12 лет эта инициатива оказывается еще наивной и не слишком успешно прилагается к игре и работе; хотя именно в период полового созревания, и не раньше, подросткам становится совершенно ясно: спасенная инициатива не обеспечит им обретения идентичности. Эмоциональная отрешенность и общий абсентеизм есть результат такого осознания.

Данные Мак-Грегора делают особенно ясным и значительным то обстоятельство, что распад отношений уважения вместе с отсутствием целей для приложения инициативы оставляют неиспользованной и непереключенной инфантильную ярость, до сих пор провоцируемую ранним воспитанием ребенка. Результат - апатия и депрессия. Аналогично этому, без баланса достижимых наград обычай срамить становится просто садистической привычкой, реализуемой скорее из мести, а не ради руководства.

Восприятие взрослого мира как враждебного, понимаемого таким образом, фактически, на основе социальной действительности, видимо, получило мощное подкрепление со стороны проекции внутренней ярости ребенка; именно поэтому окружающая среда изображается не только запрещающей, но и деструктивной, хотя любимые ребенком люди и подвергаются опасности исчезновения или смерти. Здесь я совершенно уверен, что ребенок дакота в наше время *проецирует* в тех случаях, когда в своем старом мире он *отводил* агрессивные импульсы. Замечательным примером могла бы быть лошадь, когда-то дружественное животное, которое теперь становится объектом проекции. И в то же самое время образ враждебного хищного зверя, как мне кажется, относится к неадекватному объекту и безнадежно искажается. В эпоху бизонов существовало животное, на котором можно было сконцентрировать все эти рано провоцируемые образы охоты и убийства; в наши дни не существует цели для такой инициативы. Поэтому индивидуум пугается собственной неиспользованной агрессии, и этот страх находит свое выражение в видении им во внешнем мире опасностей, которые не существуют или сильно преувеличены фантазией. В социальной действительности импульсивное и мстительное воровство становится в конечном счете единственным выражением «хватающей и кусающей» свирепости, бывшей некогда верно направленной силой, поддерживающей охотящегося и воюющего. Страх по поводу смерти или потери родных служит, вероятно, признаком того, что домашняя жизнь, при всей ее бедности, представляет остаток когда-то интегрированной культуры; даже как простая мечта реставрации она обладает большей реальностью, чем сама реальность. Тогда вовсе не эта система воспитания как таковая и не ее «репрессивные силы» останавливают развитие ребенка, а то обстоятельство, что в течение последней сотни лет никто не стимулировал интегративные механизмы детского воспитания поддерживать новую многообещающую систему важных социальных ролей, как это делалось прежде, когда индейцы дакота становились охотниками на бизонов.

Мы рады узнать от Мак-Грегора, что разведение крупного рогатого скота индейцами дакота

неуклонно развивается наряду с восстановлением почвы и возвращением богатых пастбищ. Однако создание процветающего скотоводческого хозяйства снова потребовало правительственных дотаций, которые, с забывчивым движением истории, утрачивают свой первоначальный характер права по договору и становятся обычной подачкой. Заманчивые возможности промышленности все еще отвлекают индейца от устойчивого сосредоточения на его общинной реабилитации, несмотря на то, что завод предлагает неумелым индейцам только низшие идентичности в американской системе успеха. И все же там, по крайней мере, хорошо платят, причем платят за выполненную работу, а не за сражения, проигранные в прошлом столетии. В конечном счете, при всем уважении и понимании особого положения и натуры индейцев, равно как и при горячем желании их успешной реабилитации, вывод остается неизменным: в долгосрочной перспективе им может помочь только улучшение культурного и политического положения сельской бедноты и небелого населения всей страны. Системы детского воспитания меняются к лучшему лишь в том случае, когда поддерживается универсальная тенденция к такому изменению в более крупных культурных сущностях.

Глава 4. Рыбаки лососевой реки

1. Мир племени юрок

Для сравнения и создания контрапункта давайте от мрачных «воинов без оружия» перейдем к племени рыбаков и собирателей желудей - индейцам юрок [A. L. Kroeber, *«The Yurok»,* in *Handbook of the Indians of California,* Bureau of American Ethnology, Bulletin 78, 1925.], живущим на тихоокеанском побережье.

Сиу и юрок, по-видимому, были диаметрально противоположными в основных формах существования. Сиу кочевали по равнинам и культивировали пространственные концепты центробежной мобильности; горизонтами им служили бредущие стада бизонов и передвигающиеся отряды врага. Юрок жили в узкой, гористой, густо поросшей лесом долине реки и вдоль побережья, где эта река впадала в Тихий океан. Более того, они заключили себя внутри произвольно установленных ими границ замкнутого мира. [T. T. Waterman, *Yurok Geography,* University of California Press, 1920.] Индейцы юрок считали, что диск диаметром около 150 миль, разрезанный пополам их рекой Кламат, включал в себя все, что было в этом мире. Они игнорировали остальную часть вселенной и подвергали остракизму как «безумца» или как «выродка» любого, кто проявлял заметную решимость проникнуть в запредельные территории. Юрок молились своим горизонтам, где по их представлению находились сверхъестественные «жилища», откуда щедрые духи посылали им все необходимое для жизни. Это - озеро в верховьях реки (не существующее в действительности), откуда течет Кламат; земля за океаном, где находится дом лосося; область неба, которая посылает оленя, и местность на севере побережья, откуда родом служащие деньгами ракушки. Центробежных востока и запада, юга и севера не существовало. Были «вверх по течению» и «вниз по течению», «к реке» и «от реки»; к тому же, на краю мира (то есть там, где живут соседние племена) действовало эллиптическое «вдалеке и поблизости». Перед нами мир настолько центростремительный, насколько его можно таким сделать.

В этих ограниченных пределах существования имела место крайняя степень локализации. Старый индеец попросил меня подвезти его до дома своих предков. Когда мы приехали, он гордо указал на едва торчащий из земли колышек и сказал: «Вот откуда я родом». Такие колышки сохраняют фамильное имя на века. Фактически, участки территории юрок существуют только под именами - постольку, поскольку история и мифология увековечили их. Эти мифы не упоминают о горных пиках и гигантских калифорнийских мамонтовых деревьях, производящих столь сильное впечатление на белых путешественников; юрок же обычно указывают на ничем не примечательные скалы и деревья как на «источник» событий, чреватых самыми серьезными последствиями. Приобретение и сохранение собственности есть и всегда было тем, о чем индеец племени юрок думает, говорит и молится. Каждый человек, каждое родство и каждый поступок может быть точно оценен и становится предметом гордости или нескончаемого спора. Еще до встречи с белыми людьми у юрок существовали деньги, в качестве которых использовались ракушки разной величины. Индейцы носили их в продолговатых кошелях. Эти ракушки выменивались у другого племени, живущего на удаленной от моря территории. Сами юрок, конечно, никогда не «бродили» поблизости от тех мест на северном побережье, где они могли бы найти такие ракушки в обесценивающем их количестве.

Маленький, строго очерченный мир юрок, разделенный надвое рекой Кламат, имеет, если можно

так сказать, «открытый в направлении океана рот» и ежегодно испытывает таинственное явление - приход несметных стай могучего лосося, которые входят в устье (= «рот») Кламата, поднимаются выше сквозь бурные пороги и скрываются в верховьях реки, где лосось мечет икру и погибает. Спустя несколько месяцев его миниатюрные потомки спускаются вниз по реке и исчезают в океане, чтобы через два года, зрелыми лососями, вернуться к месту своего рождения и таким образом завершить свой жизненный цикл.

Индейцы юрок говорят о «чистом» образе жизни, а не о «твердом и энергичном» характере, как это делают сиу. Чистота состоит в непрерывном избегании нечистых связей и осквернения, а также в постоянном очищении от возможного загрязнения. Совершив половой акт или даже переночевав в одном доме с женщинами, рыбак должен пройти испытание «домом потения». Он входит в такой «дом» через «дверь» - овальную дыру обычного размера и предназначения, в которую мог бы пролезть и полный человек. Однако проникнув внутрь, рыбак может покинуть «дом потения» лишь через очень маленькое отверстие, позволяющее только умеренному в еде мужчине, к тому же увлажненному потом от священного огня, проскользнуть наружу. Завершить свое очищение мужчина должен купанием в реке. Совестливый рыбак проходит это испытание каждое утро.

Испытание «домом потения» — всего лишь один пример из серии действий, выражающих образ мира, в котором разные каналы природы и человеческого тела (anatomy) должны содержаться в изоляции друг от друга. Ибо говорится: что течет по одному каналу жизни, питает отвращение к оскверняющему контакту с содержимым других каналов. Лососю и реке не нравится, когда что-то едят в лодке. Моча не должна попадать в реку. Олень будет обходить западню стороной, если оленье мясо так или иначе соприкоснулось с водой. Лосось требует от путешествующих вверх или вниз по реке женщин соблюдения особых ритуалов, поскольку женщины могут менструировать.

Только раз в году, когда идет лосось, об этих избеганиях на время забывают. Тогда, следуя сложному церемониалу, строится прочная запруда, преграждающая путь лососю вверх по реке и позволяющая индейцам заготовить богатые запасы рыбы на зиму. Строительство этой запруды - «крупнейшая техническая затея, предпринимаемая индейцами юрок, или, коли на то пошло, калифорнийскими индейцами вообще, и к тому же - самая коллективная затея» (А. Крёбер). После десяти дней коллективного лова рыбы на берегах реки идет разгул веселья и сексуальной свободы, напоминающий древние языческие праздники в Европе и аналогичные вольности у сиу перед танцем Солнца.

Таким образом церемония, венчающая сооружение запруды для лова рыбы, есть не что иное, как двойник танца Солнца у сиу. Она начинается грандиозной массовой инсценировкой сотворения мира и содержит живые картины, воспроизводящие прогресс этоса юрок от центробежной вольницы к строго очерченной центростремительности, которая в конечном счете становится его законом и вновь обретенной гарантией непрерывного снабжения со стороны сверхестественных поставщиков.

К этим церемониям мы вернемся, когда сможем установить связь между ними и младенчеством индейцев юрок. Сказанного, вероятно, достаточно, чтобы показать: по размерам и структуре мир юрок был весьма не похож на мир сиу (или, скорее, был почти полной его противоположностью).

И какие же они разные люди, даже сегодня! После встреч с апатичными хозяевами прерий, по прибытии в почти тогда недосягаемую деревню юрок испытываешь облегчение, хотя и вместе с потрясением от того, что с тобой обращаются как с непрошенным представителем белого меньшинства: велят идти и жить со свиньями.

В низовьях Кламата есть несколько поселений индейцев юрок, а самое крупное из них представляет собой и самое позднее (со времен золотой лихорадки) объединение ряда очень старых поселений. До него, расположенного на солнечном, расчищенном от леса участке, можно добраться только на моторной лодке с побережья или по темным опасным тропам. Взяв на себя задачу провести здесь несколько недель с целью собрать и проверить сведения о детстве юрок, я сразу же натолкнулся на «могущий оказать сопротивление и подозрительный характер», который присущ, по-видимому, индейцам юрок как группе. По счастливой случайности я уже сошелся и работал с несколькими индейцами этого племени, живущими в дельте Кламата; да и Крёбер подготовил меня к встрече с такими чертами характера юрок, как скупость, подозрительность и раздражительность. Поэтому мне удалось удержаться от выражения претензий к их поведению, или, что действительно важно, не дать себя обескуражить. Итак, я поселился в заброшенном лагере у реки в надежде разузнать, в чем собственно заключалась помеха нашему сближению. Оказалось, что на побережье океана я останавливался и питался у смертельных врагов одной влиятельной семьи, живущей выше по реке. Их длительная вражда восходила к восьмидесятым годам прошлого века. Кроме того, эта изолированная

община, по-видимому, не могла поверить в мои научные цели. Жители деревни подозревали во мне агента, приехавшего для проведения расследования по таким делам, как споры о земельной собственности, вызванные обсуждением Акта Говарда-Уилера. Согласно старинным картам, существующим только в памяти народа, земля юрок - это составная картинка-головоломка из общинных земель, земель с общим владением и частной земельной собственности. Сопротивление Акту Говарда-Уилера, запрещавшему индейцам продавать их земли «неиндейцам», приняло форму споров о том, на что каждый отдельный индеец племени юрок мог претендовать и что он мог продать, если этот Акт будет отменен. Вероятно, в связи с этим жители деревни приписывали мне в качестве одной из моих секретных миссий намерение обманным путем установить права земельной собственности членов общины, что не удалось сделать государственным чиновникам. Вдобавок, смертельная болезнь молодого шекера [Шекер - член американской религиозной секты шекеров, относящейся к протестантскому течению пятидесятников, возникшему в начале XX века в США. - *Прим. пер.*] и визит верховного шекера с севера обострили религиозные проблемы. Шумные моления и танцы наполнили ночной воздух. Против шекеризма в то же время выступал не только государственный врач, осматривавший меня в низовьях реки, плюс те немногие, оставшиеся в живых после испытания на себе древнего искусства юрокской медицины, но и недавно прибывший в общину мессионер. Он принадлежал к адвентистам седьмого дня и был тем единственным, помимо меня, белым в этой общине, кто любезно раскланиваясь со мной, хотя и не скрывая неодобрения к сигарете в моей руке, дополнительно компрометировал меня в глазах туземцев. Потребовался не один день одинокого ожидания, прежде чем я смог обсудить с некоторыми индейцами их подозрения и найти информантов, которые дали дополнительные сведения, проясняющие общие черты традиционного детства юрок. Но как только конкретный индеец узнает, что вы - друг, он утрачивает свою основанную на давней традиции подозрительность и становится информантом, держащимся, впрочем, с большим достоинством.

Я полагаю, неподавляемое и откровенно циничное отношение большинства индейцев юрок к белому человеку следует отнести за счет гораздо меньшей внутренней дистанции между юрок и белыми, чем между белыми и сиу. В центростремительных основах жизни юрок было много такого, что не требовало переучивания с приходом белых. Индейцы племени юрок жили в прочных каркасных деревянных домах, наполовину врытых в землю. Каркасные дома теперешних жителей деревни ставятся рядом с ямами, которые некогда вмещали подземную часть жилищ предков. В отличие от индейца сиу, который внезапно утратил фокус своей экономической и духовной жизни с исчезновением бизонов, юрок до сих пор видит и ловит лосося, ест его и говорит с ним. Когда в наши дни мужчина племени юрок сплавляет лес по реке, а женщина выращивает овощи, их занятия не далеки от первоначальных: изготовления выдолбленных из бревен лодок (бывшего экспортного промысла), собирания желудей и выращивания табака. Главное же, юрок всю свою жизнь имел дело с собственностью. Он знает, как обговорить дело на языке долларов и центов, причем с глубоким ритуальным убеждением. И ему не нужно отказываться от этой «первобытной» склонности в ориентированном на деньги мире белых. Поэтому его обиды на США находят иное выражение, чем молчаливая, затаенная форма пассивного сопротивления жителя прерий.

Четвертого июля, когда для участия в продолжавшемся всю ночь ритуальном танце нанимались «плакальщики года», у меня была возможность наблюдать за многими детьми, собравшимися посмотреть танец, кульминация которого ожидалась лишь к рассвету. Они выглядели сильными, энергичными, но в то же время грациозными и спокойными и на удивление примерно вели себя на протяжении долгой ночи.

2. Юрокская детская психиатрия

Фанни, один из старейших информантов Альфреда Крёбера, называла себя «доктором». Впрочем, так ее называли и другие. Что касается лечения ею соматических расстройств и применения юрокской физиотерапии, то здесь я не мог вести с ней профессиональный диалог на равных. Однако Фанни проводила еще психотерапию с детьми, и в этой области существовала реальная возможность обменяться мнениями. Она от души смеялась над психоанализом, главные терапевтические принципы которого, как вскоре будет видно, легко поддаются выражению на ее профессиональном языке. Дружелюбие и сердечность этой очень старой женщины излучали какой-то особенный, теплый свет. Когда грусть заставляла ее быстрый взгляд и улыбку скрываться за высеченным из камня узором морщин, это была драматическая грусть, абсолютная погруженность в себя, а не та застывшая маска

уныния, которую иногда можно увидеть на лицах индейских женщин.

Когда мы приехали, Фанни как раз находилась в весьма мрачном настроении. Несколькими днями раньше, уходя с огорода и бросив беглый взгляд на местность, расположенную в ста футах ниже, где Кламат впадает в океан, она увидела, как небольшой кит заплыл в реку, немного поиграл и пропал из виду. Это происшествие глубоко потрясло ее. Разве создатель не повелел, что только лососю, осетру и подобной им рыбе дозволено пересекать пресноводную границу? И нарушение границы китом могло лишь означать, что мировой диск постепенно утрачивал горизонтальное положение, соленая вода входила в речку и приближался подъем воды, сравнимый с потопом, уничтожившим в давние времена род человеческий. Однако Фанни рассказала об этом только нескольким близким друзьям, давая понять, что катастрофы, возможно, еще и не случится, если не говорить о ней слишком много.

С этой старой женщиной было очень легко беседовать, так как обычно она находилась в веселом расположении духа и высказывалась с полной откровенностью, за исключением случаев, когда поднимаемый вопрос граничил с табуированными темами. Во время наших бесед Крёбер сидел позади нас, слушая и иногда вступая в разговор. Во второй день я вдруг заметил, что он на какое-то время отлучился из комнаты, и спросил, куда он ушел. Старуха весело рассмеялась и сказала: «Он дает тебе шанс спрашивать самому. Теперь ты хозяин».

Каковы причины детских неврозов (плохого настроения, отсутствия аппетита, кошмаров, делинквентности и т. д.) в культуре юрок? Если ребенок, после наступления темноты, увидит одного из «людей знания» («wise people») - расы маленьких существ, которая предшествовала роду человеческому на земле, - у него развивается невроз. И если его не вылечивают, такой ребенок со временем умирает.

«Людей знания» описывают так. Ростом они не превосходят маленького ребенка. «Люди знания» всегда пребывают «в духе» («in spirit»), поскольку не знают половых сношений. Они достигают совершеннолетия в шесть месяцев и живут вечно. Потомство производят орально: зачатие происходит, когда женщина съедает вшей мужчины. Родовое отверстие не ясно, хотя не приходится сомневаться, что «женщина знания» не имеет «внутренностей женщины», то есть влагалища и матки, с наличием которых, как будет показано ниже, связывается грех и нарушение общественного порядка в этом мире.

Отметим, что «люди знания» похожи на детей. Они маленькие, оральные и магические, и им незнакома генитальность, вина и смерть. Они видны лишь детям и опасны только для них, поскольку дети еще фиксированы на более ранних стадиях и могут регрессировать в тех случаях, когда сила дневного света идет на убыль; тогда, начиная грезить, они могут прельститься ребячливостью «людей знания» и их интуитивным, даже анархическим образом действий. Ибо «люди знания» обходятся без социальной организации. Они - тварные существа, однако не знают генитальности и, следовательно, того, что значит быть «чистым». Таким образом, «мудрые» человечки вполне могли бы служить проекцией прегенитального состояния детства в филогению и предысторию.

Если ребенок жалуется на боль или обнаруживает беспокойство (признаки того, что он, возможно, видел «людей знания»), его бабушка идет на огород, к ручью или куда-то еще, где, как ей сказали, он играл в сумерках, и там громко плачет и взывает к духам: «Это наш ребенок, не причиняйте ему вреда». Если это не помогает, тогда просят соседскую бабушку «спеть ее песню» больному ребенку. У каждой бабушки есть своя собственная песня на такой случай. Культуры американских индейцев, по-видимому, обладают удивительным пониманием амбивалентности, которая предписывает, что при определенных кризисах близкие родственники оказываются бесполезными в плане воспитания или терапии. Если и соседская бабушка не в силах помочь, обращаются к Фанни и за лечение назначается цена. Фанни говорит, будто чувствует «приближение» пациента:

«Иногда я не могу заснуть: кто-то разыскивает меня, чтобы я шла и лечила. Я не пью воду и, конечно, кто-нибудь приходит. "Фанни, я пришел за тобой, я дам тебе десять долларов". - Я говорю: "Я стою пятнадцать". - "Хорошо"».

Ребенка приносят всей семьей и кладут на пол в «гостиной» Фанни. Она курит свою трубку, чтобы «войти в силу». Затем, если необходимо, мать и отец удерживают ребенка, пока Фанни высасывает первую «хворь» из его пупка. Эти «хвори», соматические «причины» болезни (хотя они, в свою очередь, могут быть вызваны дурными желаниями) визуализируются как своего рода слизистая, окровавленная материализация. Чтобы подготовить себя к этому, Фанни должна воздерживаться от воды в течение установленного срока. По сообщениям одного информанта, «когда она сосет, ее подбородок как бы обшаривает ваш позвоночник, косточка за косточкой, но это не приносит никакого вреда». Однако каждая «хворь» имеет «пару»: нить слизи ведет Фанни к местонахождению такой «пары», которая также высасывается.

Мы видим, что для индейцев юрок болезнь является двуполой. Один пол болезни они

представляют находящимся рядом с центром тела, который наиболее чувствителен к колдовству, тогда как другой пол забредал в поврежденный болезнью орган, подобно блуждающей матке в древнегреческой теории истерии или замещенному катексису объекта в психоаналитической теории.

Проглотив две или три «хвори», Фанни идет в угол и садится лицом к стене. Затем засовывает четыре пальца (исключая большой) в глотку, вызывая рвотные позывы и извергая слизь в корзину. Когда Фанни чувствует, что проглоченные ею «хвори» подступают к горлу, она подносит сложенные «наподобие двух ракушек» руки ко рту и отхаркивает «хворь» ребенка в ладони. Затем Фанни танцует, заставляя «хвори» исчезнуть. И она повторяет эту процедуру до тех пор, пока не почувствует, что все «хвори» выведены из ребенка.

Далее наступает черед интерпретации по-юрокски. Фанни снова курит, танцует и входит в транс. Она видит огонь, облако, дымку..; опять садится, снова набивает трубку, делает большую затяжку... После чего ее посещает более содержательное видение, которое побуждает Фанни сообщить собравшейся семье что-то вроде этого: «Я вижу старуху, сидящую на Лысых холмах и желающую плохого другой женщине. Вот почему этот ребенок заболел». Едва она успела сказать это, как бабушка больного ребенка встает и признается в том, что именно она однажды сидела на Лысых холмах и насылала порчу на другую женщину. Или Фанни говорят: «Я вижу мужчину и женщину, занимающихся делом (= совершающих половой акт), хотя мужчина просил у духов удачи и не должен прикасаться к женщине». На этот раз отец или дядя ребенка встают и сознаются в грехе. Иногда Фанни приходится обвинять в колдовстве или порочности умершего, и тогда сын или дочь покойного со слезами признают его злодеяния.

Похоже, Фанни имеет некий инвентарь грехов (сопоставимый с перечнем «типичных событий» наших психотерапевтических школ), которые она связывает, при ритуальных обстоятельствах, с определенными расстройствами. Таким образом она побуждает людей признавать в качестве фактов свои намерения и стремления, вполне предсказуемые, если принять во внимание структуру культуры юрок. А подобное признание благоприятно влияет на внутреннее спокойствие любого человека. Занимая высокопоставленное положение в примитивном сообществе, Фанни конечно же в достаточной степени владеет слухами, чтобы знать слабости своих пациентов еще до встречи с ними, и достаточно опытна, чтобы читать их лица во время занятий своим магическим бизнесом. В таком случае, когда она связывает чувство вины, производное от скрытой агрессии или порочности, с симптомами болезни конкретного ребенка, то делает это с достаточными психопатологическими основаниями, и неудивительно, что невротические симптомы обычно исчезают после того, как Фанни точно указала главный источник амбивалентности в данной семье и спровоцировала публичное признание.

3. Воспитание ребенка у индейцев юрок

Вот некоторые сведения о детстве в мире юрок. Рождение ребенка охраняется *оральными* запретами, помимо соблюдаемых сиу генитальных запретов. Во время родов мать должна держать рот закрытым. Отец и мать не едят ни оленины, ни лосося до тех пор, пока у новорожденного не произойдет заживление пупка. Игнорирование этого табу, по мнению индейцев юрок, служит причиной судорожных припадков у ребенка.

В течение первых десяти дней новорожденного кормят не грудью, а дают ему ореховый суп из маленькой скорлупки. Кормление грудью начинается с традиционной индейской щедростью и частотой. Однако в отличие от сиу, юрок устанавливают определенный срок отнятия младенца от груди - около шести месяцев, или приблизительно в период прорезывания зубов. Таким образом, среди американских индейцев юрок имеют минимальный период кормления грудью. Отнятие от груди называется «забывание матери» и, при необходимости, навязывается малышу уходом матери на несколько дней. Первая твердая пища - лосось или оленина, крепко просоленные с морской водорослью. У юрок соленая пища - это «сладкое». Попытка ускорить достижение ребенком автономии путем раннего отнятия от груди служит, по-видимому, частью общей тенденции поощрять малыша оставлять мать и отказываться от ее поддержки как можно раньше. И это начинается еще в утробе матери. Беременная женщина мало ест, собирает и носит дрова, и вообще предпочитает делать работу, заставляющую ее нагибаться вперед, чтобы плод «не опирался на позвоночный столб», или, иначе говоря, не расслаблялся и не полулежал на опоре. Она часто массирует живот, особенно когда естественное освещение становится тусклым, заставляя плод бодрствовать и предупреждая таким образом раннее стремление регрессировать к состоянию предыстории (the state of prehistory), которое, как мы видели, составляет начало всех неврозов. Позднее, чтобы дать свободу матери, потребуется не только раннее отнятие от груди; в

юрокской разновидности колыбели ноги малыша остаются открытыми, и начиная с двенадцатого дня бабушка массирует их, стимулируя к раннему ползанию. Сотрудничество родителей в этом вопросе обеспечивается правилом, согласно которому они могут возобновить прерванные половые сношения лишь после того, как малыш достигает значительных успехов в ползании. Младенцу не дают спать в конце дня и ранним вечером, опасаясь как бы сумрак не поселился в его глазах навсегда. Следовательно, первый постнатальный кризис ребенка юрок качественно отличается от аналогичного кризиса, переживаемого маленьким сиу. Он характеризуется тесной близостью во времени таких событий, как прорезывание зубов, принудительное отнятие от груди, поощрение ползания и раннее возвращение матери к половой жизни и новым родам.

Мы указывали на сродство между оральным воспитанием младенца сиу и желанными чертами характера охотника прерий. И мы могли бы ожидать, что новорожденный юрок встречает совершенно иной прием. Действительно, ребенка здесь подвергают раннему, а если необходимо, то и резкому отнятию от груди перед или сразу за наступлением стадии кусания, и это уже после того, как с помощью целого арсенала средств отбивают у него охоту чувствовать себя слишком уютно в чреве матери и рядом с ней. Его готовят быть рыбаком, то есть тем, у кого сети расставлены для добычи, которая (если только он ведет себя хорошо и говорит, когда надо, «пожалуйста») придет к нему. Установка индейца юрок в отношении сверхъестественных поставщиков - это пожизненное пылкое «пожалуйста», подкрепляемое, по-видимому, остатком инфантильной тоски по матери, от которой его столь форсированно оторвали. Хороший юрок характеризуется способностью плакать во время молитвы, чтобы расположить к себе посылающие пищу потусторонние силы. Полные слез слова «Я вижу лосося», произносимые с верой в индуцированную им же самим галлюцинацию, привлекут, считает юрок, к нему лосося. Однако рыбак должен делать вид, что не слишком нетерпелив в своем желании, чтобы поставка не ускользнула от него, и должен убеждать себя, что не собирается причинять лососю реального вреда. Согласно представлениям юрок лосось говорит: «Я буду путешествовать по всей реке. Я буду оставлять чешую на сетях и она превратится в лосося, но я, сам я, пройду мимо и не буду убит».

Эта концентрация на источниках питания не достижима без второй фазы орального воспитания в том возрасте, когда ребенок «понимает смысл», то есть способен повторить то, что ему сказали. Утверждают, что когда-то принятие пищи у юрок было подлинной церемонией воздержания. Ребенка постоянно предостерегали, чтобы он не хватал съестное поспешно ни при каких обстоятельствах, никогда не брал еду без спроса, всегда ел медленно и никогда не просил добавки. Подобное оральное пуританство вряд ли существовало среди других примитивов. Во время принятия пищи поддерживался строгий порядок размещения едоков и ребенка учили предписанным манерам еды, например, захватывать ложкой небольшое количество пищи, медленно подносить ложку ко рту, опускать ложку одновременно с пережевыванием и, прежде всего, мечтать разбогатеть в течение всего процесса. Есть полагалось молча, дабы каждый мог поддерживать сосредоточенность своих мыслей на деньгах и лососе. Вполне возможно, что именно это ритуальное поведение помогло подняться до уровня своего рода галлюцинаций той окрашенной тоской по прошлому жажде потребления, которая могла быть вызвана ранним отнятием от груди и отлучением от матери на стадии сильных желаний кусания. «Принятие желаемого за действительное» целиком было поставлено на службу экономическим стремлениям. Индеец племени юрок мог заставить себя видеть деньги, развешанные на деревьях, или лосося, плывущего по реке во время мертвого сезона, и он верил, что эта индуцированная им галлюцинация вызовет соответствующее действие Поставщиков. Позднее, энергия генитальных фантазий используется все для того же экономического стремления. В «доме потения» юноша будет постигать двойное искусство думать о деньгах и не думать о женщинах.

Рассказываемые детям мифы оригинальным способом подчеркивают уродство недостатка сдерживающего начала в человеке. Они выделяют одну характерную черту в облике животных и используют ее в качестве аргумента в пользу «чистого поведения».

Плешивость канюка - результат того, что он от нетерпения сунул голову в миску с горячим супом.

Ненасытный угорь проиграл все свои кости в карты. Хохолок вечно бранящейся голубой сойки - это ее похотник, который она оторвала и приладила к голове, когда однажды из зависти разозлилась на мужа.

Медведь вечно был голодным. Он женился на голубой сойке. Как-то раз они развели огонь и медведь послал голубую сойку раздобыть еды. Она принесла один единственный желудь. «И это все?» - спросил медведь. Голубая сойка рассердилась и бросила желудь в огонь. Она обшарила всю округу и

это был действительно единственный желудь в их лесу. Медведь выхватил из огня горящий желудь и разом проглотил его. Ему стало ужасно плохо. Птицы пробовали петь для него, но это не помогало. Ничто не помогало. Тогда колибри сказала: «Ложись и открой рот». И она пулей пролетела сквозь медведя. Ему сразу полегчало. Вот почему у медведя такой большой anus. И вот почему он не может удерживать фекалии.

Это приводит нас к анальной фазе. В детстве юрок фекалиям или анальной зоне, по-видимому, не придается какого-то особого значения; скорее, имеет место общее избегание любых осквернений, вызываемых контактом враждебных жидкостей и веществ. Ребенок рано узнает, что нельзя мочиться в реку или любой связанный с ней ручей, так как живущему в ней лососю не понравилось бы плавать в жидкостях тела человека. Значит, смысл этого запрета не столько в том, что моча - «грязная», сколько в том, что жидкости различных проводящих систем враждебны и разрушают друг друга. Такое пожизненное и систематическое избегание требует специальных предохранительных устройств, встроенных в личность и идентичность индейцев юрок. И действительно, формальное поведение юрок обнаруживает все характерные особенности, которые, как показал психоанализ, следуя Фрейду и Абрагаму, имеют символическое значение у пациентов с «анальной фиксацией»: компульсивную ритуальность, мелочное пререкание, недоверяющую скупость, ретентивное накопление и т. д. В нашем обществе компульсивность часто служит выражением как раз такого общего избегания загрязнений, сфокусированного фобическими матерями на анальной зоне; но в нашей культуре она усиливается дополнительным спросом на пунктуальность и аккуратность, отсутствующим в жизни племени юрок.

Фундамент генитальных аттитюдов юрок закладывается в более раннем условнорефлекторном научении ребенка, которое приучает его подчинять все инстинктуальные влечения экономическим соображениям. Девушка знает, что целомудрие или, сказали бы мы, безупречная репутация добудет ей мужа, способного заплатить за нее хороший выкуп; и что ее последующее положение, а значит и положение ее детей и внуков, будет зависеть от той суммы, которую будущий муж предложит ее отцу, когда будет просить ее себе в жены. С другой стороны, юноша стремится накопить капитал, достаточный для того, чтобы купить стоящую жену и расплатиться полностью. Если бы приличная девушка забеременела от него раньше, чем он смог заплатить за нее весь выкуп, ему пришлось бы влезть в долги. Среди индейцев юрок все нарушения характера и делинквентное поведение взрослых объясняется тем, что за мать, бабушку или прабабушку делинквента «не было заплачено полностью». По-видимому, это означает, что мужчина, о котором идет речь, настолько сильно хотел жениться, что взял жену в кредит, уплатив лишь первый взнос и не будучи способным выплачивать очередные взносы. Тем самым он доказал, что (употребляя нашу терминологию) его эго оказалось чересчур слабым, чтобы интегрировать половые потребности и экономические возможности. Однако там, где секс не сталкивается с богатством, к удовлетворению половых потребностей относятся снисходительно и с юмором. На то, что половая связь неизбежно влечет за собой процедуру очищения, реагируют скорее как на обязанность или неудобство, но сама необходимость очищения не бросает тень ни на секс как таковой, ни на особенности женского организма или отдельных женщин. Среди индейцев юрок вообще отсутствует стыд обнаженного тела. Если молодая девушка между менархе и замужеством избегает купаться обнаженной перед другими, то только чтобы не раздражать остальных признаками менструации. В остальных случаях, каждый волен купаться как ему нравится, в любой компании.

Как мы уже знаем, дети индейцев сиу учились соединять локомоторные и генитальные модусы с охотой. Индеец сиу в своей формальной сексуальности имел фаллически-садистическую ориентацию в том смысле, что преследовал все, что бродило по прерии: дичь, врага, женщину. Индеец юрок в этом отношении оказывается скорее фобическим и подозрительным, недоверчивым. Он избегает быть пойманным в ловушку, ибо это случилось даже с богом. Создатель мира юрок был необычайно сильным и крепким малым, который странствовал повсюду и подвергал мир опасности своим необузданным поведением. Сыновья уговаривали его покинуть этот мир. Он обещал быть хорошим богом, но когда однажды рискнул спуститься по побережью дальше, чем это сделал бы любой благоразумный и благовоспитанный человек, то обнаружил женщину-ската, которая лежала на мели, зазывно раскинув ноги. (Рыба скат, говорят юрок, похожа на «внутренности женщины»). И бог не смог устоять перед ней. Но как только он вошел в нее, она зажала его член влагалищем, обвила его тело ногами и насильно увлекла с собой в океан. Это предание служит для демонстрации того, куда заводит центробежная, необузданная и блуждающая в поисках страсть. В законно ограниченном мире юрок, который был создан сверхсознательными сыновьями бога-правонарушителя, здравомыслящий мужчина избегает быть «пойманным в ловушку» дурной женщиной или оказавшись в неподходящее время в неподходящем месте - причем под «дурными» и «неподходящими» имеются в виду любые

обстоятельства, подвергающие риску его блага как экономической единицы. Научиться избегать этого - значит стать «чистым» человеком, человеком «со здравым смыслом».

4. Сравнительный обзор мира юрок

В соответствии с ранее применяемыми критериями классификации миры сиу и юрок - это примитивные миры. Они высоко этноцентричны, озабочены исключительно племенным самоуправлением в отношении ограниченного сегмента природы и созданием достаточного количества подходящих орудий и соответствующей магии. Мы установили, что мир индейцев юрок ориентирован по предостерегающе-центростремительным линиям, тогда как мир сиу характеризуется мощной центробежностью.

Как общество индейцы юрок почти не имели иерархической организации. Ставка делалась на взаимную бдительность в ежедневном соблюдении мельчайших различий стоимости. Практически у юрок не существовало «национального» чувства и, как я забыл указать, никакого вкуса к войне. Подобно тому, как индеец юрок мог верить в то, что «видеть» лосося означало заставить его прийти, он так же, по-видимому, принимал на веру, что способен не допустить войны, просто «не видя» потенциальных врагов. Известно, что живущие в верхнем течении Кламата племена юрок игнорировали враждебные индейские племена, которые пересекали их территорию, чтобы вести войну с другими юрок в низовьях реки. Война была делом тех, кого она непосредственно затрагивала, а не вопросом национальной или племенной лояльности.

Итак, индейцы юрок чувствовали себя безопасно в созданной ими системе избеганий, а именно, избеганий быть втянутым в драку, в осквернение, в невыгодную сделку.

Жизнь каждого индейца начиналась с раннего отлучения от материнской груди и последующего предписания (мальчикам) избегать матери, не заходить на ее жилую половину и вообще остерегаться коварных женщин. Мифология юрок изгоняет создателя из этого мира, изобразив его пойманным в ловушку и насильно похищенным женщиной. Хотя страх быть пойманным в ловушку таким образом господствовал в их избеганиях, индейцы юрок жили с постоянным намерением вырвать преимущество у другого.

В мире юрок реку Кламат можно уподобить пищевому каналу, а ее устье - рту и горлу, постоянно открытым в направлении горизонта, откуда приходит лосось. И образ мира юрок настоятельно предлагает оральный модус инкорпорации. На протяжении всего года молитвы племени юрок уходят к горизонту, уверяя в смирении и отрицая желание принести вред. Однако раз в год юрок слезными мольбами приманивают своего бога обратно в этот мир, и продолжается это ровно столько, сколько нужно для того, чтобы расположить бога к себе и... поймать его лосося. Так же как мир сиу находит свое высшее выражение в представлениях, обрамляющих танец Солнца, мир юрок инсценирует все стоящее за ним в течение тех наполненных восторгом дней, когда с предельным коллективным напряжением и организацией община строит запруду для рыбы. Постепенно смыкаясь, как если бы они были гигантскими челюстями, две части запруды наращивались с противоположных берегов реки. Челюсти смыкаются, - и добыча в ловушке. Создатель в очередной раз омолаживает этот мир, без особой охоты передавая ему свои способности, чтобы в итоге оказаться изгнанным еще на год. Опять же, как и в случае племени сиу, эта обрядовая кульминация наступает за циклом ритуалов, которые касаются зависимости людей от сверхъестественных кормильцев. В то же время обряд представляет собой грандиозную коллективную игру на темы самой ранней опасности в жизненном цикле индивидуума: онтогенетическая утрата материнской груди на стадии кусания соответствует филогенетической опасности потерять прямые поставки лосося из океана. Здесь неизбежно напрашивается вывод, что великие темы плодовитости и плодородия находят свое символическое выражение в приравнивании священного лосося отцовскому фаллосу и соску материнской груди: органам, один из которых порождает жизнь, а другой питает ее.

Во время празднеств омоложения, то есть когда молитва юрок подкреплялась «искусственными челюстями», никому не разрешалось плакать, ибо всякий, кто заплакал бы, не прожил бы и года. Взамен, «с окончанием строительства запруды наступает период свободы. Шуткам, насмешкам и брани дают волю, а хорошее настроение не допускает преступления. С приходом ночи воспламеняются страсти любовников» (Крёбер). Единственный раз, в это время, индеец юрок вел себя столь же распущенно, как и его фаллический создатель, гордясь тем, что благодаря хитроумной смеси инженерного искусства и покаяния ему снова удалось совершить подвиг своего народа: поймать лосося - и все равно иметь его в следующем году.

Чтобы быть в должной степени избегающим и, одновременно, пристойно ненасытным, индеец племени юрок должен быть *чистым*, то есть должен смиренно молиться, правдиво плакать и убежденно галлюцинировать, поскольку дело касается сверхъестественных поставщиков; он должен научиться плести хорошие сети, правильно их ставить и сотрудничать в постройке запруды, как того требует технология его племени; занимаясь бизнесом со своими земляками, должен торговать и торговаться с выдержкой и упорством; и должен научиться управлять входами, выходами и внутренними проводящими путями своего тела таким образом, чтобы природные пути жидкости и маршруты поставок пищи (которые не доступны научному пониманию и техническому воздействию) оказались поддающимися магическим силам. Следовательно, в мире юрок гомогенность основывается на интеграции хозяйственной этики и магической морали с географическими и физиологическими конфигурациями. В общих чертах мы обрисовали то, каким образом эта интеграция подготавливается в процессе воспитания молодого организма. [Что касается более подробного анализа мира юрок, см.: E. H. Erikson, *Observations on the Yurok: Childhood and World Image*, University of California Publications in American Archaeology and Ethnology, Vol. 35, № 10, University of California Press, 1943.]

Пытаясь получить доступ к значению или даже просто конфигурациям поведения индейцев юрок, мы не смогли избежать аналогий с тем, что считается в нашей культуре девиантным или пограничным поведением. В рамках обыденного поведения индеец юрок, «подобно младенцу», криком и плачем привлекает внимание своих богов; в состоянии медитации он галлюцинирует «как психотик»; сталкиваясь с загрязнением, он ведет себя «как больной фобией»; и вообще старается вести себя в отличающейся уклончивостью, недоверчивостью и скупостью манере, «подобно компульсивному невротику». Пытаюсь ли я тем самым утверждать, что индеец племени юрок и *есть* все это вместе взятое, или что он ведет себя так, *«как если бы»* он был таким?

Антрополог, проживший достаточно долго среди какого-то народа, способен поведать нам, о чем его информанты любят распространяться, и действительно ли отражаемое в их рассказах поведение соответствует тому, что можно наблюдать в ежедневной и ежегодной жизни данного народа. Наблюдения, которые подтверждали бы, что такие традиционные черты, как тоска по прошлому, алчность или склонность к накопительству (retentiveness) являются так же и личными качествами типичных индивидуумов, встречаются довольно редко. Да, в течение нескольких минут одного вечернего семинара Крёбер, характеризуя институционализированную претензию юрок на воздаяние, употреблял выражения: «плакаться повсюду», «раздраженно жаловаться», «пререкаться», «оправдания, достойные ребенка», «кричать во всеуслышание», «жалость к себе», «надоедливые претенденты» и т. д. Означает ли это, что юрок везде, в пределах племенной технологии, будут более беспомощными и парализованными унынием, чем члены племени, которое не развивает эти «черты характера»? Конечно, нет, ибо институционализированная беспомощность *eo ipso* [eo ipso - в силу этого (лат.) - *Прим. пер.*] не является ни чертой характера, ни невротическим симптомом. Она не служит помехой дееспособности индивидуума при удовлетворении технологических требований, адекватных сегменту природы, в пределах которого живут индейцы юрок. Его крик и плач базируются на приобретенном и закрепленном условно-рефлекторном умении инсценировать инфантильный аттитюд, который данная культура решает сохранить и предоставить в распоряжение индивидуума, чтобы он и его соплеменники пользовались им в пределах ограниченной области магического. Такой институционализированный аттитюд не распространяется за отведенную ему область и не блокирует развитие во всей полноте его противоположности. Возможно, действительно преуспевающий юрок был именно таким, кто мог издавать самые душераздирающие вопли или торговаться наиболее эффективно в одних ситуациях и проявлять высшую силу духа в других, то есть таким индивидуумом, чье эго обладало достаточной силой, чтобы синтезировать оральность и «здравый смысл». Для сравнения: оральный и анальный «типы», доступные, я полагаю, наблюдению в нашей сегодняшней культуре, - это попавшие в тупик люди, оказавшиеся жертвами чрезмерно развитых модусов органа при отсутствии соответствующей гомогенной культурной реальности.

Конфигурация склонности к накопительству (retentiveness) у юрок, по-видимому, является настолько же алиментарной, насколько и анальной: она включает требующий рот и складирующий желудок, равно как и скупые сфинктеры. Поэтому она прототипична и для анальной тенденции созидательного накопления ради приобретения большей части собранных ценностей, принадлежащих всей социальной системе, где они, в свою очередь, служат источником коллективного развлечения, престижа и прочного положения.

Там, где в нашей культуре анальный характер приближается к невротическому, это часто происходит в результате влияния на ретентивного (retentive) ребенка определенного, характерного

именно для западной цивилизации типа материнского поведения, а именно, нарциссической и фобической сверхозабоченности вопросами выделения (elimination). Этот аттитюд содействует чрезмерному развитию ретентивных и элиминативных потенциальностей в анальной зоне. Он вызывает у ребенка мощную социальную амбивалентность и остается изолирующим фактором в его социальном и сексуальном развитии.

Получаемое индейцем юрок «удовольствие от заключительного опорожнения и показа запасенного материала» более всего заметно во время танцев, когда под утро юрок с пылающим лицом предъявляет свои сказочные сокровища из обсидиана или головной убор, украшенный скальпами дятлов. Именно здесь инеституционализированное упорство, которое сделало для него возможным накапливать эти сокровища, по-видимому, нейтрализуется высоко социальным опытом осмотра его богатств, увеличивающих престиж целого племени. Моя же цель - убедить читателя в том, что невроз - это индивидуальное состояние, при котором иррациональные тенденции непримиримо отделяются от относительно передовой рациональности; тогда как примитивность (= первобытность) - это состояние человеческой организации, при котором дорациональное мышление интегрируется с той рациональностью, какая возможна при данном уровне развития техники.

Поскольку магические образы и импульсы используются как иррациональной, так и дорациональной «логикой», Фрейду удалось пролить свет на вторую, когда он расшифровывал первую. И все же, изучение эго - а по мне, так и изучение взаимозависимости внутренней и социальной организации, - еще должно установить функцию магического мышления в различных (индивидуальных и коллективных) состояниях человека.

Кроме того, если нам известно формальное поведение, которого требует успешное участие в традиционном спектакле определенной культуры, то мы находимся лишь в самом начале выяснения «характера» отдельных его участников. Для того чтобы узнать, насколько щедрым или бережливым «является» народ или отдельный человек, мы должны располагать сведениями не только о вербализованных и имплицитных ценностях его культуры, но и о тех «уловках», которые данная культура создала, чтобы согрешивший человек мог «выкрутиться из трудного положения». Каждая система, присущим только ей способом, стремится сделать всех своих членов похожими друг на друга, но одновременно в каких-то отношениях предоставляет скидки и освобождения от тех требований, которые она предъявляет индивидуальности эго конкретного человека. Ясно, что эти послабления менее логичны и гораздо менее очевидны, чем официальные правила, даже для самого народа, не говоря уже о стороннем наблюдателе.

Оговорим особо: описывая концептуальные и поведенческие конфигурации у юрок и сиу, мы не стремились установить соответственные «базовые структуры характера». Скорее, мы отдавали предпочтение конфигурациям, с помощью которых эти два племени пытаются синтезировать свои концепты и идеалы в ясный и последовательный план жизни. Такой план повышает коэффициент полезного действия их примитивных технологий и магии и защищает от индивидуальной тревоги, которая могла бы привести к панике. Охотников прерий он защищает от тревоги по поводу утраты силы и мобильности, а тихоокеанских рыбаков - от тревоги по поводу возможности остаться без пищевого снабжения. Для достижения этого примитивная культура по-разному использует детство: а) наделяет особым значением ранний телесный и межперсональный опыт, чтобы создать правильное сочетание модусов органа и придать должный акцент социальным модальностям; б) заботливо и систематически распространяет по всем каналам замысловатый паттерн повседневной жизни, тем самым возбуждая и перераспределяя энергию; и в) придает стойкое сверхъестественное значение инфантильным тревогам, которые она развила такой стимуляцией.

Делая все это, общество не может позволить себе быть деспотическим или анархическим. Даже «примитивные» общества должны избегать того, что наше аналогическое мышление хотело бы, чтобы они делали. Они действительно не могут позволить себе создавать сообщества безумных чудаков, инфантильных личностей или невротиков. Чтобы создавать людей, способных эффективно действовать в качестве массы, либо в роли энергичных лидеров или полезных девиантов, даже самая «дикая» культура должна стремиться к тому, чтобы у ее большинства или, по крайней мере, у господствующего меньшинства, было «сильное эго», как мы неопределенно называем ядро индивидуума. Так вот, всякая культура должна стремиться к формированию такого ядра - достаточно твердого и, в то же время, достаточно эластичного, чтобы примирять неизбежные в любой человеческой организации противоречия, интегрировать индивидуальные различия, а главное, чтобы выйти из долгого и наполненного неминуемыми страхами младенчества с чувством идентичности и идеей целостности. Бесспорно, каждая культура создает также и типы характера, отмеченные ее неповторимой смесью

дефекта и эксцесса; и каждая культура развивает свои строгости и иллюзии, которые защищают ее против неожиданной догадки, что совсем не идеальное, вовсе не безопасное и далеко не долговременное общественное устройство может появиться из намеченного на ощупь проекта. Тем не менее, хорошо бы было попытаться понять существо этих «инстинктивных» набросков, как раз когда человечество прокладывает себе дорогу к адаптации иного рода, с первого взгляда более рациональной, более сознательной и более универсальной.

В третьей части мы намерены подойти ко всей проблеме детства и общества с совершенно другой позиции. Мы должны будем временно выбрать эго индивидуума в качестве истинной меры всех вещей, «телесных и социальных», и пройти вместе с ним путь от аморфного эго начальной стадии до оформленного в слове сознания им себя самого.

Фрейд говорил, что изучение сновидений - это царский путь к бессознательному взрослого человека. По аналогии с этим, лучшим ключом к пониманию детского эго служит изучение игры ребенка - «фантазий, сплетаемых вокруг реальных объектов» (Waelder). Поэтому давайте перейдем от предопределявшего людские судьбы притворства первобытной магии к игре наших детей.

Часть III. Развитие эго

Введение

Когда в моменты легкого, казалось бы, не имеющего определенной причины нарушения внутреннего равновесия мы останавливаемся и спрашиваем себя, о чем мы последнее время мечтали за своими разумными занятиями, нас ожидает ряд сюрпризов. При условии, что наша способность адекватно воспринимать себя перевешивает способность к самообману, мы обнаружим, что наши мысли и чувства постоянно совершали (с большей или меньшей частотой и/или амплитудой) возвратно-поступательное движение относительно состояния неустойчивого равновесия, наподобие детской доски-качалки. В одном направлении наши мысли бегут за вереницей фантазий о том, что нам хотелось бы иметь возможность сделать или видеть уже сделанным. Часто, выходя за рубежи и возможности нашего ограниченного существования, мы воображаем, как бы это было или могло бы быть в том случае, если бы мы реализовали фантазии о своем всемогуществе, абсолютной свободе или сексуальной распущенности. Невинность таких фантазий заканчивается, когда в погоне за своими мечтами мы хладнокровно игнорируем или беззаботно манипулируем, бездумно вредим или отказываем в существовании кому-то из самых дорогих нам людей.

Опускание нашей «доски-качалки» часто следует с необъяснимой внезапностью и стремительностью. Еще не сознавая изменения настроения, мы оказываемся охваченными мыслями о «должном»: что нам следовало бы сделать вместо того, что мы сделали; что нам сейчас следует делать, чтобы аннулировать то, что мы уже натворили; и что нам следует делать в будущем вместо того, что нам хотелось бы иметь возможность делать. И здесь безрассудные терзания по поводу «пролитого молока», боязнь того, что мы абсолютно разочаровали и настроили против себя прекрасно относившихся к нам людей, воображаемое искупление своей вины и ребяческие репетиции его возможных вариантов - вполне могут застать нас врасплох.

Третье положение - «точку покоя», или место передышки между двумя крайними положениями «доски-качалки» - вспоминать труднее, хотя оно наименее противно, поскольку в нем мы не столь импульсивны и не чувствуем ни желания, ни обязанности делать что-то отличное от того, что должны были бы, хотели бы и могли бы делать. Именно здесь, где мы менее всего осознаем себя, мы ближе всего к тому, чтобы быть собой. Только многим из нас трудно сколько-нибудь долго предаваться мечтам, не впадая рано или поздно в крайности и не нарушая чужих границ - и тогда мы снова покидаем «точку покоя», незаконно захватывая и возмещая ущерб (искупая вину).

Таким образом, мы, вероятно, имеем возможность неясно наблюдать то, что полностью появляется лишь под маской сновидения, являющегося результатом глубочайшего сна. Легко сказать, что мы «вовсе не хотим» того, что демонстрируется на закрытом просмотре в нашем внутреннем кинотеатре. К несчастью для нашего самолюбия (но, мы надеемся, в конечном счете к счастью для рода человеческого) психоаналитический метод Фрейда показал, что мы способны сознавать, объяснять и нейтрализовывать посредством фантазии, игры и сновидений лишь малую толику этих взлетов и падений; остаток не доступен сознанию и, вместе с тем, обладает заметным влиянием. Оставаясь

бессознательным, он находит свой способ перейти в иррациональное личное действие или в коллективный круговой процесс узурпирования и искупления.

Практика психоаналитического наблюдения воспитывает привычку отыскивать точки наибольшего внутреннего сопротивления и сосредотачиваться на них. Наблюдающий за взрослым пациентом психоаналитик просит его свободно говорить обо всем, что приходит в голову, и следит за порогом вербализации не только для тех тем, которые легко переходят в слова в форме прямого аффекта, ясного воспоминания или решительного утверждения, но и для тем, которые остаются трудноуловимыми. Такие темы могут попеременно представать то полузабытыми и замаскированными как во сне, то резко отвергаемыми и бесстыдно проецируемыми на других, то вяло вымучиваемыми и неловко избегаемыми, или сопровождаться молчаливым замешательством. Другими словами, психоаналитик ищет маски и пропуски, следит за изменением количества и качества сознавания в том виде, как оно выражается во внешне добровольной и старательной вербализации.

Рассматривая различные *культуры*, наблюдатель-психоаналитик оценивает темы, которые предстают перед ним в динамическом масштабе коллективного поведения: в одном варианте как историческая память, в другом - как мифологическая теология; в одной маске возобновляемые в серьезных ритуалах, в другой - выплескиваемые в веселых играх, в третьей - полностью выражаемые в строгом избегании. Целые комплексы таких тем, вероятно, можно распознать в культурных особенностях сновидений, как и в индивидуальных сновидениях, в комических или злобных проекциях на соседа, дочеловеческих существ или животных. К тому же, они могут репрезентироваться в отклоняющемся поведении, доступном либо избранным, либо проклятым, либо тем и другим.

Применяя именно такой общий подход к племенам сиу и юрок, мы установили связующее звено между инфантильными темами и темами огромного коммунального и религиозного пыла. Мы засвидетельствовали тот факт, что индеец сиу, находясь в высшей точке религиозных испытаний, протыкает себе грудь маленькими колышками, привязывает их к кожаному ремню, ремень - к вкопанному в землю столбу, а затем, в состоянии характерного транса, пятится в танце до тех пор, пока ремень не натягивается - и колышки разрывают мышцы груди, так что льющаяся ручьями кровь свободно сбегает по его телу. Мы попытались найти смысл в таком экстремальном поведении. Как уже было сказано, этот ритуал, возможно, является символической реституцией, необходимость которой обусловлена решающим событием, когда-то вызвавшим у сиу сильный конфликт между его гневом на фрустрирующую мать и той частью его самого, которая постоянно чувствует себя зависимой и нуждающейся в верности, в том виде как она обеспечивается любовью родителей в этом мире и родительскими силами в сверхъестественном.

Индейцы племени юрок, организовавшись раз в году на великий инженерный подвиг перекрытия реки запрудой, что приносит им запас продовольствия на зиму, дают себе волю в сексуальных отношениях и перестают заботиться об искуплении и очищении; вследствие чего они достигают отрезвляющей стадии насыщения и восстанавливают в правах самоограничение, которое гарантирует еще на один год божественное право преследовать и ловить священного лосося.

В обоих случаях, как мы полагаем, цикл узурпации и искупления репрезентирует коллективные магические средства принуждающего характера.

Мы считаем, что в психоанализе мы научились до некоторой степени разбираться в этом цикле, поскольку то и дело наблюдаем его в индивидуальных историях болезни. У нас есть названия для давления чрезмерных желаний («Оно») и для деспотического гнета совести («Супер-эго»), и мы располагаем подходящими теориями двух экстремальных фаз, когда люди или народы находятся во власти одной или другой из этих сил. Но если мы попытаемся определить состояние относительного равновесия между хорошо известными нам крайностями, если спросить, что характеризует индейца, когда он - спокойный индеец, полностью поглощенный выполнением домашних сезонных работ, наше описание этого позитивного состояния выразится в одних только отрицаниях. Мы стремимся отыскать неприметные признаки того, что он продолжает обнаруживать в мельчайших эмоциональных и идеационных изменениях того же самого конфликта, который, по выражению Фрейда, проявляется в изменении настроения от неопределенной тревожной депрессии через некую промежуточную стадию к состоянию преувеличенного благополучия и обратно. Поскольку психоанализ развивался как психопатология, в начале ему практически нечего было сказать об этой «промежуточной стадии», за исключением того, что ни маниакальная, ни депрессивная тенденция в это время не проявляются сколько-нибудь заметно; и что «супер-эго» временно не находится в состоянии войны, «оно» согласилось на короткое перемирие и, таким образом, на полях сражений «эго» царит кратковременное затишье.

Давайте сделаем небольшое отступление, чтобы проследить историю термина «эго» до его истоков в психоанализе. «Оно», по Фрейду, есть древнейшая провинция души, как в индивидуальном плане (ибо он полагал, что маленький ребенок есть «сплошное оно»), так и в филогенетическом плане (поскольку «оно» является отложением в нас всей эволюционной истории). «Оно» включает в себя все то, что оставляют в нашей организации реакции амебы и импульсы обезьяны, слепые спазмы нашего внутриутробного существования и нужды нашей постнатальной жизни, иначе говоря, все, что делает нас «простыми тварями». Название «Оно» («Id»), конечно, указывает на предположение, что «эго» оказывается прикрепленным к этому безличному, этому животному слою наподобие верхней, человеческой половины кентавра к его лошадиному низу - с той лишь разницей, что «эго» считает такую комбинацию опасной и навязанной, тогда как кентавр использует ее наилучшим образом. В таком случае, «оно» обладает некоторыми из пессимистических качеств «воли» Шопенгауэра, той суммы всех вожделений, которые нужно побороть, прежде чем мы можем заявить о себе, как о настоящем человеке.

Другая внутренняя инстанция, обнаруженная и описанная Фрейдом, есть «супер-эго», своего рода автоматический регулятор, ограничивающий выражение «оно» путем противопоставления ему требований совести. И здесь акцент поначалу ставился на том чуждом бремени, которое «супер-эго» возлагает на «эго». Ибо это накладываемое сверху, «старшее эго» было «(интериоризованной) суммой всех ограничений, которым эго должно подчиняться». Но совесть тоже содержит следы жестоких сил подавления в человеческой истории, то есть угрозу увечья или изоляции. В моменты самобичевания и депрессии «супер-эго» использует против «эго» столь архаические и варварские методы, что их трудно отличить от методов безрассудно импульсивного «оно». Так же, как и в жестокостях религиозной или политической инквизиции трудно увидеть, где кончается простое садистское извращение и начинается совершенно искреннее благочестие.

Таким образом, «эго» обитает между «оно» и «супер-эго». Постоянно балансируя между этими крайностями и парируя их экстремистские методы, «эго» остается настроенным на историческую действительность, проверяя образы восприятия, отбирая воспоминания, направляя действия и другими способами интегрируя способности индивидуума к ориентировке и планированию. Чтобы обезопасить себя, «эго» держит на службе «защитные механизмы». Они, в противоположность более разговорной манере открыто выражать «защитную» позицию, представляют из себя бессознательные устройства, которые позволяют индивидууму отсрочивать удовлетворение, находить субституты и иными путями достигать компромиссов между побуждениями «оно» и принуждениями «супер-эго». Такие компромиссы мы встречали в «контрфобической» защите Сэма - его склонности нападать в тех случаях, когда он испуган. Мы распознали в круговой абстиненции морского пехотинца защитный механизм «самоограничения» и истолковали его преувеличенную добродетельность как «сверхкомпенсацию» всей той ярости и злобы, что он накопил за свое полное лишений детство. Другие защитные механизмы будут описываться по мере того, как мы будем обращаться к соответствующим клиническим случаям. Однако при изучении этой области нам хотелось бы выйти за пределы только защитных аспектов «эго», которые были столь убедительно сформулированы Анной Фрейд в ее книге *«Эго и механизмы защиты»*.

«Эго становится победоносным, когда его защитные меры ... дают ему возможность ограничивать развитие тревоги и так преобразовывать инстинкты, что даже в трудных обстоятельствах удовлетворение хотя бы отчасти, но достигается, и тем самым устанавливаются наиболее гармоничные (из возможных) отношения между «оно», «супер-эго» и силами внешнего мира.» [Anna Freud, *The Ego and the Mechanisms of Defence,* The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London, 1937.]

В таком случае «эго» есть «внутренний институт», развиваемый для охраны того порядка внутри индивидуумов, от которого зависит весь внешний порядок. «Эго» - это не «индивидуум» (= отдельный человек) и не его индивидуальность, хотя для нее «эго» необходимо. С целью прояснить природу этой необходимости, мы опишем в следующей главе трагическую неудачу эго, образчик психопатологии, относящийся к тяжелому нарушению порядка внутри индивидуума. Мы увидим борьбу еще совсем неопытного эго за связность и согласованность и... его поражение. Далее, обратившись к играм нормального детства, мы проследим за тем, как дети первое время не справляются, а затем добиваются прочного успеха в преодолении худшей из своих детских тревог.

Глава 5. Джин: крах незрелого эго

Никакие другие случаи, с которыми может столкнуться в своей практике психотерапевт, не вызывают у него столь благоговейного трепета, как встреча лицом к лицу с ребенком-«шизофреником». И вовсе не странности поведения больного ребенка превращают эту встречу в прямой вызов терапевту, требуя от него безотлагательных действий, а скорее сам контраст такого поведения с привлекательностью ряда больных шизофренией детей. Их черты лица часто правильны и приятны, а глаза «полны чувства» и, кажется, выражают глубокое отчаяние в паре со смирением, которого у детей не должно бы быть. Это совокупное впечатление сначала ранит сердце, но тотчас же убеждает лечащего врача, что подходящий человек и надлежащий терапевтический режим могли бы вернуть такого ребенка на путь последовательного улучшения. Подобное убеждение влечет за собой более или менее ясное следствие, что этот ребенок находился в дурных руках и, фактически, имеет все основания не доверять своим «отвергающим» родителям. (Мы уже видели, как далеко заходили индейцы и белые, обвиняя друг друга в причинении умышленного вреда собственным детям; наш же профессиональный предрассудок - «отвергающая мать».)

Я впервые встретился с Джин, когда ей было уже почти шесть лет, и, к сожалению, не видя ее раньше, не мог судить о том, насколько прогрессировала ее болезнь. Мой дом был для нее совершенно чужим, и чтобы добраться сюда, Джин с матерью пришлось совершить путешествие на поезде. Как мне удалось мельком разглядеть (ибо она вихрем носилась по саду и дому), Джин была изящно сложена, но напряжена и резка в движениях. У нее были красивые темные глаза, походившие на мирные островки среди тревожных гримас лица. Она бегала по всем комнатам дома, снимая покрывала со всех кроватей, какие смогла обнаружить, как если бы что-то искала. Оказалось, целью ее поисков были подушки, которые она сжимала в объятьях и, деланно смеясь, хриплым шепотом что-то говорила им.

Да, Джин страдала шизофренией. Ее человеческие отношения были центробежными, направленными прочь от людей. Мне довелось наблюдать этот странный феномен «центробежного подхода» («centrifugal approach»), часто интерпретируемый как полная неконтактность, несколькими годами раньше в поведении другой маленькой девочки, о которой говорили, будто она «никого не замечает». Когда та девочка спускалась по лестнице в направлении меня, ее взгляд рассеянно перемещался по находящимся в поле зрения вещам, описывая концентрические окружности около моего лица. Она сосредотачивала на мне свое внимание, так сказать, негативно. Подобное бегство является общим знаменателем для множества других симптомов, таких как: поглощенность отсутствующими и воображаемыми вещами; неспособность сосредоточиться на любой наличной задаче; отчаянный протест против любого близкого контакта с другими, если только они не вписываются в некоторую воображаемую систему, и поспешное, паническое бегство от речевого общения, когда случается войти в более тесный контакт. Смысловая коммуникация быстро сменяется бессмысленным («попугайским») повторением стереотипных фраз, сопровождаемым горловыми звуками отчаяния.

То, что я видел, как Джин, бешено носясь по моему дому, снова и снова останавливалась, чтобы отыскать и одарить любовью очередную кроватную подушку, представлялось важным по следующей причине. Мать Джин рассказала мне, что, заболев туберкулезом, оказалась прикованной к постели, и именно после этого у ее дочери наступила глубокая дезориентация. Врачи разрешили матери оставаться дома в своей комнате, но ребенок мог разговаривать с ней только через дверной проем спальни, с рук добродушной, но «грубой» няни. В течение этого периода у матери было впечатление, что происходило что-то такое, о чем девочка настоятельно хотела ей сообщить. Тогда же она пожалела, что незадолго до своей болезни позволила первой няне Джин, кроткой мексиканской девушке, уйти от них. Новая няня, Ядвига, как мать с беспокойством заметила со своей постели, всегда спешила, энергично перетаскивала малышку с места на место и слишком сильно выражала свои неодобрения и предупреждения. Ее излюбленным замечанием было: «Ах ты маленькая грязнуля!» Ядвига вела священную войну за чистоту младенца и прилагала все силы, чтобы ползающий ребенок не попал на пол и не запачкался. Стоило девочке слегка запачкаться, няня терла ее щеткой так, будто драила палубу.

Когда после четырехмесячной разлуки Джин (которой было теперь тринадцать месяцев) позволили войти в комнату матери, девочка говорила только шепотом. «Она буквально отпрянула от кресла, покрытого узорчатым вощеным ситцем, и заплакала; пыталась уползти с украшенного узором ковра, выглядя при этом очень напуганной и плача, не переставая. Ее ужасно пугал большой мягкий мяч, катящийся по полу, и сильный хруст бумаги». Эти страхи ширились с каждым днем. Сначала Джин не осмеливалась трогать пепельницы и другие грязные предметы; затем стала избегать касаться или уклоняться от прикосновений старшего брата, а постепенно и большинства окружавших ее людей. Хотя девочка в положенное время научилась самостоятельно есть и ходить, она постепенно превратилась в

печального и молчаливого ребенка.

Возможно, безумная привязанность Джин к подушкам имела связь с тем периодом, когда девочке не позволяли подходить к постели матери. Возможно, по какой-то причине она, не в силах принять свое отлучение, «приспособилась» к нему посредством перманентной системы уклонения от всяких контактов с людьми и теперь выражала свою любовь к матери, прикованной к постели болезнью, в форме любви к подушкам.

Мать подтвердила, что у Джин был фетиш - маленькая подушка или простынка, которые она обычно прижимала к лицу, когда ложилась спать. Со своей стороны, мать, казалось, жаждала возместить дочери то, в чем, как она чувствовала, отказывала ей, и это касалось не только месяцев ее болезни. Она стремилась искупить то, что теперь казалось похожим на отсутствие заботы о детях вообще в результате пренебрежения материнскими обязанностями. Эта мать отнюдь не испытывала недостатка привязанности к ребенку, однако считала, что не смогла быть для дочери источником нежной и безмятежной любви как раз в то время, когда та больше всего нуждалась в такой любви.

Подобное материнское отдаление можно обнаружить в каждом случае детской шизофрении. Что остается дискуссионным, так это следующий вопрос: может ли такое поведение с материнской стороны, как относительное отсутствие матери и тотальное присутствие няни, послужить «причиной» столь радикального нарушения деятельности ребенка? Или такие дети, в силу внутренних и, возможно, конституциональных причин, имеют весьма своеобразные потребности, которые никакая мать не могла бы понять без профессиональной помощи, а профессионалы еще совсем недавно не могли даже выявить этих детей, пока они еще достаточно малы, чтобы их можно было спасти индивидуальными дозами правильно спланированной материнской любви?

Что касается детей, то их прошлое часто наводит на мысль о ранней оральной травме. Взять хотя бы историю кормления Джин. Мать пыталась кормить ее грудью в течение недели, но была вынуждена прекратить из-за грудной инфекции. Малышка срыгивала пищу, кричала больше обычного и казалась вечно голодной. Когда Джин исполнилось десять дней, она заболела молочницей, которая имела острое течение на протяжении трех недель, а затем, в форме вялотекущей инфекции, сохранялась до конца первого года жизни. Питье часто причиняло боль. Одно время в первом полугодии инфицированный слой кожи с нижней стороны языка пришлось удалять. Ранние киноматериалы показывают нам маленькую девочку с тяжелой нижней губой и высунутым наружу, гиперактивным языком. Не остается сомнений, что девочка перенесла тяжелую оральную травму. Здесь следовало бы заметить, что главным фетишем Джин была простынка, которую она превращала в комок и прижимала ко рту, зажав кусок зубами. Помимо упомянутых подушек, Джин любила только инструменты и механизмы: взбивалки для яиц, пылесосы и радиаторы. Глядя на них она улыбалась, что-то им шептала и крепко обнимала. Само их присутствие приводило девочку в движение - что-то вроде возбужденного танца - и тем не менее она оставалась абсолютно равнодушной к людям, если только они не посягали на ее занятия или она сама не хотела вторгнуться в их дела.

В ранних заметках матери было еще одно свидетельство, показавшееся мне высоко релевантным. Мать дала мне прочитать заключение психолога, который, тестируя девочку в четырехлетнем возрасте, отметил, что у него сложилось впечатление, будто «ребенок восстал против речи». Ибо важно понимать, что эти дети отвергают свои собственные органы чувств и витальные функции как враждебные и «посторонние». У них повреждена фильтрующая система между внутренним и внешним миром, и их сенсорным входам не удается справиться с лавиной впечатлений, равно как и с беспокоящими импульсами, навязывающими себя сознанию. Поэтому дети на собственном опыте узнают и квалифицируют свои органы чувств и коммуникации как врагов, как потенциальных нарушителей границ «себя», которое ушло «под кожу». Именно по этой причине такие дети закрывают глаза, затыкают уши, прячут голову под одеяло в ответ на неудачные контакты. Таким образом, только осторожно дозируемое и исключительно последовательное применение материнского ободрения могло бы дать эго ребенка возможность, так сказать, вновь подчинить себе свои собственные органы и с их помощью воспринимать социальное окружение и более доверчиво контактировать с ним.

Когда я познакомился с Джин, она уже много месяцев как не жила с родителями, находясь на попечении опытной профессиональной воспитательницы. Большую часть времени девочка казалась безразличной. Однако в предыдущее Рождество, возвращаясь от родителей, где она гостила, Джин выбросила все родительские подарки на улице рядом с приемным домом, топтала их ногами и исступленно кричала. Может быть ей, наконец, стало не все равно. Я предложил семье съехаться вместе, а матери, в течение достаточно длительного времени, взять на себя заботу о Джин, естественно, под моим руководством, осуществляемым в ходе регулярных посещений их дома в университетском

городке. Я считал, что этот план лечения семьи должен быть реализован до начала непосредственной терапевтической работы с ребенком.

Когда Джин вернулась в свою семью, к матери, не пресыщенной уходом за детьми, она выразила свою признательность решительными попытками восстановить близкие контакты. Но эти попытки оказались слишком решительными и слишком специфическими по своим целям. Ее стали прельщать органы тела. Шокированные братья Джин (старший и младший) обнаружили, что их пытались схватить за половой член, и вежливо взяли назад свое искреннее согласие сотрудничать в деле лечения сестры. Отец заметил горячее желание девочки ходить вместе с ним в душ, где она дожидалась удобного случая, чтобы схватить его за половые органы. Поначалу он не смог скрыть забавного испуга, сменившегося затем несколько нервным раздражением. Когда он был одет, Джин принималась за шишку на его руке, которую она называла «бугорчиком» («lumpy»), и за сигареты, которые она выхватывала у него из губ и выбрасывала в окно. Она знала уязвимые места людей; эти дети, столь уязвимые сами, мастера на такой диагноз.

К счастью, наивысший «органистический» интерес Джин приходился на грудь матери. К счастью, потому что мать могла проявлять снисходительность к этому интересу в течение какого-то времени. Девочка любила сидеть у матери на коленях и исподтишка тыкать пальцем в груди и соски. Забираясь к матери на колени, она обычно повторяла «gloimb you, gloimb you», что, по-видимому, означало «climb on you» («влезаю на тебя»). Мать позволяла ей сидеть у себя на коленях часами. Это «gloimb you» постепенно разрослось в монотонно распеваемую импровизацию (я цитирую по дневнику матери):

Gloimb you, gloimb you, not hurt a chest - not touch a didge - not touch a ban - not touch a dage - not touch a bandage - throw away a chest - hurt a chest. [Поскольку перед нами *документальная* запись патологической речевой продукции *реального* ребенка, а не литературный вымысел, требующий воплощения в качестве похожего вымысла в другом языке, нет особого смысла переводить этот фрагмент на русский язык. Делая это, мы неизбежно утрачиваем фоно-семантические связи, играющие важную роль в организации подобной речевой продукции, и получаем фрагмент речи *другого*, причем *вымышленного* ребенка. В данном случае «речевая игра» Джин построена вокруг слова chest-bandage (бюстгальтер или, скорее даже, лифчик), которое «обыгрывается» по частям: chest - ban - dage [искаженная детская форма - didge] - bandage. Используемые глаголы, за исключением упомянутого выше «влезать на», играют не менее (а, возможно, и более) важную роль в психопатологической интерпретации фрагмента, чем существительное «лифчик». Это: hurt - делать больно; touch - трогать; throw away - бросать, выбрасывать. Наконец, следует обратить внимание на выраженную стереотипию в организации речевого потока Джин. - *Прим. пер.*]

Вероятно, эта «песня» означала, что ребенок находился во власти идеи, будто прикасание к chest-bandage (бюстгальтеру) матери могло причинить ей вред. Отчаянная сила и бесконечное повторение этих пустых слов даже вызвали у нас подозрение, что девочка сообщала, будто именно она причинила вред матери. Ибо поток слов Джин, по-видимому, указывал на то, что «бросание» («throwing away»), о котором она упоминала, в действительности означало, что (вы)бросили ее; и здесь мы снова видим самые глубинные, базисные образы изгнания и искупления. Конечно, нужно понимать, что труднее всего этим детям, даже если они приобрели обширный запас слов, дается вербальное (и, может быть, концептуальное) различение активного и пассивного, «я» и «ты», то есть базисная грамматика двоичности. По мере развития этой игры с матерью, можно было услышать, как Джин шепчет себе: «шлепать тебя» («spank you»), «не отрывать тебе палец» («not pick you finger off»).

Она явно связывала свои атаки на пенисы с атаками на груди матери, ибо продолжала: «У брата есть пенис. Будь хорошей. Не делай больно. Не обрезай ногти. Бола (vulva). У Джин есть бола». Постепенно она стала прямо выражать аутопунитивные тенденции и просить, чтобы ее «бросили». В уединенных играх Джин возвращалась к своим старым страхам грязи и действовала так, будто счищала паутину или выбрасывала что-то противное.

Давайте прервемся, чтобы прокомментировать следующее: Джин уже завершала здесь базисный цикл инфантильного шизофренического конфликта. По-видимому, почти не приходится сомневаться в том, что девочка, получив возможность общаться с матерью в своей собственной манере, вернулась назад к тому времени, пятью годами раньше, когда ее мать была больна. Эти дети обладают отличной памятью на отдельные события и, прежде всего, на уязвимые положения; однако их память не поддерживает зачатки чувства идентичности. А их словесная продукция, подобно образам сновидений, дает понять, о чем они хотят сказать, но не показывает, какая причинная связь существует между сообщаемыми темами. В таком случае, мы должны сделать вывод, что, говоря о болезни матери, Джин

намекала на возможность того, что она и повредила грудную клетку матери; что в доказательство своего нездоровья мать носила «bandage» [Букв. «бинт», «бандаж», когда осколок сложного слова «chest-bandage» становится самостоятельным. - *Прим. пер.*] и что по этой причине ребенка бросили (не позволяли подходить и крепко обнимать маму). Путаницу с тем, что было повреждено - палец ребенка или грудная клетка матери, - мы можем отнести как за счет семантических трудностей, так и за счет неисправной границы между «собой» и «другим». От взрослых мало пользы в этих вопросах, когда они говорят: «Не трогай это, ты его повредишь», а затем резко меняют направление мысли: «Не трогай это, иначе повредишь пальцы». Однако можно сказать, что смешение изречений взрослых здесь очень хорошо совпадает с той ранней стадией эго, когда вся боль переживается как «внешняя», а всякое удовольствие - как «внутреннее», независимо от того, где находится его действительный источник. Возможно, Джин так и не переросла эту стадию; тем не менее, ей очень рано пришлось испытать на собственном опыте, что значит быть оставленной матерью на попечение няни, фанатично приверженной методу «не трогать!»

Конечно, лишь для того, чтобы заново проверить действительность былого запрещения, ей пришлось проделать то, что она делала с мужчинами в своей семье. С матерью ей повезло больше. Но тут вступает в действие важный фактор, именно, мощная аутопунитивная тенденция этих загнанных детей. Их закон - «все или ничего», и они воспринимают изречение «Если же глаз твой соблазняет тебя, вырви его» [Адаптированная Эриксоном цитата из Нового завета: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну». - Мат., 5;29. - *Прим. пер.*] буквально и совершенно серьезно. Поэтому может случиться, так что маленький мальчик в шизофреническом приступе со всей искренностью просит своих шокированных родителей отрезать ему пенис, потому что он (пенис) нехороший.

Мать продолжала терпеливо объяснять Джин, что девочка не была виновна в ее болезни. Она позволяла дочери спать с ней, сидеть на коленях и вообще проявляла по отношению к девочке внимание и заботу, как если бы та была младенцем. Джин, казалось, начала доверять ей. После нескольких месяцев у нее наступило заметное улучшение. Она стала более грациозной в движениях; ее словарный запас увеличился, или, как следовало бы выражаться в таких случаях, выявился, поскольку обычно при шизофрении его наличие предполагается и до его активного употребления. И она начала играть! Джин укладывала маленькую черную игрушечную собачку в кровать и говорила: «Спи, собака, засыпай; не раскрывайся, закрой глаза, а то придется тебя, собака, отшлепать». Кроме того, она начала строить из кубиков длинные поезда, которые «шли на восток». Во время одной из таких игр она посмотрела матери в глаза редким, совершенно ясным взглядом и сказала: «Не поедем долго на поезде, как раньше». - «Нет, - ответила мать, - мы будем жить вместе».

Такие улучшения казались высшей наградой за все усилия. Обычно они прерывались кризисами, которые приводили к срочным вызовам. Я навещал семью и говорил со всеми, пока не выяснял, что происходило в жизни каждого из них. В этом санатории для одного пациента проблемы возникали одна за другой. С шизофреническим мышлением можно ужиться, только если вы способны сделать своей профессией его понимание. Мать взяла на себя эту задачу, которая требует особого дара эмпатии и, в то же время, способности оставаться интактным. В противном случае вы должны опровергать такое мышление, чтобы защитить себя от него. Тогда каждый член этого семейства, будучи вынужденным соприкасаться с мыслями и намерениями Джин, характеризуемыми, по существу, колебаниями между голой импульсивностью и отчаянным самоотрицанием, подвергался опасности потерять собственное душевное равновесие и самоуважение. На это приходилось неоднократно обращать внимание, поскольку Джин то и дело изменяла направление своих провокаций. А сама часто замыкалась в себе без видимой причины.

Следующего эпизода будет достаточно, чтобы проиллюстрировать воздействие первых попыток матери побудить Джин спать одной. Внезапно у девочки развилась патологическая привязанность к ложкам и приняла такие размеры, что привела к первому кризису отчаяния и у самой Джин, и у ее родителей. Джин упорно повторяла предложения типа «не спать при свете в комнате Джин», «свет в ложке», «крематорий в ложке», «одеяла в ложке» и т. д. Во время обеда она часто сидела и только смотрела на «свет в ложке». Не в силах объяснить свое поведение другим, девочка стала уединяться и проводить в постели часы и даже дни. Но при этом отказывалась ложиться спать вечером. Родители срочно вызвали меня и попросили разобраться в происходящем. Когда я попросил Джин показать мне «свет в ложке», она показала мне штепсельную вилку за этажеркой. Несколько недель назад она отбила кусок от этой вилки и вызвала короткое замыкание. Когда я пошел с Джин в ее комнату для осмотра

имеющихся там бытовых электроприборов, то обнаружил матовую лампочку с прикрепленным к ней маленьким, напоминающим ложку защитным экраном, предназначенным для того, чтобы помешать прямому свету попадать на кровать девочки. Это и был подлинный «свет в ложке»? Джин дала понять, что да. Тогда все стало ясно. По возвращении домой Джин первое время спала в материнской постели. Позже мать вернулась в свою спальню, а Джин осталась в своей комнате, дверь которой была приоткрыта в холл, где всю ночь горел свет. Наконец, свет в холле тоже выключили, оставив гореть только маленькую лампочку («свет в ложке») в комнате Джин. И, по-видимому, ночью девочка смотрела на этот свет как на свое последнее утешение - последний «орган» своей матери, адресуя ему ту же органистическую любовь и тот же органистический страх, которые она демонстрировала в отношении материнской груди, половых органов отца и братьев, а также всех фетишей до этого. Именно в то время она притронулась к штепсельной вилке в гостиной своими создающими проблемы пальцами, которые вызвали короткое замыкание и превратили все во тьму, включая и «свет в ложке». Опять она навлекла несчастье: тем, что только притронулась к какой-то штуковине, вызвала кризис, грозивший оставить ее одну в темноте.

Итак, обстоятельства рецидива полностью выяснены, ложке-фетишу дана отставка, а процесс восстановления продолжен. Однако нельзя не поразиться живучести патогенетического паттерна и силе его прорыва, поскольку Джин была теперь на год старше (ей было около семи). Все же, казалось, Джин начала ощущать, что ее пальцы могли и не наносить непоправимого вреда, и что она могла бы не только сдерживать, но и использовать их, чтобы чему-то научиться и создавать красивые вещи.

Впервые девочку стала приводить в восторг игра с пальцами, состоявшая в придумывании каждому пальцу - «поросеночку» - своего занятия: «этот поросенок делает одно», «тот поросенок делает другое» и т. д. Джин заставляла своих «маленьких поросят» делать то, что сама делала в течение дня, именно, «идти в продуктовый магазин», «идти в десятицентовую лавку», «ехать на лифте» или «плакать всю дорогу до дома». Таким образом, обращаясь к связной и ясной последовательности своих пальцев, она училась интегрировать время и устанавливать преемственность и непрерывность многих selves (= Я), которые делали разные вещи в разное время. И все же она не могла сказать: «*Я* сделала это» и «*Я* сделала то». Конечно, я не отношу это за счет одних только умственных способностей. Эго шизоида (равно как и шизофреника) всецело поглощено необходимостью проводить неоднократную проверку и интегрирование личного опыта именно потому, что он дает неадекватное чувство достоверности событий в то время, когда они происходят. Тогда, Джин совершенствовала такую реинтеграцию, вместе с ее коммуникацией, используя свои пальцы, которые теперь, после снятия с них запрета, могли быть снова допущены к телесному эго. Она выучила буквы алфавита, рисуя их сначала пальцами, а затем изучая азбуку с помощью тактильного метода Монтессори. И научилась исполнять мелодии на ксилофоне, используя ногти. Вот что рассказала мать Джин:

«После того как Джин начала проявлять такой беспокоящий, поскольку с виду бессмысленный, интерес к ксилофону, я заметила, что она, фактически, играет на нем ногтями. Она делала это так тихо, что невозможно было разобрать, что она играет. Однако вечером я обнаружила, что Джин смогла исполнить «Water, Water, Wild Flower» от начала до конца. Эта песня требует использования всех нот гаммы. Я попросила повторить и проследила за ее рукой, перемещавшейся вверх и вниз по гамме. Я была поражена и стала восторгаться, говоря, как это было чудесно. Потом сказала: «Давай спустимся вниз к остальным и ты сыграешь это для них». Джин пошла охотно, даже слегка волнуясь и, одновременно, испытывая явное удовольствие. Теперь она громко сыграла эту песню для них и все были поражены. Затем исполнила несколько других вещей: «Rain is Falling Down», «ABCDEFG» и др. Мы все хвалили ее, а она впитывала наши похвалы. Джин не хотела возвращаться к себе наверх; казалось, она хотела остаться, чтобы играть для публики - новое, восхитительное чувство.»

Так Джин «сублимировалась» и приобретала друзей. Но по мере того как она заново обретала части себя, она создавала и новых врагов, новыми способами. Например, использовала свои пальцы, чтобы тыкать ими в глаза другим, и достигла в этом такой опасной ловкости, что при появлении в доме гостей за ней приходилось следить и энергично пресекать ее намерения. Особенно нравилось ей тыкать в глаза своего отца, очевидно, в результате развития ее хватательной активности, направленной на пенис и сигареты. Когда же, на этой стадии развития болезни Джин, отец был вынужден уехать в служебную командировку, она регрессировала к хныканью, вернулась к фетишу-простыне (говоря «одеяло штопают»), разговаривала только тихим голосом и почти не ела, отказываясь даже от мороженого. Ведь она снова заставила кого-то уйти, прикасаясь к нему! Девочка казалась доведенной до полного отчаяния, поскольку фактически начала, наконец, отвечать на неослабевающие попытки отца помочь ей.

В пике этого нового кризиса Джин лежала в кровати рядом с матерью и, безутешно плача, снова и снова повторяла: «No vulva on Jean, no eggplant, take it off, take it off, no egg in the plant, not plant the seed, cut off your finger, get some scissors, cut it off». [По тем же соображениям, что ранее, мы сознательно воздерживаемся от соблазна дать полный «литературный» перевод этого фрагмента речи Джин. Ибо чтобы передать даже одну из организующих тенденций речевого мышления Джин (no eggplant - no egg in the plant - no plant the seed), пришлось бы подбирать другие реалии, что в нашем случае лишено смысла. К тому же «вольное обращение» Джин с грамматикой и лексикой (плюс высокая ситуативность ее речи) позволяют дать несколько толкований данного фрагмента. Вместо этого мы укажем на три, с нашей точки зрения, главные темы в ее рече-мысли: 1) У Джин нет «баклажана» (= «пениса»), который, возможно, также символизирует «отца». 2) Если верно «тождество»: «баклажан = пенис = отец», тогда можно представить, что в выражении take it off «it = oneself», а «take it off = take oneself off». В этом случае, вторая тема - тема «отъезда» и «исчезновения». 3) Наконец, тема самонаказания (точнее, наказания своего пальца) представлена в конце фрагмента: «cut off your finger, get some scissors, cut it off». - *Прим. пер.*] Что, очевидно, представляло собой старую глубокую аутопунитивную реакцию.

Мать дала Джин все необходимые разъяснения по поводу «исчезновения» ее отца. Она так же убедила девочку, что ее «баклажан» («eggplant») исчез вовсе не из-за того, что она трогала себя (фактически, она еще сохраняла свой прежний образ действий внутри). Джин возобновила игру с пальцами. Ей пришлось заново прокладывать себе путь сквозь предыдущие стадии существования, монотонно распевая: «эта маленькая девочка спит в холодильнике, эта маленькая девочка спит в пылесосе» и т. д. Постепенно у нее появился интерес к животным, а затем - к другим детям, и теперь ее пальцы представляли: «этот маленький мальчик прыгает, этот маленький мальчик бежит... идет... гонится» и т. д. В то время ее интерес к ловкости пальцев был ориентирован на различные виды локомоции у детей и животных. Джин научилась читать и перечислять названия разных домашних животных и, опять-таки используя пальцы рук, повторять по памяти дни недели, а добавляя пальцы ног, считать до двадцати. Одновременно ее репертуар игры на ксилофоне стал включать более сложные французские народные песни, причем каждую из них она исполняла с большой легкостью и самозабвением, всегда зная точно, где взять первую ноту. Об удовольствии, получаемом Джин от использования возвращенных себе пальцев, можно судить на основании следующего сообщения ее матери:

«Прошлым воскресеньем Джин сделала рисунок маленькой девочки в желтом платье. Вечером она молча подошла к своей повешенной на стену «картине» и стала ее внимательно изучать; надолго задержалась на руках, каждая из которых, с пятью тщательно прорисованными пальцами, была больше всей девочки, а затем сказала: «Хорошие руки». Я согласилась, повторив ее слова. Спустя минуту, она сказала: «Прелестные руки». Я снова одобрительно согласилась. Не отрывая глаз от рисунка, Джин отошла к кровати и села, продолжая смотреть на него. Затем громко воскликнула: «*Восхитительные* руки!»»

В течение всего этого периода Джин время от времени играла на ксилофоне и пела песни. Наконец родителям посчастливилось найти учителя музыки (фортепьяно), который был готов опираться в своей работе на слуховую одаренность Джин и ее искусность в подражании. В свой очередной визит, устраиваясь в отведенной мне комнате, я услышал, что кто-то разучивает фразы Первой сонаты Бетховена, и наивно высказался по поводу энергичного и точного туше. Я-то думал, что играл одаренный взрослый. Обнаружить за фортепьяно Джин было как раз одним из тех сюрпризов, которые настолько же пленяют в работе с такими больными, насколько оказываются обманчивыми, потому что снова и снова заставляют поверить в тотальный прогресс ребенка там, где есть основание верить лишь в отдельные и слишком быстрые улучшения специальных способностей. Это я говорю, опираясь на собственный опыт, ибо фортепьянная игра Джин, будь то Бетховен, Гайдн или буги-вуги, была поистине изумительной... пока девочка не восстала против этого дара, так же как в раннем детстве она «восстала против речи», если воспользоваться выражением первого психолога, который ее обследовал.

Этим заканчивается один эпизод в улучшении состояния Джин, касающийся ее отношения к своим рукам. На этом же заканчивается и наш пример, предлагаемый здесь в качестве иллюстрации существенной слабости эго, которая заставляет таких детей терять равновесие то из-за неодолимого влечения к какой-то части тела другого человека, то вследствие безжалостной аутопунитивности и парализующего перфекционизма. И вовсе не потому, что им не достает сил усваивать, запоминать и добиваться высоких результатов, обычно в какой-то художественной деятельности, которая несет в себе сенсорную копию их, в основном, оральной фиксации. А потому, что они не способны интегрировать

все это: их эго бессильно.

Вы захотите узнать, как сложилась дальнейшая жизнь Джин? Когда Джин стала старше, разрыв между ее возрастом и поведением оказался настолько заметным, что общение с детьми ее возрастной группы стало невозможным. Возникли другие трудности, которые вынудили прервать, по крайней мере на какое-то время, ее обязательное специальное обучение. Она быстро растеряла то, что приобрела за годы героических усилий своей матери. Позже ее лечение было продолжено в лучшем стационаре под руководством одного из самых увлеченных и творческих детских психиатров в этой специфической области.

Роль, которую «материнское отвергание» или особые обстоятельства оставления ребенка играют в таких заболеваниях, как случай Джин, все еще составляет предмет спора. Я полагаю, следовало бы принимать во внимание, что эти дети могут очень рано и едва заметно ослаблять ответную реакцию на взгляд, улыбку и прикосновение матери; то есть они обнаруживают изначальную сдержанность, вызывающую, в свою очередь, непреднамеренный уход матери. Трюизм, согласно которому исходную проблему нужно искать во взаимоотношениях «мать - ребенок», имеет силу лишь в том случае, если эти взаимоотношения трактуются как эмоциональный пулинг, способный не только умножать благополучие обоих партнеров, но и подвергать их опасности, когда связь ослабевает или прерывается помехами. В наблюдаемых мною случаях детской шизофрении имело место явная нехватка «передающей мощности» у ребенка. [В первом издании эта фраза была дана в следующей редакции: «...первичная нехватка "передающей мощности" у ребенка». Она относилась только к тем немногим случаям болезни, которые я наблюдал, а такие случаи были тогда редкими в психоаналитической практике. Мое утверждение имело целью противостоять некоторым поверхностным интерпретациям, модным в то время, согласно которым отвергающие матери могли вызвать такое злокачественное заболевание у своего потомства. Между тем, это мое утверждение цитировалось вне контекста в поддержку сугубо конституциональной этиологии детских психозов. Однако тот, кто внимательно прочел главу 1 и историю болезни Джин, вероятно, заметил, что во фрагментах историй болезни, представленных в этой книге, я вовсе не стремлюсь выделять первопричины и терапевтические результаты, но пытаюсь очертить новую концептуальную область, охватывающую как усилия эго, так и усилия социальной организации. Этот подход несомненно пренебрегает деталями взаимодействия ребенка и родителей, в котором конституциональные и средовые факторы злокачественно усугубляют друг друга. Первопричины можно выделить (или исключить) только там, где существуют строгие диагностические критерии, а в распоряжении исследователя имеется большое количество анамнезов для сравнительного анализа. Такую работу можно предпринять, опираясь на рост литературы по психоаналитической детской психиатрии. - *Э. Г. Э.*] Однако вследствие этой самой ранней неспособности поддерживать коммуникацию ребенок, возможно, лишь обнаруживает в более злокачественной форме ту непрочность эмоционального контакта, которая уже существует у родителей, хотя у них она может компенсироваться, по крайней мере, в других взаимоотношениях, особым складом характера или превосходными интеллектуальными способностями.

Что касается описанной в данной главе процедуры, то очевидно, что мать Джин отличалась способностью к исключительным целительным усилиям, которые являются необходимым условием всякого экспериментирования на этой границе человеческой веры и ответственности.

Глава 6. Забавы и заботы

Перефразируя Фрейда, мы назвали игру царским путем к пониманию синтезаторских усилий детского эго. Перед нашими глазами только что прошла картина краха, который потерпело эго ребенка в своем синтезе. Теперь мы обратимся к ситуациям детства, иллюстрирующим способность эго добиваться восстановления сил и самоисцеления в игровой деятельности, а также к тем терапевтическим ситуациям, в которых удача оказалась на нашей стороне и мы смогли помочь эго ребенка поддержать себя.

1. Игра, работа и развитие

Давайте возьмем в качестве текста для начала этой более утешительной главы эпизод игры, описанный весьма известным психологом. Случай явно не патологический, хотя и не относится к разряду веселых: мальчик по имени Том Сойер, по вердикту своей тетки, должен белить известкой

забор вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в это безупречное во всех отношениях утро. Его затруднительное положение усугубилось появлением сверстника по имени Бен Роджерс, который полностью отдавался игре. Бен, праздный человек, и есть та фигура, за которой мы хотим понаблюдать глазами Тома, человека работающего.

«Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал - верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодичный свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: «дин-дон-дон, дин-дон-дон», так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся не торопясь заворачивать, осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собою *«Большую Миссури»*, сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее. (...)

- Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп! Малый ход! Динь-дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! *Да живей, пошевеливайся*! Эй ты, на берегу! Чего стоишь? Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! *Шт! шт! шт!* (Машина выпускала пары).

Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал:

- *Ага!* Попался!.. Что, *брат*, заставляют работать?» [Пер. К. Чуковского. Курсив принадлежит Эриксону: он использует его для выделения слов-признаков, свидетельствующих о переходе Бена Роджерса от одной роли к другой. - *Прим. пер.*]

В клиническом отношении Бен Роджерс производит на меня самое благоприятное впечатление «по всем трем пунктам обвинительного акта»: организм, эго и общество. Ибо, грызя яблоко, он заботится о теле; одновременно он наслаждается воображаемым управлением группой весьма противоречивых элементов (являясь пароходом и его частями, да к тому же еще и капитаном этого парохода вместе с судовой командой, подчиняющейся капитану); тем не менее он мгновенно составляет мнение о социальной действительности, когда, выполняя сложный маневр, замечает работающего Тома. Реагируя отнюдь не так, как это сделал бы пароход, он не долго думая разыгрывает сочувствие, хотя несомненно считает, что затруднительное положение Тома повышает цену его собственной свободы.

Гибкий парнишка, сказали бы мы. Однако Том оказывается лучшим психологом: он собирается заставить Бена работать. Что показывает: по крайней мере для кого-то, психология - дело легкое и естественное, а при неблагоприятных обстоятельствах может оказаться даже лучше ординарного приспособления. В свете окончательного удела Бена кажется почти неприличным усугублять поражение интерпретацией и спрашивать, что может означать его игра. И все-таки я поставил этот вопрос перед группой студентов-социальных работников, специализирующихся в психиатрии. Большинство ответов, конечно, принадлежало к травматическому ряду, иначе зачем бы было делать Бена объектом анализа на семинаре? И большинство студентов сошлось в том, что Бен должен был быть фрустрированным мальчиком, чтобы взять на себя труд играть столь усердно. Предполагаемые фрустрации колебались от угнетения деспотичным отцом, от которого Бен спасается в фантазии, становясь отдающим команды капитаном, до обмоченной постели или какой-то другой травмы, относящейся к туалету, которая теперь заставила его хотеть быть судном, «сидящим в воде на девять футов». Несколько ответов затрагивали лежащее на поверхности обстоятельство: он хотел быть большим, и, само собой разумеется, в образе капитана - кумира его времени.

Моим вкладом в это обсуждение было соображение, что Бен - растущий мальчик. Расти означает делиться на различные части, которые развиваются с разной скоростью. Растущему мальчику трудно управляться со своим неуклюжим телом, да и со своим разделенным духом тоже. Он хочет быть хорошим, хотя бы потому, что это выгодно, и всегда обнаруживает, что был плох. Он хочет протестовать - и обнаруживает, что почти против своей воли уступил. Когда его временная перспектива позволяет бросить взгляд на приближающуюся взрослость, оказывается, что он ведет себя как ребенок. Одно из «значений» игры Бена могло бы заключаться в том, что она приносит эго ребенка временную победу над его неуклюжим телом и самим собой (self), создавая хорошо функционирующее целое из мозга (капитан), нервов и мышечной энергии (система связи и машина), а также основной массы тела (корпус судна). Игра позволяет ему быть организованной системой, внутри которой он сам себе хозяин, так как выполняет свои собственные приказы. В то же самое время Бен выбирает себе метафоры из

орудийного мира молодого века машин и антиципирует идентичность машинного бога своего времени, капитана «Большой Миссури».

Тогда, игра есть функция эго, попытка синхронизировать соматические и социальные процессы с самостью (the self). Вполне возможно, что фантазия Бена содержит фаллический и локомоторный элемент: мощное судно в могучей реке - хороший символ. Капитан же - подходящий образ отца и, сверх того, образ строго очерченной патриархальной власти. Однако особое значение, я считаю, должно придаваться потребности эго подчинить себе разные сферы жизни, и особенно те из них, в которых индивидуум находит себя, свое тело и свою социальную роль в нуждающемся и отстающем положении. Вызвать галлюцинацию власти эго и, к тому же, осуществлять ее в промежуточной реальности между фантазией и действительностью - это и есть назначение игры; но, как мы вскоре увидим, к неоспоримым владениям игры относится лишь тонкий краешек нашего существования. Что есть игра, а что - не игра? Давайте обратимся к нашему языку, а затем вернемся к детям.

Солнечный свет, переливающийся на поверхности моря, заслуживает полное право на определение «игривый», так как честно соблюдает правила игры. И он действительно не покушается на химический мир волн, требуя лишь «общения» видимостей. Образующиеся при этом узоры изменяются с непринужденной быстротой и той бесконечной повторяемостью, которая сулит приятные зрительные впечатления в пределах предсказуемого диапазона, никогда, однако, не создавая одну и ту же конфигурацию дважды.

Когда человек играет, он должен общаться с вещами и людьми в такой же ненавязчивой и легкой манере. Он должен делать что-то такое, что выбрал сам, без принуждения со стороны настоятельных потребностей или сильной страсти: должен чувствовать себя развлекающимся и свободным от любого страха или предвкушения серьезных последствий. Он отдыхает от социальной и экономической действительности - или, как это чаще всего подчеркивается, - *не работает*. Именно это противоположение работе придает игре ряд коннотаций. Одна из них: игра есть «просто забава», независимо от того, трудна она или нет. Как заметил Марк Твен: «делать искусственные цветы... - это работа, тогда как карабкаться на Монблан - всего лишь развлечение». Однако у пуритан простая забава всегда означала грех; квакеры предостерегали, что мы должны «срывать цветы удовольствия на полях долга». Близкие по духу пуританам люди могли позволить себе играть только потому, что считали: «облегчение высоконравственной деятельности само по себе является моральной необходимостью». Поэты же расставляют акценты по-другому. «Человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» - говорил Шиллер. Таким образом, игра - это пограничный феномен относительно целого ряда занятий человека; и стоит ли удивляться, что она в своей собственной игровой манере пытается уклониться от определения.

Верно, что даже самая напряженная и опасная игра по определению не есть работа, ибо не производит товар. Когда же это происходит, игра «становится профессиональной». Но именно это обстоятельство с самого начала делает сравнение игры взрослого и игры ребенка довольно бессмысленным, поскольку взрослый есть производящее и обменивающее товары существо, тогда как ребенок только готовится стать таковым. Для работающего взрослого игра является отдыхом. Она позволяет ему периодически выходить за пределы тех строго очерченных возможностей, которые составляют его социальную действительность.

Возьмем *силу тяжести*. Жонглирование, прыжки или восхождение на горную вершину добавляют необычные измерения (dimensions) знанию нашего тела. Здесь игра дарит нам ощущение божественной свободы действия, ощущение дополнительного пространства.

Возьмем *время*. Занимаясь пустяками и болтаясь без дела, мы лениво показываем нос времени - нашему эксплуататору. Игривость исчезает там, где каждая минута на счету. Это отодвигает спортивные соревнования на границу игры. Спортивные «игры», по-видимому, делают уступку давлению пространства и времени, но только чтобы нанести поражение этому давлению долями ярда или секунды.

Возьмем *судьбу и причинность*, которые определили, кто мы, что мы и где мы. В азартных играх мы восстанавливаем равенство перед судьбой и обеспечиваем чистый шанс каждому игроку, готовому соблюдать несколько правил, кажущихся при сравнении с нормами действительности произвольными и бессмысленными. Тем не менее, эти правила магически убедительны, подобно реальности сновидения, и требуют абсолютного соблюдения. Стоит играющему забыть, что такая игра должна оставаться его свободным выбором, стоит ему оказаться одержимым демоном легкой наживы, и игривость снова исчезает. Теперь он уже «игрок», а не играющий человек.

Возьмем *социальную действительность* и наши строго определенные ячейки в ней. Играя роли,

мы можем быть такими, какими в жизни никогда не были и не могли бы быть. Но когда такой «актер» начинает верить в свое ролевое воплощение, он приближается к состоянию истерии, если не к чему-то похуже; хотя, если он корысти ради пытается заставить других верить в его «роль», то становится мошенником.

Возьмем наши *органические влечения*. Большая часть рекламных усилий американцев эксплуатирует наше желание играть с необходимостью, чтобы заставить нас поверить, будто затягиваться табачным дымом и есть с аппетитом - это не приятное удовлетворение потребностей, а прихотливая игра со все более и более новыми и тонкими оттенками ощущений. Там, где нужда в этих чувственных нюансах становится компульсивной, она создает общее состояние умеренного пристрастия и ненасытности, которое блокирует передачу чувства насыщения и, фактически, вызывает скрытое состояние неудовлетворенности.

В *амурных делах*, хотя и последних по порядку, но не по значению, мы характеризуем как сексуальную игру ту предшествующую финальному акту беспорядочную активность, которая позволяет партнерам выбирать части тела, силу и темп. Сексуальная игра заканчивается с началом финального акта, сужающего выбор, предписывающего темп и дающего волю «натуре». В тех случаях, когда один из подготовительных случайных актов становится настолько непреодолимым, что полностью замещает собой финал, исчезает игривость и начинается перверзия.

Этот перечень игровых ситуаций в различных человеческих устремлениях очерчивает ту узкую область, где наше эго чувствует себя выше ограничений пространства-времени и безусловности социальной действительности - свободным от принуждений совести и побуждений иррациональности. Тогда только в границах этой области человек и может чувствовать себя в согласии со своим эго; неудивительно, что он чувствует себя «вполне человеком лишь тогда, когда играет». Но это включает в себя еще одно условие, самое важное: играть человек должен редко, а работать - бОльшую часть времени. Он должен иметь определенную роль в обществе. Повесы и картежники вызывают у работающего человека как зависть, так и возмущение. Нам нравится, когда их разоблачают или высмеивают; или мы подвергаем их худшему, чем работа, наказанию, заставляя жить в роскошных клетках.

В таком случае, играющий ребенок не может не озадачивать нас: ведь всякий, кто не работает, не должен бы и играть. Поэтому, чтобы терпимо относиться к игре ребенка, взрослые вынуждены изобретать теории, доказывающие, что либо а) детская игра по существу есть работа, либо б) ее вообще не стоит принимать в расчет. Самая популярная и самая удобная для стороннего наблюдателя теория состоит в том, что ребенок, в сущности, еще никто, и абсурдность его игры как раз и отражает это. Ученые пытались найти другое объяснение причудам детской игры, считая их свидетельством того, что детство оказывается некстати. Согласно Спенсеру, игра расходует *излишек энергии* детенышей ряда млекопитающих, которым не нужно добывать корм или защищать себя, поскольку за них это делают родители. Однако Спенсер отмечал, что всюду, где обстоятельства позволяют игру, в ней «воспроизводятся» именно те стремления, которые «готовы без промедления проявиться и столь же легко пробудить коррелятивные им чувства». Ранний психоанализ добавил к этому взгляду «катарсическую» теорию, утверждающую, что игра растущего существа позволяет ему выплеснуть запертые эмоции и облегчить в воображении груз прошлых фрустраций.

Чтобы оценить эти теории, давайте обратимся к игре другого мальчика (младше Тома). Он жил рядом с другой могучей рекой, Дунаем, а его игру увековечил другой великий психолог, Зигмунд Фрейд:

«Не имея в виду охватить все многообразия проявлений игры, я использовал представившийся мне случай разъяснить первую самостоятельно созданную игру полуторагодовалого ребенка. Это было больше чем мимолетное наблюдение, так как я жил в течение нескольких недель под одной крышей с этим ребенком и его родителями и наблюдение мое продолжалось довольно долго, пока это загадочное и постоянно повторяемое действие не раскрыло передо мной свой смысл.

Ребенок был не слишком развит интеллектуально (...), но хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его хвалили за его «приличный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблюдал запрещение трогать некоторые вещи и ходить, куда нельзя, и прежде всего он никогда не плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посторонней помощи ухаживала за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу. При этом он произносил с

выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжительное «о-о-о-о!», которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, но означало «прочь» (Fort). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь (Fortsein). Однажды я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить ее за собой по полу, то есть пытаться играть с ней, как с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произносил при этом свое многозначительное «о-о-о-о!», затем снова вытаскивал катушку за нитку из-за кровати и встречал ее появление радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, исчезновение и появление, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт, который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось со вторым актом (...).

Это толкование было потом вполне подтверждено дальнейшим наблюдением. Когда однажды мать отсутствовала несколько часов, она была по своем возвращении встречена известием «Беби о-о-о», которое в начале осталось непонятым. Скоро обнаружилось, что ребенок во время этого долгого одиночества нашел для себя средство исчезать. Он открыл свое изображение в стоячем зеркале, спускавшемся почти до полу, и затем приседал на корточки, так что изображение в зеркале уходило «прочь».» [Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. - М.: Прогресс, 1992. - С. 207-208. - *Прим. пер.*]

Для понимания того, что Фрейд увидел в этой игре, нужно отметить, что его интересовал странный феномен «навязчивого повторения», то есть потребность вновь и вновь проигрывать болезненные личные переживания в словах или действиях. Всем нам по собственному опыту знакома от случая к случаю возникающая надобность беспрерывно говорить о тягостном событии (оскорблении, ссоре или операции), которое, как можно ожидать, хотелось бы поскорее забыть. Мы знаем о травмированных людях, которые, вместо того чтобы обрести восстановление во сне, неоднократно пробуждаются из-за сновидений, где они заново переживают первоначальную травму. Мы также подозреваем, что далеко не случайно некоторые люди совершают одни и те же ошибки по многу раз, например: «по стечению обстоятельств» и в полном ослеплении вступают в брак с невыносимым партнером того же типа, с каким они только что развелись. И не случайно череда сходных происшествий или несчастий обрушивается именно на их головы. Во всех подобных случаях, пришел к заключению Фрейд, индивидуум бессознательно подготавливает варианты первоначальной темы, поскольку так и не научился преодолевать ее, равно как и жить с ней; он пытается овладеть ситуацией, которая в своем первоначальном виде оказалась ему не по силам, посредством того, что добровольно и неоднократно встречается с ней.

В процессе работы над текстом о «навязчивом повторении» Фрейд пришел к пониманию описанной выше одинокой игры и осознанию того факта, что частота главной темы (что-то или кто-то исчезает и возвращается) соответствовала силе переживания жизненно важного события, именно, ухода матери утром и ее возвращения вечером.

Эта инсценировка происходит в сфере игры. Используя свою власть над предметами, ребенок может приспособить их таким образом, что они позволяют ему воображать, будто он в той же мере способен справиться со своим затруднительным положением в жизни. Ибо когда мать оставляла его одного, она выводила себя из сферы действия его крика и требований, и возвращалась назад только тогда, когда это ей было удобно. Однако в игре у этого малыша мать находится на привязи. Он заставляет ее уходить, даже выбрасывает ее, а затем заставляет возвращаться по его желанию. Мальчик, по выражению Фрейда, *превратил пассивность в активность*: в игре он делает то, что в действительности делали с ним.

Фрейд упоминает три момента, которые могут быть нашими ориентирами в дальнейшей социальной оценке этой игры. Сперва ребенок отбрасывает предмет от себя. Фрейд усматривает в этом возможное выражение отмщения: «Если ты не хочешь оставаться со мной, ты мне не нужна» - и, тем самым, дополнительное увеличение активного господства над ситуацией благодаря явному приросту эмоциональной автономии. Однако во втором акте игры этот ребенок продвигается еще дальше. Он полностью отказывается от объекта и, используя зеркало в полный рост, играет в то, что «уходит прочь» от себя самого и к себе же возвращается. Теперь он и тот, кого оставляют, и тот, кто оставляет. Малыш становится хозяином положения благодаря тому, что инкорпорирует не только неподвластного ему в жизни человека, а всю ситуацию, с *обоими* участниками.

Фрейд доводит свою интерпретацию как раз до этого места. А мы можем поставить в центр тот

факт, что ребенок встречает возвращающуюся мать следующим сообщением: он научился «уходить прочь» от самого себя. Эта игра в одиночку, как она описана Фрейдом, вполне могла стать началом усиливающегося стремления ребенка уединяться со своими переживаниями жизненных событий и исправлять их в фантазии, и только в фантазии. Предположим, что в момент возвращения матери ребенок «вознамерился» показать полное безразличие, распространяя свое отмщение на жизненную ситуацию и давая матери понять, что он, фактически, может позаботиться о себе сам и не нуждается в ней. Такое часто случается после первых отлучек матери: она спешит назад, страстно желая обнять своего малыша и ожидая получить в ответ радостную улыбку, но нарывается на вежливую сдержанность. Тогда она может почувствовать себя отвергаемой и восстать против или отвернуться от нелюбящего ребенка, тем самым давая ему понять, что месть в игре отбрасывания предметов и его последующее достижение (которым он возгордился) нанесли слишком сильный удар по своей мишени и что он, фактически, заставил мать уйти навсегда, хотя пытался всего лишь оправиться от чувства покинутости ею. Поэтому основную проблему оставленного и оставляющего вряд ли можно поправить ее разрешением в одинокой игре. Однако допустим, что наш маленький мальчик сообщил матери о своей игре и она, ничуть не обидевшись, проявила к ней интерес, а, возможно, даже испытала чувство гордости за его изобретательность. Тогда он стал богаче во всех отношениях: приспособился к трудной ситуации, научился манипулировать новыми объектами и получил любящее признание за свой игровой прием. Все это происходит в «игре ребенка».

Но всегда ли игра ребенка - именно так звучит частый вопрос - «подразумевает» наличие чего-то сугубо личного и зловещего? Что если десяток ребятишек, в эпоху кабриолетов, начнут играть с привязанными за нитку катушками, волоча их за собой и исполняя роль лошадок? Должна ли эта игра означать для одного из них нечто большее, чем она, по-видимому, означает для всех?

Как мы уже говорили, дети, даже если они травмированы, выбирают для своих инсценировок материал, который доступен им в их культуре и который поддается воздействию ребенка их возраста. Что доступно - зависит от культурных условий и, следовательно, относится ко всем детям, живущим в данных условиях. Сегодняшние Бены не играют в пароход, а используют велосипеды в качестве более осязаемых объектов координации, что вовсе не мешает им по дороге в школу или бакалейную лавку воображать себя проносящимися над землей и разящими пулеметным огнем врага; или представлять себя Одиноким Странником верхом на славном Сильвере. [Одинокий Странник - главный герой некогда популярного в США мультсериала. - *Прим. пер.*]

Однако уступчивость игрового материала воздействию ребенка зависит от его способности к координации и, следовательно, определяется достигнутым на данный момент уровнем созревания. То, что имеет *общее значение* для всех детей какого-то сообщества (то есть, представление о том, что катушка с ниткой символизирует живое существо на привязи), может иметь *особенное значение* для некоторых из них (то есть, всех тех, кто только что научился манипулировать катушкой с ниткой и поэтому может легко войти в новую область партиципации и общинной символизации). Но такая простая игра, помимо этого, может иметь уникальное, *единичное значение* для тех детей, которые потеряли человека или животное и поэтому наделяют игру с катушкой и ниткой индивидуальным смыслом. То, что эти дети «держат на привязи», есть не просто какое-то животное, а персонификация конкретного, значимого и... потерянного животного или человека. Чтобы оценить игру, наблюдатель, конечно, должен знать, во что склонны играть все дети данного возраста в данном сообществе. Только так он может определить, выходит или нет единичное значение за пределы общего. А чтобы понять само это единичное значение, требуется тщательное наблюдение не только за содержанием и формой игры, но и за сопровождающими ее словами и явными аффектами, особенно теми, что ведут к явлению, которое мы опишем в следующем разделе как «распад игры».

Для того чтобы подойти к проблеме тревоги в игре, давайте рассмотрим деятельность по сооружению и разрушению башен. Отыщется не одна мать, считающая, что ее маленький сын находится в «деструктивной стадии» или даже имеет « деструктивную личность», ибо после сооружения большой-пребольшой башни мальчик вместо того чтобы последовать материнскому совету дать возможность и папе, когда тот придет, полюбоваться постройкой, непременно должен ударить по ней ногой и заставить ее рухнуть. Почти маниакальное удовольствие, с каким дети наблюдают мгновенное разрушение плодов долгого игрового труда, озадачивало многих, тем более что ребенку вовсе не нравится, если его башня падает случайно или от помогающей руки дядюшки. Он, строитель, должен разрушить ее сам. Надо полагать, эта игра проистекает из не столь отдаленного опыта внезапных падений малыша в то самое время, когда стояние вертикально на шатких ногах открывало новый и пленительный вид на все существующее. Ребенок, который впоследствии научается

заставлять башню «стоять», получает удовольствие, заставляя ту же башню качаться и обрушиваться. В добавление к активному овладению прежде пассивным событием это еще больше укрепляет уверенность мальчика в том, что есть кто-то слабее него; к тому же башни, в отличие от маленьких сестер, не могут плакать и звать маму. Но поскольку таким образом демонстрируется пока еще ненадежное овладение пространством, становится понятно, что наблюдение за кем-то другим, толкающим его башню, может заставить ребенка вообразить себя башней, а не «толкачом» - и все веселье разом пропадает. Позднее цирковые клоуны принимают на себя роль такой башни, когда услужливо падают на любом месте от «явной неумелости» и, тем не менее, с неиссякаемым простодушием продолжают бросать вызов силе тяжести и причинности: значит, даже взрослые люди бывают смешными, глупыми и плохо стоящими на ногах. Однако те дети, которые слишком сильно идентифицируются с клоуном, не могут вынести его падений: им это «не смешно». Случай с клоуном проливает свет на происхождение многих тревог в детские годы, когда тревога, связанная со стремлением ребенка установить господство эго, находит непрошенную «поддержку» со стороны взрослых, которые обходятся с ним грубо или забавляют его занятиями, нравящимися ему лишь в том случае, если он сам их начал.

Игра ребенка начинает свой путь с его собственного тела и сосредоточивается на нем. Мы будем называть эту первоначальную форму игры *аутокосмической игрой*. Она возникает еще до того, как мы начинаем замечать ее в качестве игры, и в начале заключается в исследовании посредством повторения чувственных восприятий, кинестетических ощущений, вокализаций и т. д. Затем ребенок начинает играть с доступными ему людьми и предметами. Он может без какой-либо серьезной причины кричать на разный манер, чтобы установить, какая длина волны чаще всего заставляет мать возвращаться к нему, или может наслаждаться познавательными экскурсиями, изучая на ощупь тело матери, выступы и впадины ее лица. Это и есть первая география ребенка, а основные карты составленные в таком взаимодействии с матерью несомненно остаются путеводителями для первой ориентации эго в «мире». Здесь мы призываем в свидетели Сантаяну:

«Далеко-далеко в неясном прошлом, как если бы это было в другом мире или в материнской утробе, Оливеру вспоминалась давно утраченная привилегия сидеть на коленях матери. Это был такой островок безопасности и уюта, такой удобный пункт наблюдения! С вами носились и вас окутывали обилием надежных покровов, наподобие короля на троне, с верными телохранителями, которые окружают его многими рядами. А открывающийся ландшафт, с его глашатаями и пестрыми эпизодами, становился самым занимательным зрелищем, где все было неожиданным и захватывающим, но ничто не могло идти не так: как если бы мать рассказывала вам сказку, а эти картины, бывшие только иллюстрациями к ней, сами рисовались в вашей внемлющей душе.» [George Santayana, *The Last Puritan*, Charles Scribner's Sons, New York, 1936.]

Микросфера, то есть маленький мир послушных ребенку игрушек, служит тихой гаванью, которую он устраивает для того, чтобы возвращаться в нее, когда у него возникает нужда в капитальном ремонте эго. Но этот внешний мир имеет свои собственные законы: он может сопротивляться реконструкции или просто разбиться на куски, а может оказаться принадлежащим кому-то еще и быть конфискованным старшими. Часто микросфера соблазняет ребенка на неосмотрительное выражение опасных тем и аттитюдов, которые вызывают тревогу и приводят к внезапному распаду игры. В бодрствующей жизни она является двойником тревожного сновидения и может удерживать детей от попыток играть так же, как страх перед кошмарным сном может удерживать их от засыпания. Таким образом, оказавшись напуганным или разочарованным микросферой, ребенок мог регрессировать к аутосфере: грезам, сосанию пальца, мастурбированию. С другой стороны, если первое пользование вещным миром проходит успешно и направляется должным образом, то удовольствие от овладения игрушечными вещами ассоциируется с преодолением травм, которые были спроецированы на них, и с престижем, завоевываемым благодаря такому овладению.

Наконец, в ясельном возрасте игривость простирается в *макросферу*, то есть в мир, разделяемый с другими. Сначала ребенок обращается с этими другими, как с вещами: обследует, наталкивается на них или принуждает быть «лошадками». Требуется научение, чтобы узнавать, какое содержание потенциальной игры может быть допущено только в фантазию или только в аутокосмическую игру; какое содержание может быть успешно представлено только в микрокосмосе игрушек и вещей, а какое можно разделить с другими и навязать им.

Когда ребенок научается этому, каждая сфера наделяется своим собственным смыслом реальности и владения. Потом, в течение долгого времени одиночная игра остается тихой гаванью, необходимой для капитального ремонта чувств, разбитых под ударами невзгод в плавании по

социальным морям. Это, да еще тот факт, что ребенок, как правило, вводит в специально организованную для него одиночную игру любой аспект своего эго, который пострадал более всего, и образуют основное условие использования нами «игровой терапии» в диагностических целях (что мы и обсудим в следующем разделе).

Тогда что же такое детская игра? Мы видели, что она не эквивалентна взрослой игре и не является отдыхом. Играющий взрослый уходит в сторону от действительности и входит в другую реальность; играющий ребенок продвигается вперед к новым ступеням мастерства в овладении этим миром и собой. Я выдвигаю предположение, что детская игра есть инфантильная форма человеческой способности осваивать жизненный опыт, создавая модели ситуаций, и овладевать действительностью через эксперимент и планирование. Ведь и взрослый в определенных фазах своей работы проецирует прошлый опыт в переменные (dimensions), которые кажутся управляемыми. В лаборатории, на сцене и за чертежной доской он оживляет прошлое и, таким образом, высвобождает остаточные аффекты. Воссоздавая ситуацию в модели, он исправляет свои промахи и укрепляет надежды. И он предвосхищает будущее с точки зрения исправленного и принятого (shared) прошлого. Никакой мыслитель не способен достичь большего и никакой играющий ребенок не может согласиться на меньшее. Как пишет Уильям Блейк: «Забавы ребенка и заботы старика - плоды двух времен года». [«The child's toys and the old man's reasons / Are the fruits of the two seasons» (W. Blake «Auguries of Innocence»). Эти две строчки в переводе В. Л. Топорова звучат как: «Игры малых, мысли старых - урожай в земных амбарах». (Блейк У. Избр. стихи. - М: Прогресс, 1982. - С. 329). Мы рискнули предложить собственный перевод этих двух строк, поскольку на наш взгляд он больше согласуется и с тем смыслом, который Эриксон увидел в этой фразе Блейка, и с содержанием главы 6, в названии которой Эриксон использовал слова Блейка (Toys and Reasons). - *Прим. пер.*]

2. Игра и лечение

В основе современной игровой терапии лежит наблюдение, что ребенок, утративший ощущение безопасности и надежности своего положения из-за скрытой ненависти или страха в отношении естественных защитников его игры в семье или по соседству, по-видимому, может воспользоваться покровительственной поддержкой понимающего взрослого для того, чтобы вновь обрести мир и спокойствие в игре. В прошлом роль такого взрослого, возможно, играли бабушки и любимые тетушки, а ее профессиональная разработка в наше время привела к появлению игротерапевтов. Самое очевидное условие терапии игрой состоит в том, что ребенок имеет в своем распоряжении игрушки и взрослого, и ни соперничество между детьми, ни ворчание родителей или любая другая внезапная помеха не нарушают развертывание его игровых интенций, какими бы они ни оказались. Ибо возможность «выиграться» - это наиболее естественная мера самоисцеления, предоставляемая детством.

Давайте вспомним здесь простой, хотя и часто смущающий факт из жизни взрослых: будучи травмированными, они склонны снимать свое напряжение «выговариваясь». Их неодолимо тянет по нескольку раз описывать тягостное событие, что, кажется, заставляет их «чувствовать себя лучше». Системы, предназначенные исцелять душу или психику, предполагают ритуальное использование этой склонности, регулярно предоставляя посвященного в духовный сан, либо иным образом узаконенного слушателя, который уделяет безраздельное внимание страждущему, клянется не осуждать и не выдавать тайну исповеди, дает отпущение грехов (дарует прощение), объясняя, какой смысл проблема конкретного человека приобретает в более широком контексте, будь это грех, конфликт или болезнь. Такой подход обнаруживает свои ограничения в тех случаях, когда эта «клиническая» ситуация утрачивает обособленность, при которой только и можно размышлять о жизни, и сама становится страстным конфликтом доверия и враждебности. С психоаналитической точки зрения ограничения устанавливаются склонностью (особенно сильной у невротиков) переносить базисные конфликты из первоначальной детской обстановки в каждую новую ситуацию, включая и терапевтическую. Именно это имел в виду Фрейд, когда говорил, что само лечение в начале становится «неврозом перенесения». Пациент, который таким образом переносит свой конфликт во всей отчаянной безотлагательности, оказывается в то же самое время сопротивляющимся всяким попыткам заставить его бесстрастно посмотреть на ситуацию и сформулировать ее значение. Он ведет *сопротивление* и более, чем когда-либо, втягивается в войну, чтобы покончить со всеми войнами. Именно здесь непсихоаналитическая терапия часто прекращается: говорят, что пациент не может или не хочет стать здоровым, либо не способен понять свои обязанности в курсе лечения. Однако терапевтический психоанализ как раз и начинается с этого момента. Он предполагает систематическую опору на знание о том, что невротик

неразделим в своем желании выздороветь и непреодолимой потребности перенесения своих зависимостей и враждебных актов на процесс лечения и персону терапевта. Психоанализ признает такие «сопротивления» и извлекает из них полезную информацию.

Феномен *перенесения* у играющего ребенка, равно как и у вербализующего свои проблемы взрослого, отмечает собой точку, где простые меры не имеют успеха, а именно, когда душевное возбуждение настолько усиливается, что разрушает игривость, помимо воли разряжаясь в игру или в отношения с наблюдателем игры. Этот «эмоциональный пробой» характеризуется тем, что в данном случае можно описать как *распад игры,* то есть внезапную и полную или диффузную и медленно распространяющуюся неспособность играть. Мы уже видели такой распад игры, когда в ответ на мою провокацию Энн пришлось покинуть меня и мои соблазняющие игрушки, чтобы возвратиться к матери. Мы также видели Сэма, захваченного его неодолимыми эмоциями в середине игры. В обоих случаях мы использовали наблюдение игры в качестве побочного диагностического инструмента. А сейчас я расскажу о маленькой девочке, которая, хотя ее и привели в чисто диагностических целях, провела меня сквозь полный цикл распада и триумфа игры и, таким образом, предложила великолепный образец того способа, которым затопленное страхом эго может вновь обрести свою синтезирующую способность через вовлечение в игру и выход из нее.

Нашей пациентке, Мэри, три года. Она неяркая брюнетка, но выглядит (и является) смышленой, хорошенькой и довольно женственной. Говорят, однако, что при нарушении душевного равновесия Мэри становится упрямой, по-младенчески капризной и замкнутой. На днях она обогатила свой инвентарь экспрессии кошмарами и сильными приступами беспокойства в игровой группе, к которой недавно присоединилась. Все, что могут сообщить воспитатели игровой группы, сводится к следующему: у Мэри странный способ поднимать вещи и скованное тело, причем ее напряженная неловкость, кажется, возрастает в связи с режимными моментами отдыха и посещения туалета. С такой вот информацией на руках мы и пригласили Мэри в наш кабинет.

Здесь, возможно, следует сказать несколько слов о весьма затруднительной ситуации, создающейся, когда мать приводит ребенка на обследование. Как правило, ребенок не хотел идти: часто он вообще не чувствует себя больным в том смысле, что у него есть симптом, от которого ему хотелось бы избавиться. Напротив, если он что и сознает, так это следующее: некоторые вещи и, в особенности, некоторые люди заставляют его чувствовать себя неуютно, и он хочет, чтобы мы сделали что-то с этими вещами и людьми, а не с ним. Часто ребенок думает, что что-то не так с его родителями, и в большинстве случаев он оказывается прав. Однако чтобы выразить это, ему не хватает слов; но даже если бы у него их было достаточно, у малыша нет оснований доверять нам такую важную информацию. С другой стороны, он не знает, что нам рассказали о нем родители, хотя одному богу известно, что они наговорили о нас ребенку. Ибо родителям, полезным, когда они хотят быть информантами, и необходимым, когда они выступают в роли первоисточников информации, нельзя полностью доверять в этих вопросах; их первоначальная история очень часто искажается желанием оправдать (либо скрыто наказать) себя или наказать (и бессознательно оправдать) кого-то еще, скажем, бабушку и дедушку, которые «натворили тут невесть что».

В данном случае мой кабинет находился в больнице. Мэри сказали, что она ехала ко мне, чтобы поговорить о своих кошмарах со мной, человеком, которого она никогда до этого не встречала. Мать консультировалась по поводу ее кошмаров с педиатром и Мэри слушала, как они обсуждали возможные показания для удаления миндалин. Поэтому я надеялся, что девочка обратит внимание на явно немедицинскую обстановку моего кабинета и даст мне шанс просто и честно объяснить ей, что я не врач и собираюсь лишь поиграть вместе с ней для того, чтобы мы могли познакомиться. Конечно, подобные объяснения полностью не рассеивают опасений ребенка, но хотя бы позволяют ему заняться игрушками и что-то делать. А коль скоро он что-то *делает,* мы можем наблюдать за тем, что он отбирает и что отвергает в нашем стандартном наборе игрушек.

Мэри входит в мой кабинет, держась за мать. Девочка протягивает мне руку (напряженную и холодную), затем дарит короткую улыбку и отступает к матери, обхватывая ее руками и удерживая рядом с еще открытой дверью кабинета. Она зарывается лицом в материнскую юбку, как будто хочет там спрятаться, и отвечает на все мои предложения лишь поворотом головы в мою сторону, причем с плотно зажмуренными глазами. Все же Мэри *улучила* момент, чтобы бросить на меня лукавый взгляд, который, казалось, выражает интерес - как если бы она хотела оценить, сможет ли этот новый взрослый понять шутку. То, что ее взгляд был замечен мною, по-видимому, заставляет малышку поспешно и несколько театрально вернуться под защиту матери. Та, в свою очередь, пытается привлечь внимание дочери к игрушкам, но Мэри снова прячет лицо в материнской юбке и подчеркнуто детским голосом

заводит: «Мама, мама, мама!» Маленькая актриса! Я даже не вполне уверен, что при этом она не прячет улыбку, и поэтому решаю подождать.

Мэри принимает решение. Все еще держась за мать, она показывает на куклу (девочку) и несколько раз, преувеличенно сюсюкая, быстро повторяет: «Что это? Что это?» После того как мать терпеливо объяснила ей, что это - кукла, Мэри повторяет: «Кукла, кукла, кукла», - и используя не понятные мне слова, предлагает матери снять с куклы туфельки. Мать пытается побудить ее сделать это самостоятельно, но Мэри просто повторяет свое требование. Голос девочки становится довольно тревожным и, кажется, скоро на нас хлынут слезы.

В этот момент мать спрашивает, не пора ли ей выйти из комнаты и подождать в приемной, как они договаривались с Мэри, когда ехали сюда. Я спрашиваю Мэри, можем ли мы сейчас отпустить маму, и неожиданно не слышу от нее никаких возражений, даже когда она остается один на один со мной. Пробую завести разговор от имени той куклы, которую мать оставила в руке Мэри. Девочка твердо берет куклу за ноги и вдруг, озорно улыбаясь, начинает тыкать головой куклы в различные предметы, находящиеся в комнате. Когда с полки падает игрушка, Мэри оглядывается на меня, чтобы узнать, не зашла ли она слишком далеко. Видя мою снисходительную улыбку, она заливается смехом и начинает толкать - всегда головой куклы - игрушки помельче, так что все они тоже падают. Ее возбуждение нарастает. С каким-то особым ликованием Мэри наносит удар кукольной головой по игрушечному поезду, стоящему на полу в середине комнаты. С усиливающимися признаками почему-то слишком возбуждающего веселья она опрокидывает все вагоны. Когда опрокидывается и локомотив, Мэри внезапно останавливается и бледнеет. Прислонясь спиной к дивану, она держит куклу вертикально у нижней части живота, а затем роняет ее на пол. Снова поднимает, держит ее в том же положении и в том же месте, и снова роняет. Повторив это несколько раз, девочка начинает сначала хныкать, а потом и вопить: «Мама, мама, мама!»

Входит мать, уверенная в том, что общения не получилось, и спрашивает Мэри, не хочет ли она пойти домой. Я говорю девочке, что она может идти домой, если хочет, но я мол, надеюсь, что через несколько дней она придет еще раз. Быстро успокоившись, Мэри уходит с матерью, говоря секретарю в приемной «до свидания», как если бы у нее состоялся приятный визит.

Может показаться странным, но я тоже считал, что ребенок провел успешную, хотя и прервавшуюся коммуникацию. Когда дело касается маленьких детей, слова не всегда нужны в самом начале общения. Я считал, что игра Мэри постепенно подготавливала диалог, и уж во всяком случае девочка передала мне посредством контрфобической активности информацию о том, что ей угрожало. Факт озабоченного вмешательства матери был, конечно, столь же знаменательным, как и распад игры ребенка. Вместе они, вероятно, объясняют инфантильную тревогу девочки. Но что она сообщала мне этим эмоциональным кувырканьем, этой внезапной веселостью и неожиданно нахлынувшей агрессивностью, как и одинаково неожиданным торможением и тревожной бледностью?

Видимое содержание модуса состояло в том, чтобы *толкать* предметы, но не рукой, а куклой как удлинителем руки, и затем *ронять* ту же куклу от области гениталий.

Кукла как продолжение руки была, так сказать, толкающим орудием. Это дает возможность предположить, что Мэри не осмеливается трогать или толкать предметы голой рукой, и напоминает мне о наблюдении ее воспитателя, утверждавшего, будто девочка трогает и поднимает предметы своим особым способом. Что, вместе с общей ригидностью ее конечностей, наводит меня на следующую гипотезу: Мэри беспокоят ее руки, возможно, как агрессивные орудия.

Перемещение куклы к нижней области живота, чтобы затем, странным образом, навязчиво и многократно ее ронять, ведет к дополнительному предположению, что девочка инсценировала потерю из этой области агрессивного орудия, толкающего инструмента. Похожее на припадок состояние, охватившее ее в тот момент, отчасти напоминает мне кое-что, о чем я давно знал: сильные истерические припадки у взрослых женщин интерпретировались как инсценировки, представляющие обоих партнеров в воображаемом скандале. Так, одна рука, срывая одежду пациентки, может тем самым инсценировать нападение агрессора, тогда как другая, хватая и удерживая первую, может изображать попытку жертвы защититься. У меня создалось впечатление, что приступ Мэри имеет именно такую природу: казалось, ее неумолимо влекло инсценировать и ограбленную, и грабителя, испуганно и, в тоже время, как бы навязчиво роняя куклу по нескольку раз.

Но что у нее могли украсть? Для ответа нам потребовалось бы знать, какое значение куклы было более релевантным в данном случае, то есть использовалась ли она в качестве агрессивного инструмента или символизировала младенца. За время этой игры роняемая кукла сначала побывала в роли удлинителя конечности и инструмента (толкающей) агрессии, а затем представляла что-то

утраченное в нижней области живота при обстоятельствах крайнего беспокойства. Считает ли Мэри пенис таким агрессивным оружием? И не инсценирует ли она тот факт, что у нее его нет? По рассказам матери, вполне вероятно, что при поступлении в детский сад у Мэри появилась первая возможность ходить в туалет вместе с мальчиками, а посещения туалета, как уже говорилось, служили поводом для тревоги.

Мать Мэри стучится в дверь в тот момент, когда я думаю о ней. Она оставила ребенка, теперь уже совершенно успокоившегося, снаружи и вернулась, чтобы кое-что дополнить к биографии дочери. Мэри родилась с шестым пальцем, который ей удалили примерно в шесть месяцев: на левой руке у нее остался шрам. Как раз до появления ее приступов тревоги, Мэри неоднократно «и настойчиво» спрашивала об этом шраме («Что это? Что это?») и получала шаблонный ответ: «комар укусил». Мать согласилась с тем, что в более раннем возрасте девочка вполне могла присутствовать при разговорах, где упоминалась ее врожденная аномалия. А недавно, добавила она, Мэри стала столь же настойчивой в своем сексуальном любопытстве.

Теперь мы можем лучше осмыслить тот факт, что Мэри беспокоит агрессивное использование собственной руки, которую лишили пальца, и что, возможно, она ставит знак равенства между рубцом на руке и своим генитальным «рубцом», между утраченным пальцем и отсутствующим пенисом. Кроме того, такая ассоциация, вероятно, приводит в соприкосновение наблюдение половых различий во время игр в детском саду и безотлагательный вопрос об угрожающей операции.

До того как привести ко мне девочку во второй раз, мать рассказала еще об одном происшествии. Недавно по сексуальному любопытству Мэри был нанесен особый удар, когда ее отец, ставший раздражительным из-за опасения лишиться средств к существованию в результате регионального роста безработицы, проявил нетерпимость по отношению к дочери, которая по обыкновению пришла к нему в ванную комнату. Как отец сам мне потом рассказывал, фактически он вытолкал девочку из ванной, сердито повторяя: «Не лезь сюда!» [«You stay out of here!» Именно эта английская фраза дает возможность лучше понять последующее игровое поведение Мэри. - *Прим. пер.*] Ей нравилось наблюдать за процессом бритья и, кроме того, в связи с последними событиями она расспрашивала отца (к легкой досаде последнего) о его половых органах. Строгое соблюдение заведенного порядка, когда она могла делать, говорить и спрашивать одно и то же по многу раз, всегда было необходимым условием внутренней безопасности Мэри. Девочка была «убита горем» вследствие отлучения от туалета отца.

Мы с матерью обсудили также и тот факт (о котором я уже упоминал), что педиатр отнес нарушение сна и дурной запах изо рта Мэри на счет плохого состояния ее миндалин и что мать и врач дискутировали в присутствии ребенка о необходимости срочной операции. Тогда, *операция* (удаление) и *сепарация* (отделение), как можно увидеть, являются общими знаменателями: фактическое удаление пальца на руке, ожидаемое удаление миндалин и мифическая операция, посредством которой мальчики становятся девочками; разлучение с матерью на время посещения детского сада и отделение от отца. Это и было тем минимальным расстоянием, на какое нам, после первого сеанса наблюдения за игрой, удалось приблизиться к значениям, на которых, казалось, сходились все элементы игры и биографические данные Мэри.

Полной противоположностью распаду игры является насыщение игрой, то есть такая игра, из которой ребенок выходит восстановленным, как спящий из сновидений, «возымевших должное действие». Распад и насыщение легко заметны и понятны лишь в редких случаях. Чаще они размыты и их приходится устанавливать путем тщательного исследования. Но с Мэри все было иначе. Во время второй нашей встречи она угодила мне образцом игрового насыщения, столь же впечатляющим, как и образец распада ее игры.

Вначале Мэри снова застенчиво улыбалась мне и опять отворачивалась, держась за руку матери и настаивая, чтобы та вошла с ней в кабинет. Однако стоило им оказаться в комнате, как девочка отпускает материнскую руку и, забыв о нашем - матери и моем - присутствии, начинает оживленно, с очевидной решимостью и целеустремленностью играть. Я быстро закрываю дверь и жестом приглашаю мать присесть, поскольку не хочу разрушать игру.

Мэри направляется в угол комнаты, где на полу лежат кубики. Она выбирает два кубика и устанавливает их так, чтобы можно было встать на них всякий раз, когда ей приходится возвращаться в угол за другими кубиками. Таким образом, игра снова начинается с удлинения конечностей, на этот раз ее ног. Без заминок совершая рейсы в угол и обратно, Мэри собирает кучу кубиков в центре комнаты. Затем опускается на колени и строит на полу маленький дом для игрушечной коровы. Около четверти часа она полностью поглощена задачей сложить домик так, чтобы он был строго прямоугольным и в то

же время точь-в-точь соответствовал размерам игрушечной коровы. Потом она пристраивает пять кубиков к одной длинной стороне дома и экспериментирует с шестым, пока его положение не удовлетворяет ее полностью (рис. 10).

Рис. 10

На этот раз доминирующим эмоциональным тоном стало спокойное игровое сосредоточение с оттенком материнской заботы и порядка. Нарастания возбуждения здесь нет и игра заканчивается на ноте насыщения: Мэри что-то построила, ей это нравится и теперь игра окончена. Она встает с сияющей улыбкой, которая внезапно сменяется озорным огоньком в глазах. Я еще не сознаю «опасности», жертвой которой мне предназначено стать, ибо совершенно зачарован тем фактом, что точно подогнанный к размерам коровы хлев выглядит как кисть руки... с шестью пальцами! В то же время он выражает «инклюзивный» модус, присущую женскому полу защитную конфигурацию, соответствующую корзинкам, коробкам и колыбелькам, которые девочки разного возраста приспосабливают для удобного хранения мелочей. Как я себе мыслю, мы наблюдаем здесь две реконструкции в одной: эта конфигурация возвращает на место удаленный палец руки, а ее структура, к счастью свойственная женскому полу вообще, опровергает ранее инсценированную «потерю из генитальной области». Таким образом, игра второго тура служит выражением восстановления и сохранности, - и это касается тех же частей тела (руки, области гениталий), которые в фазе распада игры первого тура представлялись подверженными опасности.

Но, как я говорил, Мэри начала озорно посматривать на меня. Теперь она смеется, берет мать за руку и тянет из комнаты, решительно произнося: «Мама, пойдем!» Я выжидаю какое-то время и выглядываю в приемную, откуда неожиданно раздается громкое и торжествующее «Той там!» (Thtay in there!»). [Искаженное детское «Stay in there!» («Оставайся там!» или «Не выходи!»). Ср. с фразой отца Мэри «Stay out of here!» - *Прим. пер.*] Я быстро отхожу назад, после чего Мэри с грохотом захлопывает дверь. Две мои последующие попытки выйти из комнаты закончились тем же. Она загнала меня в тупик.

Ничего не оставалось как только проникнуться духом игры. Я слегка приоткрыл дверь, быстро просунул в щель игрушечную корову, заставил ее пропищать и отдернул назад. Мэри вне себя от удовольствия и настойчиво требует повторить игру несколько раз. Она добивается своего, а затем наступает время идти домой. Когда девочка уходит, она победоносно, но любяще смотрит на меня и обещает прийти еще. Мне же остается трудная задача - разгадать, что произошло.

От тревоги в аутосфере в первом игровом эпизоде Мэри перешла к насыщению в микросфере и достигла триумфа в макросфере. Она вывела мать из моего пространства и заперла меня в нем. Именно в этом и заключалась суть игры: не выпускать (в шутку) мужчину из его комнаты. И только в связи с этим шуточным превосходством Мэри решилась заговорить со мной, причем не в какой-то там вежливо-неопределенной форме. «Той там!» («Не выходи!») - вот ее первые слова, с которыми она когда-либо обращалась ко мне! Слова эти были произнесены ясно и громко, как если бы что-то в ней ожидало момента, когда она будет достаточно свободной, чтобы произнести их. Что все это означает?

Я полагаю, мы имеем здесь завершение игрового эпизода через «перенесение отца» («father transference»). Уместно вспомнить, что с того момента, как Мэри вошла в мою комнату в первую нашу встречу, она обнаружила несколько кокетливое и робкое любопытство ко мне, которое тут же отвергла, крепко зажмурив глаза. Поскольку можно было бы ожидать, что она перенесет на меня (мужчину с игрушками) конфликт, разрушивший ее обычно игривые отношения с отцом, то более чем вероятно предположение о том, что в этой игре Мэри повторяла - при активном владении положением («Thtay in there» - «Той там!» = «Не выходи оттуда!») и при изменении векторов («out - in») - ту ситуацию

отлучения, пассивной жертвой которой она стала дома («Stay out of here!» - «Не входи сюда!»).

Возможно, кому-то покажется, что это - излишне сложное и хитроумное рассуждение для такой маленькой девочки. Но здесь хорошо бы осознать, что эти вопросы трудны лишь для рационального мышления. Было бы действительно нелегко придумать такую последовательность игровых трюков. Трудно даже распознать и проанализировать ее. Но все это, конечно же, происходит бессознательно и автоматически - и здесь никогда не следует недооценивать силу эго, даже у такой маленькой девочки.

Этот эпизод приведен для иллюстрации тенденции к самоисцелению в спонтанной игре, ибо игровая терапия и игровой диагноз должны систематически использовать процессы такого самоисцеления. Они могут помочь ребенку оказать помощь самому себе, и они могут помочь нам консультировать родителей. Там же, где самоисцеления не происходит, должны вводиться более сложные методы лечения (детский психоанализ) [Anna Freud, *Psycho-Analytical Treatment of Children*, Imago Publishing Co., London. 1946.], которые не обсуждались в этой главе. С увеличением возраста место игры обычно занимает длительная беседа. Однако здесь я намеревался продемонстрировать, что несколько сеансов игры могут снабдить нас информацией о проблемах, которые ребенок никогда бы не смог вербализировать. Подготовленные наблюдатели, располагающие многочисленными данными о жизни ребенка, способны из нескольких игровых контактов извлечь информацию о том, какие из этих данных высоко релевантны для конкретного ребенка, и почему. В случае Мэри, распад игры и игровое насыщение, будучи рассмотренными в рамках всех известных обстоятельств, определенно говорят о том, что множество прошлых и будущих, реальных и воображаемых событий были инкорпорированы в систему взаимоотягчающих угроз и опасностей. Во втором сеансе своей игры она устранила их все разом: восстановила собственный палец, успокоила себя, вновь подтвердила свою феминность и... как следует отделала большого мужчину. Тем не менее обретенный таким образом игровой мир необходимо подкрепить новым инсайтом со стороны родителей.

Родители Мэри приняли (а частично и сами предложили) следующие рекомендации. Любопытство дочери касательно ее шрама, ее половых органов и возможного удаления миндалин требовало правильного отношения и правдивой позиции. Девочке нужно, чтобы другие дети, особенно мальчики, приходили играть к ней домой. Вопрос миндалин требовал решения специалиста, которое затем можно было бы честно сообщить ребенку. По-видимому, неразумно будить и удерживать девочку, когда ей снятся кошмары; возможно, ей нужно было довести борьбу со своими сновидениями до конца и, при случае, требовалось лишь немного подержать и успокоить ее, когда она сама просыпалась. Ребенку требовалось много активности: игровое обучение ритмическим движениям могло бы несколько уменьшить ригидность ее конечностей, которая, независимо от первоначальной причины, вероятно, усугублялась наполненным страхом ожиданием, с тех пор как девочка впервые услышала о таинственной ампутации ее пальца.

Когда через несколько недель Мэри нанесла мне короткий визит, она была совершенно спокойной и ровным громким голосом задала вопрос о цвете поезда, на котором я ездил в отпуск. Уместно вспомнить, что Мэри опрокинула игрушечный паровоз в свой первый приход; теперь она могла вести беседу о паровозах. Удаление миндалин оказалось ненужным; кошмары прекратились. Девочка широко и без ограничений контактировала с новыми товарищами по игре, как у себя дома, так и по соседству. Восстановились игровые отношения с отцом. Ему интуитивно удалось наилучшим образом использовать внезапно захватившее Мэри восхищение сияющими локомотивами: он регулярно ходил с ней гулять к локомотивному депо, где они вместе любовались могучими машинами.

Здесь тот символизм, который наполнял собой рассматриваемый клинический эпизод, приобретает новое измерение. В связанном с распадом игры состоянии отчаяния игрушечный локомотив, по-видимому, имел деструктивное значение на фоне фаллически-локомоторного беспокойства: когда Мэри опрокинула его, она, вероятно, испытывала вселяющее благоговейный страх чувство из разряда «Адам, где ты?», которое мы уже наблюдали у Энн. [См.: 4.1, Гл. 2, с. 38 - *Прим. пер.*]

В это время игровые отношения Мэри с отцом были разрушены из-за его тревог по поводу возможной потери работы и соответствующего социально-экономического статуса. Девочка, конечно, не могла знать, а тем более понять творившегося в отцовской душе, и, по-видимому, истолковала все исходя из ее возрастных возможностей и реальных изменений в ее статусе. И все же реакция ребенка была в определенном смысле связана с неосознаваемым значением действий отца. Ибо нависшая угроза потери статуса, угроза маргинальности, часто имеет результатом бессознательную попытку посредством более строгого самоконтроля и очищенных норм вновь обрести утраченную почву под ногами или, по крайней мере, удержаться от дальнейшего падения. Я полагаю, это и заставило отца

менее терпимо реагировать на исследовательскую активность маленькой дочери, тем самым обижая и пугая ее в той общей сфере, которая была уже и так подорвана. Именно эта сфера, в сгущенной форме, проявилась потом в ее игре, хотя девочка и пыталась, из-за ужасности изоляции, пробиться назад к игривой взаимности. Таким образом, дети действительно отражают в игре, а там, где она не удается, переносят в собственную жизнь исторические и экономические кризисы своих родителей.

Ни игра Мэри, ни обеспеченный этой игрой инсайт не могли изменить экономических забот ее отца. Но в тот момент, когда он признал воздействие своих тревог на развитие дочери, он осознал, что в дальней перспективе ее тревоги имеют гораздо большее значение, чем грозившее изменение его рабочего статуса. Впрочем, реальные события не подтвердили его опасений потерять работу.

Идея отца совершать прогулки к локомотивному депо была удачной. Ибо теперь настоящие паровозы стали символами могущества, одинаково разделяемыми отцом и дочерью и поддерживаемыми всей системой образов той машинной культуры, в которой этому ребенку суждено было стать женщиной.

Таким образом, по окончании любой терапевтической встречи с ребенком родитель должен поддерживать то, чего взрослый пациент вынужден добиваться для себя сам, а именно, поддерживать перестройку в соответствии с образами и силами, направляющими культурное развитие в его эпоху, а с ней и возросшую перспективу чувства идентичности.

И здесь, наконец, мы должны попытаться подойти к лучшему описанию и определению того, что мы понимаем под идентичностью.

3. Истоки идентичности

А. Игра и социальная среда

Неожиданно появляющаяся идентичность наводит мосты между стадиями детства, когда телесному я (the bodily self) и родительским образам придаются их культурные коннотации; она же соединяет мостом и стадии ранней взрослости, когда множество социальных ролей становятся доступными и, фактически, все более и более принудительными. Мы попытаемся прояснить этот процесс, сначала рассматривая некоторые шаги ребенка в направлении идентичности, а затем - некоторые препятствия, воздвигаемые культурой на трудном пути ребенка к обретению идентичности.

Ребенка, который только что открыл в себе способность ходить, более или менее поощряемую или игнорируемую теми, кто его окружает, влечет повторять акт ходьбы из чисто функционального удовольствия и из надобности довести до совершенства недавно введенную в действие функцию. Но он также действует под влиянием непосредственного сознавания им нового статуса и фигуры «того, кто может ходить», с любой из коннотаций, какую случается иметь в координатах пространства-времени его культуры, будь это «тот, кто далеко пойдет», «тот, кто сможет твердо стоять на своих ногах», «тот, кто будет прямым» или «тот, за кем нужен глаз да глаз, поскольку он может зайти слишком далеко». Интериоризация конкретной версии «того, кто может ходить» - один из многих шагов в развитии ребенка, которые (через посредство личного опыта, подтверждающего физическое овладение и культурное значение, функциональное удовольствие и социальный престиж) с каждым пройденным отрезком пути способствуют более реалистической самооценке. Эта самооценка вырастает до убежденности в том, что он учится результативным шагам к реальному будущему и развивается в ясно очерченное «я» (self) внутри социальной действительности. Растущий ребенок должен на каждом шагу извлекать оживляющее чувство реальности из сознавания того, что его индивидуальный путь овладевающего опыта (его эго-синтез) является успешным вариантом групповой идентичности и находится в соответствии с пространством-временем и жизненным планом группы.

В этом детей невозможно обмануть пустой похвалой и снисходительным ободрением. Они могут оказаться вынужденными принимать искусственное подпирание самооценки за неимением чего-то лучшего, но их эго-идентичность приобретает силу только от искреннего и последовательного признания реального достижения, то есть такого достижения, которое имеет значение в данной культуре. Мы пытались выразить эту мысль при обсуждении проблем воспитания индейцев, однако сейчас уступим трибуну для более ясного изложения вопроса. [Ruth Benedict, «Continuities and Discontinuities in Cultural Conditioning», *Psychiatry*, 1:161-167 (1938).]

«Доктор Рут Андерхилл рассказывала мне, как сидела с группой стариков племени *папаго* (Аризона), когда хозяин дома попросил свою трехлетнюю внучку закрыть дверь. Она была тяжелой и закрывалась с трудом. Ребенок старался, но дверь не двигалась. Несколько раз дед повторял: «Да,

закрой дверь». Никто не встал, чтобы помочь ребенку, и никто не освободил ее от этого поручения. С другой стороны, не было и нетерпения, ибо в конце концов ребенок был совсем маленький. Старики важно сидели в ожидании, пока девочка не достигла цели и ее дедушка степенно не поблагодарил ее. Предполагалось, что ей бы не дали задания, если бы она не могла его выполнить, а раз оно дано, она обязана выполнить его сама, без посторонней помощи, как если бы была взрослой женщиной.

Существенным моментом такого детского воспитания является то, что ребенка с младенчества непрерывно приучают к ответственному участию в социальной жизни, хотя, в то же самое время, предполагаемые этим подходом задания адаптируются к его возможностям. Контраст с нашим обществом очень велик. Ребенок не вносит никакого трудового вклада в наше индустриальное общество, кроме как конкурируя со взрослым; его работа соизмеряется не с собственной силой и ловкостью, а с точно выверенными производственными требованиями. Даже когда мы хвалим достижения ребенка в работе по дому, нас оскорбляет, если такую похвалу истолковывают как явление одного порядка с похвалой взрослых. Ребенка хвалят, потому что родители чувствуют старание с его стороны, независимо от того, хорошо ли, по взрослым меркам, выполнено задание или нет, и поэтому он не приобретает никакого разумного эталона для измерения своих достижений. Торжественность семьи индейцев из племени *шейеннов*, устраивающей праздничную церемонию из-за первой охотничьей добычи (дрозда-рябинника) маленького мальчика, далека от нашего обычного поведения. При рождении мальчику дарили игрушечные лук и стрелу, а начиная с того времени, как он мог играть - пригодные для стрельбы и подходящие по росту лук и стрелы, которые специально делались для него главой семьи. Животных и птиц мальчик узнавал в ранжированной последовательности, начиная с тех, кого легче всего было добыть; и когда он приносил свою первую добычу каждого вида, его семья должным образом праздновала это событие, принимая его вклад столь же серьезно, как и бизона, добытого его отцом. Когда он, наконец, убивал бизона, то это была только заключительная ступень подготавливающего к взрослой жизни детства, а не новая взрослая роль, с которой его детский опыт находился бы в противоречии.»

В таком случае становится ясно, что выдвигаемые в нашей культуре теории игры, которые берут за основу предположение, будто и у детей игра определяется через противопоставление труду, являются фактически лишь одним из многих предубеждений, вследствие которых мы лишаем наших детей раннего источника чувства идентичности.

У «примитивов» это обстоит иначе. Их культуры эксклюзивны. Их образ человека начинается и заканчивается идеей сильного сиу или чистого юрок, причем в строго очерченных сегментах природы. В нашей цивилизации образ человека расширяется. По мере того как этот образ становится более индивидуированным, он обнаруживает тенденцию к включению несчетного числа людей в новые регионы, государства, континенты и классы. Новые синтезы экономической и эмоциональной безопасности люди ищут в образовании новых национальных и социальных организаций, основанных на более инклюзивных идентичностях.

Примитивные племена напрямую связаны с источниками и средствами производства. Их орудия труда суть наставки к органам тела, а их магия - проекция представлений о собственном теле. Дети в этих группах принимают непосредственное участие в повседневной работе и занятиях магией. Человек и среда, детство и культура могут изобиловать опасностями, однако все это - один мир. Такой мир может быть маленьким, но он культурно когерентен. С другой стороны, экспансивность цивилизации, наряду с ее стратификацией и специализацией, делают невозможным для детей включение в их эго-синтез чего-то большего, чем отдельные сегменты того общества, которое релевантно их существованию. Сама история стала проходящей средой обитания, к которой надлежит приспосабливаться. Машины, уже далеко не являющиеся только инструментами и расширителями физиологических функций человека, предопределяют целым организациям людей выполнять функции приставок и расширителей технических устройств. У некоторых классов детство становится изолированной частью жизни со своим собственным фольклором и литературой.

Однако изучение современных неврозов указывает на важность этого лага [Лаг - разрыв во времени между двумя явлениями или процессами, находящимися в причинно-следственной связи. - *Прим. пер.*] между воспитанием детей и социальной действительностью.

По нашему убеждению, неврозы содержат в себе бессознательные и тщетные попытки приспособиться к гетерогенному настоящему с помощью магических представлений более гомогенного прошлого, фрагменты которого все еще передаются через воспитание ребенка. А механизмы приспособления, некогда способствовавшие эволюционной адаптации, племенной интеграции, кастовой объединенности, национальному единообразию и т. д., в индустриальной цивилизации остаются не у

дел.

Тогда неудивительно, что некоторые из наших беспокойных детей постоянно убегают из своей игры в дискредитирующую их деятельность, где они кажутся нам «вредящими» нашему обществу, хотя анализ обнаруживает, что они хотят лишь продемонстрировать свое право на поиск в нем идентичности. Они отказываются получать профессию «ребенка», который должен играть роль взрослого, потому что ему не дают возможности быть маленьким партнером в большом мире.

Б. Сын бомбардира

Во время последней войны мой сосед, мальчик пяти лет, претерпел в своей личности изменение от «маменькина сынка» до отчаянного, упрямого и непокорного ребенка. Самым же беспокоящим симптомом у него стало влечение к поджогам.

Родители мальчика разошлись как раз перед началом войны. Мать с сыном переехала на квартиру к каким-то своим родственникам, а отец поступил на службу в военно-воздушные силы США. Эти родственницы часто неуважительно отзывались о его отце и культивировали у мальчика не по возрасту детские черты характера. Таким образом, «быть маменькиным сынком» грозило оказаться более сильным элементом идентичности, чем «быть сыном своего отца».

Однако отец хорошо проявил себя на войне, фактически, став, героем. По случаю первого отпуска отца маленький мальчик получил возможность увидеть, как тот мужчина, от подражания которому его предостерегали, стал центром восхищенного внимания всей округи.

Мать заявила, что не прочь оставить свои намерения развестись с ним. Отец вернулся на фронт, и вскоре его самолет был сбит над территорией Германии.

После отъезда отца и его гибели у этого нежного и зависимого мальчика развились все более и более беспокоящие симптомы разрушительности и открытого неповиновения, достигшие кульминации в поджогах. Он дал ключ к такому самоизменению, когда, протестуя против побоев матери, показал на штабель дров, подожженных им, и воскликнул (используя более детские языковые средства): «Если бы это был немецкий город, ты бы любила меня за это!» Тем самым он показал, что, совершая поджоги, воображал себя бомбардиром, как его отец, который рассказывал о своих подвигах.

Мы можем только догадываться о природе беспокойства этого мальчика. Но я считаю, что перед нами идентификация сына с отцом, проистекающая из внезапно усилившегося конфликта в самом конце эдиповой стадии. Отец, вначале успешно замещенный «хорошим» маленьким мальчиком, вдруг становится вновь ожившим идеалом и, к тому же, конкретной угрозой - соперником в борьбе за любовь матери. Тем самым он радикально обесценивает феминные идентификации сына. Чтобы уберечься от половой и социальной дезориентации, мальчик должен за минимально короткое время перегруппировать свои идентификации; но затем могущественный соперник погибает от рук врага - обстоятельство, которое усиливает чувство вины за соперничающее отношение и компрометирует новую маскулинную инициативу, оказывающуюся неадаптивной.

Ребенок имеет довольно много возможностей идентифицироваться, более или менее экспериментально, с привычками, чертами характера, занятиями и идеалами реальных или вымышленных людей того или другого пола. Определенные кризисы принуждают его производить здесь радикальный отбор. Однако историческая эпоха, в которой он живет, предлагает лишь ограниченное число социально значимых моделей для реально осуществимых комбинаций фрагментов идентификации. Их полезность зависит от той степени, в какой они одновременно отвечают требованиям возрастной стадии развития организма и привычным способам синтеза эго.

Моему маленькому соседу роль бомбардира, вероятно, подсказала возможный синтез разнообразных элементов, которые входят в состав многообещающей идентичности: его темперамента (энергичного); стадии созревания (фаллическо - уретрально - локомоторной); социальной стадии (эдиповой) и социального положения; его возможностей (мышечных, технических), темперамента отца (скорее прекрасного солдата, чем преуспевающего штатского) и современного исторического прототипа (агрессивного героя). Там, где такой синтез имеет успех, самая поразительная коагуляция конституциональных, темпераментальных и выученных реакций может вызвать бурное развитие и неожиданное завершение. Там же, где он терпит неудачу, все разрешается в неизбежном и сильном конфликте, часто выражаемом в непослушании или делинквентности. Ибо если ребенок чувствует, что окружение пытается радикальным образом лишить его всех тех форм выражения, которые позволяют ему развить и интегрировать следующую ступень в своей идентичности, он будет защищать ее с удивительной силой, встречающейся разве у животных, неожиданно вынужденных защищать свою

жизнь. В самом деле, в социальных джунглях человеческого существования невозможно ощущать себя живым без чувства эго-идентичности. Лишение идентичности способно толкнуть на убийство.

Я не осмелился бы делать предположения о конфликтах маленького бомбардира, если бы не видел собственными глазами свидетельств в пользу разрешения, соответствующего нашей интерпретации. Когда самая худшая из опасных инициатив этого мальчика сошла на нет, его можно было видеть «пикирующим» с холма на велосипеде: подвергающим опасности, пугающим и все же ловко объезжающим других детей. Они визжали, хохотали и, в известном смысле, восхищались им. Наблюдая за мальчиком и прислушиваясь к странным звукам, которые он издавал, я не мог удержаться от мысли, что он снова воображал себя самолетом, выполняющим бомбометание. Но в то же время он прибавил в игровом локомоторном мастерстве, развил осмотрительность в атаке и стал вызывающим восхищение сверстников виртуозом велосипеда.

Из этого примера нам следует усвоить, что перевоспитание должно не упускать возможность использовать силы, мобилизованные для игровой интеграции. С другой стороны, отчаянную силу многих симптомов следует понимать как защиту того шага в развитии идентичности, который данному ребенку сулит интеграцию быстрых изменений, имеющих место во всех сферах его жизни. Что для наблюдателя выглядит особенно мощным проявлением голого инстинкта, в действительности часто оказывается лишь отчаянной мольбой разрешить осуществление синтеза и сублимации единственно возможным способом. Поэтому можно ожидать, что наши юные пациенты будут поддаваться только тем терапевтическим мерам, которые помогут им приобрести предпосылки для успешного завершения синтеза их идентичности. Терапия и наставление могут пытаться замещать менее желательные моменты более желательными, но целостная конфигурация элементов развивающейся идентичности вскоре становится не поддающейся изменению. Из этого следует, что терапия и руководство со стороны профессионалов обречены на неудачу там, где культура отказывается обеспечивать раннюю основу для идентичности и где благоприятные возможности для целесообразных, но более поздних корректировок оказываются упущенными.

Наш пример с маленьким сыном бомбардира иллюстрирует основную проблему. Психологическая идентичность развивается из постепенной интеграции всех идентификаций. Однако здесь, если не всюду, целое обладает свойством, отличным от свойства суммы его частей. При благоприятных обстоятельствах дети обретают ядра своей особой, отдельной идентичности в довольно раннем возрасте; часто им приходится даже защищать ее против вынужденной сверхидентификации с одним или обоими родителями. Эти процессы трудно исследовать на пациентах, поскольку сам невротик, по определению, стал жертвой сверхидентификаций, которые изолируют маленького индивидуума и от его прорастающей идентичности, и от его социальной среды.

B. Черная идентичность

А что если «среда» оказывается настолько жесткой и непреклонной, что позволяет жить только ценой постоянной утраты идентичности?

Рассмотрим, к примеру, шансы на непрерывность идентичности у американского темнокожего ребенка. Я знаю цветного мальчика, который, подобно нашим сыновьям, каждый вечер слушает по радио передачу о Красном всаднике. Потом он сидит в постели, не в силах сразу заснуть, и воображает себя Красным всадником. Но вот наступает момент, когда он видит себя галопом несущимся за преступниками в масках и вдруг замечает, что в его фантазии Красный всадник - цветной. И мальчик прекращает фантазировать. Несмотря на малый возраст, этот ребенок был чрезвычайно экспрессивен, как в радостях, так и в печалях. Сегодня он - спокойный и всегда улыбающийся; его речь - мягкая и неопределенная; и никто не может заставить его спешить или беспокоиться, как, впрочем, и обрадоваться. Белым людям он нравится.

Темнокожие младенцы часто получают чувственное удовлетворение, которое с избытком обеспечивает им остаточный запас оральности и чувственности (oral and sensory surplus) в течение целой жизни, как это ясно выдает их манера двигаться, смеяться, говорить и петь. Их вынужденный симбиоз с феодальным Югом воспользовался этим орально-сенсорным сокровищем и помог создать идентичность раба: тихого, покорного, зависимого, несколько ворчливого, но всегда готового служить, с проявляемым по случаю сочувствием и неискушенной мудростью. Однако где-то в ее фундаменте появилась опасная трещина. Неизбежная идентификация негра с господствующей расой и потребность расы господ защитить свою собственную идентичность против чувственных и оральных соблазнов, исходящих от низшей расы (откуда родом их няни-негритянки), упрочили в обеих группах цепь

ассоциаций: «светлый - чистый - умный - белый» и «темный - грязный - глупый - ниггер». Следствием, особенно для тех негров, которые покинули убогий приют южных семей, часто было чрезвычайно поспешное и суровое воспитание чистоплотности, подтверждаемое биографиями чернокожих писателей. Все происходит так, как если бы наведением чистоты можно было достичь белой идентичности. Сопутствующее разрушение иллюзий передается на фаллическо-локомоторной стадии, когда ограничения в отношении того, девочку какого цвета кожи можно представлять в своих фантазиях, мешают свободному переносу первоначальной нарциссической чувственности в генитальную сферу. Формируются три идентичности: 1) орально-чувственный «малыш-медок» матери или няни-негритянки: нежный, экспрессивный, ритмичный; 2) порочная идентичность грязного, анально-садистического, фаллического насильника - «ниггера»; 3) чистый, анально-компульсивный, сдержанный, дружелюбный, но всегда грустный «негр белого человека».

Так называемые благоприятные возможности, предлагаемые негру-переселенцу, часто оборачиваются лишь более хитроумным вариантом лишения свободы - «только для черных», подвергающим опасности его исторически успешную идентичность (идентичность раба) и не способным обеспечить реинтеграцию вышеупомянутых фрагментов другой идентичности. Эти фрагменты становятся доминирующими в форме расовых карикатур, которые подчеркиваются и стереотипизируются индустрией развлечений. Уставший от своей собственной карикатуры, цветной индивидуум часто уходит в ипохондрическую недееспособность - состояние, представляющее собой аналогию подчиненному положению и относительной безопасности строгого ограничения в южных штатах; иначе говоря, в этих условиях он совершает невротическую регрессию к эго-идентичности раба.

Я уже упоминал о том, что нечистокровные индейцы в районах, где им едва ли когда-нибудь приходилось видеть негров, говорят о своих чистокровных братьях как о «черномазых», тем самым показывая силу господствующих национальных образов, которые служат контрапунктом идеальных и порочных образов в инвентаре доступных прототипов. Ни один человек не может избежать этой оппозиции образов, которая распространяется повсюду: среди мужчин и женщин, большинств и меньшинств, вообще всех классов данной национальной или культурной единицы. Психоанализ доказывает, что бессознательная порочная идентичность (смесь всего того, что вызывает негативную идентификацию, - то есть желание не походить на это) состоит из образов изнасилованного (кастрированного) тела, этнической аут-группы и эксплуатируемого меньшинства. Поэтому типичный настоящий мужчина может - в своих сновидениях и предрассудках - оказаться смертельно напуганным так или иначе проявляющейся сентиментальностью женщины, покорностью негра или интеллектуальностью еврея. Ибо эго, в ходе своих синтезирующих усилий, пытается категоризовать порочные и идеальные прототипы (соперников-финалистов, так сказать), а с ними и все существующие образы высшего и низшего, хорошего и плохого, маскулинного и феминного, свободного и рабского, потентного и импотентного, прекрасного и безобразного, быстрого и медленного, высокого и низкого, в форме простой альтернативы, чтобы увидеть одно сражение и одну стратегию в сбивающих с толку перестрелках между многочисленными мелкими отрядами.

Тогда как дети могут считать, что цветные стали темными из-за какого-то загрязняющего процесса, цветные могут считать белых обесцвеченными цветными. В обоих случаях присутствует идея стирающегося слоя.

«Все народы родились черными, ну а те, что стали белыми, так у них просто ума было побольше. Пришел Ангел Господень и сказал всем собраться на четвертую пятницу в новолуние и омыть себя в Иордане. Он объяснил им, что все они станут белыми, а завитки их волос распрямятся. Ангел долго поучал их, но эти глупые черномазые не вняли его словам. Ангел ничему не может научить черномазого. Когда наступила четвертая пятница, лишь немногие из них вошли в реку и принялись оттирать себя. Воды в реке было очень мало. Это вам не старушка Миссисипи; хоть и была она рекой Господа, воды в ней было не больше, чем в ручье. Вы бы только видели, как толпа черномазых, усевшихся у изгороди, потешалась над теми, кто начал мыться. Гоготала и отпускала крепкие шутки. Черномазых собралось больше, чем вам когда либо приходилось видеть в Виксбурге, когда туда приезжает цирк.

Те же, кто вошел в реку, все скребли и мыли себя, особенно свои волосы, чтобы они распрямились. Старая тетушка Гринни Грэнни, прабабка всех этих черномазых, целый день просидела на бревне, поедая сыр с печеньем да понося тех, кто мылся. Когда стало быстро темнеть, она вскочила и захлопала в ладоши: «Бог - свидетель! Эти черномазые белеют!» Гринни Грэнни сдернула с головы косынку и кубарем скатилась по берегу мыть свои волосы, а за ней и все эти глупые черномазые.

Однако всю воду уже израсходовали, осталось лишь чуть-чуть на самом дне, только чтобы смочить ладони да. подошвы. Вот почему у ниггера эти места белые».» [Members of the Federal Writers' Projects, *Phrases of the People*, The Viking Press, New York, 1937.]

Здесь фольклор использует фактор, являющийся общим как для расовых (одинаково разделяемых белыми и черными) предрассудков, так и для сексуальных предрассудков (так же разделяемых, глубоко внутри, и мужчинами, и женщинами). Предполагается, что так уж случилось, что этим дифференцирующим фактором, будь то более темный цвет кожи или немужская форма гениталий, наделено меньшее количество людей, по оплошности или в наказание; и к нему более или менее откровенно относятся как к позорному пятну.

Конечно, негры - это лишь самый вопиющий пример американского меньшинства, под давлением традиции и вследствие ограничения возможностей вынужденного идентифицироваться с порочными фрагментами собственной идентичности и тем самым ставящего под угрозу любое участие в американской идентичности, может быть, даже заслуженное.

Таким образом то, что можно назвать пространством-временем эго индивидуума, сохраняет социальную топологию среды его детства, а также образ собственного тела с его социальными коннотациями. Весьма важно изучать и то, и другое, чтобы установить взаимосвязь истории детства пациента с историей оседлого проживания его семьи в прототипических (восточных), «отсталых» (южных) или «передовых» (западные и северные границы) областях, по мере того, как эти области инкорпорировались в американский вариант англосаксонской культурной идентичности; с миграцией его семьи из, через и в области, которые в различное время, возможно, олицетворяли собой оседлый и кочующий полюса развивающегося американского характера; с обращением семьи в ту или иную веру, либо с вероотступничеством и классовыми последствиями всего этого; с бесплодными попытками достичь уровня жизни какого-то определенного класса и утратой или добровольным оставлением такого уровня. Наиболее важным является тот отрезок семейной истории, который обеспечивает самое современное и устойчивое чувство культурной идентичности.

Все это поражает нас количеством опасностей, подстерегающих группу-меньшинство американцев, которые, успешно пройдя выраженную и находящуюся под надлежащим контролем стадию автономии, вступают в высшей степени решающую стадию американского детства: стадию инициативы и трудолюбия. Как уже указывалось, менее американизированные группы-меньшинства часто обладают привилегией наслаждаться более чувственным ранним детством. Кризис наступает, когда их матери, теряя веру в себя и прибегая к поспешным коррективам, чтобы приблизиться к неясному, но всепроникающему англосаксонскому идеалу, создают резкие разрывы; или где дети фактически сами научаются отказываться от своих чувственных и склонных к гиперпротекции матерей как от соблазнов и препятствий на пути к формированию более американской личности.

В целом можно сказать, что американские школы успешно справляются с проблемой воспитания приготовишек и учащихся младших классов в духе уверенности в своих силах и предприимчивости. Дети этого возраста кажутся в высшей степени свободными от предрассудков и опасений, как бы ни были они поглощены ростом и учением, да и новыми удовольствиями общения вне своих семей. И это, чтобы предупредить чувство личной неполноценности, должно приводить к надежде на «промышленную ассоциацию», на равенство со всеми теми, кто искренне отдает свои силы и умения учению. С другой стороны, индивидуальные успехи лишь ставят теперь открыто поощряемых детей смешанного происхождения и отчасти отклоняющихся дарований под удар американского подростничества: стандартизации индивидуальности и нетерпимости к «различиям».

Мы уже говорили, прочная эго-идентичность не может появиться и существовать без доверия первой оральной стадии; и она также не может стать полной без перспективы осуществления, которая от доминирующего образа взрослости уходит к истокам младенчества и которая, благодаря ощутимым признакам социального здоровья, вызывает нарастающее ощущение силы эго. Поэтому, прежде чем приступить к дальнейшему рассмотрению современных проблем идентичности, мы должны осознать место идентичности в цикле человеческой жизни. В следующей главе как раз и представлен перечень качеств эго, которые появляются в критические периоды развития, - или перечень критериев (идентичность - это первый), относительно которых индивидуум демонстрирует, что его эго, на данной стадии, обладает достаточной силой, чтобы интегрировать график роста и работы организма со структурой социальных институтов.

Глава 7. Восемь возрастов человека

1. Базисное доверие против базисного недоверия

Первое проявление малышом социального доверия обнаруживается в легкости его кормления, глубине сна и ненапряженности внутренних органов. Опыт совместного согласования его непрерывно возрастающих рецептивных возможностей с материнскими приемами обеспечения постепенно помогает ему уравновешивать дискомфорт, вызываемый незрелостью врожденных механизмов гомеостаза. С увеличением времени бодрствования он обнаруживает, что все больше и больше сенсорных событий вызывают чувство дружественной близости, совпадения с ощущением внутреннего благополучия. Формы успокоения и связанные с ними люди становятся столь же привычными, как и беспокоящий кишечник. Первым социальным достижением младенца в то время оказывается его готовность без особой тревоги или гнева переносить исчезновение матери из поля зрения, поскольку она стала для него и внутренней уверенностью и внешней предсказуемостью. Такая согласованность, непрерывность и тождественность личного опыта обеспечивает зачаточное чувство эго-идентичности, зависящее, я полагаю, от «понимания» того, что существует внутренняя популяция вспоминаемых ощущений и образов, которые прочно увязаны с внешней популяцией знакомых и предсказуемых вещей и людей.

То, что мы здесь называем словом *trust (доверие),* соответствует тому, что Тереза Бенедек обозначила словом *confidence*. [Trust - доверие, вера (как в выражениях «доверять кому-либо», «верить кому-либо», «полагаться на кого-либо»); надежда; ответственность, обязательство. *Confidence* - доверие (как в выражениях «пользоваться чьим-либо доверием», «доверять кому-либо свои тайны»); уверенность в ком-чем либо, в том числе, и в себе. Там, где слово «trust» у Эриксона является фактически термином, в качестве русского эквивалента используется слово «доверие». - *Прим. пер.*] Если я предпочитаю слово «trust», то именно потому, что в нем заключено больше наивности и взаимности: про младенца можно сказать, что «он доверяет(ся)» (to be trusting) в тех случаях, когда было бы слишком сказать, что «он обладает уверенностью (твердо верит)» (has confidence). Кроме того, общее состояние доверия предполагает не только то, что малыш научился полагаться на тождественность и непрерывность внешних кормильцев, но и то, что он может доверять себе и способности собственных органов справляться с настойчивыми побуждениями и, потому вправе считать себя настолько надежным, что этим кормильцам не потребуется быть настороже, чтобы их не укусили.

Постоянное опробование и испытание взаимоотношений между внутренним и внешним доходит до решающей проверки во время приступов ярости на стадии кусания, когда режущиеся зубы причиняют боль изнутри и когда доброжелатели извне оказываются бесполезными, либо увертываются от единственного сулящего облегчение действия: кусания. Маловероятно, чтобы само по себе прорезывание зубов служило причиной тех ужасных последствий, которые ему иногда приписывают. Как уже было обрисовано в общих чертах, в это время младенца неудержимо влечет больше «поймать», но он, вероятно, обнаруживает, что самое желанное - сосок и грудь, внимание и забота матери - уклоняется от него. Прорезывание зубов, по-видимому, имеет прототипическое значение и вполне может быть моделью для мазохистской склонности обеспечивать себе мучительное успокоение, наслаждаясь собственной болью всякий раз, когда не удается предотвратить важную потерю.

В психопатологии отсутствие базисного доверия может быть лучше всего изучено на материале детской шизофрении, хотя пожизненная основная слабость такого доверия видна и у взрослых личностей, для которых уход в шизоидное и депрессивное состояние является привычным. Было установлено, что восстановление состояния доверия составляет основное требование к терапии в этих случаях. Ибо независимо от того, какие условия послужили возможной причиной психотического расстройства, за эксцентричностью и уходом в поведении многих серьезно больных индивидуумов скрывается попытка добиться социальной взаимности, испытывая границы между сознанием и физической реальностью, между словами и социальными значениями.

Психоанализ допускает ранний процесс дифференциации между внутренним и внешним, дающий начало проекции и интроекции, которые остаются одними из самых глубинных и наиболее опасных механизмов защиты. При интроекции мы чувствуем и действуем так, как если бы внешняя добродетель стала внутренней уверенностью. При проекции мы переживаем внутренний грех как внешнее зло, то есть наделяем значимых людей теми пороками, которые на самом деле принадлежат нам. В таком случае можно предположить, что эти два механизма - проекция и интроекция - создаются по образу и подобию того, что происходит у младенцев, когда им хотелось бы экстернализовать

страдание и интернализовать удовольствие - намерение, которое со временем должно уступить свидетельству созревающих (органов) чувств и, в конечном счете, доводам рассудка. Эти механизмы обыкновенно восстанавливаются в правах среди взрослых в периоды острых кризисов любви, доверия и веры и могут служить отличительным признаком отношения к соперникам и врагам у большей части «зрелых» индивидуумов.

Решительное введение прочных образцов разрешения нуклеарного конфликта «базисное доверие *против* базисного недоверия» в самое существование есть первая задача эго и, следовательно, прежде всего задача материнского ухода за ребенком. Однако скажем сразу, что, по-видимому, степень доверия, вынесенного из самого раннего младенческого опыта, зависит не от абсолютного количества пищи или проявлений любви к малышу, а скорее от качества материнских отношений с ребенком. Матери вызывают чувство доверия у своих детей такого рода исполнением своих обязанностей, которое сочетает в себе чуткую заботу об индивидуальных потребностях малыша с непоколебимым чувством верности в пределах полномочий, вверенных им свойственным данной культуре образом жизни. Возникающее у ребенка чувство доверия образует базис чувства идентичности, которое позднее объединяет в себе три чувства: во-первых, что у него «все в порядке», во-вторых, что он является самим собой и, в-третьих, что он становится тем, кого другие люди надеются в нем увидеть. Поэтому, в известных границах, заранее определенных как «должное» в уходе за ребенком, ни на этой, ни на последующих стадиях почти не существует фрустраций, которые растущий ребенок не может вынести, если фрустрация ведет к вечно обновляемому опыту переживания большей тождественности и непрерывности развития, к конечной интеграции индивидуального жизненного цикла с расширяющейся принадлежностью к значимым социальным группам и контекстам. Родители должны не только управлять поведением ребенка посредством запрещения и разрешения, но также уметь передать ему глубокое, почти органическое убеждение, будто в том, что они делают, есть определенное значение. В конечном счете, дети становятся невротиками не из-за фрустраций как таковых, а из-за отсутствия или утраты социального значения в этих фрустрациях.

Но даже при самых благоприятных обстоятельствах эта стадия, по-видимому, вносит в психическую жизнь ощущение внутреннего раскола и всеобщей тоски по утраченному раю (и становится прототипической для этих чувств). Именно такой могучей комбинации чувств лишенности, разделенности и покинутости на всем протяжении жизни и должно противостоять базисное доверие.

Каждая последующая стадия и соответствующий ей кризис определенным образом соотносятся с одним из базисных элементов общества, по той простой причине, что цикл человеческой жизни и институты человека эволюционировали вместе. В этой главе, после описания каждой стадии, мы можем лишь упомянуть о том, какой базисный элемент социальной организации с ней связан. Такая связь всегда носит двусторонний характер: человек привносит в эти институты остатки детской ментальности и юношеского пыла, а от них (пока они умудряются поддерживать собственную актуальность) получает подкрепление своих детских приобретений.

Родительская вера, которая поддерживает появляющееся у новорожденного базисное доверие, на всем протяжении истории искала свою институциональную охрану (и, случалось, находила своего сильнейшего врага) в организованной религии. Доверие, рожденное заботой, является по сути пробным камнем *действительности* данной религии. Всем религиям свойственны следующие черты: периодическая, по-детски непосредственная капитуляция перед Поставщиком (Кормильцем) или поставщиками, которые раздают как земное богатство и удачу, так и духовное здоровье; демонстрация ничтожности человека с помощью покорной позы и смиренных жестов и мимики; признание в молитве и пении проступков, пагубных мыслей и дурных намерений; пламенный призыв к внутреннему объединению (unification) под божественным водительством и, наконец, постижение того, что личное доверие должно стать общей верой, а личное недоверие - выраженным в виде общей формулы грехом, тогда как восстановление и укрепление индивидуума должно стать частью ритуальной практики многих, а также знаком доверительной атмосферы в данном конкретном обществе. [Это и составляет коммунальную и психологическую сторону религии. Ее часто парадоксальное отношение к духовности отдельного человека представляет собой вопрос, который невозможно обсудить кратко и мимоходом (см. *Young Man Luther*). - *Э. Г. Э.*] Ранее мы проиллюстрировали, как племена, имеющие дело с одним сегментом природы, развивают коллективную магию, которая, по-видимому, так «ведет переговоры» со сверхъестественными Поставщиками пищи и удачи, как если бы они были разгневаны и их необходимо было умилостивить молитвой и самоистязанием. Первобытные религии, самый первозданный пласт во всех религиях и религиозный пласт в каждом индивидууме, изобилуют попытками искупления, которые призваны компенсировать смутные прегрешения против «материнского рая» (maternal matrix) и

восстановить веру в добродетельность сил вселенной.

Каждое общество и каждое поколение должно находить институционализированную форму почитания, которая получает жизнеспособность из его образа мира - от предопределения до индетерминизма. Клиницисту остается лишь наблюдать, что гордятся существованием без религии как раз те, чьи дети не в состоянии жить без нее. С другой стороны, много таких, кто, по-видимому, черпает жизненную веру в общественной деятельности или научных занятиях. Опять-таки, немало и тех, кто открыто исповедует веру, но фактически каждым вздохом выражает недоверие и к жизни, и к людям.

2. Автономия против стыда и сомнения

При описании возрастного развития и кризисов человеческой личности как последовательности альтернативных базисных аттитюдов (таких как «доверие против недоверия») мы прибегаем к помощи термина «чувство» (sense of), хотя подобно «чувству здоровья» или «чувству нездоровья» такие «чувства» пронизывают нас от поверхности до самых глубин, наполняют собой сознание и бессознательное. В таком случае, они одновременно выступают и способами *переживания опыта* (experiencing), доступными интроспекции, и способами *поведения*, доступными наблюдению других, и бессознательными *внутренними состояниями*, выявляемыми посредством тестов и психоанализа. В дальнейшем важно иметь в виду все эти три измерения «чувства».

Мышечное созревание предоставляет арену для экспериментирования с двумя симультанными наборами социальных модальностей: удерживанием и отпусканием. Как это бывает со всеми социальными модальностями, их основные конфликты могут в конечном счете привести либо к враждебным, либо к доброжелательным экспектациям и аттитюдам. Поэтому удерживание может стать деструктивным и жестоким задержанием или ограничением, а может принять характер заботы: иметь и сохранять. Отпускание тоже может превратиться во враждебное высвобождение разрушительных сил или стать расслабленным «а-а...» и «пусть себе».

Следовательно, внешний контроль на этой стадии должен быть твердо убеждающим ребенка в собственных силах и возможностях. Малыш должен почувствовать, что базисному доверию к жизни - единственному сокровищу, спасенному от вспышек ярости оральной стадии, ничто не угрожает со стороны такого резкого поворота на его жизненном пути: внезапного страстного желания иметь выбор, требовательно присваивать и упорно элиминировать. Твердость внешней поддержки должна защищать ребенка против потенциальной анархии его еще необученного чувства различения, его неспособности удерживать и отпускать с разбором. Когда окружение поощряет малыша «стоять на своих ногах», оно должно оберегать его от бессмысленного и случайного опыта переживания стыда и преждевременного сомнения.

Последняя опасность известна нам более всех других. Ибо при отказе в постепенном и умело направляемом опыте полной автономии выбора (или же, при ослабленности первоначальной утратой доверия) ребенок обратит против себя всю свою тягу различать и воздействовать. Он будет сверх всякой меры воздействовать на самого себя и разовьет не по годам требовательную совесть. Вместо овладения предметами в ходе их исследования путем целенаправленного повторения (удерживания и отпускания - *прим. пер.*) он окажется преследуемым своей собственной тягой к повторению. Конечно, благодаря такой обсессивности ребенок позже заново выучивается владеть окружающей средой и добиваться влияния посредством упорного и мельчайшего контроля там, где он не мог добиться крупномасштабного совместного регулирования. Эта ложная победа является инфантильной моделью для компульсивного невроза. Кроме того, она служит инфантильным источником позднейших попыток во взрослой жизни руководствоваться скорее буквой, нежели духом «закона». Стыд - эмоция недостаточно изученная, поскольку в нашей цивилизации чувство стыда довольно рано и легко поглощается чувством вины. Стыд предполагает, что некто выставлен на «всеобщее обозрение» и сознает, что на него смотрят: одним словом, ему неловко. Некто видим, но не готов быть видимым; вот почему мы воображаем стыд как ситуацию, в которой на нас пялят глаза, когда мы неполностью одеты, в ночной рубашке, «со спущенными штанами». Стыд рано выражается в стремлении спрятать лицо или в желании тут же «провалиться сквозь землю». Но, по-моему, это есть не что иное, как обращенный на себя гнев. Тот, кому стыдно, хотел бы заставить мир не смотреть на него, не замечать его «наготы». Ему хотелось бы уничтожить «глаза мира». Вместо этого он вынужден желать собственной невидимости. Эта потенциальность широко используется в воспитательном методе «пристыживания» (высмеивания), применяемом исключительно «примитивными» народами. Зрительный стыд предшествует слуховой вине - чувству собственной никудышности, испытываемому человеком, когда на него никто не смотрит

и все вокруг спокойно, - за исключением голоса супер-эго. Такое пристыживание эксплуатирует усиливающееся чувство собственной ничтожности, которое может развиться только когда ребенок встает на ноги и когда его способность сознавать позволяет ему замечать относительные масштабы величин и сил.

Чрезмерное пристыживание приводит не к истинной правильности поведения, а к скрытой решимости попытаться выкрутиться из положения, незаметно ускользнуть, если, конечно, эта чрезмерность не кончается вызывающим бесстыдством. Есть одна впечатляющая американская баллада, повествующая о том, как убийца, которого собирались вздернуть на виселице перед всей общиной, вместо того чтобы переживать заслуженное возмездие, начинает поносить зрителей, завершая каждый залп дерзости словами: «Будь прокляты ваши глаза!» Многие маленькие дети, пристыженные сверх меры, могут оказаться хронически предрасположенными (хотя им и не достает ни должной смелости, ни подобных слов) бросать вызов сходным образом. Под этим зловещим намеком я имею в виду лишь то, что существует предел выносливости ребенка (как и взрослого) в отношении требований считать себя, свое тело и свои желания дурными и грязными, равно как и предел веры в непогрешимость тех, кто высказывает на его счет такие суждения. Ребенок может легко переменить взгляд на сложившееся положение и считать злом лишь то, что оно существует: удача придет к нему, когда неблагоприятные обстоятельства исчезнут или когда он уйдет от них.

Сомнение стоит в одном ряду со стыдом. Там, где стыд находится в зависимости от сознания собственной ответственности и раскрытости перед другими, сомнение, как заставляют меня считать клинические наблюдения, имеет прямое отношение к сознанию своего фронта и тыла - и особенно «зада». Ибо эту обратную сторону тела, с ее агрессивным и либидинальным фокусом в сфинктерах и ягодицах, самому ребенку не дано даже видеть, тогда как другие вполне могут навязывать ей свою волю. «Зад» - это неизведанный континент маленького человека, область тела, где могут магически властвовать и куда могут «с боем» вторгаться те, кто обычно стремится уменьшить право малыша на автономию и кто упорно хочет изобразить «гадкими» те продукты кишечника, которые считались бы вполне удовлетворительными, если бы не доставляли хлопот. Это базисное чувство сомнения во всем, что человек оставил сзади, составляет субстрат более поздних и более вербализованных форм компульсивного недоверия; оно находит свое взрослое выражение в паранойяльных страхах скрытых преследователей и тайных преследований, угрожающих откуда-то сзади (и изнутри «зада»).

Поэтому исход этой стадии решающим образом зависит от соотношения любви и ненависти, сотрудничества и своеволия, свободы самовыражения и ее подавления. Из чувства самоконтроля, как свободы распоряжаться собой без утраты самоуважения, берет начало прочное чувство доброжелательности, готовности к действию и гордости своими достижениями; из ощущения утраты свободы распоряжаться собой и ощущения чужого сверхконтроля происходит устойчивая склонность к сомнению и стыду.

Если кому-то из читателей «негативные» потенции наших стадий кажутся во всех отношениях преувеличенными, мы должны напомнить ему, что это не только итог работы с клиническими данными. Взрослые, с виду зрелые и отнюдь не невротичные люди, выказывают чувствительность к возможной позорной «потере лица» и страшатся нападения «сзади», что не только весьма неразумно и находится в противоречии с доступной им информацией, но может иметь роковое значение, если соответствующие настроения могут влиять, к примеру, на национальную и международную политику.

Мы определили соотношение между базисным доверием и институтом религии. Постоянная потребность индивидуума в том, чтобы его воля переподтверждалась и определялась в размерах внутри взрослого порядка вещей, который в то же самое время переподтверждает и устанавливает размеры воли других, имеет институциональную гарантию в *принципе правопорядка*. В повседневной жизни, так же как в высоких судебных инстанциях - государственных и международных, - этот принцип определяет каждому его привилегии и ограничения, обязанности и права. Чувство справедливого достоинства и законной самостоятельности у окружающих его взрослых дают готовому к самодеятельности ребенку твердую надежду в том, что поощряемый в детстве вид автономии не приведет к излишнему сомнению или стыду в более позднем возрасте. Таким образом, чувство автономии, воспитываемое у малыша и видоизменяемое с ходом жизни, служит сохранению в экономической и политической жизни чувства справедливости, равно как и само поддерживается последним.

3. Инициатива против чувства вины

В каждом ребенке на каждой стадии развития совершается чудо мощного развертывания всякий раз нового качества, которое дает новую надежду и устанавливает новую ответственность для всех. Таким новым качеством, существующим как в форме чувства, так и в форме широко распространенной особенности поведения, является инициатива. Критерии для распознавания всех этих новых чувств и качеств одни и те же: кризис, в той или иной степени подавлявший активность ребенка его неумелыми действиями и страхом, разрешается в том смысле, что кажется, будто ребенок сразу «повзрослел и душой, и телом». Теперь он выглядит «в большей степени самим собой», кажется более любящим, ненапряженным и живым в суждениях, более активным и активизирующим. Он свободен распоряжаться излишками энергии, что позволяет ему быстро забывать неудачи и приближаться к желаемому (даже если оно кажется сомнительным и, более того, опасным) неунизительным и более точным путем. Инициатива добавляет к автономии предприимчивость, планирование и стремление «атаковать» задачу ради того, чтобы быть активным, находиться в движении, тогда как раньше своеволие почти всегда подталкивало ребенка к открытому неповиновению или, во всяком случае, к вызывавшей протест независимости.

Я знаю, что само слово «инициатива» для многих имеет американский и предпринимательский оттенок. И все-таки, инициатива - это необходимая часть всякого дела; человеку необходимо чувство инициативы независимо от того, что он делает и чему учится - от собирания плодов до системы свободного предпринимательства.

Ходячая стадия и стадия инфантильной генитальности добавляют к инвентарю основных социальных модальностей модальность «делания» («making»), преимущественно в смысле «быть занятым чем-то исключительно в корыстных (личных) целях». [Эриксон употребляет здесь двусмысленное выражение «being on the make» (1. развиваться, делать карьеру; 2. искать и добиваться сексуальной близости), чтобы подчеркнуть связь инициативы с локомоторной и фаллической стадиями развития. - *Прим. пер.*] Нет более простого и более сильного слова для обозначения этой модальности, чем «make»; оно предполагает получение удовольствия от того, что человек что-то предпринимает (или что-то / кого-то атакует) и достигает цели (побеждает). У мальчиков акцент сохраняется на фаллически-интрузивных модусах; у девочек акцент переносится на модусы «захватывания» («catching»), проявляющиеся в более агрессивных формах как «вырывание» («похищение») или, в смягченной форме, как придание себе привлекательности и внушение любви к себе. Опасность этой стадии заключается в возникновении чувства вины за предполагаемые цели и инициируемые поступки в ходе буйного наслаждения ребенка новым локомоторным и ментальным могуществом, актами агрессивного обращения и принуждения, которые быстро выходят далеко за исполнительные возможности детского организма и ума и, следовательно, требуют энергичного обуздания намеренной инициативы ребенка. В то время как автономия сосредоточивает ребенка на том, чтобы держать в стороне потенциальных соперников, и поэтому может приводить к вспышкам ревнивого гнева, чаще всего направленного против вторжения младших братьев и сестер, инициатива несет с собой предвкушаемое соперничество с теми, кто оказался первым и, следовательно, может благодаря превосходящему оснащению занять то поле деятельности, на которое направляется инициатива данного ребенка. Детская ревность и соперничество, то есть те озлобленные, хотя по существу тщетные попытки разграничить сферу неоспариваемого преимущества, теперь достигают кульминации в финальном состязании за привилегированное положение с матерью; обычное в этом случае поражение ведет к покорности, чувству вины и тревоги. Ребенок позволяет себе удовольствие быть в фантазиях великаном и тигром, но в сновидениях он в ужасе бежит изо всех сил. В таком случае это - стадия «комплекса кастрации», усилившегося страха обнаружить поврежденными свои половые органы (сейчас уже сильно эротизированные) вследствие наказания за фантазии, связываемые с их возбуждением.

Инфантильная сексуальность и табу инцеста, комплекс кастрации и супер-эго - все соединяется здесь, чтобы вызвать тот специфически человеческий кризис, в течение которого ребенок должен повернуть от особой, прегенитальной привязанности к родителям на путь медленного превращения в родителя, носителя традиции. Именно здесь происходит самое важное по последствиям разъединение и трансформация в эмоциональном энергоблоке, разделение между потенциальным триумфом человека и потенциальным тотальным разрушением. И именно здесь ребенок навсегда становится разделившимся внутри себя. Фрагменты инстинкта, которые до этого кризиса усиливали рост его детского тела и разума, теперь оказываются разделенными на детский набор, навсегда сохраняющий изобилие потенциалов роста, и родительский набор, поддерживающий и усиливающий самоконтроль, самоуправление и самонаказание.

Снова совместное регулирование оказывается важной задачей. Там, где ребенок, сейчас столь

охочий до строгого управления собой, может постепенно развивать чувство моральной ответственности, там, где он может получить некоторое представление об институтах, функциях и ролях, которые будут благоприятствовать его ответственному участию, - он будет добиваться приятных достижений во владении орудиями и оружием, в умелом обращении со значимыми игрушками и в уходе за младшими детьми.

Конечно, родительский набор является сначала детским по природе: то, что на протяжении всей жизни человека его совесть остается частично детской, составляет самую суть человеческой трагедии. Ибо супер-эго ребенка способно быть грубым, безжалостным и непреклонным, как можно заметить в случаях, когда дети чрезмерно контролируют себя и сжимают свое «Я» до точки самоуничтожения; когда они развивают сверхпослушание, более педантичное, чем то, которого хотели добиться родители; или когда они развивают глубокие регрессии и стойкие обиды, так как сами родители, оказывается, не живут по этой новой совести. Один из глубочайших конфликтов в человеческой жизни - ненависть к тому из родителей, кто служил образцом и исполнителем воли супер-эго, но сам, как выяснилось, пытается выйти сухим из воды в случае тех же прегрешений, которые ребенок больше не мог терпеть у себя. Подозрительность и способность изворачиваться, образуя смесь с таким качеством супер-эго как «все или ничего» (характерным для этого рупора моральной традиции), делает человека морального (в смысле морализирующего) большой потенциальной опасностью для его собственного эго, да и для эго всех его собратьев.

Во взрослой патологии резидуальный конфликт, порожденный чрезмерной инициативой, выражается либо в истерическом отрицании, которое вызывает регрессию желания или аннулирование его исполнительного органа посредством паралича, торможения или импотенции; либо в сверхкомпенсаторной рисовке, когда испуганный индивидуум так страстно желает «увернуться», что вместо этого «высовывается». Погружение в психосоматическую болезнь также становится теперь обычным делом: как если бы культура вынудила человека неуемно рекламировать себя и настолько идентифицироваться со своей собственной рекламой, что только болезнь может принести ему спасение.

И здесь мы снова должны считаться не только с индивидуальной психопатологией, но и с той внутренней энергоустановкой гнева, которая должна быть «затоплена» на этой стадии, так же как подавляются и сдерживаются излишне оптимистичные надежды и дикие фантазии. Результирующая уверенность в своей правоте - часто главная награда за добропорядочность - позднее может быть обращена против других в виде постоянного и совершенно нетерпимого поучающего надзора, так что доминирующим стремлением человека становится запрещение, а не направление инициативы. С другой стороны, даже у нравственного человека инициатива склонна прорывать границы самоограничения, позволяя ему на своей или чужой территории делать другим то, что он никогда бы не сделал или не потерпел бы по отношению к самому себе.

В виду опасных потенций долгого детства человека было бы разумно не забывать об общем плане этапов человеческой жизни и возможностях руководства «племенем младым», пока оно еще действительно младое. И здесь мы видим, что в соответствии с мудростью базального плана ребенок никогда так не склонен учиться быстро и жадно, стремительно взрослеть в смысле разделения обязанностей и дел, как на этой стадии своего развития. Он хочет и может заниматься совместными делами, объединяться с другими детьми для придумывания и планирования таких дел, и он стремится извлекать пользу из своих учителей и подражать идеальным прототипам. Конечно, он остается идентифицированным с родителем своего пола, но теперь уже ищет благоприятные для себя возможности там, где идентификация с делом, вероятно, сулит простор для инициативы без слишком сильного детского конфликта или эдиповой вины и оказывается более реалистической, основанной на духе равенства, постигаемого на личном опыте совместной деятельности. Во всяком случае, «эдипова» стадия имеет результатом не только введение деспотического правления морального чувства, ограничивающего горизонты дозволенного; она также задает направление движения к возможному и реальному, которое позволяет мечты раннего детства связать с целями активной взрослой жизни. Поэтому социальные институты предлагают детям этого возраста экономический этос в образе идеальных взрослых, узнаваемых по своей особой одежде и функциям и достаточно привлекательных, чтобы заменить собой героев книжек с картинками и волшебных сказок.

4. Трудолюбие против чувства неполноценности

Таким образом, могло показаться, что внутренне ребенок целиком подготовлен для «вступления в жизнь», если бы не одно обстоятельство: жизнь сперва должна быть школьной жизнью, независимо от

того, происходит ли обучение в поле, джунглях или классе. Ребенку приходится забывать былые надежды и желания по мере того, как его буйное воображение приучается и укрощается законами объективного мира - даже пресловутыми чтением, письмом и арифметикой. Ибо до того, как ребенок, в психологическом отношении уже готовый к элементарной роли родителя, способен стать биологическим родителем, он должен побыть в роли работника и потенциального кормильца. С наступлением латентного периода нормально развитый ребенок забывает или, вернее, сублимирует настоятельную потребность «делать» людей путем открытого нападения или спешно стать «папой» и «мамой»: теперь он учится завоевывать признание, занимаясь полезным и нужным делом. Он овладел сферой ходьбы и модусами органов; убедился на собственном опыте, что в лоне семьи нет осуществимого будущего, и поэтому охотно соглашается приложить себя к освоению трудовых навыков и решению задач, которые заходят гораздо дальше простого игрового выражения модусов органа или получения удовольствия от функционирования конечностей. У него развивается усердие, трудолюбие, - то есть он приспосабливается к неорганическим законам орудийного мира. Он способен стать крайне прилежной и абсорбированной единицей производительного труда. Довести производственную ситуацию до завершения - вот цель, которая постепенно вытесняет прихоти и желания игры. Эго ребенка включает в свои границы его рабочие инструменты и навыки: принцип работы (Ives Hendrick) приучает его получать удовольствие от завершения работы благодаря устойчивому вниманию и упорному старанию. Во всех культурах дети на этой стадии получают *систематическое обучение,* хотя, как мы видели в главе об американских индейцах, оно отнюдь не всегда существует в виде привычного школьного обучения, которое владеющие грамотой люди должны организовывать вокруг специальных учителей, уже обученных тому, как учить грамоте. У дописьменных народов и в не требующих грамотности занятиях многое узнается от взрослых, которые становятся учителями благодаря особому дару и склонностям, а не по назначению, и, возможно, еще больше перенимается от старших детей. Таким образом *основы технологии* распространяются по мере того, как ребенок оказывается готов к обращению с домашней утварью, рабочим инструментом и оружием, используемым взрослыми. У образованных народов, отличающихся большей специализацией профессий, возникает необходимость подготовки ребенка путем обучения тем предметам, которые прежде всего делают его грамотным и обеспечивают, по возможности, самое широкое базовое образование для наибольшего числа возможных профессий. Однако чем более запутанной становится профессиональная специализация, тем более неясными оказываются конечные цели инициативы; а чем сложнее становится социальная действительность, тем более туманной оказывается роль отца и матери в ней. По-видимому, школа является совершенно обособленной, отдельной культурой со своими целями и границами, своими достижениями и разочарованиями.

Опасность, подстерегающая ребенка на этой стадии, состоит в чувстве неадекватности и неполноценности. Если он отчаивается в своих орудиях труда и рабочих навыках или занимаемом им положении среди товарищей по орудийной деятельности, то это может отбить у него охоту к идентификации с ними и определенным сегментом орудийного мира. Утрата надежды на членство в такой «промышленной» ассоциации может оттянуть его назад к более изолированному и менее инструментально-сознательному внутрисемейному соперничеству времен эдипова комплекса. Ребенок испытывает отчаяние от своего оснащения в мире орудий и в анатомии и считает себя обреченным на посредственность или неадекватность. Именно на этой стадии более широкое общество становится важным в отношении предоставления ребенку возможностей для понимания значимых ролей в технологии и экономике данного общества. Развитие многих детей нарушается, когда в семейной жизни не удалось подготовить ребенка к жизни школьной, или когда школьная жизнь не подтверждает надежды ранних стадий.

Касаясь периода развития трудолюбия, я указывал на *внешние и внутренние препятствия* в использовании новых возможностей ребенка и не упоминал об обострениях новых человеческих влечений (drives), равно как и о подавленных вспышках гнева, вызванного их фрустрацией. Эта стадия отличается от более ранних в том отношении, что здесь отсутствует естественный переход от внутреннего переворота к новому овладению ситуацией и мастерству. Фрейд называет ее латентной стадией, поскольку неистовые влечения в данное время обычно находятся в спячке. Но это лишь временное затишье перед бурей полового созревания, когда все более ранние влечения вновь появляются в новом сочетании, чтобы оказаться подчиненными генитальности.

С другой стороны, латентная стадия — это наиболее решающая в социальном отношении стадия: поскольку трудолюбие влечет за собой выполнение работы рядом и вместе с другими, здесь появляется и развивается осознание *технологического этоса культуры*. Ранее мы уже указывали на опасность,

угрожающую индивидууму и обществу в тех случаях, когда школьник начинает чувствовать, что цвет кожи, происхождение родителей или фасон его одежды, а не его желание и воля учиться будут определять его ценность как ученика, а значит и его чувство *идентичности*, которым мы непосредственно займемся в следующем разделе. Но существует и другая, более фундаментальная опасность - ограничение человеком самого себя и сужение своих горизонтов до границ поля своего труда, на который, как сказано в Библии, он был осужден после изгнания из рая. Если он признает работу своей единственной обязанностью, а профессию и должность - единственным критерием ценности человека, то может легко превратиться в конформиста и нерассуждающего раба техники и ее хозяев.

5. Идентичность против смешения ролей

С установлением добрых исходных отношений с миром навыков и инструментов и с наступлением пубертатного периода, детство в узком смысле слова подходит к концу. Начинается отрочество, а затем и юность. Но в отрочестве и ранней юности все тождества и непрерывности, на которые эго полагалось до этого, снова в той или иной степени подвергаются сомнению вследствие интенсивности физического роста, соизмеримого со скоростью роста тела ребенка в раннем возрасте, усугубляемой добавившимся половым созреванием. Растущих и развивающихся подростков, сталкивающихся с происходящей в них физиологической революцией и с необходимостью решать реальные взрослые задачи, прежде всего заботит то, как они выглядят в глазах других в сравнении с их собственными представлениями о себе, а также то, как связать роли и навыки, развитые и ценимые ранее, с профессиональными прототипами дня сегодняшнего. В поисках нового чувства тождественности и преемственности молодым людям приходится вновь вести многие из сражений прошлых лет, даже если для этого им требуется назначать вполне приличных людей на роли своих противников. И они всегда готовы к официальному признанию прочных идолов и идеалов в качестве стражей финальной идентичности.

Интеграция, теперь уже имеющая место в форме эго-идентичности, есть нечто большее, чем сумма детских идентификаций. Она представляет собой накопленный опыт способности эго интегрировать все идентификации со злоключениями либидо, со способностями, развившимися из задатков, и с возможностями, предлагаемыми социальными ролями. В таком случае чувство идентичности эго есть накопленная уверенность в том, что внутренняя тождественность и непрерывность, подготовленная прошлым индивидуума, сочетается с тождественностью и непрерывностью значения индивидуума для других, выявляемого в реальной перспективе «карьеры».

Опасность этой стадии заключается в смешении ролей. [См. «The Problem of Ego-Identity», *J. Amer. Psa. Assoc.*, 4:56-121.] Там, где в его основе лежит сильное предшествующее сомнение в собственной половой идентичности, не редки делинквентные и психотические эпизоды. Если ставится точный диагноз и применяется адекватное лечение, эти случаи не имеют того фатального значения, которое они получают в другие периоды жизни. Однако в большинстве случаев жизнь отдельных молодых людей нарушает неспособность установить именно профессиональную идентичность. Чтобы сохранить себя от распада, они временно сверхидентифицируются (до внешне полной утраты идентичности) с героями клик и компаний. Это кладет начало периоду «влюбленности», никоим образом, даже первоначально, не имеющей сексуальной подоплеки, за исключением тех случаев, когда нравы требуют сексуальных отношений. В значительной степени юношеская любовь - это попытка добиться четкого определения собственной идентичности, проецируя расплывчатый образ собственного эго на другого и наблюдая его уже отраженным и постепенно проясняющимся. Вот почему так много в юношеской любви разговоров.

Кроме того, молодые люди могут становиться в высшей степени обособленными в своем кругу и грубо отвергать всех «чужаков», отличающихся от них цветом кожи, происхождением и уровнем культуры, вкусами и дарованиями, а часто - забавными особенностями одежды, макияжа и жестов, временно выбранных в качестве опознавательных знаков «своих». Важно понимать (что не означает мириться или разделять) такую интолерантность как защиту против «помрачения» сознания идентичности. Ибо подростки, формируя клики и стереотипизируя себя, свои идеалы и своих врагов, не только помогают друг другу временно справляться с тяжелым положением, в которое они попали, но к тому же извращенно испытывают способность друг друга хранить верность. Готовность к такому испытанию объясняет также и ту привлекательность, которую простые и жестокие тоталитарные доктрины имеют для умов молодежи тех стран и социальных классов, где она утратила или утрачивает

свою групповую идентичность (феодальную, аграрную, родовую, национальную) и сталкивается с глобальной индустриализацией, эмансипацией и расширяющейся коммуникацией.

Подростковый ум есть по существу ум моратория [Иначе говоря, отсрочки. - *Прим. пер.*] - психологической стадии между детством и взрослостью, между моралью, уже усвоенной ребенком, и этикой, которую еще предстоит развить взрослому. Это - идеологический ум, и действительно, именно идеологическая перспектива общества откровенно обращается к тем молодым людям, что полны желания быть утвержденными сверстниками в роли «своих» и готовы пройти процедуру ратификации, участвуя в ритуалах и принимая символы веры и программы, которые в то же время определяют, что считать злым (порочным), сверхъестественным и враждебным. В поисках социальных ценностей, служащих основанием идентичности, они, следовательно, сталкиваются лицом к лицу с проблемами *идеологии и аристократии* в их самом широком смысле, состоящем в том, что в пределах определенного образа мира и предопределенного хода истории к власти всегда приходят лучшие люди, а сама эта власть развивает в людях самое лучшее. Чтобы не впасть в цинизм или в апатию, молодые люди должны уметь каким-то образом убедить себя в том, что те, кто преуспевает в ожидающем их взрослом мире, берут тем самым на себя обязательство быть лучшими из лучших. Позднее мы обсудим опасности, которые проистекают из человеческих идеалов, используемых для управления гигантскими партиями и организациями, причем безразлично, руководствуются ли они при этом националистическими или интернационалистическими идеологиями. В последней части этой книги мы обсудим способ, каким современные революции пытаются разрешить и, кроме того, использовать в своих целях глубокую потребность молодежи в переопределении своей идентичности в индустриализованном мире.

6. Близость против изоляции

Позитивное качество, приобретаемое на любой стадии, испытывается необходимостью превзойти его таким образом, чтобы на следующей стадии индивидуум мог рискнуть тем, что на предыдущей было для него особо оберегаемой драгоценностью. Поэтому новоиспеченный взрослый, появившийся в результате поисков и упорного отстаивания собственной идентичности, полон желания и готов слить свою идентичность с идентичностью других. Он готов к близости или, по-другому, способен связывать себя именованными отношениями интимного и товарищеского уровня и проявлять нравственную силу, оставаясь верным таким отношениям, даже если они могут потребовать значительных жертв и компромиссов. Тело и эго должны теперь быть хозяевами модусов органа и справляться с нуклеарными конфликтами для того, чтобы не дрогнуть перед страхом утраты эго в ситуациях, требующих отказа от себя, как например при полной групповой солидарности, брачных союзах и физическом единоборстве, при испытании влияния со стороны наставников и прорыве в сознание потаенных мыслей и чувств. Избегание такого личного опыта из-за страха утратить эго может привести к глубокому чувству изоляции и последующему самопоглощению.

Противная сторона близости есть дистанцирование: готовность изолировать, а если необходимо - уничтожить те силы и тех людей, чье существование выглядит опасным для нас самих и чья «территория», кажется, захватывает пространство наших близких отношений. Развиваемые таким образом предрассудки (находящие применение и поддержку в политике и войнах) - просто более зрелые отростки на древе того слепого неприятия, которое во времена борьбы за идентичность резко и безжалостно разграничивает «свое» и «чужое». Опасность этой стадии заключается в том, что интимные, соперничающие и враждебные отношения человек испытывает к тем же самым людям. Но по мере того, как очерчиваются зоны взрослых обязанностей и когда схватка соперников отделяется от сексуального объятия, они со временем становятся подвластными тому *этическому чувству*, которое служит отличительным признаком взрослого человека.

Строго говоря, только теперь и может полностью проявиться *истинная генитальность*; ибо значительная часть половой жизни, предшествовавшей этим обязательствам, относится к активности, нацеленной на поиск идентичности, либо находится во власти фаллических или вагинальных борений (strivings), которые делают половую жизнь своего рода битвой гениталий. С другой стороны, генитальность все еще слишком часто изображают как перманентное состояние взаимного сексуального блаженства. В таком случае, именно на этом и можно было бы закончить наше обсуждение генитальности.

Чтобы задать основную ориентацию в данном вопросе, я приведу самое краткое, насколько мне известно, высказывание Фрейда. Очень часто утверждалось (а злая молва, по-видимому, поддерживает

это утверждение), что психоанализ как метод лечения пытается убедить пациента, будто перед Богом и людьми у него есть только одна обязанность: получать полноценные оргазмы с подходящим «объектом», и притом регулярно. Конечно, это неправда. Однажды Фрейда спросили, что, по его мнению, обычному человеку следовало бы уметь хорошо делать. Спрашивавший, вероятно, ожидал пространного ответа. Но, как утверждают, Фрейд в отрывисто-грубой стариковской манере сказал: «Любить и работать» («Lieben und arbeiten»). Краткость окупается возможностью размышлять над этой простой формулировкой: она обретает глубину по мере того, как мы думаем над ней. Ибо когда Фрейд говорил «любить», он, конечно, подразумевал *генитальную* любовь, но и генитальную *любовь* тоже; когда он говорил «любить и работать», он имел в виду общую плодотворность работы, которая не поглощала бы индивидуума до такой степени, когда он теряет свое право или способность быть генитальным и любящим существом. Так мы можем размышлять, но мы не в состоянии усовершенствовать формулировку «профессора».

Тогда, генитальность заключается в беспрепятственной возможности проявлять оргастическую потенцию, настолько освобожденную от прегенитальных помех, что генитальное либидо (а не половые продукты, спускаемые в «стоки» Кинзи [Альфред Кинзи (1894-1956) - американский биолог, автор пионерских исследований в области сексологии, отличавшихся сугубо биологическим подходом к проблемам половых отношений и преимущественно количественным анализом данных. - *Прим. пер.*]) выражается в гетеросексуальной взаимности с полной чувствительностью пениса и вагины и с судорогообразной разрядкой напряжения во всем теле. Это довольно конкретный способ сказать нечто о процессе, которого мы в действительности не понимаем.

Выражаясь более ситуационно: сам факт обретения - через нарастающий беспорядок оргазма - предельного опыта взаимного регулирования двух существ несколько ослабляет враждебность и потенциальный гнев, вызываемые противоположностью мужского и женского, действительности и фантазии, любви и ненависти. Таким образом, доставляющие удовлетворение сексуальные отношения делают секс менее обсессивным, гиперкомпенсацию менее необходимой, а садистические рычаги управления излишними.

Озабоченному, фактически, целебными аспектами, психоанализу никак не удавалось выразить сущность генитальности в виде «формулы», в известном смысле значимой для социальных процессов, затрагивающих все классы, народы и уровни культуры. Та обоюдность оргазма, которую имеет в виду психоанализ, по-видимому, легко достигается в социальных классах и культурах, волею судеб оказавшихся ее досужим воплощением. В более сложно организованных обществах этой обоюдности мешает такое множество факторов, имеющих отношение к благосостоянию, традициям, возможностям и темпераменту, что скорее подошла бы такая формула сексуального здоровья: человек должен быть потенциально способным достигать обоюдного генитального оргазма, но еще и быть так устроенным, чтобы переносить определенное количество фрустрации обоюдности без чрезмерной регрессии во всех тех случаях, где эмоциональное предпочтение или соображения долга и верности требуют этого.

Хотя психоанализ иногда заходил слишком далеко в своем подчеркивании генитальности как универсального лекарства для общества и тем самым подтолкнул к новой (пагубной) привычке и снабдил новым предметом потребления тех, кто хотел именно так интерпретировать его учение, он не всегда указывал все цели, которые генитальность, фактически, должна бы и, теоретически, обязана заключать в себе. Для того чтобы иметь прочное социальное значение, утопия генитальности должна включать:

1. обоюдность оргазма;
2. с любимым партнером;
3. другого пола;
4. с которым человек может и хочет разделить взаимную верность;
5. и с которым он может и охотно готов регулировать циклы:
    а) работы;
    б) произведения потомства;
    в) отдыха;
6. с тем, чтобы и потомству обеспечить все стадии удовлетворительного развития.

Очевидно, что такое утопическое достижение в больших масштабах не способно стать индивидуальной, да и терапевтической задачей тоже. Но нельзя считать генитальность и чисто сексуальной проблемой. Она есть интеграл присущих данной культуре нормативных способов подбора сексуальных партнеров, сотрудничества и соперничества.

Опасность этой стадии - изоляция, то есть избегание контактов, которые обязывают к близости.

В психопатологии это нарушение может приводить к тяжелым «проблемам характера». С другой стороны, существуют формы партнерства, равнозначные изоляции вдвоем (à deux), ограждающие обоих партнеров от необходимости напрямую столкнуться со следующим критическим событием - развитием генеративности.

7. Генеративность против стагнации

В этой книге акцент делается на стадиях детства, иначе раздел о генеративности по необходимости стал бы центральным, ибо это понятие охватывает эволюционное развитие, которое сделало человека обучающим и организующим, равно как и обучающимся животным. Модное упорство в преувеличении зависимости детей от взрослых часто закрывает от нас зависимость старшего поколения от младшего. Зрелый человек нуждается в том, чтобы быть нужным, а зрелость нуждается в стимуляции и ободрении со стороны тех, кого она произвела на свет и о ком должна заботиться.

Тогда генеративность - это прежде всего заинтересованность в устройстве жизни и наставлении нового поколения, хотя существуют отдельные лица, вследствие жизненных неудач или особой одаренности в других областях деятельности, не направляющие этот драйв на свое потомство. И действительно подразумевается, что понятие генеративности включает в себя такие более распространенные синонимы, как *продуктивность и креативность*, которые однако не могут заменить его.

Психоанализу потребовалось какое-то время, чтобы понять, что способность самозабвенно погружаться в игру тел и душ ведет к постепенному расширению интересов эго и к либидинальному вкладу в то, что при этом порождается. Поэтому генеративность - весьма важная стадия как психосексуального, так и психосоциального графика развития. В тех случаях, когда такого обогащения не удается достичь, имеет место регрессия к обсессивной потребности в псевдоблизости, часто с глубоким чувством застоя и обеднением личной жизни. Тогда эти люди начинают баловать себя, как если бы каждый из них был своим собственным и единственным ребенком; а там, где для этого есть благоприятные условия, ранняя инвалидность - физическая или психологическая - становится средством сосредоточения заботы на самом себе. Однако сам факт наличия детей или даже желания иметь их еще «не тянет» на генеративность. На деле некоторые молодые родители страдают, по-видимому, от задержки способности развивать эту стадию. Причины отставания часто можно обнаружить во впечатлениях раннего детства; в чрезмерном себялюбии, основанном на слишком напряженном самосозидании преуспевающей личности; и наконец (здесь мы снова возвращаемся к истокам) в недостатке веры, «доверия к роду человеческому», которое побуждало бы ребенка ощущать себя так, будто он желанная надежда и забота общества.

По поводу институтов, охраняющих и укрепляющих генеративность, можно лишь сказать, что все социальные институты кодифицируют этику производящей преемственности. Даже там, где философская и духовная традиция предполагает отречение от права производить потомство или продолжать свой род, такое раннее обращение к «вечным заботам», являющееся непременным атрибутом монашеских орденов, стремится одновременно решить вопрос о своей связи с заботой о тварях земных и с Милосердием, которое считается превосходящим генеративность.

Если бы это была книга о взрослости, было бы необходимо и весьма полезно сравнить здесь экономические и психологические теории (начиная с неожиданных конвергенций и дивергенций Маркса и Фрейда) и перейти к обсуждению отношения человека к продуктам своего труда и к своему потомству.

8. Целостность эго против отчаяния

Только в том, кто некоторым образом заботится о делах и людях и адаптировался к победам и поражениям, неизбежным на пути человека - продолжателя рода или производителя материальных и духовных ценностей, только в нем может постепенно вызревать плод всех этих семи стадий. Я не знаю лучшего слова для обозначения такого плода, чем целостность эго (ego integrity). [Поскольку, на наш взгляд, довольно трудно передать в одном слове (integrity) обыденного языка сущность столь сложного душевного состояния, укажем на близкие и полезные коннотации этого слова: честность, цельность и полнота. - *Прим. пер.*] Не располагая ясным определением, я укажу несколько составляющих этого душевного состояния. Это - накопленная уверенность эго в своем стремлении к порядку и смыслу. Это - постнарциссическая любовь человеческого эго - не себя(!) - как переживание опыта, который передает

некий мировой порядок и духовный смысл, независимо от того, как дорого за него заплачено. Это - принятие своего единственного и неповторимого цикла жизни как чего-то такого, чему суждено было произойти, и что, по необходимости, не допускало никаких замен; а это, в свою очередь, подразумевает новую, отличную от прежней любовь к своим родителям. Это - товарищеские отношения с образом жизни и иными занятиями прошлых лет в том виде, как они выражены в скромных результатах и простых словах былых времен и увлечений. Даже сознавая относительность всех тех различных стилей жизни, которые придавали смысл человеческим устремлениям, обладатель целостности эго готов защищать достоинство собственного стиля жизни против всех физических и экономических угроз. Ибо он знает, что отдельная жизнь есть лишь случайное совпадение одного единственного жизненного цикла с одним и только одним отрезком истории, и что для него вся человеческая целостность сохраняется или терпит крах вместе с тем единственным типом целостности, которым ему дано воспользоваться. Поэтому для отдельного человека тип целостности, развитый его культурой или цивилизацией, становится «вотчиной души», гарантией и знаком моральности его происхождения (как это выразил Calderón «... pero el honor / Es patrimonio del alma»). [Буквально: «... но честь / Есть вотчина души», или в прекрасном переводе К. Бальмонта: «Честь - место, где душа сияет». - Кальдерон. Драмы / Пер. К. Бальмонта. - В 2-х кн. - Кн. 2.-М.: Наука, 1989. - С. 227. - *Прим. пер.*]

При такой завершающей консолидации смерть теряет свою мучительность.

Отсутствие или утрата этой накопленной интеграции эго выражается в страхе смерти: единственный и неповторимый жизненный цикл не принимается как завершение жизни. Отчаяние выражает сознание того, что времени осталось мало, слишком мало, чтобы попытаться начать новую жизнь и испытать иные пути к целостности. Отвращение скрывает отчаяние, хотя и часто только в виде «массы мелких отвращений» («a thousand little disgusts»), которые так и не складываются в одно большое раскаяние: *«mille petits dégôuts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais un gêne obscure» (Rostand).* [«Тысяча мелких отвращений к себе, общий итог которых - не угрызение совести, а смутное беспокойство» (Э. Ростан) - *Прим. пер.*]

Чтобы стать зрелым взрослым, каждый индивидуум должен в достаточной степени развить у себя все вышеупомянутые качества эго, так что мудрый индеец, истинный джентльмен и коренной крестьянин разделяют и узнают друг у друга конечную стадию целостности. Но каждый культурный организм (entity), развивая свой особенный тип целостности, предполагаемый его историческим путем, использует особую комбинацию этих конфликтов наряду со специфическими стимуляциями и запрещениями инфантильной сексуальности. Инфантильные конфликты становятся созидательными только если получают непрерывную и твердую поддержку культурных институтов и определенных передовых классов, их представляющих. Для того чтобы приблизиться или испытать состояние целостности, индивидуум должен уметь следовать носителям имиджа в религии и политике, экономике и технологии, аристократической жизни, искусствах и науке. Следовательно, целостность эго предполагает эмоциональную интеграцию, которая благоприятствует соучастию как посредством следования лидерам, так и через принятие ответственности лидерства.

Словарь Вебстера поможет нам завершить этот очерк на манер замкнутого цикла. Доверие (первая из ценностей нашего эго) определяется в нем как «гарантированная уверенность в честности (integrity) другого», то есть как твердая уверенность в последней из наших ценностей. [Эриксон ссылается на издание словаря Вебстера, в котором доверие (trust) определяется как «the assured reliance on another's integrity». Вообще говоря, значительно чаще в различных толковых словарях встречается в смысловом отношении почти идентичное, но лексически более простое определение доверия: «firm belief in the honesty or worth of someone or something» (Словарь активного усвоения лексики английского языка» - М.: Рус. яз., 1988. - С. 650). Поэтому обоснование «замкнутости» жизненного цикла человека с помощью словарных определений кажется, на наш взгляд несколько искусственным, хотя сама идея «круга ценностей» чрезвычайно интересна и плодотворна. - *Прим. пер.*]

Я подозреваю, что Вебстер имел в виду бизнес, а не младенцев, и скорее хорошую репутацию (credit), чем веру (faith). Но сама формулировка остается в силе. И, по-видимому, можно развить парафраз отношений между целостностью (integrity) взрослого и младенческим доверием (trust), сказав, что здоровые дети не будут бояться жизни, если окружающие их старики обладают достаточной целостностью, чтобы не бояться смерти.

9. Эпигенетическая карта

В нашей книге особое значение придается стадиям детства. Однако упомянутая выше концепция

жизненного цикла еще ждет систематического анализа. Для его подготовки я закончу эту главу диаграммой. В ней, как и в диаграмме прегенитальных зон и модусов, главная диагональ представляет собой нормативную последовательность психосоциальных приобретений, совершаемых по мере того, как на каждой стадии еще один нуклеарный конфликт добавляет новое качество эго, новый критерий накопленной человеческой силы. Пространство ниже диагонали отводится для предшествующих вариантов разрешения каждого из этих нуклеарных конфликтов, и всякий раз они разрешаются с начала; выше диагонали отводится место для указания дериватов этих приобретений и их трансформаций в созревающей и зрелой личности.

В основе такого картирования лежат следующие предположения: 1) человеческая личность, в принципе, развивается по ступеням, предопределяемым готовностью растущего индивидуума проявлять стойкий интерес к расширяющейся социальной среде, познавать ее и взаимодействовать с ней; 2) общество, в принципе, стремится к такому устройству, когда оно соответствует такой готовности и поощряет эту непрерывную цепь потенциалов к взаимодействию, а также старается обеспечивать и стимулировать надлежащую скорость и последовательность их раскрытия. В этом и состоит «поддержание человеческого общества».

Однако карта - это лишь инструмент мышления и поэтому не может претендовать на роль предписания, требующего неукоснительного выполнения в практике воспитания и обучения ребенка, в психотерапии или же в методологии изучения детей. Представляя психосоциальные стадии в виде *эпигенетической карты*, аналогичной той, что использовалась во второй главе для анализа психосексуальных стадий по Фрейду, мы фиксируем в сознании определенные и разграниченные методологические шаги. Единственная цель этой работы - облегчить сравнение стадий, впервые распознанных Фрейдом как сексуальных, с другими графиками развития (физического, когнитивного). Но любая отдельная карта очерчивает границы только одного графика, и нашему наброску психосоциального графика вовсе не следует вменять в вину, что он намеренно содержит в себе туманные утверждения общего характера, касающиеся других сторон развития - или, если угодно, существования. Хотя эта карта, например, и перечисляет последовательную цепь конфликтов или кризисов, мы не сводим все развитие к цепи кризисов; мы лишь утверждаем, что психосоциальное развитие происходит посредством критических шагов - «критических» в смысле поворотных пунктов, моментов выбора между прогрессией и регрессией, интеграцией и задержкой.

В этом месте было бы полезно расшифровать методологические предпосылки эпигенетической матрицы. Выделенные квадраты главной диагонали одновременно означают и последовательность стадий, и постепенное развитие органических компонентов: иначе говоря, наша карта придает определенную форму временной прогрессии дифференциации органов. Она показывает, что, во-первых, каждый критический пункт психосоциального «штатного расписания» систематически связан со всеми остальными а они все, в свою очередь, зависят от правильного развития в правильной последовательности каждого такого пункта; и, во-вторых, каждый пункт существует в некоторой форме до того, как обычно наступает его критическое время.

Если я говорю, например, что преобладание базисного доверия над недоверием есть первый шаг в психосоциальной адаптации, а преобладание автономной воли над стыдом и сомнением - второй такой шаг, то соответствующее схематическое изображение выражает ряд фундаментальных отношений, существующих между двумя этими шагами, равно как и некоторые существенные для них обстоятельства. Каждый пункт приходит к своему доминирующему влиянию, испытывает свой кризис и находит свое устойчивое разрешение на протяжении обозначенной стадии. Но все они должны существовать с самого начала в какой-то форме, ибо каждое действие требует интеграции всех остальных. Так, младенец с самого начала может демонстрировать нечто подобное «автономии» в ее специфической форме, когда яростно пытается высвободиться, если его чересчур крепко держат. Однако в нормальных условиях только на втором году жизни он начинает сознавать *критическую противоположность бытия автономным созданием и зависимым существом*; и только тогда он готов для решающего столкновения со своим окружением, которое, в свою очередь, считает себя обязанным передать ребенку собственные представления и понятия об автономии и принуждении способами, вносящими существенный вклад в характер и жизнеспособность его личности в его культуре. Именно это столкновение, вместе с наступающим в результате кризисом, мы эмпирически описали для каждой стадии. Что касается продвижения вперед от одной стадии к следующей, то главная диагональ указывает ту последовательность, которой обычно придерживаются. Однако она также оставляет возможность вариаций в темпе и интенсивности. Индивидуум или культура могут чрезмерно задерживаться на доверии и продвигаться от ступени I_1, через I_2 к ступени II_2, либо ускоренно

продвигаться вперед от ступени I_1 через II_1, к ступени II_2. Но каждое такое ускорение или (относительное) отставание предположительно видоизменяет все более поздние стадии.

III. локомоторно-генитальная стадия			Инициатива *против* чувства вины
II. мышечно-анальная стадия		Автономия *против* стыда и сомнения	
I. орально-сенсорная стадия	Базисное доверие *против* недоверия		
	1	2	3

Рис. 11

Таким образом, эпигенетическая диаграмма представляет систему зависящих друг от друга стадий; и хотя отдельные стадии, возможно, изучены более или менее основательно (или же обозначены более или менее точно), диаграмма предполагает, что их исследование всегда должно вестись с учетом полной конфигурации стадий. В таком случае, диаграмма привлекает мысль исследователя ко всем ее пустым клеткам: если мы занесли базисное доверие в клетку I_1, а целостность в клетку VIII_8, то мы оставляем открытым вопрос о том, каким доверие могло бы стать на стадии, где господствует потребность в целостности, равно как мы оставили открытым вопрос о том, на что оно может походить и как собственно его называть на стадии, где доминирует стремление к автономии (II_1). Все, что мы намереваемся подчеркнуть, сводится к следующему: доверие, вероятно, развивается по своему собственному плану до того, как оно становится чем-то бОльшим в том критическом столкновении, где развивается автономия, - и так далее, вверх по вертикали эпигенетической матрицы. Если мы предположим, что на последней стадии (VIII_1) доверие развилось в наиболее зрелую *веру*, какую только пожилой человек мог собрать в своей социальной среде и исторической эпохе, наша карта позволяет высказать соображения не только о том, каким мог бы быть такой человек, но и о том, какие подготовительные стадии он должен был бы пройти. Из всего этого должно быть ясно, что карта эпигенеза предполагает глобальную форму мышления и переосмысливания, которая оставляет детали методологии и терминологии для последующего изучения.

[Впрочем, если оставить этот вопрос совершенно открытым, пришлось бы затем опровергать некоторые неправильные употребления всей этой концепции в целом. Среди них - предположение о том, что чувство доверия (как и все другие постулированные нами «положительные» чувства) является *достижением*, которого индивидуум добивается на данной стадии раз и навсегда. Фактически, некоторые авторы так настойчиво стремятся сделать из этих стадий *шкалу достижений*, что беззаботно пренебрегают всеми «отрицательными чувствами» (базисным недоверием и пр.), которые есть и остаются динамическим дополнением (до целого) «положительных» чувств на протяжении всей жизни.

Предположение, что на каждой стадии достигается ценное качество, невосприимчивое к новым внутренним конфликтам и к изменяющимся условиям, по-видимому, представляет собой проекцию на развитие ребенка той идеологии успеха, которая может опасно пропитывать наши личные и общественные мечты и делать нас неспособными к усиленной борьбе за наполненное смыслом существование в новой, индустриальной эре истории. Личность непрерывно ведет бой с опасностями существования, равно как метаболизм тела борется с распадом. Когда мы сталкиваемся с диагнозом состояния относительной стойкости и симптомами ее ослабления у одного и того же человека, мы просто более открыто смотрим в лицо парадоксам и трагическим потенциалам человеческой жизни.

Очищение данных стадий от всего, кроме их «достижений», имеет свою противоположность в тенденции описывать или тестировать их в качестве «черт» или «стремлений» (личности) без какой-либо предварительной попытки установить связь между развиваемой на протяжении этой книги концепцией и любезными сердцу других исследователей понятиями. Хотя сказанное выше и звучит отчасти как сетование, я не намерен замалчивать тот факт, что сам побудил других к ошибочным толкованиям и применениям данной концепции, наделив эти позитивные силы человека названиями, которые благодаря своему прошлому приобрели бесчисленные коннотации поверхностных достоинств, показной воспитанности и всемерных добродетелей. Тем не менее, я убежден, что между эго и языком существует внутренняя связь, и что вопреки происходящим с ними злоключениям основные слова

сохраняют составляющие их сущность значения.

Впоследствии я попытался сформулировать (для книги Джулиана Хаксли: Julian Huxley, *Humanist Frame* [Allen and Unwin, 1961; Harper and Brothers, 1962]) предварительный перечень ценных качеств, которые эволюция заложила как в базальный план стадий жизни, так и в базальный план институтов человека (более подробное обсуждение этого вопроса представлено в главе IV моей книги *Insight and Responsibility* [W. W. Norton, 1964]). Хотя я и не могу обсуждать здесь связанные с этим методологические проблемы (усугубляемые, к тому же, употреблением с моей стороны термина «базисные добродетели»), я все же приведу в качестве приложения перечень этих ценных качеств, потому что они, фактически, являются прочными последствиями тех «благоприятных соотношений», которые на каждом шагу упоминаются в главе о психосоциальных стадиях. Вот этот перечень:

- Базисное доверие *против* Базисного недоверия: Энергия и *Надежда*
- Автономия *против* Стыда и сомнения: Самоконтроль и *Сила воли*
- Инициатива *против* Чувства вины: Направление и *Целеустремленность*
- Трудолюбие *против* Чувства неполноценности: Система и *Компетентность*
- Идентичность *против* Смешения ролей: Посвящение и *Верность*
- Близость *против* Изоляции: Аффилиация и *Любовь*
- Генеративность *против* Стагнации: Производство и *Забота*
- Целостность эго *против* Отчаяния: Самоотречение и *Мудрость*

Восемь последних слов (выделенных курсивом) названы базисными добродетелями, поскольку без них и без их восстановления от поколения к поколению все другие, более изменчивые системы человеческих ценностей утрачивают смысл и релевантность. Из всего этого перечня, я смог пока дать более подробную характеристику только одной ценности - верности. (См.: *Youth, Change and Challenge*, E. H. Erikson, editor, Basic Books, 1963). Таким образом, и данный перечень представляет собой общую концептуальную схему, внутри которой остается масса возможностей для обсуждения терминологии и методологии.]

VIII. Зрелость							
VII. Взрослость							Ге
VI. Ранняя взрослость						Близость *против* изоляции	
V. Подростковый возраст и ранняя юность					Идентичность *против* смешения ролей		
IV. Латентная стадия				Трудолюбие *против* чувства неполноценности			
III. Локомоторно-генитальная			Инициатива *против* чувства вины				
II. Мышечно-анальная стадия		Автономия *против* стыда и сомнения					
I. Орально-сенсорная стадия	Базисное доверие *против* недоверия						
	1	2	3	4	5	6	

Рис. 12

Часть IV. Юность и эволюция идентичности

Введение

Предприняв попытку сформулировать понятие целостности как зрелого качества, обязанного происхождением всем стадиям развития эго и либидинальным фазам, мы, по-видимому, вышли за рамки книги о детстве и обществе, а заодно - и за рамки психоаналитической детской психологии в том виде, как она сейчас определяется. Ибо психоанализ последовательно описывал перипетии инстинктов и эго только до наступления ранней юности, начиная с которой, как предполагалось, рациональная генитальность поглощает инфантильные фиксации и иррациональные конфликты или позволяет им вновь и вновь повторять свои трюки под разнообразными масками. Таким образом, главная, периодически повторяющаяся тема касалась тени фрустрации, отбрасываемой из детства на последующую жизнь индивидуума и на его общество. В этой книге мы высказываем предположение, что для понимания как детства, так и общества нам необходимо расширить наши психоаналитические границы, чтобы охватить изучение способа, которым общество облегчает неизбежные конфликты детства, обещая определенную безопасность, идентичность и целостность. Подкрепляя таким образом именно те ценности, благодаря которым и существует эго, общество создает единственное условие, делающее человеческое развитие возможным.

Можно также показать, что сменяющие друг друга цивилизации, эксплуатируя подходящие синдромы инфантильных страхов, поднимают соответствующие ценности детского эго до уровня высших коллективных устремлений. Религия, например, может придавать организованную форму нуклеарному конфликту между чувством доверия и чувством злобы, коллективно культивируя доверие в форме веры и придавая злу форму греха. Такая организация может составить свою эпоху в истории, когда она укрепляет эту конкретную ценность эго обрядовым могуществом, способным внушать надежду цивилизациям и пополнять общину своих последователей в форме единой человеческой целостности. Другой вопрос, что организации обладают способностью переживать время своего исторического влияния. По мере того как иные ценности эго (например, автономия) становятся центрами коллективных устремлений, более древние организации могут опираться лишь на еще более безжалостную эксплуатацию инфантильных страхов. Неудивительно, что церкви приходится прибегать к системе идеологической обработки умов с целью убедить людей в неизбежной реальности зла особого рода, чтобы иметь возможность объявить, будто она одна обладает ключом от врат к спасению.

Социальная история ведет реестр взлетов и падений высших классов, элит и духовенства, которые в своих аристократических интересах культивировали те или иные ценности эго, давая людям подлинное утешение и обеспечивая истинный прогресс, но затем, ради выживания своих собственных ограниченных иерархий, выучивались эксплуатировать те самые инфантильные тревоги, которые они сначала успешно смягчали. Короли, бывшие в период своего величия героями драмы патриархата, впоследствии защищали себя и свою власть, опираясь на табу отцеубийства. Феодальные общества, служившие в период своего расцвета образцами распределения ответственности между лидерами и ведомыми, продлевали свое существование, пророча анархию и неотвратимую потерю престижа раскольниками. Политические системы процветали на провоцировании многочисленных сомнений и нездоровых подозрений, экономические системы - на связанной с чувством вины нерешительности начать какие-либо перемены. Тем не менее, политическая, экономическая и техническая элиты всюду, где они в подходящий исторический момент принимали на себя обязательство совершенствовать новый образ жизни, обеспечивали людям сильное чувство идентичности и воодушевляли их на достижение новых уровней цивилизации. Вообще, можно сделать вывод, что сопутствующие страдания есть слишком высокая цена за подобные достижения, но это уже предмет для чисто философских размышлений.

Таковы мои впечатления. Знаниями, необходимыми для сколько-нибудь систематического рассмотрения отношений между качествами эго, социальными институтами и историческими эпохами, я, увы, не располагаю. Но если воспроизвести суть этих отношений в более догматической форме, то получается следующее: подобно тому, как проблема базисного доверия обнаруживает глубокую близость к институту религии, проблема автономии находит свое отражение в основном политическом и правовом устройстве общества, а проблема инициативы - в экономическом порядке. Аналогично этому, трудолюбие связано с техническим уровнем общества, идентичность - с социальной

стратификацией, близость - с моделями взаимоотношений и родства, генеративность - с образованием, искусством и наукой и, наконец, целостность эго связана с философией. Наука об обществе должна интересоваться взаимоотношениями между этими институтами, равно как подъемом и упадком каждого из них в качестве социального организма. Однако я считаю, что в долгосрочной перспективе такая наука поплатилась бы одним из своих самых плодотворных соображений, не обрати она внимание на то, каким образом и в каком отношении каждое поколение может и должно возвращать к жизни каждый институт всякий раз, когда оно врастает в него. Здесь я могу продолжить только одно конкретное направление, подтвержденное и подсказанное мне моими собственными наблюдениями. Я сосредоточил все свое внимание на проблеме эго-идентичности и на ее закреплении в культурной идентичности, поскольку считаю идентичность именно тем органом эго, который в конце ранней юности интегрирует все стадии детского эго и нейтрализует автократию инфантильного супер-эго. Эго-идентичность есть единственный внутренний механизм, предотвращающий долговременный альянс супер-эго с неперестроившимися остатками латентной инфантильной ярости.

Я прекрасно знаю, что этот сдвиг в концептуальном акценте продиктован исторической случайностью, то есть теми крутыми переломами, которые происходят на нашем веку и затрагивают наши судьбы, равно как и симптомы наших пациентов вместе с их бессознательными запросами в наш адрес. В старой форме эту мысль можно выразить так: сегодняшний пациент страдает больше всего от отсутствия ответа на вопрос, во что ему следует верить и кем он должен или, фактически, мог бы быть или стать, тогда как на заре психоанализа пациент страдал больше всего от запрещений (inhibitions), которые мешали ему быть тем и таким, кем и каким, как ему казалось, он по сути своей являлся. Особенно у нас, в Америке, взрослые пациенты и родители будущих пациентов - детей часто надеются найти в психоаналитической системе убежище от разрывов непрерывности существования, регрессию и возврат к более патриархальным, простым и близким, отношениям.

Еще в 1908 году [Sigmund Freud, «'Civilized' Sexual Morality and Modern Nervous Illness», *Standard Edition*, Vol. IX, The Hogarth Press, London, 1959.] Фрейд указал на источник неврозов своего времени, заключавшийся в двойном стандарте для двух полов и в чрезмерных требованиях, предъявляемых лицемерной моралью высших классов в условиях городской жизни к женам и матерям. Как частично релевантное, Фрейд признавал и вредное влияние быстрых перемен в социальной роли, испытываемое теми, кто переезжал из деревни в город или выбирался из среднего класса на вершину общества. Однако за всем этим он видел, в качестве главного источника психопатологии, глубокое расстройство сексуального хозяйства индивидуума вследствие навязанных ему многочисленных притворств и подавлений полового влечения.

Достойным людям, страдающим от этих произвольных стандартов, Фрейд предложил психоаналитический метод (разновидность радикального самопросвещения), который вскоре прорвал границы нейропсихиатрии. Ибо с помощью этого метода он обнаружил в глубинах души своих заторможенных пациентов остатки и аналоги запретов и условностей всех времен и народов. Помимо объяснения симптомов, типичных для того времени, психоанализ раскрыл вневременную элиту рефлексирующих невротиков - последующие версии «Царя Эдипа», «Гамлета» и «Братьев Карамазовых» - и взял на себя обязательство разрешать их трагические конфликты в рамках конфиденциального метода самопросвещения. Заключая мир с комплексами, происходящими из демонического «Оно», пациенты обретали тем самым не только здоровье, но и победу на пути разума и индивидуации.

В истории цивилизации наверняка будет отражено, что Фрейд, пытаясь удовлетворить запросы своей неврологической практики, сам того не ведая продолжил революцию в человеческом сознании, которая во времена античности вывела трагического индивидуума из безымянного хора архаического мира и сделала сознающего себя человека «мерой всех вещей». Научное исследование, которое прежде направлялось на объективные обстоятельства, было перенацелено Фрейдом так, чтобы включать и человеческое сознание (мы вернемся, в заключении, к дилемме, вызванной переориентацией духа исследования на его собственный орган и источник). Между прочим, тематическое родство основных фрейдовских конфликтов с мотивами греческой трагедии очевидно как в терминологическом, так и в смысловом отношениях.

Дух работы Фрейда, несмотря на язык и приемы, ассоциирующиеся с физиологической и физической лабораториями XIX столетия, значительно предвосхищает мировые войны и революции, да и подъем индустриальной культуры в Америке. Сам Фрейд оставался в стороне от всех этих событий. Штурмовики, производившие обыск в его доме (где он окружил себя лучшими статуэтками из дотрагической, еще лишенной самосознания эпохи архаической античности), по-видимому, только

подтвердили оригинальный подход Фрейда к групповой психологии, который привел его к выводу, что любая организованная группа является скрытой ордой и потенциальным врагом духа индивидуации и разума.

Высшая ценность того, что Фрейд называл «первенством интеллекта», служила краеугольным камнем идентичности первого психоаналитика, дающим ему точку опоры в эпохе просвещения, а также в зрелой интеллектуальности своего собственного народа.

Лишь однажды, в обращении к еврейскому Обществу Б'наи Б'рит Фрейд признал это «Heimlichkeit der gleichen inneren Konstruktion» - [Буквально: «тайное знание идентичной психологической конструкции». (Sigmund Freud, «Ansprache an die Mitglieder des Vereins B'nai B'rith (1926)», *Gesammelte Werke,* Vol. XVI, Imago Publishing Co, Ltd, London, 1941.) В этой речи Фрейд обсуждал свою связь с еврейством и отказывался от религиозной веры и национальной гордости как от «первичных уз». Далее он (пользуясь скорее поэтическим, чем научным языком) указывал на то, что бессознательно, да и сознательно тоже, привлекает в евреях: сильные невербализуемые эмоции и чувства («viele dunkle Gefuehlsmaechte») и ясное сознание внутренней идентичности («die klare Bewusstheit der inneren Identitaet»). Под конец он упомянул две черты, наличием которых, как он считал, был обязан своему еврейскому происхождению: свободу от предрассудков, сужавших использование интеллекта, и готовность жить в оппозиции.] непереводимый фразеологический оборот, который, как я считаю, содержит в себе тот смысл, что мы пытаемся оформить в термине «идентичность» (и действительно Фрейд употребляет такой термин в этом контексте).

В таком случае, уверенно опираясь на основную предпосылку интеллектуальной целостности, Фрейд мог принимать на веру определенные фундаментальные принципы морали, а вместе с моралью и культурную идентичность. Для него эго походило на осторожного и временами практичного аристократа, стоявшего не только между анархией первобытных инстинктов и неистовством архаической совести, но и между гнетом условностей высшего класса и анархией духа орды. Носитель такой идентичности мог с благородным негодованием отвернуться от массовых событий, которые угрожали бросить тень сомнения на самоопределение его эго. Поэтому, полностью занятый изучением симптомов, характеризовавших защитные механизмы уже определившегося эго, психоанализ поначалу почти ничего не мог сказать о том, каким образом синтез эго вырастает - или не вырастает - из почвы социальной организации.

Основатели психоанализа и первые практикующие психоаналитики целиком сосредоточились на одном единственном стремлении - стремлении к интроспективной честности на ниве самопросвещения. С тех пор, как это стало господствующим догматом психоаналитического метода и серьезным испытанием для всех без исключения его сторонников и пациентов, мы на удивление мало узнали о жизненных ценностях современников, которые обещали маленьким Эдипам и Электрам иных культурных сред заинтересованное участие в жизни определенного типа. Альянс супер-эго с сильным чувством культурной идентичности оставался без внимания, а вместе с ним и те способы, посредствам которых социальное окружение поощряет и культивирует отказ от себя (self-abandon) в формах страстей или рассудочности, свирепости или сдержанности, пиетета или скептицизма, непристойности или пристойности, изящества или грубой силы, милосердия или спеси, практицизма или честной игры. Фактически, все достаточно выраженные разновидности культурной экспрессии, за исключением имеющих отношение к интеллектуальному *Bildung* [(Нем.) - Образованию в широком смысле, смыкающемся с понятием интеллектуального роста или, скорее даже, интеллектуального строительства собственной личности. - *Прим. пер.*], частью которого был психоанализ, стали восприниматься как явно притворные маски и защиты, служащие весьма дорогостоящими укреплениями против «Оно» и (подобно супер-эго) находящимися в близком родстве и рискованно вступающими с ним (то есть с «Оно») в союз. Хотя, конечно, и верно, что эти направляющие жизнь ценности во все времена были тесно связаны с брутальностью и ограниченностью, они, тем не менее, воздействовали на то культурное развитие, какое претерпевал человек, и их нельзя не включать в психологический «баланс» прошлого, настоящего или будущего.

И так уж получается, что мы начинаем теоретически осмысливать вопросы идентичности именно в тот период истории, когда они становятся реальной проблемой. Ибо мы предпринимаем это в той стране (США - *прим. пер.*), которая пытается создать суперидентичность из всех идентичностей, привносимых населяющими ее иммигрантами; и, к тому же, делаем это в то время, когда быстро нарастающая механизация угрожает этим, в основном, аграрным и аристократическим идентичностям и на их исторической родине.

В таком случае, исследование идентичности в наше время становится такой же стратегической

задачей, какой во времена Фрейда было изучение сексуальности. Однако подобная историческая релятивность в развитии области исследования, по-видимому, не препятствует постоянству базального плана и сохраняемой близости к наблюдаемому явлению. Выводы Фрейда, касающиеся сексуальной этиологии невротических расстройств, столь же справедливы для наших пациентов, как и для его собственных; а бремя утраты идентичности, которое выделяется на фоне наших соображений, вероятно, было столь же тягостным для пациентов Фрейда, как и для сегодняшних, о чем можно судить по реинтерпретациям. [См. «Reality and Actuality», *J. Amer. Psa. Assoc.,* 10: 451-473.] Таким образом, разные периоды позволяют нам наблюдать во временнЫх преувеличениях различные аспекты по существу неразделимых частей личности.

В этой четвертой (и последней) части я буду исследовать проблемы идентичности, связанные с вступлением в промышленную революцию трех великих стран: Америки, Германии и России. Особое внимание будет сосредоточенно на потребности молодежи всех этих стран в новой, основанной на содружестве совести, а также более инклюзивной и, неизбежно, индустриальной идентичности. Я начну с Америки, хотя делаю это не без серьезных колебаний. В последние годы великое множество книг и статей по структуре национального характера довольно ясно показало, что это все еще самый сомнительный предмет вообще и почти неприступный предмет в этой стране в частности.

Дело в том, что практически невозможно (исключая беллетристику) писать в Америке об Америке для американцев. Вы можете, как американец, отправиться на Острова Южного моря и написать об этом путешествии по возвращении; вы можете, как иностранец, посетить Америку и написать о ней на прощание; как иммигрант вы можете, написать о том, как вы устраиваетесь на новом месте; можно перебраться из одной части страны (или из одного «класса» в другой) и написать об этом, пока еще не забыто прошлое и не приелось новое. Но в конечном счете вы всегда пишете о том пути, которым вам случается приезжать или уезжать, изменяться или обретать оседлость. Вы пишете о процессе, более или менее желанном, но всегда приятно волнующем и не безразличном, и вскоре из под вашего пера начинают стремительно вылетать восторженные похвалы или оскорбительные замечания.

Единственно разумный американский способ писать об Америке для американцев - открыто высказаться о проблеме и преувеличить ее. Этот способ, однако, требует деликатного дарования и особой интеллектуальной родословной, причем ни то, ни другое не приобретается легко. Поэтому я ограничусь изложением - с точки зрения человека, практиковавшего и преподававшего психоанализ в этой стране, - особенностей чувства идентичности и ее утраты в том виде, как они обнаруживают себя у американских пациентов, больших и маленьких.

Глава 8. Размышления об идентичности американцев

1. Полярные качества национального характера

Стало уже банальным говорить о том, что какую бы черту мы ни выбрали в качестве подлинно американской, всегда можно показать, что она имеет свою столь же типичную противоположность.

И это, как мы подозреваем, справедливо для всех «национальных характеров» или (как я бы предложил их называть) национальных идентичностей. Настолько справедливо, что, фактически, можно начинать, а не заканчивать следующим утверждением: идентичность нации производна от тех путей, какими история достигла, так сказать, контрапунктического сочетания определенных противоположных потенциальностей, и от тех способов, какими она возвышает этот контрапункт до уникального типа цивилизации, или позволяет ему дезинтегрироваться в простое противоречие.

Наша динамичная страна (Америка - *прим. пер.*) подвергает свое население более резким контрастам и крутым переменам на протяжении жизни отдельного человека или поколения, чем это обычно бывает с другими великими народами. Большинство ее населения сталкивается в собственной жизни или в жизни ближайших родственников с альтернативами, представленными такими полюсами, как открытые пути иммиграции и ревниво сохраняемые островки традиции; страстный интернационализм и вызывающий изоляционизм; неистовая конкуренция и доходящее до полного забвения собственных интересов сотрудничество, - и множеством других полюсов. Влияние этих в итоге несовместимым друг с другом девизов на развитие эго индивидуума, вероятно, зависит от совпадения стадий нуклеарного эго с критическими переменами в географических и экономических условиях семьи. Процесс формирования идентичности американца, по-видимому, поддерживает эго-идентичность индивидуума до тех пор, пока тот способен сохранять определенный элемент

преднамеренной экспериментальности автономного выбора. Индивидуум должен иметь возможность убедиться в том, что следующий шаг остается за ним и что независимо от того, где он находится или куда идет, он всегда имеет шанс бросить все или повернуть в противоположном направлении, если сам того пожелает. В Америке иммигранту не нужен приказ, чтобы двигаться дальше, равно как и оседлому жителю, чтобы оставаться там, где он живет. Ибо образ жизни (и семейная история) каждого содержит в себе противоположный элемент в качестве потенциальной альтернативы, которую он хочет считать своим в высшей степени частным и индивидуальным решением.

Таким образом, американец, действующий как наследник истории резких контрастов и внезапных перемен, основывает свою финальную эго-идентичность на некоторой экспериментальной комбинации динамических полярных качеств, таких как миграция и оседлость, оригинальность и шаблонность, религиозность и свободомыслие, ответственность и цинизм, и т. д.

Хотя мы сталкиваемся с крайней степенью развития одного или другого из этих полюсов в региональных, профессиональных и характерологических типах, анализ обнаруживает, что подобная крайность (твердости или непостоянства) содержит в себе внутреннюю защиту против всегда подразумеваемого, внушающего сильный страх или в тайне желанного противоположного полюса.

Чтобы оставить выбор за собой, американец, в общем, живет с двумя наборами «истин», а именно, с набором религиозных или религиозно-политических принципов весьма пуританского свойства и с набором сменных лозунгов, которые показывают, как в данный момент можно выйти из положения на основе одного только предчувствия, настроения или идей. Так, например, одного и того же ребенка могли последовательно или попеременно подвергать внезапным решениям, выражающим лозунги «Уйдем отсюда к дьяволу!» и тут же - «Останемся и не пустим этих ублюдков!» - если говорить только о двух самых радикальных призывах. Ничуть не претендуя на логику или принцип, лозунги достаточно убедительны для тех, кого они затрагивают, чтобы оправдать действие, будь оно законным или выходящим за рамки высокого закона (в той степени, насколько закону случается быть навязанным или забытым, соответственно меняющейся обстановке на местах). Бесхитростные на вид лозунги содержат в себе пространственно-временные перспективы, столь же прочно укоренившиеся, как и аналогичные перспективы, выработанные в системах индейцев сиу и юрок; они представляют собой эксперименты в коллективном пространстве-времени, по которым координируются индивидуальные защитные механизмы эго. Однако эти перспективы изменяются, часто радикально, на протяжении одного и того же детства.

Подлинной истории американской идентичности пришлось бы коррелировать наблюдения Паррингтона за преемственностью сформулированной мысли с богатой историей нарушений последовательности американских лозунгов, которые пропитывают общественное мнение в лавках и на занятиях, в судах и в ежедневной прессе. Ибо в принципах и понятиях тоже, по-видимому, существует стимулирующая полярность - с одной стороны, между интеллектуальной и политической аристократией, которая, будучи всегда внимательной к прецеденту, стоит на страже связности мысли и неразрушимого духа, а с другой стороны, между аристократией и мобократией [От англ. mob - толпа, чернь. Мобократия - власть толпы. - *Прим. пер.*], которая, очевидно, предпочитает изменяющиеся лозунги сохраняющим себя в веках принципам.

Такая местная полярность аристократии и мобократии (столь замечательно синтезированная у Франклина Д. Рузвельта) пропитывает американскую демократию более результативно, чем это, вероятно, осознают защитники и критики великого американского среднего класса. Этот американский средний класс, порицаемый некоторыми как олицетворенное окостенение всего того, что есть корыстного и филистерского в нашей стране, возможно, представляет собой лишь преходящую серию сверхкомпенсаторных усилий попробовать обосноваться вблизи Главной улицы: усесться у камина, завести банковский счет и машину подходящей марки; он не предотвращает (как положено классу) высокой мобильности и потенциальной культурной неопределенности своей финальной идентичности. В более мобильном обществе статус выражает иную релятивность: он похож скорее на эскалатор, нежели на платформу, и является скорее средством, чем целью.

Все страны, а особенно большие, осложняют свое развитие, каждая на свой лад, начиная с предпосылок их образования. Мы должны попытаться ясно сформулировать то, каким образом внутренние противоречия в истории Америки могут подвергать ее детей эмоциональному и политическому «короткому замыканию» и тем самым угрожать ее динамическому потенциалу.

2. «Мамочка»

В последние годы наблюдения и предостережения американских специалистов в области психиатрии все больше и больше сходились на двух понятиях: «шизоидной личности» и «материнского отвергания». По существу это означает, что помимо многих несчастных, которые сходят с дистанции и оказываются в полосе отчуждения в результате психотического разобщения с реальностью, слишком большому числу людей, официально не причисленных к категории больных, все же не достает определенного тонуса эго и определенной взаимности в социальных связях. Кто-то может смеяться над этим предположением и ссылаться на дух индивидуализма и на выразительные средства живости и веселого дружелюбия, характеризующие значительную часть социальной жизни Америки; но психиатры (особенно после того шокирующего опыта последней войны, когда им пришлось признавать негодными или отправлять домой сотни тысяч «психоневротиков») смотрят на него иначе. Хорошо отработанная улыбка в рамке точно настроенного выражения лица и внутри стандартизованных способов демонстрации владения собой не всегда укрывает ту истинную непосредственность, которая только и сохраняет личность интактной и достаточно гибкой, чтобы проявлять действительное участие.

В этом психиатры склонны винить «мамочку». Одна история болезни за другой констатирует, что пациент имел холодную мать, доминантную мать, отвергающую мать или, наоборот, мать-собственницу и чрезмерно опекающую мать. Они предполагают, что пациенту во времена его младенчества не давали чувствовать себя уютно в этом мире за исключением тех случаев, когда он вел себя определенными способами, несовместимыми с графиком нужд и потенций малыша, да к тому же еще и внутренне противоречивыми. Они также предполагают, что мать подавляла отца, и что хотя он давал больше нежности и понимания детям, чем это делала она, в конечном счете и отец разочаровывал своих детей, «заражаясь той же болезнью» от их матери. Постепенно то, что началось как стихийное движение в тысячах медицинских карточек, стало официальным видом литературного спорта, поносящего в печати американских матерей как «мамочек» и как «гадючье племя». [Термины «mom» («мамочка») и «momism» («мамизм») были изобретены и введены в оборот в 1943 г. Филиппом Уайли в его скандальной работе «Гадючье племя» (Philip Wylie «Generation of Vipers»), где он резко критиковал американские социальные нравы и, прежде всего, «мамизм» как социальный феномен широкого распространенного доминирования матери в семьях американцев. - *Прим. пер.*]

Кто же эта «мамочка»? Как она потеряла свое доброе, свое простое имя? Как она могла оказаться оправданием всего прогнившего в этой стране и объектом литературных вспышек раздражения? *Виновата* ли «мамочка» на *самом деле*?

Конечно, винить в клиническом смысле - значит просто указывать на то, что знающий специалист искренне считает первичной причиной бедствия. Однако в значительной части нашей психиатрической работы существует подтекст мстительного торжества, как если бы главный злодей был обнаружен и загнан в угол. Вина, которую сваливают на матерей в Америке (а именно, что они сексуально фригидны, отвергают своих детей и чрезмерно властвуют в семьях), содержит в себе особое моральное возмездие. Не приходится сомневаться, что как пациентов, так и психиатров чрезмерно обвиняли в то время, когда они были детьми; теперь они винят всех матерей, потому что всякая причинность оказалась связанной с виной.

Разумеется, было мстительной несправедливостью давать имя «мамочка» в известном смысле опасному типу матери, характеризуемому, по-видимому, рядом фатальных противоречий в материнстве. Такую несправедливость можно объяснить и оправдать только пристрастием журналистов к сенсационному противопоставлению - одной из сторон публицистских нравов нашего времени. Верно, что в тех случаях, когда американский солдат «психоневротического» склада ощущал себя недостаточно подготовленным к жизни, он часто косвенно, а еще чаще бессознательно, винил в этом свою мать, и что психиатр чувствовал себя вынужденным согласиться с ним. Но также верно и то, что путь от Главной улицы к стрелковой ячейке был явно длиннее - географически, культурно и психологически - дороги к передовым позициям из городских семей тех стран, которые были не защищены от нападения и подверглись ему, или тех, которые готовили себя к нападению на чужое отечество и теперь опасались за судьбу своего. По-видимому, бессмысленно (да и бесчувственно) винить американскую семью в этих неудачах, только чтобы свести на нет ее вклад в великий человеческий подвиг преодоления такой дистанции.

Тогда «мамочка», подобно сходным прототипам в других странах (см. прототип «немецкий отец», в следующей главе), есть не что иное, как составной образ характерных черт, которые невозможно было бы обнаружить одновременно ни у одной живой женщины. Нет такой женщины, которая сознательно стремилась бы быть «мамочкой», хотя вполне вероятно, что конкретная женщина может обнаружить приближение к этому гештальту, как если бы ее вынуждали принять на себя некую

роль. Для клинициста «мамочка» есть нечто сопоставимое с «классическим» психиатрическим синдромом, который вводится в употребление как мерило, хотя никто и никогда не видел его в чистом виде. В комиксах «мамочка» становится карикатурой, сразу доходящей до всех. Поэтому прежде чем анализировать «мамочку» как исторический феномен, давайте посмотрим на нее с точки зрения патогенетических требований, которые она предъявляет своим детям и благодаря которым мы и распознаем ее присутствие в нашей клинической практике:

1. «Мамочка» - бесспорный авторитет в вопросах нравов и нравственности в своем доме и (через клубы) в своей общине; тем не менее, она так или иначе позволяет себе оставаться тщеславной в своем облике, эгоистичной в своих требованиях и инфантильной в своих эмоциях.

2. В любой ситуации, где это расхождение приходит в столкновение с почтением, которого она требует от своих детей, она винит детей, но никогда не винит себя.

3. Таким образом, она искусственно поддерживает то, что Рут Бенедикт назвала разрывом между статусом ребенка и статусом взрослого, без наделения этой дифференциации более высоким смыслом, проистекающим из высшего примера.

4. Она демонстрирует непреклонную враждебность к любому свободному выражению самых наивных форм чувственного и сексуального удовольствия со стороны своих детей и достаточно ясно дает понять, что их отец, с его сексуальными притязаниями, смертельно ей наскучил. Однако сама, по-видимому, вовсе не расположена с возрастом жертвовать такими внешними знаками сексуальной конкуренции, как слишком молодежные наряды, ужимки эксгибиционизма и «макияж». Вдобавок у нее развивается жадный интерес к сексуальным проявлениям в книгах, фильмах и разговорах.

5. Она учит воздержанию и самоконтролю, но сама не способна ограничить потребление лишних калорий, хотя бы для того, чтобы влезать в те самые наряды, которые она предпочитает.

6. Она ожидает, что ее дети не будут давать себе никаких поблажек, тогда как сама ипохондрически обеспокоена собственным благополучием.

7. Она стоит стеной за высшие ценности традиции, хотя сама не хочет становиться «старушкой». На самом деле она смертельно боится того статуса, который в прошлые времена был плодом богатой жизни, именно, статуса бабушки.

Пожалуй, этого будет достаточно, чтобы показать: «мамочка» - это образ женщины, в жизненном цикле которой остатки инфантильности соединяются с рано наступившей старостью, вытесняя средний диапазон женской зрелости, в результате чего она становится эгоцентричной и косной. Фактически, как женщина и как мать она не доверяет своим собственным чувствам. Даже ее сверхозабоченность вызывает вместо доверия прочное недоверие. А это позволяет сказать, что «мамочка» или лучше: любая женщина, напоминающая себе и другим стереотип «мамочки», - несчастлива; она не нравится самой себе, ее одолевает тревога, что жизнь потрачена впустую. Она знает, что дети на самом деле не любят ее, несмотря на подношения в День матери. [Второе воскресенье мая. - *Прим. пер.*] «Мамочка» - жертва, а не победитель.

Тогда, если предположить, что «мамочка» - это «тип», составной образ, достаточно релевантный для эпидемиологии невротического конфликта в этой стране, то его объяснение очевидно потребовало бы сотрудничества историка, социолога и психолога, равно как и нового вида истории - того самого, что в настоящее время находится в импрессионистской и сенсуальной стадиях. Конечно, «мамочка» - это лишь стереотипная карикатура существующих противоречий, появившихся в результате интенсивных, быстрых и все еще неинтегрированных перемен в американской истории. Чтобы отыскать истоки этого образа, вероятно, пришлось бы проследить историю страны назад до времени, когда американской женщине предстояло развить на основе множества импортированных традиций одну общую и на ней основать воспитание детей и стиль домашней жизни; когда ей предстояло установить новые обычаи оседлой жизни на континенте, первоначально населенном мужчинами, которые в своих родных краях по той или другой причине не захотели жить «за забором». Теперь же, боясь когда-либо снова уступить внешней или внутренней автократии, эти мужчины настойчиво утверждали и отстаивали новую культурную идентичность, доходя в своих пробах и ошибках до грани, где уже женщинам приходилось становиться автократичными в требованиях хотя бы некоторого порядка.

В поселениях колонистов американская женщина была объектом сильного соперничества со стороны грубых и часто не останавливающихся ни перед чем мужчин. Тогда же ей пришлось стать культурным цензором, религиозной совестью, эстетическим арбитром и, конечно, учительницей. Во времена, когда первые переселенцы с огромным трудом отвоевывали у суровой природы свою хозяйственную нишу, именно женщина придавала жизни утонченность и духовность, без чего община распалась бы. В своих детях она видела будущих мужчин и женщин, которым предстояло столкнуться с

контрастами неподвижной оседлости и движущейся кочевой жизни. Они должны быть подготовлены к любому количеству противоположностей в своей среде и всегда быть готовыми ставить новые цели и отстаивать их в беспощадной борьбе. Ибо, в конце концов, быть сосунком еще хуже, чем быть грешником.

Мы предположили, что матери индейцев сиу и юрок обладали инстинктивной способностью адаптации, которая позволяла им создавать методы воспитания детей, подходящие для воспроизводства охотников и их жен в кочевом обществе или рыбаков и сборщиков желудей в оседлом обществе. Я полагаю, американская мать реагировала на историческую ситуацию на этом континенте сходным бессознательным приспособлением, когда совершенствовала англосаксонские модели детского воспитания таким образом, чтобы избежать ослабления потенциальных колонистов чрезмерной материнской опекой. Другими словами, я считаю то, что сейчас называют «отвергающим» аттитюдом американской женщины, всего лишь современным недостатком характера, основанным на историческом достоинстве, соответствовавшем обширной новой стране, главным признаком которой была граница продвижения поселенцев, независимо от того, стремились ли к ней, избегали или пытались пережить ее существование.

От пограничного форта моему историку-социологу и мне пришлось бы вернуться к пуританству как решающей силе в создании американского типа материнства и его современной карикатуры, «мамочки». Не следует забывать, что это многократно оклеветанное пуританство было некогда системой ценностей, предназначенной для того, чтобы сдерживать мужчин и женщин, отличающихся вулканической энергией, сильными инстинктивными влечениями, равно как и ярко выраженной индивидуальностью. В связи с примитивными культурами мы обсуждали тот факт, что живая культура обладает внутренними уравновешивающими механизмами, которые делают ее устойчивой и терпимой для большинства ее носителей. Но изменяющаяся история угрожает этому равновесию. В течение короткой американской истории быстрые перемены соединялись с пуританством таким образом, что приводили к эмоциональному напряжению матери и ребенка. Среди этих перемен были: непрерывная миграция местного населения, беспрепятственная иммиграция, индустриализация, урбанизация, классовая стратификация и женская эмансипация. Они наряду с другими переменами и стали теми событиями, которые привели пуританство в состояние обороны, - а системе свойственно обретать жестокость, когда она становится оборонительной.

Выйдя за пределы обозначения сферы сексуального греха для полных жизни и решительных людей, пуританство постепенно распространилось на всю область телесной жизни, компрометируя всякую чувственность (включая супружеские отношения) и разнося свою фригидность повсюду, включая беременность, роды, выкармливание и воспитание ребенка. В результате стали рождаться мужчины, не способные научиться от матерей любить благо чувственности до того, как они выучивались ненавидеть ее греховные цели. Вместо того, чтобы ненавидеть грех, они выучивались недоверию к жизни. Многие становились святошами без твердой веры или внутреннего огня. Конечно, граница оставалась решающим фактором, который послужил упрочению в идентичности американца крайней поляризации, столь характерной для нее и сейчас. Первоначальная полярность представляла собой развитие полюсов оседлости и миграции. Ибо одни и те же семьи, одни и те же матери были вынуждены подготавливать будущих мужчин и женщин, которые бы закреплялись в жизни общины и постепенно образующихся социальных классов новых деревень и городов, и одновременно готовить этих детей к тяжелым физическим испытаниям на участках пограничных поселений. Города тоже развивали оседлое существование и ориентировали свою внутреннюю жизнь на рабочее место и конторку, камин и алтарь, хотя через них, по дорогам и рельсам, нескончаемым потоком шли чужаки, хвастаясь Бог знает какими зелеными пастбищами. Приходилось либо соглашаться и идти с ними дальше, либо держаться за свое и хвастать еще громче. Дело в том, что зов границы, соблазн продолжать движение заставлял тех, кто остановился, обретать оборонительную оседлость и развивать защитную гордость. В мире, где господствовал лозунг «Если вам видна труба соседа, самое время идти дальше», матерям приходилось так воспитывать сыновей и дочерей, чтобы они были полны решимости игнорировать зов границы, но с той же решимостью отправлялись бы в путь, если их вынуждали обстоятельства или они сами хотели этого. Но когда они становились слишком старыми, выбора не было, и им оставалось поддерживать самую фанатичную и наиболее стандартизованную верность оседлости. Я полагаю, что именно боязнь оказаться слишком старым для выбора способствовала дурной репутации старости и смерти в этой стране. (Лишь недавно старые пары нашли решение - национальную систему трейлеров, которая позволяет им жить в вечных странствиях и умирать на колесах.)

Мы знаем, как проблемы иммигрантов и мигрантов, эмигрантов и беженцев накладывались одна на другую по мере того, как большие области этого континента заселялись и постепенно обретали прошлое. Для нового американца, с региональной традицией стратификации, пришельцы все больше и больше стали характеризоваться тем, чего им удалось, по сравнению с ним, избежать, а не теми общими ценностями, к которым они стремились; к тому же существовала масса невежественных и обманутых «рабов» расширяющегося рынка промышленного труда. Для и против всех этих более поздних американцев американским матерям приходилось вводить новые моральные нормы и строгие испытания для продвижения по социальной лестнице.

Когда Америка стала вошедшим в поговорку тиглем для переплавки национальностей, именно решительность англосаксонской женщины способствовала тому, что из всех смешиваемых ингредиентов пуританство (в том виде, каким оно тогда было) оказалось самой распространенной чертой характера. Старый англосаксонский тип становится еще более строгим, чем раньше, но в то же время по-своему милым и добрым. Однако и дочери иммигрантов вовсю старались соответствовать нормам поведения, которым они не выучились в раннем детстве на своей исторической родине. Здесь, я думаю, и зародилась личность, обязанная всем самой себе, как женская копия мужчины, добившегося успеха своими силами; и именно здесь мы обнаруживаем источник популярной американской идеи светской «личности» - «личности» напоказ, которая является своим собственным организатором и арбитром. Фактически, психоанализ детей иммигрантов ясно показывает, в какой степени они, как первые настоящие американцы в их семьях, становятся культурными родителями своих биологических родителей.

Идея самосозидаемого эго в свою очередь была подкреплена, хотя и несколько видоизменена, индустриализацией и классовой стратификацией. Индустриализация, например, принесла с собой идею воспитания «механического» ребенка. Как если бы этот новый, созданный человеком мир машин, который должен был заменить собой «сегменты природы» и «хищных животных», предлагал свое могущество только тем, кто уподоблялся ему, так же как сиу «становился» бизоном, а юрок - лососем. В детском воспитании возникло движение, которое стремилось с самого начала отрегулировать человеческий организм до точности часового механизма, чтобы сделать его стандартизованным придатком индустриального мира. Но ни в Америке, ни в странах, желающих ради развития промышленного производства походить на нее, это не было единственным последствием такого воспитания. В погоне за приспособлением к машине и за властью над машиной американские матери (особенно из среднего класса) оказались стандартизирующими и жестко программирующими детей, которые, как ожидалось, должны затем стать воплощением той ярко выраженной индивидуальности, что в прошлом была одной из характерных черт американца. В результате возникла угроза создания серийно производимой маски индивидуальности вместо подлинного индивидуализма.

Как если бы и этого было мало, усиливающаяся классовая дифференциация в некоторых не больших, но влиятельных группах и регионах объединилась с остатками образцов европейской аристократии, чтобы создать идеальную леди - женщину, которая не только не должна работать сама, но, в силу детской неискушенности и полной неосведомленности, не способна даже понять, зачем вообще нужно работать. Такому образу женщины в большинстве американских штатов, за исключением южных, вскоре был брошен вызов со стороны идеала эмансипированной женщины. Казалось, новый идеал требует равенства возможностей; однако хорошо известно, как вместо этого он стал довольно часто представлять претензии на одинаковость в «оснащении» и на право мужеподобного поведения.

По своим первоначальным качествам американская женщина была достойной и героической спутницей послереволюционного мужчины: одержимой идеей свободы от автократии любого мужчины и преследуемой страхом, что тоска по родине и капитуляция перед каким-нибудь вождем все же могла вынудить ее партнера согласиться на политическое рабство. Мать стала «мамочкой» только тогда, когда отец под воздействием тех же самых исторических разрывов стал «папочкой». Ибо если посмотреть глубже, то «мамизм» - это лишь находящийся не на своем месте патернализм. Американские матери входили в роль дедушек по мере того, как отцы складывали с себя полномочия главы семьи в области воспитания детей и культурной жизни. Послереволюционные потомки Отцов-основателей вынудили своих женщин быть матерями *и* отцами, хотя сами продолжали культивировать роль свободнорожденных сыновей.

Я не берусь оценивать количество эмоциональных расстройств в этой стране. Простая статистика тяжелых психических расстройств оказывается здесь бесполезной. Наши усовершенствованные методы обнаружения и наше миссионерское рвение развиваются параллельно, по

мере того как мы начинаем сознавать проблему, так что трудно сказать, стало ли в сегодняшней Америке больше неврозов или больше возможностей их выявления - или того и другого вместе. Но я, исходя из собственного клинического опыта, осмелился бы сформулировать специфическое качество тех, кто страдает подобными расстройствами. Я бы сказал, что за фасадом гордого чувства автономии и бьющей через край инициативы испытывающий тревогу американец (который часто выглядит менее всего встревоженным) винит свою мать за то, что она сделала его слабым. Отец же, по его утверждению, не имел к этому непосредственного отношения, за исключением тех редких случаев, когда он отличался необычайно суровой внешностью, был старомодным индивидуалистом, нездешним патерналистом или местным «боссом». При психоанализе американского мужчины обычно требуется немало времени, чтобы прорваться к инсайту о существовании раннего периода в жизни, когда отец действительно казался большим и угрожающим. И даже тогда существует лишь весьма слабое чувство специфического соперничества за мать в том виде, как оно стереотипизировано в эдиповом комплексе. Похоже на то, как если бы мать переставала быть объектом ностальгии и чувственной привязанности сына раньше, чем общее развитие инициативы приводило его к соперничеству со «стариком». Затем, после фрагментарного «эдипова комплекса», появляется то затаенное чувство покинутости и разочарованности матерью, которое немым укором присутствует в шизоидном уходе. Вероятно, ребенок чувствовал, что не было смысла регрессировать, так как не к кому было регрессировать; и что бесполезно было вкладывать чувства, потому что ответ был весьма неопределенным. Оставалось только действие и движение, вплоть до момента прерывания. Там же где действие не удавалось, существовали лишь уход и шаблонная улыбка, а потом и психосоматическое расстройство. Однако везде, где наши методы позволяют нам заглянуть еще глубже, за всем этим мы обнаруживаем у американца беспощадное обвинение себя в том, что на самом-то деле, *будучи ребенком, отказался от матери*, поскольку очень спешил стать независимым.

Американский фольклор ярко освещает этот комплекс в его первозданной силе в саге о рождении Джона Генри, цветного железнодорожного рабочего времен строительства Тихоокеанской железной дороги, который, согласно широко известной балладе, впоследствии погиб, пытаясь доказать, что настоящий мужчина способен справиться с любой машиной. Сага о Джоне Генри, не столь хорошо известная как баллада, гласит:

«Когда-то Джон Генри был человеком, но он давно умер. В ту ночь, когда Джон Генри родился, на черном небе горела медно-красная луна. Звезд не было видно, и лил сильный дождь. Зигзаги молний разрывали воздух, а земля тряслась, как лист. Дикие кошки пронзительно кричали в кустарнике, как младенцы, а Миссисипи разлилась на многие мили. Джон Генри весил 44 фунта.

Они не знали, что им делать с Джоном Генри, когда тот родился. Они посмотрели на него, а потом пошли и стали смотреть на реку.

«У него такой бас, как у проповедника», - сказала мать.

«У него плечи, как у рабочего на хлопкопрядильне», - сказал отец.

«У него синие десны, как у колдуна», - сказала няня.

«Я мог бы проповедовать, — сказал Джон Генри, - но я не собираюсь быть проповедником. Я мог бы грузить хлопок, но я не собираюсь быть рабочим на хлопкопрядильне. У меня могут быть синие десны, как у колдуна, но я не собираюсь сводить близкое знакомство с духами. Потому что имя мне - Джон Генри, и когда люди зовут меня по имени, они должны знать, что я просто человек».

«Его зовут Джон Генри, - сказала мать. - Это так».

«И когда ты называешь его по имени, - сказал отец, - он просто человек».

Тут Джон Генри встал на ноги и потянулся. «Ну, - сказал он, - не подошло ли время ужинать?»

«Да уж подошло», - ответила мать.

«И прошло», - добавил отец.

«И давно прошло», - сказала няня.

«Так, - сказал Джон Генри. - А собак покормили?»

«Покормили», - ответила мать.

«Всех собак», - добавил отец.

«Уже давно», - сказала няня.

«Так неужели я хуже собак?» - спросил Джон Генри.

И когда Джон Генри сказал это, его терпение лопнуло. Он улегся обратно в свою кровать и выломал перекладины. Потом открыл рот и завыл так, что от его воя погасла лампа. А потом плюнул, да так, что от этого плевка потух очаг. «Не сердите меня!» - сказал Джон Генри, и раскатисто прогрохотал гром. - «Не заставляйте меня сердиться в тот день, когда я родился, потому что я не отвечаю за себя,

когда сержусь».

Тут Джон Генри встал на пол посередине комнаты и сказал им, что хочет есть. «Принесите мне четыре окорока и полный горшок капусты, - сказал он. - Принесите мне свежей зелени побольше, да еще специй. Принесите мне холодного кукурузного хлеба и остатки горячего соуса, чтобы его смочить. Принесите мне две свиных головы с горохом. Принесите мне полную сковороду горячих сладких лепешек и большой кувшин черной тростниковой патоки. Потому что имя мне - Джон Генри, и я скоро вас навещу». С этими словами Джон Генри вышел из дома и ушел из страны Черной реки [Миссисипи. - *Прим. пер.*], где рождаются все хорошие чернорабочие.» [Roark Bradford, *John Henry*, Harper Bros., New York, 1931.]

Конечно, аналогичные истории существуют и в других странах, от мифа о Геракле до былины о Василии Буслаеве. И все же в этой саге есть специфические особенности, которые, как я считаю, можно назвать типично американскими. Чтобы охарактеризовать используемый здесь особого рода юмор, потребовался бы объективный подход, превышающий мои теперешние возможности. Но что мы должны запомнить в качестве эталона для последующего анализа, так это следующее: Джон Генри начинает жизнь с ужасной досады, ибо ему мешают утолить свой громадный аппетит; он просит: «Не заставляйте меня сердиться в день, когда я родился»; он разрешает дилемму, вскочив на ноги и похваляясь вместимостью своего желудка; он не хочет связывать себя никакой идентичностью, предопределяемой стигматами рождения; и он уходит, чтобы стать человеком, прежде чем делается какая-то попытка дать ему то, что он требовал.

3. Джон Генри

Этот же самый Джон Генри является героем баллады, которая повествует о том, как своей смертью он продемонстрировал триумф живой плоти над машиной:

Cap'n says to John Henry,
«Gonna bring me a steam drill 'round,
Gonna take that steam drill out on the job,
Gonna whop that steel on down,
Lawd, Lawd, gonna whop that steel on down».
John Henry told his cap'n,
Said, «A man ain't nothin but a man,
And befo' I'd let that steam drill beat me down
I'd die with this hammer in my hand,
Lawd, Lawd, I'd die with the hammer in my hand»
[J. A. Lomax and A. Lomax (Eds.), *Folksong U. S. A.*, Duell, Sloan and Pearce, New York, 1947.]

Капитан говорил Джону Генри:
«Вот тебе бурильная машина,
Ты заставь ее как следует работать,
Бур стальной вгони как можно глубже,
Боже, Боже, бур стальной вгони как можно глубже».
Отвечал Джон Генри капитану,
Говорил: «Ведь человек есть только человек,
И до того, как дам сломить себя я той машине,
Я с этим молотом умру в своей руке,
Боже, Боже, я с этим молотом умру в своей руке».

[Предлагая здесь и далее собственные переводы американских народных песен, переводчик стремился передать только смысловое содержание, не касаясь, в силу отсутствия способностей, их поэтической стороны (рифмы, размера, мелодии и т. д.). - *Прим. пер.*]

Мелодия этой баллады, согласно J. A. Lomax и A. Lomax, «имеет корни в шотландской мелодике, ее построение соответствует схемам средневековых народных баллад, а ее содержание - это мужество обыкновенного, простого человека», который верит до самого конца, что человек обладает ценностью только как человек.

Таким образом, Джон Генри - это одна из профессиональных моделей тех бездомных,

скитающихся мужчин на расширяющейся границе, которые смело встречали новые географические и технологические миры, как и подобает мужчинам без груза прошлого. Такой последней сохранившейся моделью, по-видимому, является ковбой, унаследовавший их хвастовство и недовольство, привычку к скитаниям, недоверие личным связям, либидинальную и религиозную концентрацию на пределе выносливости и смелости, зависимость от «животных» («critters») и капризов природы.

Этот простой рабочий люд развил до эмоциональных и социетальных пределов образ человека без корней, образ мужчины, лишенного матери и женщины. Позднее в нашей книге мы покажем, что такой образ - лишь один из специфического множества новых образов, существующих по всему миру; их общим знаменателем является свободнорожденный ребенок, который становится эмансипированным юношей и мужчиной, опровергающим совесть своего отца и тоску по своей матери и покоряющимся только суровым фактам и братской дисциплине. Эти люди хвастались так, как если бы были созданы сильнее самых сильных животных и тверже, чем кованое железо:

«Выросший в лесной глуши, вскормленный белым медведем, с девятью рядами зубов, в шубе из шерсти, со стальными ребрами, железными кишками и хвостом из колючей проволоки, там, где я его протащу, черту делать нечего. У-у-а-а-у-у-а.» [Alfred Henry Lewis, *Wolfville Days*, Frederic A. Stokes Co., New York, 1902. Цит. по B. A. Botkin, *A Treasury of American Folklore*, Crown Publishers, New York, 1944.]

Они предпочитали оставаться безымянными с тем, чтобы можно было быть конденсированным продуктом высшего и низшего во вселенной.

«Я мохнатый, как медведь, головой похож на волка, энергии у меня как у пумы и я могу скалить зубы, как гиена, пока кора будет держаться на смолистом кряже. Во мне всего понемногу: от льва до скунса; и еще до окончания войны вы можете присвоить мне звание зоологического общества, или я пропущу кого-то в своей калькуляции.» [*Colonel Crockett's Exploits and Adventures in Texas*, Written by Himself, 1836.]

Если в этом и есть тотемизм, перенятый у индейцев, здесь также есть фиксация трагической несовместимости: ибо можно достичь соответствия «сегменту природы», идентифицируясь с ним, но если пытаться быть холоднее и тверже машин, если мечтать о железных кишках, то ваш кишечник может повредить вашей репутации.

При обсуждении двух племен американских индейцев мы пришли к выводу, что их особые формы раннего воспитания были хорошо синхронизированы с их образами мира и их экономическими ролями в нем. Только в их мифах, ритуалах и молитвах нашли мы намеки на то, чего им стоила их специфическая форма изгнания из младенческого рая. Есть ли в такой огромной и неоднородной стране, как Америка, какая-то форма народной жизни, которая была бы способна отражать типичные тенденции в ранних отношениях с матерью?

Я думаю, что народная песня в сельскохозяйственных районах является психологическим двойником общинного пения молитв у примитивов. Песни примитивов, как мы уже видели, адресованы сверхъестественным поставщиком (кормильцам): эти народы в своих песнях выражали всю тоску по утраченному раю младенчества, чтобы умолить таких кормильцев при помощи магии слез. Однако, народные песни выражают ностальгию трудового люда, научившегося принуждать почву грубыми орудиями, работая в поте лица своего. О своей тоске по восстанавливаемому домашнему очагу они пели, отдыхая после работы; а часто такое выражение мечты о новом доме в рабочих песнях служило аккомпанементом их тяжелого труда, если не вспомогательным орудием.

В своих «старинных любовных песнях» американская песенная культура в значительной степени унаследовала задушевную глубину европейской народной песни: «Black, black, black is the color of my true love's hair». Но, прежде всего, в этих мелодиях живет память глубоких долин, тихих мельниц и милых девушек Старого Света. В изменяющихся словах народная песня в этой стране умышленно стремится поддерживать то «раздвоение личности», которое значительно позже, в эру джаза, проникает и в мелодию. Что касается расхождения между мелодией и текстом, то оно уже подтверждается предположительно старейшей американской песней - «Springfield Mountain». Самые сентиментальные и благозвучные мелодии могут служить для переложения как самых кровавых, так и самых непочтительных стихов; даже любовные песни имеют тенденцию гасить глубокое чувство. «Если присмотреться повнимательнее, - пишут J. A. Lomax и A. Lomax, - то просто невозможно не заметить два довольно часто выражаемых отношения к любви... Любовь опасна - "она всего лишь мнение, которое под стать выражающим его пустым словам"... Любовь всегда на стороне насмешника, а ухаживание - пустая комедия. Очевидно, те люди, которые не испытывали страха перед индейцами, одиночеством, проходимцами, лесной глушью, свободой, дикими лошадьми, горящей прерией, засухой

и шестизарядным револьвером, боялись любви». [Lomax and Lomax, *op. cit.*]

Таким образом, даже в любовных песнях того времени мы находим не только печаль покинутого (интернациональная тема), но и боязнь связать себя глубоким чувством, дабы не оказаться пойманным и искалеченным «страстной любовью».

Вместо романтизма американская песня в большинстве своем проявляет упорное пристрастие к отталкивающим сторонам нужды, одиночества и тяжелого труда на континенте, который карал тех, кто бросал ему вызов. Особое значение придается животным, вызывающим у человека непосредственную и постоянную досаду и раздражение: «садовым клопам, опоссумам, енотам, петухам, гусям, гончим псам, пересмешникам, гремучим змеям, козлам, свиньям и толстогубым мулам». Использование животных особенно подходит для песен-бессмыслиц и изощренных каламбуров, которые должны были скрывать от строгих стариков и, в то же время, приоткрывать молодым своего рода эротические аллюзии, когда на вечеринках приходилось избегать «невинных» танцевальных па и передавать их смысл хотя бы «словесными па»:

And it's ladies to the center and it's gents around the row,
And we'll rally round the canebrake and shoot the buffalo.
The girls will go to school, the boys will act the fool,
Rally round the barnyard and chase the old gray mule.
Oh, the hawk shot the buzzard and the buzzard shot the crow
And we'll rally round the canebrake and shoot the buffalo.

[(Там же.) Самые легкоуловимые сексуальные коннотации передаются здесь глаголом «to shoot» и выражениями: «to shoot buffalo», «to act the fool», «to chase the old gray mule». Хотя, при соответствующей установке, создаваемой ключевыми словами этой песни, сексуальную окраску приобретают и другие слова и выражения, например, «canebrake», «barnyard» и др. - *Прим. пер.*]

Встаньте леди в середину, джентльмены - в круг,
Мы пойдем в заросли камыша и застрелим бизона.
Девочки ходят в школу, а мальчики валяют дурака,
Собираются на заднем дворе и гоняют старого серого мула.
Ой! Ястреб забил канюка, а канюк забил ворону,
И мы пойдем в заросли камыша и застрелим бизона.

Бессмыслица становится максимально непочтительной, когда имеет дело с ухудшением состояния и концом состарившихся и неподдающихся восстановлению «вещей». В большинстве своем это - животные: «старая серая кобыла», которая «теперь уже не та, что прежде», или «старый красный петух», который «не может кричать кукареку так, как раньше», или серая гусыня тетушки Нэнси:

Go tell Aunt Nancy
Her old gray goose is dead.
The one she's been savin'
To make her feather bed.
The goslin's are mournin'
'Cause their mammy's dead.
She only had one fe-eather, A-stickin'in her head.
[Там же.]

Порадуем тетушку Нэнси:
Гусыня ее умерла,
Чтоб сделать себе перину,
Она ее так берегла!
Гусята кричат безутешно;
Хоть мама их долго жила,
Одно перо на макушке -
Вот все, что она нажила.

Горькая и, в то же время, бесшабашно веселая ирония в этом последнем стишке относится к тем

дням, когда, согласно J. A. Lomax, «перина из гусиного пуха была самой важной принадлежностью для сна, поскольку она убаюкивала вас в своих "объятиях" одновременно укрывая почти полностью». Иногда, однако, бесшабашно радостное избавление открыто связывается с людьми:

My wife, she died, O then, O then,
My wife, she died, O then,
My wife, she died,
And I laughed till I cried,
To think I was single again.
[Там же.]

Моя жена, она мертва, и я опять господин!
Моя жена, она мертва, и я опять господин.
Моя жена, она мертва,
И я смеялся, - смеялся до слез:
Ну надо же, снова один!

Подобная форма хорошо соответствует свободному выражению таких настроений, как «Все! Надоело!» и «Не будь таким серьезным», и поэтому, чтобы открыть истинный дух американских песен, в большинстве своем их нужно петь идя куда-то пешком, танцуя или что-то делая. Здесь вечное движение сливается с веселыми намеками на приемы повседневной работы, выражая кредо американца: веру в волшебное освобождение посредством перемены мест, вещей и занятий.

Ковбойские песни, отражающие одну из последних разновидностей единственного в своем роде и девиантного образа жизни высоко специализированных рабочих границы, показывают совершенный синтез характера работы и эмоциональной экспрессии. Пытаясь укротить брыкающуюся и становящуюся на дыбы полудикую лошадь и следя за тем, как бы не подорвать свое мышечное спокойствие страхом или гневом; проводя свое стадо по горячей и пыльной тропе и заботясь о том, как бы не загнать и не перевозбудить бычков, которые должны быть доставлены на бойню без потери живого веса, ковбой погружался в монотонное пение, из которого и вышли очищенные версии народной песни. С начала и до конца ритм и мотив «горестного стенания ковбоя» остается свидетельством того, что для него нет пути назад. Хорошо известны «выдавливающие слезу» песни ковбоя, который никогда больше не увидит ни мать, ни «дорогую сестру»; или который вернется к возлюбленной лишь для того, чтобы снова оказаться обманутым. Но еще большее распространение в ковбойских песнях получает совершенно неожиданный факт, а именно, что этот «мужчина из мужчин» в своих песнях оказывается в некоторой степени матерью, учителем и нянькой своим «малявкам» [Dogies (собир.) - служит для обозначения всякой мелкой живности, к которой человек испытывает положительное отношение. Ковбои, например, так называют бычков. - *Прим. пер.*], которых он доставлял к месту их ранней смерти:

Your mother was raised away down in Texas
Where the jimpson weed and the sand-burrs grow,
So we'll fill you up on cactus and cholla,
Until you are ready for Idaho.
[M. and T. Johnson, *Early American Songs*, Associated Music Publishers, Inc., 25W. 15th St., New York, 1943.]

Ваша мать выросла далеко от Техаса,
Где растет дурман и репейник,
Поэтому вас мы будем кормить кактусом и колой,
Пока вы не будете готовы для Айдахо.
[В Айдахо находились крупные скотобойни. - *Прим. пер.*]

Он поет успокаивающие песни своим «малявочкам», когда они бегут через раннюю ночь прерий, наполняя ее топотом тысяч маленьких копыт:

Go slow, little dogies, stop milling around,

For I'm tired of your roving all over the ground,
There's grass where you're standin',
So feed kind o'slow,
And you don't have forever to be on the go,
Move slow, little dogies, move slow.
[Из *Singing America.* Использовано с разрешения National Recreation Association, copyright owners, and C. C. Birchard and Co., publishers.]

Помедленнее, мои малявочки, не толпитесь,
Я устал от ваших скитаний по всей равнине,
Вы стоите как раз на лугу,
Так ешьте не спеша,
Вам нельзя все время бежать,
Помедленнее, мои малявочки, помедленнее.

И хотя он протестует, уверяя, что «это ваша беда, а вовсе не моя», ковбой чувствует себя идентифицированным с этими бычками, которых клеймил, кастрировал и пас вплоть до того момента, когда они были готовы к отправке на бойню:

You ain't got no father, you ain't got no mother,
You left them behind when first you did roam,
You ain't got no sister, you ain't got no brother
You're just like a cowboy, a long way from home.
[Johnson, *op. cit.*]

Нет у вас отца, нет у вас матери,
Вы оставили их, когда отправились скитаться,
Нет у вас сестры, нет у вас брата,
Вы совсем как ковбой - всегда вдали от дома.

Американская песня своими мелодиями подтверждает тоску по прошлому, даже если в словах часто выражает нарочитый и упрямый парадокс: отрицание веры в любовь, отрицание потребности в доверии. Таким образом она становится более интимной декларацией независимости.

В Америке образ свободы опирается на доводы того североевропейца, который, убежав от феодальных и религиозных законов, отрекся от своей родины и основал новое государство и конституцию на главном принципе предотвращения возрождения автократии. Конечно, позже этот образ развился в направлениях, совершенно непредсказуемых для первых поселенцев, хотевших лишь восстановить на американской земле Новую Англию, с теми же необычайно привлекательными деревнями, но с бОльшим простором для свободомыслия. Они не могли предвидеть вечный неистовый зов этого континента, который никогда не был чьей-то родиной, но который, со всеми его крайне суровыми мерами воздействия, стал для них деспотичным искусителем. В Америке природа автократична, ибо «она не просит позволения, она - велит». Размеры и суровость страны, а также важность миграции и транспортировки помогли создать и развить идентичность автономии и инициативы, идентичность того, кто «меняет места и работу в надежде на лучшее будущее». В историческом плане, излишне определенное прошлое без особых колебаний отбрасывалось ради неопределенного будущего. В географическом плане миграция была повсеместным явлением. Наконец, в социальном плане шансы и возможности заключались в смелости и удаче, в том, чтобы полностью использовать каналы социальной мобильности.

Тогда вряд ли можно считать случайным совпадением, что психоанализ нашел на самом дне весьма специфическое душевное беспокойство, характерное для комплекса отказа от матери и, одновременно, брошенности ею. В общем, американцы не воспринимают «эту страну» как «родину» в нежном, ностальгическом смысле «страны предков». «Эту страну» они любят почти с горечью и на удивление неромантично и реалистично. Риторика может подчеркивать особое значение тех или иных районов проживания, но более глубокая преданность связывается с добровольными объединениями и возможностями, означающими уровень достижения, а не местную принадлежность. Сегодня, когда существует такой сильный спрос на дома в оборонительно сверхопределенных, чрезмерно

стандартизованных и чрезвычайно ограниченных (по доступности) районах, многие люди испытывают моменты наивысшего облегчения за игровым столом казино, в барах, в автомобиле, в кемпинге или в прицепной кабине трейлера, воображая, будто они ничем не ограничены и вольны оставаться или продолжать движение. Ни в какой другой стране население не путешествует дальше и больше американцев. После войны число ветеранов, решивших начать новую жизнь в местах, отличных от их городских домиков, о которых они мечтали на передовой, оказалось в Америке большим, чем в любой другой стране. Для многих американцев хотя и верно, что «в гостях хорошо, а дома лучше», все же важно, чтобы была возможность взять дом с собой или найти его точную копию за тысячи миль от оригинала. Тот, у кого местожительство лучше всего подходит для того, чтобы оставаться дома, вероятно, путешествует больше всего.

Но овладевая просторами обширного континента, американцы также учились контролировать другого автократа, с которым эти сыновья свободы неожиданно столкнулись, а именно: машину. [В широком смысле слова. - *Прим. пер.*]

Автократию континента и автократию машины обязательно нужно учитывать, когда принимаешься за изучение или критику американских методов детского воспитания, которые, в тенденции, делают ребенка не слишком тоскующим по прошлому и, тем не менее, преданным; автономным и, тем не менее, надежным; индивидуалистичным и, тем не менее, предсказуемым. Утверждение, будто такие методы начинаются с систематического материнского «отвергания», по своей природе не более, чем фольклор, который нужно прослеживать до фактов, порожденных необходимостью, и фантазий, рожденных потребностью; мужчинам и женщинам, желавшим во что бы то ни стало вписываться в образ самосозидаемого человека и самосозидаемой личности, создававшим и «приспосабливавшим» свою эго-идентичность по мере того, как они продвигались к намеченным целям, была практически не нужна опекающая материнская любовь. Более того, когда они получали такую любовь в детском возрасте, позднее приходилось отказываться от признания этого. В тех случаях, когда «мамочка» не существовала, ее приходилось изобретать; ибо историческое значение «хватки» («gripping») в этой стране таково, что мужчина, чтобы встать на ноги в сильно меняющемся мире, должен поддерживать себя за счет собственных сил и способностей (gripes).

Поскольку Джон Генри родился после того, как накормили собак, он и на ноги встал прежде, чем получил свою первую еду. Принимая во внимание континент, на который он вступил, и стоявшие перед ним задачи, его первые часы в этом мире были многозначительными, хотя и экстремальными, по общему согласию. Но что будет делать Джон Генри в двубортном деловом костюме? Что случится с его «железными кишками», когда он будет вынужден служить машинам и окажется увязшим в безликой машинальности современной жизни?

4. Юноша, босс и машина

Юность - это возраст окончательного установления доминирующей позитивной идентичности эго. Именно тогда будущее, в обозримых пределах, становится частью сознательного плана жизни. И именно тогда возникают сомнения, независимо от того, антиципировалось ли это будущее в более ранних ожиданиях или нет.

Проблема, предлагаемая физиологическим созреванием, была убедительно изложена Анной Фрейд. [Anna Freud, *The Ego and the Mechanisms of Defense*, The Hogarth Press and the Institute of Psycho.-Analysis, London, 1937.]

«Физиологический процесс, отмечающий достижение физической половой зрелости, сопровождается стимуляцией инстинктуальных процессов... Агрессивные импульсы усиливаются до полной неуправляемости, голод становится прожорливостью, а озорство латентного периода превращается в криминальное подростковое поведение. Оральные и анальные интересы, долго скрывавшиеся в глубине, вновь выходят на поверхность. Привычки к чистоте и опрятности, с таким трудом приобретаемые в латентный период, уступают место получению удовольствия от грязи и беспорядка, а вместо скромности и отзывчивости мы обнаруживаем склонность к саморекламе, грубость и жестокость по отношению к животным. Характерные реакции, которые, казалось, прочно вошли в структуру эго, грозят разлететься на куски. В то же время старые, давно исчезнувшие стремления возвращаются в сознание. Эдиповы желания реализуются в форме фантазий и грез, в которых они почти не подверглись искажению; у мальчиков идея кастрации, а у девочек зависть к пенису вновь становятся центром интересов. Во вторгающихся силах очень мало новых элементов. Их бешеный натиск просто еще раз выносит на поверхность знакомое содержание ранней инфантильной

сексуальности маленьких детей.»

На этой картине проблема представлена в виде эго индивидуума, которое выглядит оккупируемым, вновь мобилизованным и накопившим значительные силы, «оно» как бы из враждебного внутреннего мира или, скорее, с отдаленной периферии внутреннего мира. Наш интерес направлен на величину и качество той поддержки атакуемого таким образом юношеского эго, какую можно ожидать со стороны внешнего мира людей, как на вопрос о том, получают ли защитные механизмы эго, вместе с развитыми на ранних стадиях фрагментами идентичности, необходимые дополнительные средства к существованию. В это время регрессирующих и растущих, бунтующих и созревающих молодых людей заботит прежде всего то, кто они и каковы они в глазах более широкого круга значимых лиц по сравнению с их собственными представлениями о себе, и как связать ценимые ранее мечты, особенности характера, роли и навыки с профессиональными и половыми прототипами теперешней поры.

Опасность этой стадии - смешение ролей; как Бифф (Biff) сформулировал ее в «Смерти коммивояжера»: «Послушай, ма, я просто не в силах удержаться. Я не могу ухватиться ни за один тип жизни». Там, где такая дилемма основана на сильном предыдущем сомнении по поводу своей этнической или половой идентичности, вовсе не редки делинквентные и откровенно психотические эпизоды. Юноша за юношей, сбитые с толку принятыми ролями, навязанными им неумолимой стандартизацией американской юности, совершают побег в той или иной форме: бросают школу и работу, не возвращаются домой по ночам или уходят в эксцентричные и неприступные настроения. В том случае, когда такой юноша - «делинквент», его сильнейшей нуждой, а часто и единственным спасением является отказ со стороны старших товарищей, консультантов и судейских чиновников дополнительно типизировать его скорыми диагнозами и социальными оценками, игнорирующими особые динамические состояния юношества. Самой большой услугой с их стороны может быть отказ «конфирмовать» юношу в его криминальности. [См.: E. H. and K. T. Erikson, «The Confirmation of the Delinquent», *Chicago Review*, Winter, 1957.]

Среди молодых американцев с рано определившейся идентичностью есть тип тинейджера [Teen-age - находящийся в возрасте от 13 до 19 лет. - *Прим. пер.*] (мужского пола), который я попытаюсь эскизно набросать на фоне его социального окружения. Мой метод - клиническое описание «типа»; но этот молодой человек не пациент, более того - он далек от этого. Фактически он не представляет никакого интереса для психоаналитиков. Возможно, по этой самой причине нам следует найти средства для его вдумчивого изучения; ибо ограничить наше понимание теми, кто отчаянно в нас нуждается, означало бы чрезмерно сузить свой кругозор.

Семья - англосаксонская, умеренные протестанты, из класса служащих. В ней живет интересующий нас тип тинейджера - высокий, худощавый, мускулистый молодой человек. Он робок, особенно с женщинами, и скуп на эмоции, как будто бережет себя для чего-то. Однако его редкие ухмылки показывают, что в основном он доволен собой. Среди сверстников может быть шумным и неистовым; с младшими детьми - добр и осторожен. Его цели нечетко определены: они имеют некоторое отношение к действию и движению. Его идеальные прототипы в мире спорта, по-видимому, соответствуют таким потребностям, как тренированная локомоция, справедливость в агрессии, беззастенчивая самореклама и потенциальная маскулинная сексуальность. Невротическая тревога избегается за счет сосредоточения на ограниченных целях, вписывающихся в рамки закона. Говоря психоаналитическим языком, доминирующим защитным механизмом здесь является самоограничение.

Его мать - до некоторой степени «мамочка». Она может быть резкой, крикливой и карающей. Вероятно, она скорее сексуальна, чем фригидна. Отец же, проявляя необходимую жесткость в делах, робок в близких взаимоотношениях и не рассчитывает на слишком уважительное отношение к себе в семье. Таких родителей в наших историях болезни до сих пор помечают как патогенных, хотя совершенно ясно, что они всего лишь олицетворяют некий культурный шаблон. То, как они повлияют на ребенка, зависит от ряда переменных, не покрываемых существующими клиническими терминами. Что касается матери, демонстрирующей некоторое презрение к мужской слабости, то она больше бранится, чем на самом деле сердится. У нее есть мужской идеал, унаследованный от семьи, в которой она родилась; обычно, это ее отец, и она дает понять своему сыну, что у него есть шанс приблизиться к этому идеалу. Она достаточно мудра (а иногда ленива или довольно равнодушна), чтобы передать его мальчику независимо от того, хочет ли он жить согласно этому идеалу или нет. Но самое важное - ей не свойственна гиперопека. В отличие от матерей, которые побуждают, но не отпускают (они-то и относятся к патогенным, «гиперопекающим» матерям), она чрезмерно не привязывает сына к себе и, обычно, дает своим детям в возрасте от 13 до 19 лет свободу на улице, на спортивной площадке и даже

на затягивающихся иногда до утра вечеринках. Отца уговаривают не волноваться и одолжить его машину или, точнее, «машину», ибо другой у них просто нет. Надо полагать, эта мать уверена в том, как далеко может зайти ее сын в сексуальных отношениях, поскольку, не осознавая этого, она знает, что изгнала первородного дьявола из своего ребенка, когда тот был еще маленьким. В его раннем детстве она осмотрительно ограничивала сексуальную и эмоциональную стимуляцию малыша.

Я уже указывал, насколько определенный недостаток материнской опеки у таких матерей может иметь историческую основу не только в религиозном пуританстве, но и в бессознательном возобновлении исторических условий, в которых сыну было опасно придавать больше значения прошлому, чем будущему; опасно основывать свою идентичность на привязанности к дому, где прошло его детство, и на исключении возможной миграции в поисках лучшей судьбы; опасно даже прослыть «сосунком» вместо обретения статуса человека, научившегося переносить, в известных пределах, лишения и одиночество.

Обсудили мы и развитие базисного телесного сознания (basic body feeling) из взаимного регулирования в системе «мать - ребенок». Части тела ощущаются как «мои» и «хорошие» в той степени, в какой раннее окружение ребенка сначала берет их под свою опеку, а затем, с должными коннотациями, постепенно препоручает их собственным заботам малыша. Области сильнейшего конфликта остаются областями, резко разъединенными с телесным сознанием, а позднее с идентичностью индивидуума. Они остаются беспокоящими областями в быстро растущем теле подростка, заставляющими его испытывать чрезмерный интерес к ним, смущение и периоды утраты контакта с органами своего собственного тела. Несомненно, что этот подросток в своих самых интимных чувствах отделен от его половых органов; их все время называли «private» [Здесь обыгрывается омонимия английского слова private: 1) privates - половые органы; 2) private - личный, частный; 3) private - тайный, секретный. - *Прим. пер.*], но не в том смысле, что они были его частной собственностью, а скорее потому, что даже для него они были слишком секретными, чтобы их касаться. Ему грозили - рано и почти небрежно - утратой половых органов; и в соответствии с общим ограничением эго - своим излюбленным механизмом защиты - он отделил себя от них. Конечно, он не сознает этого. Энергичные физические упражнения помогают ему сохранять образ тела интактным и дают возможность пережить свою интрузивность в спортивных соревнованиях.

Качество автономии эго, как мы уже говорили, зависит от согласованного определения личных привилегий и обязанностей в детской комнате. В кильватере последних событий, затрагивающих нашего подростка, всякого рода факторы ослабляли оковы привилегий и обязанностей, в согласии и борьбе с которыми ребенок и может развивать свою автономию. Среди таких факторов - уменьшение размера наших семей и ранняя дрессура кишечника. Большая группа братьев и сестер способна позаботиться о надлежащей самоорганизации, и, действительно, существует выполнимое равенство в распределении привилегий и обязанностей для «слишком маленьких» и «уже достаточно больших». Большая семья, используемая для этой цели, служит хорошей школой демократии, особенно если родители постепенно приучаются ограничивать себя твердой позицией консультанта. Малые семьи, наоборот, подчеркивают такие различия, как пол и возраст. Следуя моде на раннее приучение к чистоплотности, аккуратности и пунктуальности, отдельные матери в малых семьях нередко ведут с каждым ребенком по очереди настоящую партизанскую войну, основанную на хитрости, запугивании и стойкости сторон. В свое время мать нашего героя решительно присоединялась к научному лозунгу: лучше всего «вырабатывать условные рефлексы» у ребенка как можно раньше, *до того,* как это дело может осложниться его мышечной амбивалентностью. Для нее имело смысл надеяться, что раннее воспитание приведет к автоматической уступчивости и максимальной эффективности с минимумом трений. В конце концов, действует же этот метод на собаках. С психологией «бихевиориста» ее поры, она не приняла во внимание одно обстоятельство: собак дрессируют, чтобы они отслужили свой срок человеку и умирали; им не нужно будет объяснять своим щенкам то, что им объясняли их хозяева. Дети же должны, в конечном счете, воспитывать своих собственных детей, и всякое обеднение их импульсивной жизни, с целью избежать трений, должно рассматриваться как возможная подверженность целого ряда поколений различным жизненным осложнениям. Поколения будут зависеть от способности каждого производящего потомство индивида смотреть в лицо детям с сознанием того, что он смог уберечь витальный энтузиазм от конфликтов своего детства. Фактически, принципы раннего воспитания не работают гладко с самого начала, ибо требуют неослабных усилий со стороны родителей; в итоге воспитание оказывается дрессурой родителя, скорее чем дрессурой ребенка.

Таким образом, наш мальчик обрел «регулярность», но при этом выучился ассоциировать еду и стул с беспокойством и поспешностью. Его запоздалая кампания за телесную автономию началась

поэтому в условиях, вызывающих смущение и замешательство, и это при наличии у него исходного дефицита способности выбирать, поскольку его сфера контроля была захвачена еще до того, как он мог возражать или соглашаться благодаря разумно свободному выбору. Я хотел бы со всей серьезностью заявить о том, что раннее приучение к туалету и другие мероприятия, изобретаемые для формирования условно-рефлекторных реакций у ребенка до появления у него способности к саморегуляции, возможно, образуют самую сомнительную традицию в воспитании детей, которым впоследствии предстоит решительно и свободно изъявлять свою волю в качестве граждан. Именно здесь машинный идеал «функционирования без трения» вторгался в демократическую среду Значительная доля политической апатии может иметь свой источник в том общем ощущении, что все вопросы, казалось бы оставляющие выбор, так или иначе уже решены заранее - и такое действительно случается, когда влиятельные группы электората уступают этому ощущению, поскольку усвоили взгляд на мир как на место, где взрослые говорят о выборе, но «улаживают» дела таким образом, чтобы избежать явных трений.

Что касается так называемой «эдиповой стадии», когда «ребенок идентифицируется с супер-эго родителей», здесь важнее всего, чтобы супер-эго вносило максимум коллективного смысла исходя из идеалов дня. Супер-эго довольно плохо подходит на роль простого регулятора, ибо оно навсегда сохраняет в душе связь «большого-и-сердитого взрослого» и «маленького-но-плохого ребенка». Патриархальная эпоха эксплуатировала универсальный эволюционный факт интериоризованного и бессознательного морального «правительства» вполне определенными способами, тогда как другие эпохи использовали его иначе. Отцовская эксплуатация по всей вероятности ведет к подавленным чувствам вины и страха кастрации в результате бунта против отца; материнская же сосредоточивается на чувствах обоюдного разрушения и взаимной покинутости. В таком случае, каждая эпоха должна находить свой способ обращения с супер-эго как универсально данной потенциальностью для внутреннего, автоматического сохранения универсальной внешней дистанции между взрослым и ребенком. Чем более идиосинкразично это отношение и чем менее адекватно родитель отражает изменяющиеся культурные прототипы и институты, тем глубже будет конфликт между эго-идентичностью и супер-эго.

Однако самоограничение избавляет нашего мальчика от многих нравственных мук и терзаний. Скорее всего, он в хороших отношениях со своим супер-эго и сохраняет их в отрочестве и юности благодаря искусному устройству американской жизни, которая рассеивает идеал отца. Мужской идеал мальчика редко связывается с его отцом (каким он предстает в повседневной жизни). Обычно - это дядя или друг семьи, если не дедушка, причем в том виде, как их преподносит ему (часто неосознанно) его мать.

Дедушка, сильный духом и телом мужчина (в полном соответствии с широко распространенным американским идеалом, или, иначе говоря, еще одна смесь факта и вымысла), всю жизнь искал новых и сложных дел в совершенно самостоятельных и отдаленных областях и регионах. Когда исходный вызов бывал удовлетворен и дело налажено, он передавал его другим и двигался дальше. Жена видела его только по случаю зачатия (очередного) ребенка. Сыновья не могли угнаться за ним и оставлялись «на обочине», как респектабельные поселенцы. Лишь дочь могла сравниться с ним, да и внешне походила на него. Однако ее весьма выраженная маскулинная идентификация не позволяла ей взять в мужья человека столь же сильного, как ее могучий отец. Обычно она выходила за того, кто в сравнении с отцом казался слабым, зато был верным и остепенившимся. Но сама, во многих отношениях, рассуждала и говорила как дед, даже не представляя, сколь упорно она принижает оседлого отца своих детей и порицает недостаточную мобильность семьи - географическую и социальную. Тем самым она создает у сына конфликт между оседлыми привычками, формируемыми по ее настоянию, и дерзкими, авантюристическими чертами характера, которые сама же и поощряет его развивать. Во всяком случае, ранний «эдипов» образ - огромного и всесильного отца и владельца матери ассоциируется с мифом о дедушке. Оба становятся глубоко бессознательными и остаются таковыми при доминирующей потребности научиться тому, как быть справедливым братом, ограниченным и ограничивающим в правах, но вместе с тем жизнеспособным и оказывающим поддержку. Отец в известной степени освобождается от обид и возмущения сына, если только он, конечно, не оказывается «устаревшим», отчужденным или относящимся скорее к разряду «боссов». И, если это не так, он тоже становится скорее старшим братом, чем отцом. Таким образом, значительная доля сексуального соперничества, подобно сексуальности вообще, исключалась из сознавания.

Эти мальчики, насколько я помню, уже в раннем подростковом возрасте довольно высоки, часто выше своих отцов. И над этим они немного снисходительно подшучивают. Фактически, кажется, что в

Америке между отцом и сыном развивается нечто похожее на «отношения подшучивания» у индейцев. Такое подшучивание часто направляется на ту пограничную область поведения, где можно надеяться «выйти сухим из воды», то есть ускользнуть от бдительных глаз матери. Это создает прочную взаимную идентификацию, помогающую избежать любой открытой оппозиции и любого явного конфликта намерений. Сновидения мальчиков указывают на то, что их физическая удаль и независимая идентичность пробуждают в них тревогу: ибо в то время, когда они были маленькими, они боялись тех же самых отцов, казавшихся тогда такими мудрыми и могущественными. Образно говоря, они как бы балансировали на туго натянутой проволоке. В том случае, если они сильнее своих реальных отцов или в чем-то серьезно расходятся с ними, они будут жить согласно тайным идеалам или, на самом-то деле, согласно ожиданиям своих матерей; но стоит им только как-нибудь показать, что они слабее того всемогущего отца (или деда), который запечатлен в образе их детства, они освобождаются от тревоги. Таким образом, хотя они и становятся хвастливыми и жестокими в одном, но могут быть на удивление добрыми и прощающими в другом.

Когда отец заинтересован в развитии инициативы сына, общее согласие между ними побуждает его также проявлять сдержанность там, где ему, возможно, приходится спорить с ним. В связи с этим, будущему придается особое значение по сравнению с прошлым. Если сыновья в своем групповом поведении, по-видимому, устремляются в погоню за еще одной степенью американизации, то долг отца - позволить им действовать по своему. Фактически, из-за их большей близости ритму современной жизни и техническим проблемам ближайшего будущего, дети в некотором смысле «мудрее» родителей, и действительно, многие дети обнаруживают больше зрелости во взглядах на проблемы повседневной жизни, чем их родители. Отец таких мальчиков не прячет свою относительную слабость под маской надутых патриархальных претензий. Если он разделяет с сыном восхищение каким-то идеальным типом, будь то бейсболист, промышленник, комик, ученый или мастер родео, потребность сына походить на идеал акцентируется без отягощения ее проблемой поражения отца. Если отец играет с сыном в бейсбол, то вовсе не для того, чтобы произвести на него впечатление, будто он, отец, приближается к совершенству широко популярного идеального типа (ибо, вероятнее всего, он к нему не приближается); скорее, он играет с сыном, чтобы показать, что в этой игре они оба идентифицируются с таким типом и что у мальчика всегда есть желанный для обоих шанс больше приблизиться к идеалу, чем это удалось сделать его отцу.

Все сказанное отнюдь не исключает того, что отец обладает потенциалом настоящего мужчины, однако он проявляет его преимущественно вне дома: в делах, в автопутешествиях и в своем клубе. По мере того как сын начинает узнавать об этой стороне жизни отца, его сыновья привязанность окрашивается новым, почти изумленным уважением к нему. Между отцом и сыном возникают дружеские отношения.

Тем самым братские образы - смело или робко - заполняют щели, оставляемые распадающимся патернализмом; отцы и сыновья бессознательно содействуют развитию отношений братства, которые, вероятно, опережают противодействующее возвращение более патриархальных эдиповых отношений, не приводя, с другой стороны, к общему обеднению взаимоотношений между отцом и сыном. [У психоаналитических пациентов непреодолимое значение дедушки часто не вызывает сомнений. Возможно, он был кузнецом Старого света или строил железную дорогу в Новом свете, был гордым иудеем или не признавшим реконструкцию Юга жителем южных штатов. Общая особенность всех этих дедушек состоит в том, что они были последними представителями более гомогенного мира, властными и жестокими без малейших угрызений совести, дисциплинированными и набожными без потери самоуважения. Их мир изобрел более крупные и сильные машины, наподобие гигантских игрушек, которые, как ожидалось, не будут оспаривать социальную ценность своих создателей. Их ощущение собственной власти и правоты сохраняется у внуков в виде упрямого, воспаленного чувства превосходства. Неспособные, в отличие от дедов, откровенно выражать свои чувства и желания и следовать им во что бы то ни стало, они однако могут относиться благосклонно к другим только на условиях заранее оговоренной привилегии.]

Каким образом семья готовит этого мальчика к демократии? Если понять этот вопрос слишком буквально, едва ли кто-то осмелится на него ответить. У мальчика нет никакого политического сознания. Фактически, он даже не знает ничего похожего на негодование в том позитивном смысле, когда человек начинает остро сознавать нарушение какого-то принципа, за исключением возмущения нечестностью. В начале жизни она принимает форму ощущения, что у него хитростью выманивают «право первородства», когда старшие и младшие братья и сестры, исходя из своего более высокого или низкого положения в семье, требуют особых привилегий. Болезненно усваивая меру долга и

привилегий, связанных с силой и слабостью, он становится заядлым спорщиком по поводу честности-нечестности, преимущественно в спортивных играх, и это единственный предмет, который мог бы вызвать точную копию негодования - ну, и конечно же любого рода «боссизм». [Неологизм, образованный от англ. boss (хозяин), для обозначения склонности людей определенного типа командовать другими и распоряжаться всем и вся как своей собственностью. - *Прим. пер.*]

«Никто не в праве так обращаться со мной» - вот лозунг такого протеста. Это - двойник более героической чести или достоинства, прямоты или честности жителей других стран. Хотя наш мальчик может с усмешкой присоединиться к некоторым намекам на более низкое происхождение или положение, на самом деле ему несвойственна нетерпимость: большей частью его жизнь слишком защищена и «ограничена», чтобы поставить его перед личным решением этой проблемы. В тех случаях, когда он все же сталкивается с подобной проблемой, то решает ее, опираясь на понятие дружбы, а не гражданства. Ведь это привилегия, а вовсе не долг - благосклонно относится к любому приятелю. Что касается «общего гражданства», то он постигает концепцию поведения школы, которая руководствуется этим названием, однако он не связывает его с политикой. В других отношениях он более или менее сомнамбулически движется в лабиринте неопределенных привилегий, лицензий, обязательств и обязанностей. Ему хочется неопределенного, общего успеха, и он счастлив, если может добиться его честно, или хотя бы не сознавая нечестности. В этой связи нужно сказать, что наш мальчик, обычно по невнимательности и из-за ограниченного видения, а часто по легкомыслию, причиняет огромный вред его менее удачливым, но более темнокожим сверстникам, которым отказывает от дома, исключает их из своей клики и не подпускает к себе, поскольку смотреть им в лицо и считаться с ними как с реально существующими людьми означало бы для него иметь постоянный источник смутного беспокойства. Он игнорирует их, хотя мог бы содействовать их участию в американской идентичности, относясь более серьезно к простому социальному принципу: раз никто не вправе так обращаться со мной, то никто не должен так обращаться ни с кем другим.

Однако я смею утверждать, что семейная жизнь этого мальчика скрывает в себе больше демократии, чем кажется на первый взгляд. Возможно, она не отражает демократии исторических трудов и газетных передовиц, зато отражает ряд тенденций, характеризующих демократический процесс как он есть, с его светлыми и темными сторонами и перспективами развития. Я должен здесь указать на одну из тех конфигурационных аналогий между семейной жизнью и национальными нравами, которые с трудом укладываются в какую-то теоретическую систему, но кажутся в высшей степени релевантными.

«В настоящее время неписанное, но твердое правило Конгресса состоит в том, что при обычных обстоятельствах ни один важный блок никогда не будет провален при голосовании по любому вопросу, затрагивающему его собственные жизненные интересы». [John Fischer, «Unwritten Rules of American Politics», *Harper's Magazine*, 197: 27-36, November, 1948.] Эта формулировка относится, конечно, к политическим интересам различных групп (аграрному блоку, финансовому, лейбористскому и т. д.), которые используют двухпартийную поляризацию - и сами пользуются ею. Время от времени они способствуют продвижению позитивного законопроекта, но чаще - что иногда гораздо важнее - предотвращают появление нежелательного закона. Возможно, что в результате позитивного законотворчества получится хороший закон, однако он прежде всего не должен быть неприемлемым для любых важных блоков (так же как кандидат в президенты *может* быть потенциально великим человеком, но при этом *должен* быть человеком, приемлемым для любого крупного блока избирателей). Этот принцип не только удерживает любую группу от абсолютного господства, но и спасает каждую из них от попадания в полное подчинение.

Подобным же образом американская семья склонна стоять на страже права каждого ее члена, включая родителей, на соблюдение своих жизненных интересов. Фактически каждый член семьи по мере того как он взрослеет и изменяется, отражает разнообразие внешних групп и их изменяющихся интересов и потребностей, именно, профессиональной группы отца, клуба матери, подростковой клики и первых друзей их детей. Интересы этих групп определяют границы привилегий индивидуума в его семье; и эти же группы выступают в качестве судей данной семьи. Чувствительным приемником изменяющихся стилей жизни в округе и чувствительным арбитром их столкновения в доме является, конечно, мать. И я полагаю, что эта необходимость выполнять функцию семейного арбитра служит еще одной причиной, почему американская мать инстинктивно боится окружать своих детей наивной животной любовью, которая, при всей своей безыскусственности, способна быть такой избирательной и несправедливой, и которая, прежде всего, может ослабить решимость ребенка искать общества равных себе сверстников, чего семья не в состоянии ему обеспечить, да и не должна этого делать. Мать

остается, в известном смысле, выше партий и интересов; дело обстоит так, как если бы ей приходилось присматривать за тем, чтобы каждая партия и каждый интерес развивались как можно сильнее, - до тех пор, пока она не будет вынуждена наложить вето на интерес кого-то из членов семьи или на интересы семьи в целом. В таком случае здесь мы должны надеяться найти рациональное обоснование множества форм деятельности и бездействия: они представляют собой не столько то, что каждому хочется делать, сколько то, что из всего доступного арсенала действий в наименьшей степени вызывает протест любого имеющего к этому отношение. Конечно, подобное внутреннее соглашение легко нарушается любой демонстрацией законного имущественного права, особого интереса или интереса меньшинства, и именно по этой причине ведется множество мелких споров всякий раз, когда интересы сталкиваются. Семья добивается успеха, когда решение спорного вопроса доводится до достижения «согласия большинства», даже если оно дается без особого желания; оно постепенно подрывается частыми решениями в пользу интересов одной группы, будь то родители или дети. Эти взаимные уступки сокращают до крайней степени деление семьи на неравных партнеров, которые могут требовать привилегий на основании возраста, силы, слабости или добродетели. Вместо этого семья становится тренировочной площадкой для выработки терпимости к различным *интересам,* - но не к различным *людям*; симпатия и любовь имеют с этим мало общего. Фактически, как открыто любящего, так и откровенно ненавидящего удерживают от «выяснения отношений», ибо и то, и другое могло бы ослабить равновесие семьи и шансы каждого ее члена: важнее всего - накапливать притязания на будущую привилегию, могущие быть оправданными на основе прошлых уступок.

Значение этого механизма, конечно, целиком заключается в автоматическом предотвращении автократии и неравенства. Американская семья воспитывает, в целом, лишенных диктаторских замашек людей, готовых вести торг и, кроме того, пойти на компромисс. Этот механизм исключает полную безответственность и делает редкими открытую ненависть и войну в семьях. Он также полностью исключает для американского юноши возможность стать тем, кем его братья и сестры в других крупных странах становятся с такой легкостью - не идущим на компромиссы идеологом. Никто не может быть абсолютно уверен в своей правоте, но каждый должен идти на компромисс - ради своего шанса в будущем.

Здесь существует прозрачная аналогия с двухпартийной системой: американская политика не является, как это имеет место в Европе, «прелюдией гражданской войны»; она не может стать ни полностью безответственной, ни абсолютно диктаторской; и она не должна пытаться быть логичной. Это - зыбкое море остановок и равновесий, в котором должны тонуть бескомпромиссные абсолюты. Опасность в том, что такие абсолюты могут быть потоплены в приемлемых для всех банальностях, а не в продуктивном компромиссе. В семьях соответствующая опасность состоит в том, что интересы, которые не являются неприемлемыми для всей семьи, становятся областями настолько свободными от реальных разногласий, что семейная жизнь оказывается институтом для параллельных грез наяву, где каждый член семьи настраивается на свою излюбленную радиопрограмму или укрывается за журналом, представляющим его интересы. Общий низкий тонус взаимной ответственности может лишить модель «согласия большинства» ее исходного протеста и, следовательно, ее титула.

В то время как в Европе юность обычно приводила к конфликту с отцом и к неизбежности бунта или подчинения (либо, как мы увидим в главе о Германии, сначала бунта, а затем подчинения), в американской семье, в целом, нет никакой необходимости в таком напряжении сил. Юношеские отклонения в поведении молодого американца не затрагивают, по крайне мере открыто, ни отца, ни проблему власти, а сосредотачиваются скорее на его сверстниках. Молодому человеку присуща делинквентная жилка, как и его деду в те дни, когда законы отсутствовали или не работали. Она может выражаться в неожиданных поступках, например, в опасном вождении машины или легкомысленном разрушении и порче чужого имущества - индивидуальной копии массового разграбления континента. Это неожиданно контрастирует с защитными механизмами аскетического самоограничения - пока не осознаешь, что проявляемая время от времени крайняя легкомысленность есть необходимое дополнение и предохранительный клапан самоограничения. И легкомысленность, и самоограничение «дают ощущение» самоинициированных; они подчеркивают тот факт, что босса-то нет, и значит нет надобности раздумывать. Наш молодой человек - антиинтеллектуал. Всякий, кто думает или переживает слишком много, кажется ему «подозрительным». Эта нелюбовь к чувству и мысли, в известной степени, производна от раннего недоверия чувственности. Она означает некоторую атрофию американского юноши в этой сфере и, кроме того, выступает типичным проявлением общей экспериментальности, нежелания погружаться в размышления и принимать решение до тех пор, пока результаты свободного исследования ряда шансов, возможно, не заставят его задуматься.

Если этот молодой человек посещает церковь и, как я предполагаю, является протестантом, то он находит среду, не предъявляющую высоких требований к его способности проникаться настроением проклятия или спасения, или даже простого благочестия. В жизни церкви он должен подтверждать себя открытым поведением, которое наглядно показывает послушание через самоограничение, таким образом заслуживая членство в братстве всех тех, чьи благо и удачу на земле узаконивает сам Господь Бог. Тогда принадлежность к церковной общине только облегчает положение, поскольку одновременно дает более или менее ясное определение социального статуса и статуса доверия в округе. И здесь социологи в своей несколько наивной и сухой критике «американской классовой системы», по-видимому, иногда упускают из виду существование в Америке исторической необходимости обретения в жизни округи и церковного прихода простора для форм деятельности, приемлемых для всех затрагиваемых ими индивидуумов. Что, в свою очередь, требует некоего изначального принципа отбора, достижения определенного единообразия. Без этого демократия просто не могла бы работать в США. Но социологи правы, указывая на то, что все же слишком часто членство в группах с более или менее ограниченным доступом, сектантство и идолопоклонничество, приводят к замыканию в скорлупе братского объединения, где скорее еще больше злоупотребляют привычками семейной жизни, чем взращивают какой-либо политический или духовный плод.

Церковная община становится фригидной и наказующей «мамочкой», а Бог - «папочкой», который под давлением общественности не в силах уклониться от обеспечения тех его детей, что оказываются достойными благодаря самоограничительному поведению, и соблюдению внешних приличий; тогда как первейшая обязанность братии - доказывать свою «платежеспособность» посредством соблюдения умеренности в обращении друг с другом и направления более энергичной тактики на «чужих».

Обсуждаемый здесь тип юноши не является и никогда не будет истинным индивидуалистом. Кроме того, было бы трудно указать любого подлинного индивидуалиста в пределах зоны его личного опыта, - если только им не окажется миф об отце его матери. Однако образ деда предается забвению, самосжимаясь с ходом времени, или, в лучшем случае, удерживается в состоянии ожидания до того дня, когда, став взрослыми мужчинами, эти юноши, возможно, сделаются «боссами», хозяевами чего-либо или кого-либо.

С такой индивидуалистической сердцевиной, осложненной к тому же ее передачей через мать, наш юноша не выносит профессиональных видов индивидуализма, проявляемого писателями и политиками. И не доверяет ни тем, ни другим - ибо они заставляют его испытывать неловкость, как если бы напоминали о чем-то таком, что ему нужно было сделать, но что конкретно - никак не вспомнить. Он не испытал или, точнее, не сталкивался ни с какой автократией, за исключением автократии собственной матери, которая к этому времени стала для него мамочкой в первоначальном и более сердечном смысле слова. Если же он и обижался на нее, то пытался это забыть.

Он сознает, что его старшая сестра, - стройная, элегантная и уравновешенная, - в присутствии матери при случае испытывает почти физическое недомогание. И он не может понять, почему; но тогда это относится к области женских причуд, которые он осторожно обходит стороной. Он не знает и не хочет знать о бремени, которое сестра должна нести, становясь женщиной и матерью, но при этом избегая походить на одну женщину - собственную мать. Ибо она должна быть женщиной своего времени, обязанной всем самой себе; должна прокладывать себе дорогу в товарищеском соперничестве со всеми другими девушками, которые создают новые нормы и, в свою очередь, создаются ими. Маргарет Мид впечатляюще описала выпавшую на долю этих девушек тяжелую задачу, а именно, в полной мере сберечь сердечную теплоту и сексуальную отзывчивость на протяжении всех лет соблюдения рассчитанных приличий, когда даже естественность по случаю должна быть показной. [Margaret Mead, *Male and Female*, William Morrow and Co., New York, 1949.] Кризис сестры обычно наступает, когда она становится матерью и когда перипетии воспитания ребенка по необходимости приводят к заметной инфантильной идентификации с ее матерью. «Мамочки» в ней гораздо меньше, чем было в ее собственной матери; будет ли этот остаток иметь решающее значение, зависит от места проживания, социального класса и типа мужа.

Далее, американский юноша, подобно юношам всех стран, вступивших или вступающих в машинную эру, сталкивается с вопросом: свобода для чего? и какой ценой? Американец чувствует себя настолько богатым в том, что касается возможностей свободного самовыражения, что часто уже не знает, от чего он свободен. Не знает и того, где он не свободен; ибо не узнает своих местных автократов, когда встречается с ними. Он слишком озабочен тем, чтобы быть умелым и приличным.

Этот юноша обычно становится эффективным и порядочным лидером в работе со строго

очерченными функциями, хорошим менеджером или специалистом и хорошим чиновником, и, в основном, проводит время в развлечениях с «ребятами» из тех организаций, к которым принадлежит. Как образец, он служит иллюстрацией того, что хоть в военное, хоть в мирное время плод американского воспитания можно узнать по сочетанию природных технических способностей, управленческой автономии, персонифицированного лидерства и ненавязчивой терпимости. Эти молодые мужчины поистине служат становым хребтом Америки.

Но разве они, как мужчины, не относятся на удивление безразлично к борьбе за высшую власть в нашей стране? Разве эти свободнорожденные сыновья не склонны быть необыкновенно наивными, откровенно оптимистичными и болезненно сдержанными в своих деловых отношениях с теми, кто управляет ими? Они знают, как взяться за ограниченную задачу, могут пошуметь во время кутежа, но, в целом, почтительно сторонятся величины, независимо от того, выражается ли она в долларах или громких словах. Они (теоретически) ненавидят автократов, но терпят «боссизм», поскольку обычно не способны провести различие между боссом и «боссом». Мы уже неоднократно упоминали эту категорию, и теперь самое время открыто заявить о том, что есть босс и «босс», так же как есть мамочка и «мамочка». Мы используем оба слова без кавычек в их более разговорном и более любящем смысле, как *моя мамочка и мой хозяин (босс)*; тогда как кавычками обозначаем «мамочек», способствующих «мамизму», о котором уже говорилось, и «боссов», придающих силу «боссизму», о котором мы теперь должны сказать несколько слов.

Дело в том, что старые автократы исчезли, а новые знают как прятаться за двусмысленностью языка, наполняющей законодательные органы и ежедневную прессу, производственные споры и официальные приемы. «Боссы» - это создавшие сами себя автократы, и поэтому они считают себя и друг друга венцом демократии. В меру необходимости «босс» остается в рамках закона, а при малейшей возможности смело вторгается в пустое пространство, оставляемое эмансипированными сыновьями в их стремлении ограничиваться справедливостью в отношениях с другими. Он выискивает области, где закон умышленно не отмечен на карте (чтобы оставить возможность для задержек, балансов и поправок) и пытается пользоваться и злоупотреблять этим в своих целях. Он единственный, кто, говоря на языке автомобилистов, обгоняет и подрезает там, где другие оставляют немного пространства из соображений вежливости и безопасности.

Вовсе не дело вкуса или простой принцип заставляют меня присоединиться к тем, кто говорит об угрозе «боссизма». Я подхожу к этому вопросу с точки зрения психологического хозяйства. Как я убедился, «боссы» и «машины» угрожают американской идентичности, а тем самым и психическому здоровью населения этой страны. Ибо они являют собой для эмансипированных поколений, характеризующихся поисковой, экспериментальной идентичностью, идеал автократии безответственности. В них видят явно успешную модель «того, кто отмеряет себе исключительно по "деяниям", по умению выйти сухим из воды и способности производить впечатление на других». Чистое «функционирование» они превращают в ценность, стоящую над всеми остальными ценностями. Обладая возможностями автократической власти в законодательных органах, промышленности, прессе и мире развлечений, они осознанно и неосознанно используют высший аппарат (superior machinery), чтобы обвести вокруг пальца сыновей демократии. Они процветают на сложности "машины", устройство которой умышленно сохраняется усложненным и запутанным, чтобы она могла оставаться зависимой от упорных профессионалов и экспертов по «кратчайшему пути к успеху». То, что эти люди сами работают как машины, - это предмет заботы их врача, психиатра или владельца похоронного бюро. Но то, что они смотрят на мир как на машину и управляют людьми как машинами, представляет опасность для человека.

Взять хотя бы нашего юношу. В раннем детстве ему пришлось столкнуться с воспитанием, нацеленным на то, что бы сделать его машиноподобным и точным как часы. Несмотря на подобную стандартизацию, он нашел возможности - в более позднем детстве - развить автономию, инициативность и трудолюбие, надеясь, что порядочность в человеческих отношениях, квалифицированность в специальных вопросах и знание фактов обеспечат ему свободу выбора в его поисках, а идентичность свободного выбора будет уравновешиваться его самопринуждением. Однако как юноша и как человек, он оказывается лицом к лицу перед превосходящими по силам «машинами», сложными, непонятными и бесстрастно диктаторскими в своих возможностях стандартизации его стремлений и вкусов. Эти «машины» работают на полную мощность, чтобы превратить его в потребительского идиота, беспечного эгоиста и раба эффективности - просто предлагая ему то, чего он сам, казалось бы, требует. Нередко он остается недоступным и сохраняет свою неприкосновенность, что в значительной степени будет зависеть от жены, которую он, как говорится, выбирает. В противном

случае, кем еще он может стать, кроме как ребячливым джойнером [Членом различных клубов и организаций, как правило, несерьезного характера. - *Прим. пер.*] или циничным мелким боссом, пытающимся выведать «секреты» боссов покрупнее, - или же невротиком, психосоматическим больным?

Тогда ради своего эмоционального здоровья демократия не вправе позволить существующему положению дел развиться до такой стадии, когда смышленая, гордая своей независимостью и горящая инициативой молодежь должна оставлять вопросы законодательства, права и международных отношений, не говоря уже о проблемах войны и мира, на долю «посвященных» и «боссов».. Американская молодежь способна в полной мере обрести свою идентичность и жизнеспособность лишь полностью сознавая автократические тенденции в этой и любой другой стране, когда они то и дело всплывают на поверхность из глубин меняющейся истории. И не только потому, что политическая совесть не может регрессировать без катастрофических последствий, но и потому, что политические идеалы составляют неотъемлемую часть развития в структуре совести, которое, при их игнорировании, неизбежно ведет к нездоровью.

Когда мы рассматриваем вопрос о том, каковы неизбежные последствия специфических опасностей, угрожающих эмоциональному состоянию американского народа, наше внимание привлекают две тенденции - «мамизм» и «боссизм», которые узурпировали место патернализма: «мамизм» в альянсе с автократической суровостью нового континента, а «боссизм» в союзе с автократией машины и «машин».

Психиатрическое просвещение начало разоблачать свойственный американцам предрассудок, будто для того чтобы управлять машиной, нужно самому стать машиной, а чтобы воспитать хозяев машины, необходимо механизировать импульсы детства. Но хорошо бы еще уяснить, что гуманизация раннего детства в том виде, как ее проводят просвещенные акушеры и педиатры, должна иметь своего двойника в политическом омоложении. Стоящим у власти мужчинам и женщинам нужно приложить все силы, чтобы преодолеть прочно укоренившуюся концепцию, будто человек, ради собственного блага, должен быть подвержен воздействию «машин» в политике, бизнесе, образовании и даже развлечениях. Американские юноши глубоко верят в действительно свободное предпринимательство; при средней уверенности они предпочитают рискнуть один раз по-крупному, чем сто раз рисковать по мелочам. Сам факт, что по той же самой причине они не замышляют бунта (так как, по-видимому, опасаются тех, кто заставил бы замолчать их источники информации), обязывает нас защищать молодежь против положения дел, которое может их жесты свободных людей заставить казаться притворными, а их веру в человека сделать иллюзорной и бездейственной.

Вопрос нашего времени заключается в том, каким образом наши сыновья могут сохранить свободу и разделить ее с теми, кого они должны считать равными исходя из новой технологии и более универсальной идентичности? В связи с этим, власть имущим совершенно необходимо отдать абсолютный приоритет (над прецедентом и обстоятельствами, конвенцией и привилегиями) единственному усилию, которое может сохранить демократическую страну здоровой: попытке «призвать потенциальный интеллект молодого поколения» (Паррингтон).

Я представил несколько эскизных набросков дилеммы внуков тех, кто добился всего собственными силами, внуков самих повстанцев. В других странах молодежь до сих пор вовлечена в первые фазы революции против автократии. Давайте обратимся к некоторым из исторических проблем юношества в таких странах. [Что в то время вызывало у меня опасение, если судить по некоторым наиболее темным пассажам этой главы? Я полагаю, внутренний раскол между моралью повседневного существования, идеологиями политической жизни и безжалостным диктатом современной сверхорганизации. Что касается боссов, то по крайней мере в этой стране идет процесс их поглощения более однородными командами управленческой власти. В других же, недавно образовавшихся, национальных государствах (которые повторяют нашу вековую историю за десятилетие) многообразие революционных идеологий приводит к власти боссов различных «машин»: партийной, военной, промышленной, профсоюзной и пр. Частое проявление этической путаницы зрелым поколением, на которое возложена обязанность справляться с непредвиденными переменами, ввергает значительную часть молодежи в состояние безразличного подчинения или циничной обособленности. Мораль состоит в том, что усиление идентичности за счет успешных восстаний против стареющих систем само по себе еще не гарантирует появления генеративных ценностей, необходимых для этики зрелой власти. Если человек позволяет своей этике зависеть от упомянутых «машин», он может оказаться действующим как марионетка, забывая интегрировать детство и общество, может оказаться бесцеремонно используемым в замыслах тотального разрушения вместе с замыслами тотального производства. Что касается

обсуждения морального, идеологического и этического чувства в развитии человека, см.: «The Golden Rule and the Cycle of Life», *Harvard Medical Alumni Bulletin*, December, 1962). - *Э. Г. Э.*]

Глава 9. Легенда о детстве Гитлера

Самыми жестокими эксплуататорами борьбы нации за спасение идентичности были Адольф Гитлер и его сообщники, на протяжении десятилетия оказавшиеся бесспорными политическими и военными хозяевами великого, трудолюбивого и старательного народа. Чтобы не дать этим специалистам по дешевым обещаниям превратиться в угрозу для всей западной цивилизации, были мобилизованы объединенные ресурсы промышленных государств всего мира.

В настоящее время Запад предпочел бы проигнорировать тот знак вопроса, который своим существованием бросает вызов идее линейного прогресса. Запад надеется, что после некоторой подкормки и наведения порядка окупационными войсками эти же самые немцы снова станут легко приручаемыми, добропорядочными потребителями, что они вновь обретут стремление к *Kultur* [Культура *(нем.).* Сохраняя в русском тексте немецкие слова, мы следуем оригиналу. По-видимому, таким способом Эриксон пытался отметить ключевые понятия в ментальности немцев того времени. - *Прим. пер.*] и навсегда забудут некогда охватившее их (в очередной раз) военное безрассудство.

Люди доброй воли должны верить в психологические, равно как и в экономические чудеса. Однако я не думаю, что мы улучшаем шансы человеческого прогресса в Германии или еще где-либо, забывая слишком быстро то, что произошло. Скорее, наша задача как раз в том, чтобы признать: черный миракль нацизма был всего лишь немецкой версией - великолепно спланированной и столь же великолепно проваленной - универсальной возможности нашей эпохи. Эта тенденция сохраняется, и призрак Гитлера рассчитывает на нее.

Ибо народы, как и отдельные люди, определяются не только их высшей точкой цивилизованного достижения, но и точкой наименьшего сопротивления их коллективной идентичности; фактически они определяются дистанцией между этими точками и ее качеством. Национал-социалистическая Германия послужила ясной иллюстрацией тому, что развивающаяся цивилизация потенциально подвергается опасности со стороны своего собственного прогресса, поскольку он раскалывает древнюю совесть, угрожает незавершенным идентичностям и высвобождает деструктивные силы, которые в это время могут рассчитывать на бесчувственную действенность сверхуправителей. Поэтому я возвращусь на один шаг назад в нашей истории и воссоздам здесь несколько формулировок, составленных рабочим органом правительства США в самом начале Второй мировой войны при подготовке к прибытию (какая самонадеянность!) первых военнопленных-нацистов. Некоторые из этих формулировок, возможно, выглядят уже устаревшими. Однако представленные здесь психологические проблемы не из тех, что исчезают за ночь - будь то в самой Германии или в Европе, центром которой она является. Во всяком случае, история учит только тех, кто не слишком спешит забывать. Я выберу в качестве своей темы самую сентиментальную, самую чарующую мелодию «Коричневого Дудочника»: сообщение о его детстве в «Майн Кампф».

«В этом маленьком, баварском по крови и австрийском по подданству городке на реке Инн, озаренном светом немецкого мученичества, жили в конце восьмидесятых годов прошлого века мои родители: отец - преданный государству чиновник, и мать, посвятившая себя заботам о доме и детях с неослабным любящим вниманием». [Adolf Hitler, *Mein Kampf*, Reynal & Hitchcock edition, New York, 1941, by arrangement with Houghton-Mifflin Company.]

Структура предложения и его тональность указывают на то, что нам предстоит услышать волшебную сказку. Фактически, мы и проанализируем ее со стороны современной попытки создать миф. Но миф, будь он древним или современным, не есть ложь. И бесполезно пытаться доказывать, что он не имеет под собой фактической основы, как и заявлять, что его вымысел есть плутовство и вздор. Миф смешивает исторический факт и значимый вымысел таким образом, что эта смесь «звучит искренне» для какой-то области или эпохи, вызывая благочестивое изумление и пылкое стремление достичь желанной цели. Затронутые им люди не станут оспаривать истинность или логику; ну, а те немногие, которым не удалось избежать сомнения, найдут свой рассудок парализованным. Поэтому изучать миф критически - значит анализировать его образы и темы в связи с затрагиваемой областью культуры.

1. Германия

«Этот маленький, баварский по крови и австрийский по подданству городок.., озаренный светом немецкого мученичества...»

Гитлер родился в австрийском городке Браунау, неподалеку от немецкой границы. Таким образом он принадлежал к немецкому меньшинству Австрийской империи.

Именно здесь, в Браунау, его житель по имени Пальм был расстрелян солдатами Наполеона за издание памфлета *«В час величайшего унижения Германии»* - и этот факт Гитлер зарегистрировал в своей книге. Памятник Пальму стоит на центральной площади Браунау.

Конечно, во времена Пальма Германская империя еще не существовала. Фактически, некоторые из немецких государств были военными союзниками Наполеона. Но употребив всесодержащий, магический термин *«Германия»,* Пальм, переданный австрийской полицией Наполеону, стал идолом националистического движения за великую Германию.

Отметив сопротивление Пальма и мученичество под гнетом зловещего *Бонапарта,* сказка продолжается описанием героического противостояния юного Адольфа *отцу,* а также повествует о ненависти немецкого меньшинства к австрийскому *императору*. Маленький Адольф принадлежал, по его словам, к «тем, кто мучительно тосковал по этому часу, когда они смогут вернуться в объятия любимой матери» - Германии. Как раз здесь его образы и начинают включать в себя терминологию семейных отношений, которая открыто отождествляет его «эдипову» ситуацию с национальными проблемами его страны. Он выражает недовольство тем, что эта «любимая мать... *юная* империя» своим «трагическим союзом со *старым мошенником* - *австрийским государством...* санкционировала медленное уничтожение немецкой нации».

Мать Гитлера была на 23 года моложе его отца, и как мы увидим, она, подобно всякой добропорядочной женщине того времени, героически защищала мужа, который ее бил. Отец Гитлера был пьяницей и тираном. Отсюда, и в национальных, и в семейных образах Гитлера само по себе напрашивается уравнение: молодая мать предает горящего желанием сына ради дряхлого тирана. Личный опыт маленького Адольфа таким образом смешивается с опытом немецкого национального меньшинства, отказывавшегося петь «Боже, храни императора Франца» во время исполнения австрийского гимна и заменявшего его текст текстом песни «Германия превыше всего». [Габсбургский имперский гимн и «Песня о Германии» пелись на одну и ту же мелодию. - *Прим. пер.*] Гитлер продолжает: «Прямым следствием этого периода было то, что, во-первых, я стал националистом; во-вторых, я научился ухватывать и понимать смысл истории.., так что в пятнадцать лет я уже понимал разницу между династическим патриотизмом и народным национализмом».

Такое на вид безыскусственное совпадение так легко (даже слишком легко) подводит к психоаналитической интерпретации первой главы *«Майн Кампф»* как невольной исповеди Гитлера об эдиповом комплексе. Эта интерпретация позволила бы предположить, что в случае Гитлера любовь к молодой матери и ненависть к старому отцу приняли болезненные размеры, и что именно этот конфликт побуждал его любить и ненавидеть, принуждал спасать или уничтожать отдельных людей и целые народы, которые, в действительности, «символизировали» его мать и его отца. В психоаналитической литературе встречались статьи, настаивающие на такой простой причинности. Однако чтобы стать успешным революционером, очевидно, требуется гораздо больше, чем наличие индивидуального комплекса. Комплекс создает первичный жар; но если он будет слишком сильным, то парализует революционера вместо того, чтобы воодушевить его. Впечатляющее использование родительских и семейных образов в публичных выступлениях Гитлера отличается той необычной смесью наивной исповеди и умной пропаганды, которая характеризует сценический гений. Геббельс знал это и верно направлял своего лающего хозяина, - почти до самого конца.

Я не буду заниматься здесь обзором психоаналитической литературы, изображавшей Гитлера «психопатическим параноидом», «лишенным какой-либо морали садистическим младенцем», «сверхкомпенсирующим маменькиным сынком» или «невротиком, страдающим от неодолимой тяги к убийству». Временами он, без сомнения, подтверждал все эти диагнозы. Но, к несчастью, Гитлер, вдобавок ко всему перечисленному, обладал еще кое-чем. Его способность воздействовать и производить впечатление на других была настолько редкой, что кажется нецелесообразным применять ординарные диагностические методы к его речам. Он, прежде всего, был авантюристом грандиозного масштаба. Личность авантюриста сродни личности актера, поскольку он должен быть всегда готов воплотить (как если бы сам выбирал) сменяющие друг друга роли, предлагаемые капризами судьбы. Со многими актерами Гитлера объединяет и то, что, по свидетельствам очевидцев, он был эксцентричным

и невыносимым «за кулисами», не говоря уже о спальне. Он бесспорно обладал опасными пограничными чертами характера, но знал, как приближаться к этой границе, выглядеть так, как если бы он уходил слишком далеко, а затем - возвращаться назад к своей затаившей дыхание публике. Иначе говоря, Гитлер знал, как использовать свою собственную истерию. Знахари тоже часто обладают этим даром. Стоя на подмостках немецкой истории, Гитлер тонко чувствовал, в какой степени можно было смело дозволить собственной личности представлять истерическую несдержанность, которая подспудно жила в каждом немецком слушателе и читателе. Поэтому роль, которую он выбрал, в равной мере разоблачает как его аудиторию, так и его самого; ведь именно то, что другим народам казалось наиболее сомнительным, для немецких ушей оказалось самой убедительной мелодией, исполняемой «Коричневым Дудочником».

2. Отец

«...отец - преданный государству чиновник...»

Несмотря на эту сентиментальную характеристику отца, Гитлер расходует изрядную долю пылких страниц первой главы, вновь и вновь повторяя, что ни его отец, «ни любая другая сила на земле не смогла бы сделать из него чиновника». Он уже в самом начале отрочества знал, что жизнь чиновника была не для него. Как же он был не похож на своего отца! Ибо хотя его отец в подростковом возрасте тоже взбунтовался и в тринадцать лет убежал из дома, чтобы достичь «чего-то лучшего», после 23 лет он вернулся домой и стал младшим таможенным чиновником. И «никто уже не помнил маленького мальчика из далекого прошлого». Этот бесполезный бунт, по словам Гитлера, состарил отца раньше срока. Далее, пункт за пунктом, Гитлер излагает бунтарские приемы, превосходящие по эффективности приемы своего отца.

Может быть, перед нами наивное разоблачение патологической ненависти к отцу? Или если это расчетливая пропаганда, то что давало этому австрийскому немцу право надеяться, что сказка о его отрочестве окажется настолько привлекательной для народных масс Германской империи? Очевидно, не все немцы имели отцов, похожих на отца Гитлера, хотя многие, несомненно, имели. Мы знаем, что литературной теме вовсе не нужно быть правдивой, чтобы быть убедительной; она должна звучать искренне, как если бы напоминала о чем-то сокровенном и давно минувшем. Тогда вопрос в том, действительно ли положение немецкого отца в семье заставляло его вести себя - либо постоянно, либо значительную часть времени, либо в памятные периоды жизни - таким образом, что он создавал у сына *внутренний* образ, который в известной мере соответствовал разрекламированному образу старшего Гитлера.

Внешне положение немецкого отца в семье, принадлежавшей к среднему классу конца XIX - начала XX века, вероятно, было довольно схожим с другими викторианскими версиями «жизни с Главой рода». А вот образы воспитания оказываются ускользающими от нашего взора. Они варьируются от семьи к семье и от человека к человеку, могут оставаться латентными и проявляться лишь в периоды серьезных кризисов, а могут и нейтрализоваться решительными попытками быть другим.

Здесь я представлю импрессионистскую версию, на мой взгляд, единого образа немецкого отцовства. Он, вероятно, репрезентативен в том смысле, в каком расплывчатая «коллективная» фотография Гальтона репрезентативна по отношению к тем, кого она предположительно показывает.

Когда отец приходит с работы домой, кажется, что даже стены собираются с духом (*«nehmen sich zusammen»*). Мать, будучи часто неофициальной главой семьи, ведет себя при нем совершенно по-иному, чтобы ребенок мог это заметить. Она поспешно выполняет прихоти отца и избегает раздражать его. Дети не смеют дохнуть, поскольку отец не одобряет «глупостей», то есть не выносит ни женских настроений матери, ни детских шалостей. Пока он дома, от матери требуется быть в полном его распоряжении; поведение же отца говорит о том, что он с неодобрением смотрит на дружеские отношения матери и детей, которые они позволяют себе в его отсутствие. Он часто говорит с матерью, так же как говорит с детьми, ожидая согласия и обрывая любое возражение. Маленький мальчик начинает ощущать, что все доставляющие удовольствие связи с матерью служат источником постоянного раздражения отца, а ее любовь и восхищение - живая модель для стольких последующих свершений и достижений - может доставаться ему только без ведома отца, или против его явных желаний.

Мать усиливает это ощущение, скрывая некоторые «глупости» или проступки ребенка от отца, -

когда *ей* будет угодно; в то время как свое недовольство ребенком она выражает, донося на него отцу, когда тот приходит домой, часто побуждая его таким образом пороть детей за проступки, деталями которых он не интересуется. Сыновья плохо себя ведут и наказание всегда оправданно. Позднее, когда мальчику случается наблюдать своего отца в обществе, когда он замечает раболепство отца перед начальством, видит его сентиментальность, когда тот пьет и распевает песни с равными себе, подросток приобретает первый ингредиент *Weltschmerz* (мировой скорби): глубокое сомнение в достоинстве человека - или, во всяком случае, «старика». Все это, конечно, существует совместно с уважением и любовью. Однако во время бурь отрочества, когда идентичность сына должна «уладить отношения» с образом отца, подобная ситуация приводит к тому тяжелому немецкому *Pubertät* (пубертату), который являет собой такую странную смесь открытого бунта и «тайного греха», циничной делинквентности и смиренной покорности, романтизма и уныния, и который способен сломить дух мальчика раз и навсегда.

В Германии этот образ воспитания имел традиционное прошлое. Как-то всегда случалось, что он срабатывал, хотя, конечно же, не был «плановым». Фактически некоторые отцы, глубоко возмущавшиеся этим образом во времена собственного отрочества, отчаянно не хотели навязывать его своим сыновьям. Но этого желания им снова и снова не хватало в периоды кризисов. Другие пытались подавить этот образ, но тем самым лишь увеличивали собственную невротичность и невротичность своих детей. Часто мальчик чувствовал, что отец сам несчастлив из-за своей неспособности разорвать порочный круг, и вследствие его эмоционального бессилия сын испытывал жалость и отвращение к отцу.

Что же тогда сделало этот конфликт таким универсально важным по своим последствиям? Что отличает - невольным, но решительным образом - отчужденность и строгость немецкого отца от сходных черт характера других западных отцов? Я думаю, это отличие заключается в существенном недостатке истинного внутреннего авторитета (authority) [Этот не слишком-то вписывающийся в данный контекст термин (вероятно, используемый как эквивалент нем. Autorität), Эриксон употребляет, по-видимому, в качестве компактного обозначения для многомерного смыслового комплекса, включающего такие значения, как: уважение, влияние, вес, полномочия, власть. - *Прим. пер.*], который проистекает из интеграции культурного идеала и воспитательного метода. Ударение здесь определенно падает на слово *немецкого* в смысле *имперско-немецкого*. Поэтому часто при обсуждении положения немца мы думаем и говорим о хорошо сохранившихся немецких *областях* и о «типичных», хотя и единичных примерах, где внутренний авторитет немецкого отца казался глубоко обоснованным, опиравшимся, фактически, на *Gemütlichkeit* [Уют и спокойствие *(нем.)*.] старых деревень и небольших городов, городскую *Kultur* [Культура *(нем.)*.] христианское *Denut* [Смирение *(нем.)*.], профессиональное *Bildung* [Образование *(нем.)*.] или на дух социальной *Reform*. [Реформа *(нем.)*.] Дело, однако, в том, что все это не приняло интегрированного значения в национальном масштабе, в то время как образы рейха стали доминирующими, а индустриализация подорвала прежнюю социальную стратификацию.

Жесткость продуктивна только там, где существует чувство долга перед отдающим приказ и сохраняется чувство собственного достоинства при добровольном повиновении. Однако обеспечить это может лишь интегрирующий процесс, который объединяет прошлое и настоящее в соответствии с переменами в экономических, политических и духовных институтах.

Другие западные государства пережили демократические революции. Народы этих стран, как показал Макс Вебер, постепенно перенимая привилегии своих аристократических классов, идентифицировались таким образом с аристократическими идеалами. В каждом французе осталось что-то от французского рыцаря, к каждому англичанину что-то перешло от англосаксонского джентльмена, а каждому американцу досталось что-то от мятежного аристократа. Это «что-то» сплавилось с революционными идеалами и породило понятие «свободного человека», предполагающее неотъемлемые права, обязательное самоотречение и неусыпную революционную бдительность. По причинам, которые вскоре будут обсуждаться в связи с проблемой *Lebensraum* [Жизненное пространство *(нем.)*. - *Прим. пер.*], немецкая идентичность никогда не инкорпорировала такие образы в степени, необходимой для того, чтобы повлиять на бессознательные модусы воспитания. Доминантность и жесткость обычного немецкого отца не образовала с нежностью и достоинством той смеси, которая рождается из участия в интегрирующем процессе. Скорее, этот «средний» отец - по обыкновению или в решающие моменты - начинал олицетворять повадки и этику немецкого ротного старшины и мелкого чиновника, то есть тех, кто - «будучи облачен в короткий мундир» - никогда бы не помышлял о большем, если бы не постоянная опасность лишиться малого, и кто продал права свободного поведения человека за официальное звание и пожизненную пенсию.

Вдобавок, распался тот культурный институт, который заботился о юношеском конфликте в его традиционных - региональных - формах. В старину, например, существовал обычай *Wanderschaft*. [Странствие *(нем.). - Прим. пер.*]

Молодой человек покидал дом, чтобы стать учеником (подмастерьем) в чужих краях - примерно в том возрасте (или немного позже), когда Гитлер воспротивился отцовской воле, а его отец в свое время сбежал из дому. Непосредственно перед наступлением эпохи нацизма разрыв отношений юноши с семьей либо еще имел место, сопровождаемый отцовскими угрозами и материнскими слезами, либо отражался в более умеренных и менее результативных конфликтах, поскольку они были индивидуализированными и, нередко, невротическими, либо этот юношеский конфликт подавлялся, и тогда нарушалась не связь между отцом и сыном, а отношение молодого человека к самому себе. Часто учителям - исключительно мужчинам - приходилось принимать на себя главный удар этого кризиса, хотя юноша распространял свою идеалистическую или циничную враждебность на всю сферу *Bürgerlichkeit* [Бюргерство *(нем.). - Прим. пер.*], - презираемый им мир «обывателей». Трудно передать, что в данном случае подразумевается под словом *Bürger*. В юношеском сознании бюргер не тождественен солидному горожанину; не идентичен он и ненасытному буржуа, каким тот предстает в классовом сознании революционной молодежи; и меньше всего он похож на того гордого гражданина Французской республики или на того ответственного гражданина США, который, признавая равные обязанности, отстаивает свое право быть отдельной, неповторимой личностью. Скорее, словом *Bürger* обозначается тип взрослого человека, который предал юность и идеализм и нашел убежище в консерватизме ограниченного и холопского толка. Этот образ часто использовался, чтобы показать: все, что считалось «нормальным», было испорченным, а все, что считалось «приличным», было проявлением слабости. Одни юноши, как например «Перелетные птицы» *(«Wanderbirds»)* [По-видимому, Эриксон имеет в виду Wandervögel - участников юношеского туристского движения в Германии в 1895-1933 гг. - *Прим. пер.*], увлекались романтическим единением с Природой, разделяемым со многими товарищами по «восстанию» под руководством молодежных лидеров особого рода - профессиональных и конфессиональных молодых людей. Юноши другого типа - «одинокие гении» - предпочитали писать дневники, стихи и научные трактаты; в пятнадцать лет они обычно сетовали на судьбу, выбирая самую немецкую из всех юношеских жалоб - жалобу Дон Карлоса: «Уж двадцать, а еще ничего не сделано для бессмертия!» Были и такие, кто предпочитал образовывать небольшие группы интеллектуальных циников, правонарушителей, гомосексуалистов и национал-шовинистов. Однако общей чертой всех этих увлечений и занятий было исключение своих реальных отцов в качестве фактора влияния и приверженность некоторой мистическо-романтической сущности: Природе, Фатерлянду, Искусству, Экзистенции и т. п., которые были суперобразами чистой, непорочной матери - той, что никогда не выдала бы непослушного мальчика этому великану-людоеду, его отцу. Хотя иногда допускалось, что реальная мать открыто или тайно благоволила, если не завидовала такой свободе, отец всегда считался ее (свободы) смертельным врагом. Если же он не проявлял достаточной враждебности, его умышленно провоцировали, поскольку противодействие отца оживляло жизненный опыт сына.

На этой стадии немецкий юноша скорее умер бы, чем признал тот факт, что эта дезориентированная, эта чрезмерная инициатива в направлении абсолютного утопизма на самом деле вызвана скрытым комплексом вины и в конечном счете ведет к ошеломительному истощению. Идентификация с отцом, которая, несмотря ни на что, вполне установилась в раннем детстве, выдвигалась на первый план. Вероломная судьба (= реальность) замысловатыми путями приводила нашего юношу к тому, что он становился *Bürger* - «простым обывателем» с вечным чувством греха за принесение в жертву мамоне и семье (с ничем не примечательными женой и детьми, каких всякий может иметь) революционного духа (genius).

Естественно, это описание типизировано до уровня карикатуры. Однако я считаю, что и такой явный тип, и такой скрытый образ (pattern) на самом деле существовали, и что фактически этот постоянный разрыв между преждевременным индивидуалистическим бунтом и лишенным иллюзий покорным гражданством был сильным фактором в политической незрелости немца: юношеский бунт здесь был ничем иным, как выкидышем индивидуализма и революционного духа. По моему глубокому убеждению немецкие отцы не только не препятствовали этому бунту, но фактически неосознанно подготавливали и поощряли его, создавая тем самым надежное средство сохранения своего патриархального влияния на молодежь. Ибо как только патриархальное супер-эго прочно укореняется в раннем детстве, молодым можно дать волю: они не позволят себе далеко уйти.

В характере немца времен империи эта специфическая комбинация идеалистического

сопротивления и смиренного повиновения приводила к парадоксу. Немецкая совесть безжалостна к себе и другим, но ее идеалы непостоянны и, если можно так сказать, бездомны. Немец резок и строг с собой и другими, но крайняя суровость без внутреннего авторитета порождает горечь, страх и мстительность. Испытывая недостаток согласованных идеалов, немец склонен приближаться со слепой убежденностью, жестоким самоотрицанием и величайшим перфекционизмом ко многим противоречивым и открыто деструктивным целям.

После поражения в войне и революции 1918 года этот психологический конфликт усилился до уровня катастрофы среди немецкого среднего класса; а этот последний повсюду содержит в себе ощутимую долю рабочего класса, поскольку тот стремится стать средним классом. Их раболепие перед аристократией, проигравшей войну, теперь внезапно лишилось всякого сходства с сознательной субординацией. Инфляция подорвала пенсии. С другой стороны, ищущие выход массы были не готовы предугадать или узурпировать ни роль свободных граждан, ни роль сознающих себя как класс рабочих. Очевидно, что именно в таких условиях образы Гитлера могли сразу убедить стольких людей, и еще большее число парализовать.

Я не стану утверждать, что отец Гитлера в том виде, как его изображают в оскорбительных докладах и отчетах, был, в своей явно неотшлифованной форме, типичным немецким отцом. В истории часто случается, когда экстремальный и даже атипичный личный опыт настолько хорошо соответствует универсальному личному конфликту, что кризис поднимает его до положения типичного представителя. Фактически, здесь можно вспомнить, что великие нации склонны за своими пределами выбирать тех, кто становится их лидером: Наполеон был корсиканцем, а Сталин - грузином. В таком случае, именно универсальный образ (pattern) детства лежит в основе изумленного интереса, который возникал у немецкого мужчины, читавшего о юности Гитлера. «Независимо от того, каким твердым и решительным мог быть мой отец, - его сын был таким же упорным и настойчивым в отвергании любой идеи, которая мало или совсем не привлекала его. Я не хотел становиться чиновником». Эта комбинация саморазоблачения и расчетливой пропаганды (вместе с шумным и решительным действием) наконец-то принесла с собой то всеобщее убеждение, которого ждало тлеющее в немецком юноше восстание: ни один старик, будь он отцом, императором или Господом Богом, не должен мешать любви юноши к его матери, Германии. В то же время оно подтвердило взрослым мужчинам, что вследствие предательства ими своей мятежной юности, они оказались недостойными вести за собой немецкую молодежь, которая впредь предпочла бы «творить свою судьбу собственными руками». И отцы, и сыновья могли теперь идентифицироваться с фюрером - юношей, который никогда не уступал.

Психологи преувеличивают типичные черты отца в историческом образе Гитлера, тогда как Гитлер - это тот юноша, что отказался стать отцом в любом дополнительном значении этого слова и, коли на то пошло, кайзером или президентом. Он не повторил ошибку Наполеона. Гитлер был фюрером: возвеличенным старшим братом, взявшим на себя прерогативы отцов, но не допускавшим сверхидентификации с ними; называя своего отца «старым, хотя все еще ребенком», он сохранял за собой новое положение человека, который, обладая верховной властью, остается молодым. Он был несломленным юношей, выбравшим карьеру в стороне от цивильного счастья, меркантильного спокойствия и душевной умиротворенности - карьеру лидера шайки, который сплачивает своих парней тем, что требует от них восхищения собой, творит террор и умело втягивает их в преступления, отрезающие пути к отступлению. И он был безжалостным эксплуататором родительских неудач.

«Вопрос моей карьеры был решен гораздо быстрее, чем я ожидал. .. Когда мне исполнилось тринадцать, совершенно неожиданно умер отец. Мать считала себя обязанной продолжить мое образование для карьеры чиновника». У Гитлера развилась «тяжелая» легочная болезнь [Документально нигде не подтвержденная. - *Прим. пер.*], помешав тем самым намерению матери, и «все, за что я боролся, к чему в тайне стремился, вдруг стало реальностью...» Матери пришлось разрешить больному мальчику то, в чем она отказывала здоровому и упрямому: теперь он мог уехать и готовить себя к профессии художника. Он уехал - и провалил вступительный экзамен в национальную Академию художеств. Затем умерла и мать. Он стал свободным - и одиноким.

Профессиональный крах последовал за тем ученическим провалом в Академию художеств, который ретроспективно рационализируется как твердость характера и мальчишеское упрямство. Хорошо известно, как при подборе своих подручных Гитлер позднее исправлял сходные гражданские неудачи. Он вышел из этого положения только благодаря немецкому обычаю покрывать школьную неудачу позолотой намека на скрытый гений: «гуманитарное» образование в Германии все время страдало от раскола, поощряя долг и дисциплину и, одновременно, возвеличивая ностальгические вспышки поэтов.

В своих отношениях со «старым» поколением в Германии или за ее пределами Гитлер последовательно играл роль такого же упрямого, такого же хитрого и такого же циничного подростка, каким он, по его собственным словам, был в отношениях со своим отцом. Фактически, всякий раз, когда он чувствовал, что его действия требовали публичного оправдания и защиты, Гитлер, по-видимому, разыгрывал тот же спектакль, какой разыграл в первой главе «Майн Кампф». Его тирады сосредотачивались на одном зарубежном лидере - Черчилле или Рузвельте - и изображали его как феодального тирана и выжившего из ума старика. Затем он создавал второй образ: ловкого, богатого сына и декадента-циника - Дафф-Купер и Иден из всех мужчин были единственными, кого он выбирал. И действительно, немцы оправдывали нарушенные им обещания, поскольку Гитлер, этот крутой парень, казалось просто воспользовался дряхлостью других мужчин.

3. Мать

«...мать, посвятившая себя заботам о доме и детях с неослабным любящим вниманием»

Помимо этого предложения из его волшебной сказки Гитлер почти ничего не сообщает о матери. Он упоминает, что мать иногда любяще беспокоилась по поводу тех драк, в которые он, юный герой, ввязывался; что после смерти отца она чувствовала себя «обязанной» - скорее по долгу, чем по склонности - сделать все, чтобы он продолжил свое образование, и что вскоре она тоже умерла. По его словам, он уважал отца, но любил мать.

О «ее детях» не сказано ни единого слова. Гитлер никогда не был чьим-то братом.

В том, что Гитлер, лицемерный и истерический авантюрист, имел патологическую привязанность к своей матери вряд ли можно сомневаться. Но суть дела здесь не в этом. Ибо была ли его привязанность патологической или нет, но он ловко разделяет образ своей матери на две категории, представляющие высочайшую пропагандистскую ценность: любящая, по-детски непосредственная и слегка замученная кухарка, чье место на теплой и уютной кухне; и гигантская мраморная или чугунная дева, памятник этому идеалу. В противоположность редкости упоминаний Гитлера о своей матери, в его образах изобилуют сверхчеловеческие фигуры матери. Его имперско-германская волшебная сказка не просто говорит о том, что Гитлер родился в Браунау, потому что там жили его родители; нет, именно «Судьба указала место моего рождения». И это случилось в то время, когда это случилось, вовсе не вследствие естественного хода событий; нет, это «незаслуженная злая шутка Судьбы», что он «родился в период между двумя войнами, во времена спокойствия и порядка». Когда он бедствовал: «Нужда сжимала меня в своих объятьях», а когда впадал в уныние: «Госпожа Печаль была моей приемной матерью». Но эту же «жестокость Судьбы» он позже научился восхвалять как «мудрость Провидения», ибо судьба закалила и подготовила его для службы Природе, «безжалостной царице всей мудрости».

Когда разразилась первая мировая война, «Судьба милостливо позволила» ему стать солдатом немецкой пехоты - та самая» «неумолимая богиня Судьбы, которая использует войны для того, чтобы взвешивать страны и народы». Когда, после поражения Германии, Гитлер предстал перед судом, защищая свои первые революционные подвиги, он определенно чувствовал, «что богиня вечного суда - История - с улыбкой изорвет вердикт присяжных».

Судьба, то вероломно срывающая планы героя, то милостливо угождающая его героизму и рвущая в клочья приговор плохих стариков, и есть та инфантильная образность, пропитывающая изрядную часть немецкого идеализма. Она находит свое самое представительное выражение в теме юного героя, который становится великим в чужой стране и возвращается освободить и возвысить «плененную» мать (романтическая копия сказания о царе Эдипе).

За этими образами сверхчеловеческих матерей таится двуликий образ материнства: в одно время мать предстает игривой, непосредственной и щедрой, а в другое - вероломной и заключившей союз со злыми силами. Я полагаю, это общераспространенный в патриархальных обществах набор образов, где женщина, во многих отношениях оставаясь неответственной и по-детски наивной, становится связующим и передаточным звеном. Так уж получается, что отец ненавидит в ней увертливых детей, а дети - отчужденного отца. Поскольку «эта мать» постоянно становится и остается бессознательной моделью для «этого мира», при Гитлере амбивалентное отношение к женщине-матери (the maternal woman) стало одним из наиболее выраженных признаков немецкого казенного мышления.

Отношение фюрера к материнству и семье оставалось двусмысленным. Развивая национальную фантасмагорию, он видел в себе одинокого человека, сопротивляющегося и угождающего фигурам сверхчеловеческой матери, которые то пытаются уничтожить его, то вынуждены благословлять его.

Однако он не признавал женщин в качестве товарищей, верных до конца, хотя и упорствовал в том, чтобы сделать порядочную женщину из Евы Браун, которую вскоре собственноручно застрелил, - или, по крайней мере, так заканчивается эта легенда. Только жены других мужчин производили на свет детей под защитой канцелярии, тогда как сам он, согласно его официальному биографу, «есть воплощение национальной воли. Он не знает никакой семейной жизни; не знает он и порока».

Гитлер распространял эту официальную амбивалентность в отношении к женщинам на свое отношение к Германии как к образу. Открыто презирающий массы своих соотечественников, которые, в конце концов, и составляют Германию, он взбешенный, стоял перед ними и заклинал их своими фанатичными воплями - «Германия! Германия! Германия!» - поверить в мистический национальный организм.

А кроме того, немцы всегда были склонны проявлять сопоставимое амбивалентное отношение к человечеству и миру в целом. То, что мир, по существу, воспринимается как «внешний мир», справедливо для большинства племен и народов. Но для Германии мир постоянно меняет свое качество - и всегда крайним образом. Мир переживается либо как значительно превосходящий Германию по возрасту и мудрости, как цель вечного стремления и *Wanderlust* [Страсть к путешествиям *(нем.). - Прим. пер.*]; либо как окружающий Германию лагерь подлых и вероломных врагов, живущих ради одной цели - ее погибели; либо как таинственное *Lebensraum* [Жизненное пространство *(нем.). - Прим. пер.*], которое предстоит завоевать посредством тевтонской храбрости и использовать в течение тысячелетия юношеского расширения.

4. Юноша

В Америке слово «юность» (*«adolescence»*) едва ли не для всех, кто занимается ею профессионально, стало означать, на худой конец, ничейную землю между детством и зрелостью, а в лучшем случае - «обычное» время спортивных соревнований и грубых развлечений, время шаек, клик и компаний. Юноша в Америке доставляет меньше проблем и чувствует себя менее изолированным, поскольку он, фактически, стал культурным арбитром; немногие мужчины в этой стране могут позволить себе отказаться от жестов юноши, наряду с жестами полноправных граждан, навсегда преданных делу разгрома автократов. Конечно, с этой позиции трудно понять, какое значение может иметь юность в других культурах. В первобытном прошлом совершались эксцентричные и впечатляющие обряды юности с целью умерить и сублимировать идущую в рост мужскую зрелость юношей. В первобытных ритуалах юношу заставляли приносить в жертву часть своей крови, зубов или половых органов; в религиозных церемониях его учат признавать свою греховность и преклонять колени. Древние ритуалы утверждали намерение мальчика стать мужчиной в мире его отца, но в то же время вечно оставаться благопристойным сыном «Великого Отца». Главные исполнители ритуального танца, спасители и трагические актеры были типичными представителями (единства) греха и искупления. Юношеский бунт Германии был критической ступенью в универсальном психологическом развитии, сравнимой с упадком феодализма: внутренней эмансипацией сыновей. Ибо хотя и существуют тесные параллели между первобытными обрядами юности и ритуалами национал-социализма, есть между ними одно существеннейшее различие. В мире Гитлера юноша маршировал с равными себе эмансипированными сыновьями. Их вождь никогда не приносил в жертву свою волю никакому отцу. На самом деле он говорил, что совесть - это позорное пятно, подобно обрезанию, и что как то, так и другое есть еврейские недостатки.

Отвращение Гитлера к евреям - «ослабляющим микробам», представленным менее чем 1% его 70-миллионного народа, - облекается в образы фобии. Он описывает проистекающую от них опасность как ослабляющее заражение и загрязняющее осквернение. Сифилофобия - это то наименьшее, что психиатрия может правомерно установить в данном случае. Но здесь опять трудно сказать, где заканчивается личный симптом и начинается расчетливая пропаганда. Дело в том, что образы идеалистического юноши обычно составлены из чистейшего белого и чистейшего черного цветов. И он постоянно озабочен приобретением всего белого и фобическим избеганием и искоренением всего черного в себе и других. Боязнь сексуальности, главным образом, делает юношу особо восприимчивым к словам, наподобие этих: «Только утрата чистоты крови разрушает внутреннее счастье навсегда; она вечно унижает мужчину, и никогда ее следы не удастся стереть с тела и души». [Там же.]

Юноша донацистской Германии был необузданно жесток сам с собой; и воле отца он сопротивлялся вовсе не для того, чтобы пуститься во все тяжкие. Когда ему случалось «пасть морально», он тяжело переживал свою вину. Гитлер - так этого юношу побудили считать - был из тех,

кто имел право безжалостно искоренять черное повсюду, потому что не был снисходителен к себе. То, что вызывало подозрения у здравомыслящих людей других стран - обнародованный отказ Гитлера от мяса, кофе, алкоголя и половой жизни - здесь, в Германии, считалось серьезным фактором пропаганды. Ибо Гитлер таким образом подтверждал свое моральное право освободить немцев от послевоенного мазохизма и убедить их в том, что они, в свою очередь, имели право ненавидеть, пытать, убивать.

В детях Гитлер старался заменить сложный конфликт отрочества, мучивший каждого немца, простым шаблоном (pattern) гипнотического действия и свободы от размышлений. Чтобы добиться этого, он создал организацию, систему воспитания и девиз, которые бы отводили всю юношескую энергию в национал-социализм. Организацией был *«Гитлерюгенд»,* а девизом - небезызвестное изречение «Молодежь выбирает свою собственную судьбу».

Бог больше не имел никакого значения: «В этот час, когда земля посвящает себя солнцу, у нас только одна мысль. Наше солнце - Адольф Гитлер». [Цит. по G. Ziemer, *Education for Death,* Oxford University Press. New York, 1941.] Родители тоже не имели значения: «Всех тех, кто с высоты своего "опыта", и только его одного, сражается с нашим методом позволять молодым руководить молодыми, нужно заставить замолчать... [Цит. по Hans Siemsen, *Hitler Youth,* Lindsay Drummond, London, 1941.] Этика не имела значения: «Появилось абсолютно свежее, новорожденное поколение, свободное от предвзятых идей, свободное от компромиссов, готовое оставаться верным тем порядкам, которые составляют их право по рождению». [Цит. по Ziemer, *op. cit.*] Братство, дружба также не имели значения: «Я не слышал ни одной песни, выражающей нежное чувство дружбы, родительской любви или любви к товарищам, радость жизни или надежду на будущую жизнь». [Ziemer, *op. cit.*] Учение, естественно, не имело значения: «Идеология национал-социализма должна быть священным фундаментом. Его нельзя размывать подробным объяснением». [Цит. по Ziemer, *op. cit.*]

Что имело значение, так это быть в движении и не оглядываться назад: «Пусть все погибнет, мы будем идти вперед. Ибо сегодня нам принадлежит Германия, завтра - весь мир».

На такой вот основе Гитлер выдвигал простую расовую дихотомию мировых координат: немец (солдат) *против* еврея. Еврей - маленький, чернявый, весь заросший волосами, сутулый, плоскостопый, косит глазами и чмокает губами. От него дурно пахнет; он неразборчив в половых связях, любит лишать девственности, оплодотворять и заражать белокурых девушек. Ариец - высокий, прямой, светлый, лишен растительности на груди и конечностях; его острый взгляд, походка и разговор *stramm* [Суровый, молодцеватый, подтянутый *(нем.). - Прим. пер.*], а его приветствие - вытянутая рука. Ариец необычайно чистоплотен в своих привычках. Он никогда намеренно не прикоснулся бы к еврейской девушке - разве что в публичном доме.

Эта антитеза есть несомненно антитеза обезьяноподобного человека и сверхчеловека. Но если в Америке такие образы могли бы составить разве что содержание комиксов, в Германии они стали официальной пищей для взрослых умов. И давайте не забывать (ибо немцы не забудут), что в течение долгих лет немецкая молодежь и немецкая армия, казалось, свидетельствовали об успехе образов Гитлера. Здоровые, крепкие, хладнокровные, послушные, фанатичные, они «бросали вызов всему, что ослабляет тело, энергию и преданность». [Ziemer, *op. cit.*] Они были в высшей степени высокомерными; но именно в их презрительной надменности можно было распознать страх старого немца поддаться иноземному «культурному» влиянию.

И у женщин расовое национал-социалистическое сознание создало новый предмет гордости. Девушек учили радостно соглашаться использовать свое тело по назначению при общении с отборными арийцами. Они получали половое просвещение и поддержку.

Рождение ребенка, законного или незаконного, поощрялось пропагандой, денежными пособиями, институтом «государственных детей», которых рожали «для фюрера». Пропагандировалось кормление грудью; то, что американские психиатры в то время осмеливались высказывать только в профессиональных журналах, немецкое государство декретировало: *«Stillfähigkeit ist Stillwille»* (способность кормить есть желание кормить). Тем самым немецкое младенчество витаминизировалось ради расы и ее фюрера.

В своих образах никакой актер и никакой результативный новатор в действительности не являются независимыми; ни тот и ни другой не могут себе позволить быть полностью оригинальными: их оригинальность должна заключаться в смелости и исключительной концентрации, с которой оба они выражают существующие образы - в подходящее время. Однако если они так и поступают, то убеждают не только себя и других, но парализуют и своих противников, поскольку те бессознательно участвуют в предлагаемых образах: сначала будут выжидать, затем начнут колебаться и, наконец, уступят.

В Германии того времени мы как раз и наблюдали капитуляцию высоко организованной и

высоко развитой нации перед образами идеологического юношества. Мы указали на то, что не вправе возлагать за это ответственность на могущество индивидуальных неврозов вождей. Но можем ли мы винить образы детства (childhood patterns) ведомых?

5. Жизненное пространство, солдат, еврей

Простое импрессионистское сравнение семейных образов (familial imagery) нации с ее национальными и межнациональными аттитюдами может легко стать абсурдным. Такое сравнение, на мой взгляд, подталкивает к выводу, что можно было бы изменять межнациональные аттитюды посредством лечения семейных образов нации (by doctoring a nation's family patterns). Однако нации изменяются только при изменении их тотальной действительности. В Америке сыновья и дочери всех наций становятся американцами, хотя каждого из них постоянно преследует свой специфический конфликт; и я осмелюсь сказать, что многие читатели-американцы немецкого происхождения, вероятно, узнали некоторые проблемы своих отцов, описанные в этой главе. Они узнают эти проблемы постольку, поскольку существует разрыв между миром отцов и их собственным миром: их отцы живут в другом пространстве-времени.

Та легкость, с которой могут проводиться сравнения между образами детства (childhood patterns) и национальными аттитюдами, и та нелепость, к которой они могут приводить, затушевывают важную истину, которая, тем не менее, затрагивается здесь. Поэтому мы используем этот раздел, чтобы проиллюстрировать, каким образом историческая и географическая действительность усиливает семейные образы (familial patterns) и в какой степени, в свою очередь, эти образы (patterns) влияют на интерпретацию действительности людьми. Невозможно охарактеризовать немца без соотнесения семейных образов Германии (Germany's familial imagery) с ее центральным положением в Европе. Ибо, как мы видели, даже самые мыслящие группы должны определять свое собственное положение и положение друг друга на относительно простом довербальном, магическом плане. Каждый человек и каждая группа располагает ограниченным набором исторически обусловленных пространственно-временных концептов, которые определяют образ мира, порочные и идеальные прототипы и бессознательный план жизни. Эти концепты имеют влияние на устремления нации и могут приводить к сильному отличию одной нации от других; но они также суживают воображение людей и, тем самым, способны навлечь беду. В немецкой истории такими характерными конфигурационными концептами выступают две пары противоположностей: окруженность *против* Lebensraum [Жизненное пространств *(нем.). - Прим. пер.*] и разобщенность *против* единства. Эти термины, конечно, настолько универсальны, что кажутся лишенными какой-либо немецкой специфичности; у наблюдателя ясно представляющего себе ту нагрузку, какую эти слова несут в немецком мышлении, должно закрасться подозрение об их принадлежности к лицемерной пропаганде. Однако ничто не может быть более губительным в межнациональных столкновениях, чем стремление умалять или оспаривать мифологическое пространство-время другого народа. Ненемцы не представляют себе, что в Германии эти слова по убедительности намного превосходили обычную логику.

Официальная версия *Lebensraum* утверждала, что нацистское государство должно обеспечить в пределах Европы гегемонию военных, монополию вооружения, экономическое превосходство и интеллектуальное лидерство. Помимо этого, *Lebensraum* имело по существу магическое значение. В чем же оно заключалось? В конце первой мировой войны Макс Вебер писал, что судьба (даже в реалистической Германии говорят «судьба», а не «география» или «история») распорядилась так, что только Германии выпало иметь ближайшими соседями три великих сухопутных державы и одну величайшую морскую и, так уж случилось, стать на их пути. Никакая другая страна на земле, говорил он, не оказывалась в таком положении. [Max Weber, *Gesammelte Politische Schriften*, Drei Masken Verlag, Munich, 1921.]

Как это представлялось Веберу, насущная потребность достичь национального величия и безопасности в окруженном со всех сторон и уязвимом положении оставляла две альтернативы. Германия могла бы сохранить свое региональное положение и стать новой федерацией, наподобие Швейцарии - привлекательной для каждого и никому не угрожающей; или она могла бы быстро создать империю, скроенную по устаревшему образцу с совершенно неблагоприятными политическими мерками, империю настолько же зрелую и мощную, как Англия или Франция, способную вести политическую игру с позиции силы, - для того чтобы обеспечить Запад культурной и военной защитой от Востока. Но Вебер был «реалистом», а это означало, что он принимал в расчет только то, что в соответствии со взвешивающим мышлением его консервативного ума казалось «разумным».

[Недавняя публикация (H. H. Gerth and C. Wright Mills, *From Max Weber: Essays in Sociology*, Oxford University Press, New-York, 1946, pp. 28-29) освещает некоторые события в жизни Вебера, которые будут приведены здесь, поскольку они замечательно иллюстрируют обсуждаемые нами семейные образы (familial patterns).

«Его сильное чувство рыцарства было, отчасти, реакцией на патриархальную и деспотическую установку своего отца, понимавшего любовь жены как готовность служить мужу и позволять эксплуатировать и контролировать себя. Эта ситуация достигла кульминации, когда Вебер, в возрасте 31 года, в присутствии матери и жены решился, наконец, вынести приговор своему отцу: он беспощадно разорвет с ним все отношения, если тот не выполнит условие сына - впредь мать будет навещать его "только" без отца. Мы уже упоминали, что отец умер в скором времени после этого столкновения и что Вебер вышел из этой ситуации с неизгладимым чувством вины. Определенно можно заключить о необычайно сильной эдиповой ситуации».

«На всем протяжении жизни Вебер поддерживал полную связь с матерью, которая однажды обратилась к нему как "старшая дочь". Не в силах терпеть, она обратилась за советом по поводу поведения ее третьего сына к нему, своему первенцу, а не к мужу. Следует также обратить внимание на то, что было, разумеется преходящей стадией в устремлениях юного Вебера, - на его желание стать настоящим мужчиной в университете. Всего за три семестра он преуспел в том, чтобы пройти внешний путь от стройного маменькиного сынка до грузного, пьющего пиво, дымящего сигарой, помеченного дуэльными шрамами студента императорской Германии, которого мать встретила пощечиной. Несомненно это был сын своего отца. Две модели идентификации и их взаимодействующие ценности, коренящиеся в матери и отце, никогда не исчезали из внутренней жизни Макса Вебера...»]

Вебер и не помышлял о том, что в течение нескольких лет какой-то простой солдат встанет и провозгласит, более того, почти доведет до осуществления третью альтернативу, а именно: Германия могла бы стать столь могучим и столь трезво управляемым национальным государством, что окружающие ее Париж, Лондон, Рим и Москва могли быть поодиночке опустошены и оккупированы на достаточно долгий срок, чтобы ослабить их «на тысячу лет».

Не немцу этот план все еще кажется фантастическим. Он сомневается в том, как такая схема могла уживаться в одном и том же национальном духе вместе с простодушной добротой и космополитической мудростью типичного представителя «подлинной» немецкой культуры. Но, как отмечалось, мир подразумевал региональные достоинства, когда говорил о немецкой культуре. Мир упорно недооценивал отчаянную немецкую нужду в единстве, которая действительно не могла быть понята и оценена людьми, в чьих странах такое единство считается само собой разумеющимся. И мир снова склонен недооценивать ту силу, с какой вопрос национального единства может стать делом *сохранения идентичности* и, таким образом, делом (человеческой) жизни и смерти, далеко превосходящим по важности спор политических систем.

На протяжении всей ее истории территория Германии подвергалась (или была потенциально уязвимой к) опустошающим нашествиям. Верно, что в течение ста с лишним лет ее жизненно важные центры не занимались врагом; но она продолжала сознавать свое уязвимое положение как рационально, так и иррационально.

Однако угроза военного нашествия - это не единственная угроза. Независимо от того, посягала ли Германия на чьи-то владения или другие страны посягали на ее территорию, она постоянно находилась в осаде *чужих ценностей*. Ее отношение к этим ценностям, равно как и их связь с ее собственной культурной неоднородностью, составляет клиническую проблему, трудно поддающуюся определению. И все же можно сказать, что никакое другое молодое государство, сходное по размерам, плотности и историческому разнообразию населения, с аналогичным отсутствием естественных границ, не подвергается настолько различным по своей природе и настолько беспокоящим в своей последовательности культурным влиянием, как те влияния, что исходят от соседей Германии. Как это справедливо в отношении элементов, составляющих индивидуальную тревогу, так и здесь последовательное взаимное усугубление всех этих моментов никогда не позволяло немецкой идентичности кристаллизоваться или ассимилировать экономическую и социальную эволюцию постепенными и логичными шагами.

Немецкий образ разобщенности основан на историческом чувстве дискомфорта, которое можно назвать «лимес-комплексом» («Limescomplex»). [Лимес - пограничное укрепление в Римской империи. - *Прим. пер.*] Лимес германикус был стеной (сравнимой с Великой китайской стеной), построенной римлянами через западную и южную Германию, чтобы отделить покоренные провинции от тех, что оставались варварскими. Эта стена была разрушена в далеком прошлом. Но ее заменил культурный

барьер, отделявший область на юге, находившуюся под влиянием римской католической церкви, от протестантской северной Германии. Другие империи (военные, церковные, культурные) как бы простирались в Германию: с запада - чувственная и рациональная Франция; с востока - неграмотная, религиозная и династическая Россия; с севера и северо-запада - индивидуалистическое «протестанство», а с юго-востока - азиатская беспечность. Все конфликты между Востоком и Западом, Севером и Югом достигали своей завершающей фазы в сражении, происходившем в той или иной части Германии - и в душе немца.

Таким образом, с самого начала Германию постоянно будоражило травматической чередой дивергентных влияний, которые усугубляли и обостряли специфическую форму универсального конфликта между восприимчивостью и защитным упрямством. Поэтому Гитлер обещал не только военную победу над центрами вторжения, окружавшими рейх, но и победу расового сознания над «бактериальным» вторжением чужой эстетики и этики в немецкую душу. Его целью было не только заставить немцев забыть о поражении Германии в первой мировой войне, но и полностью очистить немецкую культуру от поразивших ее инородных ценностей. Для измученных немцев это было настоящей «свободой»; другие свободы, в сравнении с ней, казались смутными и несущественными.

Сильное лекарство этого воззвания Адольфа Гитлера адресовалось рейху, который был большим и ощущал себя потенциально великим, но, в то же время, чувствовал уязвимость своих границ и неразвитость своего политического центра. Оно адресовалось национальному духу с огромным региональным наследием и возвышенными стремлениями, но и с болезненной внушаемостью и глубоким сомнением в своих основных ценностях. Только противник, способный оценить всю глубину воздействия такой ситуации на борьбу молодежи нации за идентичность, может предугадать исходящую от них - и от него - опасность.

Доводившие немцев до отчаяния парадоксы привели к тем экстремумам немецких противоречий, которые, как считалось (еще до Гитлера), составляют две разных Германии. В ответ на чувство культурного окружения один тип рейхс-немца стал, так сказать, «слишком широким», тогда как другой - «слишком узким». То, что у других наций имеют место аналогичные конфликты между космополитизмом и провинциализмом, не устраняет необходимости понимания немецкой версии этой дилеммы. «Слишком широкий» тип отрицал или ненавидел этот немецкий парадокс и принимал весь окружающий «чужой мир»; он стал космополитом сам того не ведая. «Узкий» тип пытался игнорировать иноземные соблазны и превратился в «немца» чистейшей воды — карикатуру на немецкий национальный характер. Первый всегда был доволен, если его принимали за англичанина, француза или американца; второй же высокомерно преувеличивал узкий перечень его немногих истинных качеств. Первый чувствовал и мыслил в олимпийском масштабе; второй стал покорным и механическим до исключения всякой мысли и чувства. Первый часто всю жизнь страдал от ностальгии, находился в добровольном изгнании или был потенциальным самоубийцей или психотиком; второй оставался дома или там, где он чувствовал себя как дома, и, скрежеща зубами, продолжал быть немцем.

Мир восхищался первым и насмехался над вторым. Мир, пока не стало слишком поздно, не обращал внимания на то, что ни один из этих типов не вел к возрождению на национальном уровне той зрелости и того монументального достоинства, которые временами характеризовали бюргеров и ремесленников отдельных областей Германии. Мировое сообщество не ведало и о том, что оба этих типа не чувствовали себя уверенно и в безопасности в этом мире, и что ни один из них не принимал участия в политической эмансипации человечества.

Предполагать, что национал-социализм появился *вопреки* интеллектуальному величию Германии, - значит совершать роковую ошибку. Нет, он был естественным результатом особой социальной - или, скорее, асоциальной - ориентации ее великих людей.

Нам не следует ограничиваться здесь обсуждением реалий такого одинокого человеконенавистника как Ницше, которому повезло умереть сумасшедшим и обманутым вместо того, чтобы стать невольным свидетелем абсолютной реальности тех одетых в форму «сверх-человеков», которых он помог создать. Мы вполне можем отыскать людей, умеющих разбираться в реальной жизни, таких как Томас Манн, кто во время первой мировой войны, по рассказам, подбадривал немцев говоря, что в конце концов обладание таким философом как Кант более чем компенсировало Французскую революцию и что *«Критика чистого разума»* была, фактически, более радикальной революцией, чем декларация прав человека. [Janet Flanner, «Goethe in Hollywood», *The New Yorker*, December, 20, 1941.]

Я сознаю, что это вполне могло быть способом великого интеллектуала указать на заблуждение в нужное время, что является привилегией интеллектуала в период критического положения его народа. Но это заявление также иллюстрирует благоговейный трепет немцев перед подавляющим, одиноким и

часто трагическим величием, равно как и его готовность пожертвовать правом индивидуума для того, чтобы освободить это величие в его собственной душе.

Ни такой отчужденный космополит как Гете, ни такой надменный государственный деятель как Бисмарк - образы, господствовавшие в то время в инвентаре образов-ориентиров немецкой школы, - не внесли сколько-нибудь существенного вклада в немецкий образ демократического человека.

Предпринятая после поражения 1918 года попытка создать республику привела ко временному господству «слишком широкого» немца. Лидеры той эпохи не смогли предотвратить слияние политической незрелости и интеллектуального эскапизма, которые в соединении создали мир необыкновенных, почти истерических мук: *Судьба* послала поражение Германии для того, чтобы выделить ее среди прочих стран. *Судьба* начертала ей быть первой великой страной, которая добровольно признаёт свое поражение, полностью берет на себя моральную ответственность и отказывается от политического величия раз и навсегда. Таким образом, *Судьба* использовала страны Антанты со всеми ее солдатами, живыми и мертвыми, просто чтобы поднять Германию до возвышенного существования в неограниченном духовном *Lebensraum*. Даже в самом разгаре этого мазохистского самоунижения, - выразительно обруганного Максом Вебером, - история продолжала оставаться тайным соглашением между тевтонским духом и богиней Судьбы. Основное отношение Германии к истории не изменилось. Мир, по-видимому, был застигнут врасплох, когда этот духовный шовинизм постепенно обернулся милитаризмом, когда он снова использовал садистские, а не мазохистские образы и приемы. Великие державы не справились в данном случае со взятой на себя инициативой «перевоспитать» Германию тем единственным способом, каким можно перевоспитать население страны, а именно, даруя людям неподкупную истину новой идентичности внутри более универсального политического строя. Вместо этого, они эксплуатировали немецкий мазохизм и усиливали всеобщую безнадежность немцев. И вот «слишком узкий» немец, упорно скрывавшийся после поражения, вышел теперь вперед, чтобы подготовить самое широкое, какое только возможно, земное *Lebensraum* для самого узкого типа немца: арийское мировое господство.

Зажатые между «слишком узкими» и «слишком широкими», немногие государственные деятели, наделенные достоинством, реализмом и дальновидностью, не выдержали напряжения или были убиты. Немцы, оставшись без работы, без еды и без новой целостности, начали прислушиваться к образам Гитлера, который впервые в истории Германского рейха придал политическое выражение духу немецкого юноши. Было что-то магическое в этих словах: «Теперь, однако, я решил стать политиком», которыми непокоренный немецкий юноша заканчивает седьмую главу «Майн Кампф».

После того, как Гитлер таким образом взял на себя задачу привести юношескую фантазию своего народа к политическому господству, прекрасным инструментом решения этой задачи постепенно стала его, то бишь германская, армия. Книжное знание войны 1870-71 годов было «величайшим духовным опытом» Гитлера. В 1914 году, когда ему представилась возможность стать солдатом Германской империи, он крупным планом и при полном освещении увидел героику того времени. Гитлер с истерическим фанатизмом отрицал (сам он временно ослеп после газовой атаки, хотя поговаривают, будто от эмоционального напряжения), что его юношеский образ германской доблести лишился света. Он казался полным решимости спасти его. А его враги, внутри и за пределами Германии, лишь пожимали плечами.

Здесь снова необходимо заглянуть за одержимость и усмотреть изобретательность. Начиная с Томаса Манна первой мировой войны и кончая нацистским философом второй мировой, немецкий солдат понимался как персонификация, или даже спиритуализация всего того, что есть немец. Он олицетворял «Стража на Рейне»: человеческую стену, заменяющую несуществующие естественные границы Германии. В нем утверждала себя сплоченность через слепое повиновение и разрушались стремления к демократическому разнообразию. Было бы опасно не учитывать и то, что эта позиция, фактически эксплуатируемая шумным типом делающего карьеру молодого офицера, способствовала также развитию офицерской аристократии, которая буквально впитывая аристократически-революционные принципы других наций, давала убежище одному из немногих политически зрелых типов в Германии. Поэтому, когда Гитлер всеми правдами и неправдами отрицал поражение этой армии, он спасал для себя и для немецкой молодежи единственный целостный образ, который мог принадлежать каждому.

Версальский договор, искусно эксплуатируемый, оказался полезным при создании нового, модернизированного немецкого солдата. Маленькая армия стала армией специалистов. Таким образом старейший и наименее изменившийся имперско-германский тип был заново воссоздан со знаком современного, технически грамотного специалиста. Дух командной работы и личной ответственности

заменил собой дух слепого повиновения; маркой офицера, вместо касты, стала его зрелость. С таким новым материалом был подготовлен блицкриг: не только технический подвиг, но быстрый выход и спасение для травмированного немецкого народа. Ибо молниеносная война обещала победу темпа над превосходством союзников в мощности артиллерии (и стоящим за ней промышленном могуществе), которая во время первой мировой войны «прижимала немцев к земле» до тех пор, пока они не стали готовы довериться Вильсону [Имеется в виду Томас Вудро Вильсон, президент США, и его идеи «мирного мирового порядка» в связи с заключением Версальского договора. - *Прим. пер.*], разойтись и заняться более возвышенными делами. Кроме того, молодежь Германии в блицкриге на собственном опыте познала «заключительные аккорды революции, достигающие духовных, ментальных и телесных глубин». [W. W. Backhaus, *Ueberwindung der Materialschlacht 'Das Reich'* Berlin, July, 13, 194.] Блицкриг ослаблял чувство окруженности и периферической уязвимости. И, цитируя нациста: «Инстинктивное удовольствие, которое молодежь находит во власти моторов, здесь пророчествует расширение возможностей человечества, с самого начала бывших такими узкими и, в целом, так и не расширенных цивилизацией». [Там же.] Было бы губительно отмахиваться от такого нацистского мистицизма. Чтобы нанести поражение моторизованной Германии, молодежи других стран также пришлось научиться, подобно современным кентаврам, вырастать вместе со своими боевыми машинами в новых, не знающих отдыха существ, влюбленных в точность. Гитлер пытался приблизить появление поколения, воспринимавшего моторизованный мир как естественный, и сплавить его с образом тоталитарной «государственной машины».

Когда он увидел, что «индустрия демократических стран движется на большей скорости», то воспринял это как личное оскорбление (*Gelump* (барахло) - так он в раздражении называл их продукцию). Когда их летающие крепости оказались прямо над его городами и, прежде всего, когда он увидел, что англосаксонские парни могут идентифицироваться со своими машинами, не теряя при этом голову, он был настроен скептически. Когда же он увидел, что русские совершают не только чудеса обороны, но и наступления, его иррациональная ярость не знала границ, ибо в своем инвентаре образов Гитлер характеризовал русских не только как несопоставимых с его солдатами, но как народ, стоящий ниже всякого сравнения: он называл их *Sumpfmenschen* [Буквально: «болотные люди». Скрытые коннотации: грязные, распутные (нем.). - *Прим. пер.*] и «недочеловеками». Таким образом, русские сравнялись с другими «недочеловеками», евреями: только более удачливые русские имели свою страну и армию. Достаточно очевидно, что в фантастическом преувеличении Гитлером еврейской «угрозы», воплощенной, фактически, в такой малой доле населения, к тому же высоко интеллектуализированного, скрывалась сильная зависть. Как мы уже говорили, «слишком узкий» немец всегда чувствовал себя подвергаемым опасности, денационализируемым информацией, которая открывала ему относительность и разнообразие культурных ценностей. Казалось, еврей остается самим собой несмотря на рассеяние по всему миру, тогда как немец опасался за свою идентичность в собственной стране. Действительно, казалось, будто эти таинственные евреи делают из интеллектуальной релятивности средство расового самосохранения. Для некоторых немцев это было непостижимо без предположения особо хитрого шовинизма, тайного еврейского сговора с Судьбой.

6. Впечатление о евреях

Уже Освальд Шпенглер предполагал, что антисемитизм является в значительной степени делом проекции: люди особенно отчетливо видят в евреях то, что не хотят замечать в себе. Представление о тайном сговоре с Судьбой, перепитии которой, по-видимому, скрывают за «избранным» чувством интеллектуального превосходства мечты о завоевании мира, полностью близко германскому шовинизму.

Хотя проекции - это враждебные и наполненные страхом искажения, они обычно не лишены зерна глубокого смысла. Верно, что субъект проекции «видит сучок в глазу брата своего и не замечает бревна в собственном глазу», и что степень искажения и безобразности реакции лежит на его совести. Однако в глазу соседа обычно есть нечто такое, что подходит для особого увеличения. И уж никак нельзя отнести за счет случайного стечения обстоятельств, что в этот решающий момент в истории (когда «один мир» стал реальным образом, а два мира - неизбежной реальностью) самые окруженные цивилизованные народы оказываются чувствительными к пропаганде, которая предупреждает о дьявольских силах самого рассеянного по миру народа. Поэтому мы хотя бы мимоходом должны поинтересоваться тем, что, по-видимому, делает еврея излюбленной мишенью самых злобных проекций - и не только в Германии. Фактически, в России мы тоже недавно были свидетелями ожесточенной

компании против «интеллектуалов-космополитов». Евреи - единственный пример древнего народа (entity), который сохраняет верность своей идентичности - будь она расовой, этнической, религиозной или культурной - таким способом, что создается ощущение, будто она представляет угрозу для вновь возникающих идентичностей.

Возможно, еврей напоминает западному миру те зловещие кровавые обряды (упоминавшиеся выше), в которых Бог-отец требует взнос за половой член мальчика, налог на его маскулинность, в качестве знака договоренности? Психоанализ предлагает следующее объяснение: еврей пробуждает «страх кастрации» у людей, не принявших обрезания в качестве гигиенической меры. Мы видели, как в Германии этот страх смог расшириться до более инклюзивного страха уступить, утратить юношеское своеволие. И то обстоятельство, что евреи оставили свою родину и пожертвовали своим национальным правом организованной самозащиты, несомненно сыграло здесь свою роль. До тех пор, пока это не было героически исправлено сионистской молодежью, молодежи других стран казалось, будто евреи имели обыкновение «расплачиваться за это» по двум счетам: от их собственного Бога и от их «стран-устроительниц».

Я считаю, что теория психосоциальной идентичности допускает возможность другой интерпретации. Универсальный конфликт оборонительной косности и приспособительной гибкости, консерватизма и прогрессизма, у евреев диаспоры выражается в оппозиции двух тенденций: догматической ортодоксии и оппортунистической приспособляемости. Этим тенденциям наверняка благоприятствовали века рассеяния. Здесь можно говорить о типах евреев, например, о религиозно-догматическом, культурно-реакционном еврее, для которого перемены и время ровно ничего не значат: Писание - вот его реальность. И можно найти ему противоположность, еврея, для которого географическое рассеяние и множественность культур стали «второй натурой»: относительность становится для него абсолютом, меновая стоимость - его рабочим инструментом.

Существуют крайние варианты этих типов, своего рода живые карикатуры: бородатый еврей в своем кафтане и Сэмми Глик. Однако психоаналитик знает, что тот же самый набор оппозиций, тот же конфликт между строгим соблюдением Писания и капитуляцией перед изменяющейся ценой вещей наполняет собой бессознательные конфликты мужчин и женщин еврейского происхождения, которые сами не считают себя, да и другими не считаются «иудеями» в смысле отношения к вероисповеданию или в расовом смысле. Писанием в таком случае, возможно, становилась политическая или научная догма (социализм, сионизм, психоанализ), совершенно не связанная с талмудической догматикой, однако цитируемая и отстаиваемая в манере, не слишком отличающейся от манеры диспутов предков, споривших по поводу истолкования отдельных мест Талмуда, а меновая стоимость могла уступить свое место навязчивому занятию сравнительным оцениванием ценностей. В экономическом и профессиональном отношении, более поздние этапы истории эксплуатировали то, что было заложено на более ранних ее этапах: евреи занимались тем, что умели делать лучше всего, хотя они, конечно, учились совершенствовать и то, что им было позволено делать. Поэтому они становились не только традиционными торговцами, но и посредниками в культурном обмене, интерпретаторами в искусствах и науках, целителями болезней и внутренних конфликтов. Их сила в этих областях деятельности заключается в ответственном чувстве относительности. Но в нем же и слабое место евреев, ибо там, где чувство относительности утрачивает должную ответственность, оно может превратиться в циничный релятивизм.

В свою очередь, еврейский дух, скромно обладая смелостью веков, поднимает вопрос относительных ценностей до уровня, на котором знаемая действительность становится связанной с более инклюзивными порядками. В религиозной сфере, как известно, христианская, этика основана на полном подчинении этого мира «миру иному», земных империй - Царству Божьему: когда Гитлер называл совесть еврейским недостатком, он тем самым включал в него христианство и его учение о грехе и спасении.

В наши времена свобода воли человека, свобода сознательного выбора ценностей и свобода его суждений были подвергнуты сомнению в теориях трех евреев. Марксова теория исторического детерминизма установила, что наши ценности находятся в неосознаваемой зависимости от средств, которыми мы добываем себе пропитание. (Как психологический факт, это не полностью идентично той политической доктрине марксизма, которая в разных странах привела к разным формам социализма). В психологии, теория бессознательного Фрейда убедительно показала, что мы не сознаем наихудшего и наилучшего в наших мотивациях. Наконец, теория относительности Эйнштейна послужила источником современного пересмотра широких основ меняющейся физической теории. Эйнштейн доказал, что наши измерительные инструменты, фактически, связаны с отношениями, которые мы измеряем.

Очевидно, можно легко доказать, что каждая из этих теорий появилась в «логичный» момент истории соответствующей области знания; и что эти мыслители довели до кульминации культурный и научный кризис Европы не потому что они были евреями, но как раз потому, что были евреями *и* немцами *и* европейцами. Однако ингредиенты, входящие в радикальные инновации во времена распутья в любой сфере деятельности, почти не изучены [См.: *Young Man Luther*.]; и мы вправе поставить вопрос: можно ли свести к простой исторической случайности тот факт, что именно Марксу, Фрейду и Эйнштейну - немцам еврейского происхождения - выпало на долю сформулировать, более того, персонифицировать радикальные изменения самих основ мышления человека, от которых он зависел.

Здоровые эпохи и страны ассимилируют вклады сильных евреев, тем самым усиливая собственную идентичность прогрессивными изменениями. Но во времена коллективной тревоги, один только намек на относительность уже вызывает негодование, причем это особенно справедливо для тех классов, которым грозит утрата статуса и самоуважения. В своем стремлении найти платформу сохранения такие классы со зловещей преданностью цеплялись за несколько абсолютов, надеясь, что они-то и спасут их. Именно на этой стадии агитаторами разных мастей, эксплуатирующими трусость и жестокость масс, вызывается параноидный антисемитизм.

Я думаю тогда, что проникновение в беспощадную природу идентичности может пролить некоторый свет на тот факт, что сотни тысяч немцев участвовали, а миллионы шли на уступки в немецком «решении еврейского вопроса». Эти методы до такой степени не поддаются пониманию, что помимо преждевременных приступов отвращения, никому - будь он американцем, евреем или немцем - пока не удается сохранить какую-либо последовательную эмоциональную реакцию на них. Вероятно, это было кульминационным завершением извращенного мифологического гения нацизма: создать ад на земле, который кажется невозможным даже тем, кто знает, что он существовал на самом деле.

Политическая и военная машина национал-социализма сокрушена. Однако форма ее поражения несет в себе условия для возникновения новых угроз. Ибо снова Германия разделена внутри себя; образование немецкой политической идентичности опять отложено. Снова немецкая совесть оказывается беспомощной стрелкой на весах двух мировых этик; завтра она опять может заявить права на то, чтобы быть тем самым арбитром, который держит эти весы в своих руках. Ибо тотальное поражение порождает также и чувство тотальной уникальности, готовность снова позволить эксплуатировать себя тем, кто, кажется, может предложить чувство тотальной власти вместе с перманентной сплоченностью и новое чувство идентичности, избавляющее от ныне бессмысленного прошлого.

Всем, кто надеется на и борется за перемены в Европе, которые обеспечат немцам мирную судьбу, сначала необходимо понять историческую дилемму ее молодого поколения и молодежи других крупных районов мира, где абортивные национальные идентичности должны получить новую выверку в общей индустриальной и братской идентичности. Именно по этой причине я обратился к периоду, предшествовавшему последней войне. До тех пор, пока действовавшие тогда силы оказываются впряженными в согласованные усилия по наведению истинно нового порядка, мы не вправе позволять себе забывать. [Хотя казалось бы бессмысленно «модернизировать» эту главу (а фактически, еще предшествующую и последующую), я не могу не упомянуть о двух событиях наших дней. По какой-то жуткой исторической логике в наш ядерный век снова существует простая стена из бетона, отделяющая немцев от немцев. С другой стороны, новая экономическая империя Европы включает в себя одну часть Германии. Ни ее вновь усиленное разделение, ни новая область деятельности для ее организационного гения, по-видимому, не решают проблемы национальной идентичности Германии или проблемы ее гегемонии на континенте, центром которого она является. - *Э. Г. Э.*]

Глава 10. Легенда о юности Максима Горького

[Эта глава родилась из моего случайного участия в качестве консультанта в исследовательском проекте Калифорнийского университета по изучению современных культур, финансируемом Федеральным управлением военно-морских исследований. За факты и их осмысление я должен поблагодарить членов русской группы этого проекта, особенно Сулу Бенет, Николаса Каласа, Джеффри Гоурера, Натана Лейтеса, Бертрама Шеффнера и, конечно же, прежде всего руководителя их семинара, Маргарет Мид, познакомившую меня с фильмом, который и подвергается здесь критическому анализу.]

В наши дни [В начале пятидесятых годов. - *Прим. пер.*] трудно получить дополнительную информацию о России, которая была бы достоверной, релевантной и одновременно ясной. То немногое,

что я знаю, недавно кристаллизовалось вокруг образов старого, но тем не менее животрепещущего русского фильма, особенно, вокруг самообладания мальчика - героя этой картины.

Фильм рассказывает большевистскую легенду о детстве Максима Горького. Как и раньше, в случае с националистической версией детства Гитлера, я проанализирую систему образов в их связи с географическим местоположением и историческим моментом происхождения. [Согласно проспекту фильмотеки Музея современного искусства в Нью-Йорке, обсуждаемая здесь картина впервые была показана в 1938 году в Москве. Продюссер - Марк Донской, студия Союзтетфильм. Я посмотрел этот фильм в марте 1948 года в Нью-Йорке.] В некоторых знаменательных отношениях эти две легенды обладают известным сходством. Обе они показывают растущего своевольного мальчика в ожесточенной борьбе с отцовской фигурой, главой рода - беспощадным тираном, пусть даже и дряхлым неудачником. И Гитлер, и Горький в отрочестве пережили психическое потрясение от бессмысленности существования и тщетности бунта. Они стали интеллектуальными пролетариями, близкими к крайнему отчаянию. По иронии судьбы оба обрели известность в полицейских досье своих стран как «бумагомараки» («paperhanders»). Однако на этом аналогии заканчиваются.

Горький стал писателем, а не политиком. Конечно, и после русской революции он продолжал оставаться идолом страны Советов. Он вернулся в Россию - и умер там. Была ли его смерть таинственной или просто мистифицированной по политическим мотивам, мы не знаем. У гроба Горького Молотов сравнил его потерю с утратой самого Ленина. Очевидно, что причины его национального возвеличивания - не в доктринерском фанатизме и не в политической хитрости Горького. Ибо он, друг Ленина, говорил: «Различия во взглядах не должны влиять на симпатии, - я никогда не отводил теориям и мнениям видного места в отношениях с людьми». Факты заставляют нас сделать вывод об исключительной терпимости к Горькому Ленина и Сталина, закрывавших глаза на некоторые его знакомства с подозрительно ортодоксальными личностями. Ответ кроется в том, что Горький был народным писателем, сознательно и упорно писал о народе и для народа. Он - «бродяга» и «провинциал» - жил в двойном изгнании: политической ссылке (под надзором царской полиции) и изоляции от интеллектуальных кругов своего времени. Его «Воспоминания» [Литературные портреты // М. Горький: Собр. соч. в 18 т. - Т. 18. - М. Гослитиздат, 1963.] показывают, насколько спокойно и обдуманно он изображает себя даже в присутствии таких подавляющих фигур как Толстой.

Подобно Толстому, Горький принадлежит к той эпохе русского реализма, которая сделала грамотную Россию такой безжалостно внимательной к себе и такой ужасно стеснительной. Однако его манере письма было чуждо самоупоение страданием, которое наполняло собой произведения его более великих современников. Он не заканчивал своих произведений фатальным тупиком добра и зла, финальной уступкой демонам прошлого, как это делали Толстой и Достоевский. Горький научился наблюдать и писать просто, потому что видел «необходимость точного изображения некоторых - наиболее редких и положительных - явлений действительности». Кинофильм показывает развитие душевного склада будущего писателя. Кроме того, он иллюстрирует русскую дилемму, дилемму большевика и, как я попытаюсь доказать, дилемму «протестантского» умонастроения, с опозданием появляющегося в восточных странах.

Фильм этот, конечно же, старый. На первый взгляд он требует невозможного от американских глаз и ушей. Но по содержанию он кажется легким как волшебная сказка. Фильм плавно течет как свободный и сентиментальный рассказ, явно предназначенный для того, чтобы приблизить героя, маленького Алёшу, к сердцу зрителей, которые узнают во всем этом свою родную Россию, свое детство и в то же время знают, что этот Алёша однажды станет великим Горьким.

У русских, смотревших картину вместе со мной, она вызвала лишь ностальгические раздумья, без какого-либо привкуса политической полемики. Легенда говорит сама за себя.

1. Страна и мир

В самом начале фильма появляется русская «троица»: безлюдные равнины, Волга, балалайка. Необозримые просторы центральной России открывают свою мрачную пустоту, - и тотчас же звуки балалайки нарастают до бурного крещендо, как бы говоря: «Ты не один, мы все здесь». По широкой Волге пароходы везут тепло укутанных людей в глухие деревни и перенаселенные города.

Противопоставление громадной страны островку маленькой, пестрой общины составляет, таким образом, первоначальную тему фильма. Нам напоминают, что слово «мир» («mir»), используемое для обозначения сельской общины со всеми ее членами, означает к тому же «мир в целом» (World), и что «на миру и смерть красна». В глубокой древности викинги называли русских «жителями городищ» («the

people of the stockades»), поскольку находили их скученными в компактных, обнесенных частоколом селениях, где они таким образом переживали суровые зимы и укрывались от диких зверей и врагов, не забывая о развлечениях, хотя бы и грубых.

Большой пароход подходит к пристани, заполненной веселыми, празднично одетыми встречающими. Среди них - близкая родня двух пассажиров парохода: недавно овдовевшей Варвары и ее сына Алёши. Мы первый раз видим его симпатичное маленькое лицо с широко открытыми глазами и ртом, когда Алёша, выглядывая из-за длинных юбок матери, с благоговейным страхом рассматривает шумную родню, которая обступает и поглощает их. И как только он отваживается побольше выглянуть из-за матери, так сразу грубые шутники проверяют запас его любопытства. Озорная маленькая кузина показывает язык и громко кричит на него, а дядя хватает за нос и мягко надавливает, как на кнопку, одновременно с гудком парохода. Симпатичный молодой парень, глядя на него, громко хохочет, с виду добродушно, но поди, разберись тут. Наконец мальчику дают подзатыльник и заталкивают в лодку.

Затем мы видим, как все семейство, тяжело ступая, плотной колонной движется по середине улицы, напоминая процессию паломников или, может быть, группу арестантов - или то и другое одновременно. Скрытые голоса враждебной молвы становятся громче. Кто-то шепчет: «Они настойчиво требуют у отца раздела имущества». Кто-то намекает, что овдовевшая мать Алёши вернулась домой за приданным, назначенным ей отцом, но им же и удержанным, поскольку она вышла замуж против его воли. Бабушка, чья крупная фигура возглавляет процессию, причитает шепотом: «Дети, дети», - как если бы с потомством не было сладу.

Затем мы видим эту большую семью дома: все скопились в маленькой комнате и охвачены вереницей странных настроений. Балалайка что-то наигрывает, вызывая у слушателей непонятное чувство, грустное и беспокойное. Как будто вместо молитвы перед едой, уже стоящей перед ними на столе, эти люди предаются музыкальному состраданию самим себе - все вместе, но каждый по-своему. Старый мастер Григорий выражает тему самосострадания самым поразительным способом: в ритме песни он хлопает себя по лысине. И не ясно, от чего больше он получает удовольствие - от ритма или от этих хлопков.

Как бы очнувшись, дядя Яков резко обрывает игру. Он делает глоток (водки?), занюхивает (луком?) и начинает наигрывать веселую, ритмическую мелодию, напевая какую-то бессмыслицу о сверчках и тараканах. [Очевидно, читатель уже заметил отклонения (в сценарии фильма или в его воспроизведении Эриксоном) от текста известной со школы трилогии Горького. Однако мы не вправе что-то изменять в авторском тексте, тем более, что эти отклонения, в целом, не оказывают существенного влияния на принципиальные оценки и выводы автора. - *Прим. пер.*] Звучит бешеное и электризующее крещендо, слишком быстрое для того, чтобы его мог схватить западный ум. Затем мы видим Цыганка, пляшущего вприсядку.

Цыганок молод и красив, - и когда он раскатывает рукава, выпускает низ рубахи и, вообще, «распоясывается», все получают от пляски огромный заряд бодрости. Он подпрыгивает и приседает, дробно стучит каблуками, - и вся переполненная комната вторит ему, как будто в веселом землетрясении: трясется мебель, дребезжит посуда, даже вода в графине колеблется.

Это в высшей степени мужское представление сменяется затем сценой щедрой женственности. Гости уговаривают сплясать саму бабушку. Бабушка - поистине громадная старуха, плотно одетая, с тяжелой головой, широким лицом и доброй, приветливой улыбкой. И этому тяжелому созданию сначала удается быть по-детски застенчивой, затем - по-девичьи привлекательной, а немного спустя - уже нести в танце свой могучий стан с чрезвычайным достоинством, легкостью и обаянием.

Ее ноги ступают осторожно, фигура сохраняет прямую и величественную осанку; медленно поворачиваясь, бабушка разводит руки - сначала одну, потом другую - и снимает тяжелую шаль, как бы обнажая перед всеми груди кормилицы.

В этот момент она неожиданно останавливается, бледнеет и закутывается в шаль. Музыка обрывается, движение замирает. Все взоры устремлены на дверь: вошел дедушка. Разумеется, мы даже не заметили его отсутствия. Однако ничто не может пересилить тот подтекст, что только в его отсутствие бабушка могла открыть свое сердце и тело детям.

Эти насыщенные энергией сцены отмечают счастливое начало или, точнее, указывают на счастливое прошлое. Как представителям западной культуры, нам было бы лучше настроиться на то, что в этом фильме нет счастливого конца: нет истории любви и нет истории успеха. То, что мы видим вначале, есть воспоминание о делах минувших дней; а в конце нас ждет будущее, в котором несомненно лишь одно: оно будет горьким. «Горький» (Gorky) означает «горький» (bitter).

Вошел дедушка, и с ним - скупость и ненависть к людям. Его лицо застыло в напряжении,

движения отрывисты, - он полон нескрываемого возбуждения. Оказывается, он уходил, чтобы купить скатерть, и не какую-нибудь, а белую. По тому, как он по-детски показывает ее всем, становится ясно, что для него эта белая скатерть - символ его положения. Дедушка пытается воспользоваться вечеринкой, чтобы еще раз самовлюбленно похвастаться перед всеми: сейчас он достаточно богат, чтобы купить себе белую скатерть. Он - хозяин маленькой красильни, хотя и не защищен от пролетаризации.

Тотчас же раздаются шепот и возгласы, поднимающие вопрос о его собственности. Когда он собирается отойти от дел и разделить свое богатство между уже достигшими почти средних лет сыновьями?

Так как сердитый шепот усиливается, дедушка визгливо кричит: «Цыц, окаянные! По миру пущу!» Его голос выдает отчаяние и, в то же время, последнее усилие загнанного в угол зверя. Визгливый крик деда служит, вероятно, сигналом для сыновей, которые перекидываются кровожадными взглядами. Вскоре они уже катаются по полу, в пьяной ярости колотя друг друга. Рубаха на дедушке спущена с плеч, рукава - оторваны. «Ведьма, - воет дед, - народила зверья!» - тема, которую следует запомнить.

Гости в испуге разбегаются, праздничный стол разгромлен, а бедный маленький Алёша прячется на печи - обычном убежище русских детей. Для первого дня он видел достаточно. До сих пор Алёша не сказал ни слова. Что все это означало и будет означать для него в конце, можно понять лишь из того, как он действует или, на самом-то деле, воздерживается от действия по мере того, как его позиция развивается в ходе встреч и столкновений с разными людьми.

Чтобы можно было сосредоточиться на этих встречах и столкновениях, я вкратце обрисую историю в целом.

Отец Алёши, Максим Пешков, уехал из дома родственников жены, Кашириных, несколько лет назад. Он умер в далеком краю. Его жена Варвара, с сыном Алёшей, были вынуждены вернуться к своей родне. Каширины очень жадны. Дядья (Ваня и Яков) хотят, чтобы дряхлый дед передал им свою красильню. Он отказывается. Вначале они сводят с ним счеты «грубыми шутками». Дед в отместку порет маленьких внуков. Один из дядьев поджигает красильню, - и начинается распад семьи. Мать Алёши в конце концов находит убежище в браке с мелким чиновником и перебирается из слободы в город. Алёша остается с дедушкой и бабушкой и должен стать невольным свидетелем экономического и ментального упадка старого Каширина. Мальчик находит друзей за пределами семьи, сначала среди прислуги, а затем - среди слободских детей. В доме есть еще старый мастер Григорий, во время пожара потерявший зрение, и Иван («Цыганок») - подмастерье, которому вскоре суждено погибнуть. На улице Алёша заводит дружбу с ватагой бездомных мальчишек и с мальчиком-калекой, Лёнькой. Однако решающее значение имеет его встреча с таинственным дедушкиным жильцом, который впоследствии будет арестован полицией как «анархист». В конце фильма мы видим повзрослевшего Алёшу (теперь ему двенадцать, а может и четырнадцать) с решительным видом всматривающегося в горизонт. Он оставляет распад семьи позади. Практически ничего не говорится о том, что лежит впереди.

На протяжении всех этих сцен Алёша почти ничего не говорит и не делает. Он редко в чем-то участвует, но очень внимательно наблюдает за происходящим и, обыкновенно, реагирует как раз тем, что воздерживается от участия. Такая драматизация через недействие вряд ли служит характерной чертой того, что мы, западные зрители, считаем историей.

Изучая эти несовершенные, равно как и совершенные поступки, я постепенно пришел к убеждению, что истинное значение подобных сцен есть значение полустанков на пути сопротивления мальчика искушениям, причем таким искушениям, какие нам совершенно незнакомы.

Если перевести это на язык наших радионовостей, то получится следующее: покорится ли Алёша первобытному фатализму бабушки? Сделает ли его пессимистом предательство со стороны матери? Возбудит ли в нем садизм деда гневное желание убить «отца» - и поверхностное раскаяние? Склонят ли его дядья-братоубийцы к тому, чтобы разделить их преступления - и пьяное обнажение души? Вызовут ли у него слепой и калека парализующую жалость и дешевое милосердие? Помешает ли ему все это стать новым русским - стать Горьким?

Таким образом, каждая сцена и каждый значимый персонаж олицетворяет искушение регрессировать к традиционной морали и к древним обычаям его народа, соблазн оставаться скованным традиционным супер-эго внутри и крепостным правом снаружи. В положительном плане, мы видим, что Алёша обретает уверенность в себе, как если бы он дал тайную клятву; и, кажется, он посвящает себя укреплению верности еще не оформленной в сознании цели.

Конечно, представители западной культуры привыкли отождествлять то, что мы называем здесь

искушениями, со странностью русской души - и с ее православием. И нас раздражает, когда люди не остаются верными тому сорту души, который они разрекламировали и который стал их опознавательным знаком. Но мы должны постараться понять: Алёша, благодаря своей судьбе «перемещенного» Пешкова среди Кашириных, демонстрирует промежуточные стадии неожиданно появляющегося нового русского типа души, русского индивидуализма. Не Лютер и не Кальвин раскрыли для него новые глубины души; и не отцы-основатели и первопроходцы открыли для него еще не нанесенные на карту континенты, где он мог бы преодолеть свое внутреннее и внешнее рабство. Сам по себе, без посторонней помощи и в тайном соглашении с родственными душами, он должен научиться протестовать и развить - в самом широком смысле - «протестантскую» мораль.

2. Матери

В сцене застолья мы встретились с проявлением силы, очарования и щедрости бабушки. Несомненно, что самым большим искушением и, к тому же, единственным, сопровождающим Алёшу до самого конца, является искушение найти убежище в спокойствии духа бабушки (так же, как в самом начале картины он спрятался в материнские юбки) и стать частью ее спокойной совести. Эта старая женщина, кажется, олицетворяет реальную действительность земли, очевидную силу плоти, прирожденную смелость души. Ее материнская щедрость безгранична. Она не только родила и выкормила все племя Кашириных, которое ей пришлось научиться терпеть; она также подобрала и обласкала Цыганка, сделав бездомного мальчишку свободным и веселым.

Алёша все яснее сознает, что бабушка старается приласкать и успокоить даже воющего деда. В роковом вопросе дележа имущества ее принципы просты, хотя и «беспринципны»: «Отдай им все, отец, - спокойней тебе будет, отдай!» И видя ужас старика говорит: «Я пойду милостыню для тебя просить». В то же время она позволяет этому дряхлому мужику бить себя, просто опускаясь на колени, как если бы он действительно был настолько силен, чтобы сбить ее с ног. Алёша в недоумении: «Разве он сильнее тебя?» - «Не сильнее, а старше! - отвечает бабушка. - Кроме того - муж!» Вскоре она становится матерью и для Алёши. Когда Варвара уезжает со вторым мужем, бабушка просто говорит: «Я буду ему бабушкой *и* матерью».

Эта женщина, по-видимому, не знает никакого закона, кроме закона отдавать; не знает никаких принципов, за исключением абсолютной веры в свою внутреннюю выносливость, чем она, очевидно, символизирует первобытную веру людей, их способность выживать и жить дальше, но одновременно и их слабость, состоящую в примирении с тем, что в конечном счете порабощает их. Алёша начинает относиться к грандиозной выносливости бабушки как к чему-то пришедшему из другого мира. Этот мир, вероятно, есть древнейшая Русь и глубочайший пласт ее (бабушки), - и его (Алёши) - идентичности. Именно эта первобытная Русь устояла в эпоху раннего христианства, когда деревянные идолы выдержали принудительное крещение и наивную христианизацию. И именно спокойствие духа первого городища (strockade), примитивный мир (mir) обрел близкую к земле организацию и веру в анимистические сделки с необузданными силами природы. Бабушка все еще использует тайком анимистические приемы. Она помнит старинные предания и сказки и может рассказывать их просто и убедительно. Бабушка не боится Бога и природных стихий. Она оказывается в довольно хороших отношениях с огнем, который на протяжении всего фильма символизирует разрушительную страсть.

Во время большого пожара бабушка входит в горящий дом, чтобы вынести тяжелую бутыль с купоросом; и она же легко успокаивает коня, который вырывается и становится на дыбы. «А ты не бойся! - говорит она ему. - Али я тебя оставлю в страхе этом?» - и конь, кажется, верит и успокаивается. К людским страстям она относится также, как к огню: и то, и другое есть внешнее, хотя и неизбежное зло. Дело обстоит так, как если бы она жила задолго до того, как страсти сделали людей честолюбивыми, жадными и, в свой черед, по-детски раскаивающимися; и как если бы она надеялась пережить все это.

В таком случае, ее страсть есть со-страдание. Даже когда она обращается с молитвой к Богу, то делает это очень лично, как если бы он действительно находился в той иконе, что прямо перед ней. Ее подход - это подход равенства, или даже подход матери, просящей что-то у своего ребенка, которому выпало стать Богом. И ей нет нужды быть разрушительной в своей страсти, потому что ее совесть не безжалостна. Таким образом, она - первобытная Мадонна, мать Бога и человека, да и духов тоже.

Бабушка берет на себя ту роль в жизни Алёши, какую женщины в России традиционно играли для детей «важной персоны», именно, роль бабушки и няни - женщин, чувствующих себя как дома в этом мире, поскольку (и часто лишь поскольку) они делают его домом для других. Подобно большой

печке в центре избы, они всегда могут служить надежной опорой - опорой того сорта, которая придает людям стойкость и позволяет ждать, ждать так долго, что надежда превращается в безразличие, а выносливость - в рабство.

Алёша должен не только суметь оставить своих матерей, но оставить их без осадка греховности, заставляющей блудного сына покаянно держаться за символы матери: как если бы с трудом вырываясь на свободу, он уничтожил свою мать. Ибо во многом болезненная и неумеренная капитуляция заблудшей души имела свой источник в необходимости преодоления непреодолимого чувства оскверненности и заброшенности материнского источника и возвращения через слияние душ самого первого чувства дома, чувства рая.

Однако реальная мать, по-видимому, не испытывает насущной потребности в таком доме. В крестьянской России существуют градации и уровни материнства, которые предотвращают исключительную фиксацию на матери и дают ребенку богатый инвентарь образов дающей и фрустрирующей матери. Бабушка есть и остается представителем образа матери периода младенчества, неискаженного эдиповой ревностью растущего мальчика.

В нашей картине «настоящая» мать Алёши оказывается ускользающей и почти безвольной. Она постепенно теряет значение, сначала как источник силы, а затем и как объект привязанности. В самом начале фильма есть эпизод, где эта мать, защищая сына, заносчиво набрасывается на одного из своих озлобленных братьев, швыряя в него чем-то из обстановки. В это мгновение Алёша поддается искушению и громко говорит: «Моя мать - самая сильная». Вскоре бедному мальчику пришлось взять свои слова назад: когда дед порет его, охваченная страхом мать способна лишь просить: «Папаша, не надо! Отдайте...» - «И сейчас твоя мать самая сильная?» - эхом отзывается недоброжелательная маленькая кузина. Слабость женщин не есть физическая слабость. Их слабость в том, что они «уступают».

В то время как для Алёшиной бабушки не существует никаких законов, кроме собственного мнения, и беспринципна она лишь потому, что предвосхищает принципы сформированной морали, его мать выбирает притворную безопасность мелкого чиновничества. Она продает себя, выходя замуж за одетого в мундир лакея, и объясняет сыну, что таким способом она сможет купить свободу и для него. В этот раз, в этот единственный раз, Алёша реагирует резко, не сдерживаясь. Он оскорбляет поклонника матери, а затем бросается на кровать и плачет, как плачут все дети. Когда мать уезжает, она еще раз напоминает ему о своем физическом присутствии, укутывая его своей шалью. Но нет и намека на то, что он намерен последовать за ней, воспользоваться ее личным и социальным предательством. «Видно - судьба тебе со мной жить», - говорит старик Каширин. Мальчик угрюмо молчит.

Поразительно: традиционное разделение и размывание материнства в крестьянской России, вероятно, делало мир более надежным, заслуживающим доверие домом, поскольку материнское отношение не зависело от одной хрупкой связи, а было делом гомогенной атмосферы. И тем не менее, горькая тоска по прошлому (bitter nostalgia) прямо связывалась с уходом матери к «новому мужу» или с тем, что она позволяла себе как-то иначе деградировать и разрушаться - так, по крайней мере, это выглядит в художественной литературе. Относительно «нового отца» Алёши, напомним, что отец Гитлера тоже был чиновником, членом холопского, хотя и амбициозного «среднего» [В оригинале: «middling» class, что означает «средний» и «второсортный». Эриксон использует кавычки в качестве намека на второе значение слова middling. - *Прим. пер.*] сословия.

В фильме Алёша решительно проглатывает свою тоску по прошлому. Что такая «проглоченная тоска» («swallowed nostalgia») сделала с Горьким, мы увидим позднее, при обсуждении его приступов гнева и презрения, а также его странного покушения на самоубийство в ранней зрелости. Манера письма Горького долго страдала от этой тоски по прошлому. Чехов писал ему: «... у Вас, по моему мнению, нет сдержанности... Особенно эта несдержанность чувствуется в описаниях природы... в изображениях женщин и любовных сцен... [Вы] часто говорите о волнах». [Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. - Письма в 12 т. - Т. 7. - М: Наука, 1979. - С. 352.] Горький усердно работал над преодолением этого недостатка.

3. Дряхлый деспот и окаянное племя

Дедушка был небольшого роста, «с рыжей бородкой, зелеными глазками и руками, которые, казалось, были выпачканы кровью, настолько краска въелась в кожу. Его брань и молитвы, шутки и поучения каким-то странным образом сливались в раздражающий, ядовитый вой, как ржа разъедавший душу». [Maxim Gorky, *Reminiscences of Tolstoy, Chekhov and Andreyev,* The Viking Press, Inc. New York,

1959. В соответствующем русском издании мы не нашли этого текста, хотя он, в целом, соответствует описанию старика Каширина в «Детстве» Горького. - *Прим. пер.*] Фильм правдиво отражает это описание. Дедушка изображен разрушителем всех мальчишеских радостей. Он - мужчина - зависит от своих денег и силы бабушки, как ребенок. Садистически-ретентивный скряга, он постепенно регрессирует к зависимости от нищего.

Свойства его характера выявляются во всей полноте в сцене порки. Гнев этого человека, вспыхнувший во время завершения застолья пьяной дракой, продолжает тлеть. Мы видим красильню, где дядья, согнувшись над шитьем, обдумывают способ отомстить. Грубые шутки снова расчищают путь для более открытого разрушения. Дядья подговаривают Сашу накалить на огне наперсток деда и положить его на место. Когда старик сунул палец в каленый наперсток, то «чуть ли не до потолка подпрыгнул» от боли. Но главный удар ему наносит Алёша, когда из детской шалости, склоняемый мальчишками, решает покрасить новую скатерть - разрушить ее белизну. Дед собирается выпороть мальчишек в субботу, после церкви.

Сцена порки передана во всех подробностях: спокойные приготовления деда - драматическое, но бессильное вмешательство женщин - свист розг и корченье маленьких тел. Цыганок должен был помогать деду - удерживать мальчиков на «скамье пыток».

После порки Алёша лежит в постели, лицом вниз, его спина покрыта длинными, тонкими рубцами. Внезапно входит дедушка. Сначала мальчик смотрит на него с подозрением, затем - сердито. Но дед кладет на подушку, прямо к носу внука фигурный пряник и печенье: «Вот, видишь, я тебе гостинца принес!» Мальчик пытается ударить его ногой - дед не обращает на это никакого внимания. Присев у кровати внука, дедушка оправдывается перед ним: «Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, - в зачет пойдет!» Таким образом этот садист вводит мазохистскую тему: страдание есть благо во спасение, то есть страдая, мы накапливаем уважение к себе в небесной канцелярии. Но он продолжает, рассказывая о собственных страданиях в молодости, когда был бурлаком на Волге. «Баржа - по воде, я - по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Идешь да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, - эхма, Алёша, помалкивай!» - говорит он с чувством. И снова мораль: страдание человека оправдывает и извиняет перекладывание им дальнейших страданий на более слабых - русский вариант поговорки «What was good enough for me is good enough for you». Мальчика это, кажется, не растрогало. Он не делает жестов примирения, и не отвечает, на душевные излияния деда выражением сочувствия. Дедушку кто-то зовет - и он уходит. [Реакция Алёши, если судить по авторскому тексту Горького, не была столь категоричной, как это представляется Эриксону по фильму. - *Прим. пер.*]

Итак, выдержано еще одно искушение - обрести в момент мучений идентификацию с мучителем и с его садомазохистской аргументацией. Если бы мальчик в эти минуты позволил своему гневу превратиться в жалость, если бы он позволил себе излить душу мучителю, когда тот раскрыл ему свою душу, то он приобрел бы такой паттерн мазохистской идентификации с властью, который очевидно представлял собой сильный коллективный фактор в истории России. Царь, как «отец родной», был именно таким символом жалеемого самодержавия. Даже тот, кого история назвала Иваном Грозным, для своих подданных был лишь Иваном Строгим (Severe), ибо он заявлял, что в детстве страдал от жестокости бояр.

Колебания садомазохистских настроений дедушки иллюстрируются в других сценах фильма. Когда имущество ускользает из его рук, он слезливо причитает перед иконой: «Али я грешней других?» Икона не отвечает. Зато бабушка прижимает его к своей груди, почти усаживает к себе на колени. Она утешает его и обещает пойти просить для него милостыню. Дед приваливается к ней с дурашливой нежностью - только чтобы оправиться от отчаяния и сбить ее с ног в приступе ревности, жалуясь, будто она любит окаянное племя больше, чем его. Вывод очевиден: жена - это его собственность, а собственность для него - это своеобразная замена матери, без которой он не может жить. Полное поражение «привилегированного собственника» в эдиповой игре бесспорно выступает одной из имплицитных пропагандистских нот фильма, - так же как поражение отца Гитлера было необходимой нотой в его образах. Дедушка все больше дряхлеет и становится бесполезным как кормилец.

В одной из заключительных сцен Алёша доводит свою борьбу с дедом до победного завершения. Он только что отдал бабушке заработанный им пятак, и она с нежностью смотрит на внука. В это мгновение Алёша ощущает на себе взгляд прищуренных с ненавистью глаз деда. Внук принимает вызов и между ними происходит дуэль взглядов. Глаза мальчика делаются узкими, как лезвия бритвы: похоже, что эти двое хотели бы пронзить и изрубить в куски друг друга своими взглядами. Они оба знают, что это конец, и что мальчик должен уйти. Но он уходит непобежденным.

Эта рубка на взглядах - впечатляющая сцена. И все же есть что-то русское в таком специфическом использовании глаз как оружия нападения и защиты. В русской литературе встречается множество вариантов использования глаз, как эмоционального рецептора, как алчного захватчика и - как органа взаимной душевной капитуляции. Однако там, где речь идет о великих образцах политической и литературной жизни, особое значение придается глазам как непортящемуся орудию воздействия на будущее. Характеристика Горьким Толстого в этом смысле типична: «Острыми глазками, от которых было не укрыться ни одному камешку, ни одной мысли, он смотрел, оценивал, испытывал, сравнивал». Или еще: его глаза «прищурены, как будто он напряженно вглядывается в будущее».

Столь же типично описание Ленина Троцким: «Когда Ленин, прищурив левый глаз, вслушивается в содержание передаваемой по радио речи, он похож на чертовски хитрого крестьянина, которого не смутишь никакими словами и не обманешь никакими фразами. Это есть многократно усиленная крестьянская проницательность, доведенная до вдохновения». [Leon Trotsky «The Russian in Lenin», *Current History Magazine*, March, 1924.]

Сцена в убогой лачуге, где присев у кровати покрытого кровоподтеками внука, дедушка выпрашивает себе прощение, почему-то напомнила мне известное русское полотно, изображающее похожую сцену в дворце: Ивана Грозного у тела убитого им старшего сына! Родительская жестокость Каширина служит отличительным признаком выдающихся семей России с самого начала ее истории и пронизывает литературу дореволюционного периода. И в жизни, и в литературе эта жестокость достигла вершин грубого насилия, неизвестных в сопоставимых регионах и периодах истории. Совпадение этих двух сцен побуждает к историческому отступлению.

Древние славяне были мирными и плодовитыми землепашцами, охотниками и жителями городищ. Около тысячи лет назад они попросили Рюрика, викинга, взять на себя их защиту от набегов кочевников с юга. Видимо они рассчитывали купить - за разумные уступки - мир и позволение продолжать охотиться первобытным оружием, обрабатывать землю грубыми деревянными орудиями и поклоняться своим деревянным идолам и духам природы. Но что бы ни заставило их уступить свою автономию этим покрытым сияющими латами, светлокожим воинам севера, они получили гораздо больше покровительства, чем ожидали. Защитники дали жизнь сыновьям, которые тоже захотели быть защитниками. «Чужаки» ворвались силой. И скоро защита народа от новых защитников стала устоявшимся занятием. Первый князь основал великое княжество [Вероятно, речь идет об Олеге. - *Прим. пер.*] - своего рода ранговую систему более мелких княжеств для своих сыновей, которая вела к нескончаемым усобицам с ранее возникшими городами: Киевом и Новгородом. Такие княжеские междуусобицы повторялись снова и снова, в меньших и больших частях страны, пока, наконец, не заставили ее жителей желать и молиться за единственного «сильного отца» (центральную власть), который объединил бы многочисленных сыновей, даже если бы ему пришлось их всех убить. Таким образом на заре русской истории была сооружена арена для взаимодействия: а) населения, нуждавшегося в руководстве и защите от врагов; б) олигархических защитников, которые сами становились мелкими тиранами, и в) верховного тирана, бывшего пленником олигархии и тайным спасителем.

Защитники насильственно вводили христианство (византийского толка), а с ним и другую иерархию, постоянно находившуюся в тисках конфликта с собой же и со светскими князьями. Хотя князья и священники имели свои культурные, а часто и этнические корни в других странах, постепенно они начали играть представление, называемое в книгах русской историей и сводившееся к бесконечной династической борьбе, которая не только пережила ужасное нашествие татар, но усилилась и достигла национального масштаба. В качестве контрапункта эта борьба привела к образованию нации, русского христианства и русского царства: в XV веке Москва становится «третьим Римом», а Иван III - первым государем всея Руси и защитником истинной веры. Он превратил древнюю Русь в национальное государство, а его сын расширил границы этого русского государства, включив в него своих многочисленных и разнородных соседей.

Существующая с X века традиция «сварливых и кровожадных сыновей» при Иване Грозном достигла апогея. Отцеубийство процветало в высших кругах столетиями. Однако Иван, которого история называет «Грозным», собственными руками убил своего старшего и любимого сына. Царь Иван (подобно старику Каширину у постели запоротого им до потери сознания внука) возлагал вину за жестокое безумие своей зрелости на те страдания, которые ему довелось претерпеть в детстве. И люди соглашались с ним. Как я отмечал, они звали его Строгим, а не Грозным. [В отечественной исторической литературе нам не удалось найти подтверждения подобного отношения народа к Ивану

Грозному. - *Прим. пер.*] Ибо разве он не был жертвой бояр - его врагов и врагов его народа - сделавших его отрочество несчастным? Действительно, во времена своего относительного здоровья он первым из царей обратился к нуждам народа, позволил людям подавать прошения на его имя, положил начало судебным реформам и ввел печатание книг. В периоды же относительного безумия он продолжал пожирать глазами списки убитой знати — чтобы затем предаваться самому малодушному раскаянию. Народ боготворил и охотно поддерживал власть этого царя для того, чтобы сдерживать князей, бояр и среднеслужилый класс.

По мере того, как усиливалась централизация и развивалось государственное устройство, парадоксы русской истории становились само сохраняющимися. Вот первый: с каждым шагом к организованной и централизованной государственности в этой большой стране увеличивалось число посредников. Они правили и поддерживали порядок «за царя», учили и собирали налоги, вымогали и подкупали. То, что всякий прогресс в национальном масштабе оплачивается новыми возможностями для бюрократии, - давнишняя тема в России, чем, вероятно, и объясняется «врожденное» неприязненное равнодушие ее народа к прогрессу вообще и к современной правящей верхушке в частности.

Второй парадокс: каждый шаг к (насильственной) европеизации и просвещению вел ко все большему закрепощению народа. Иван, следуя своей праведной «строгости», отнял у крестьян их право менять своих хозяев в Юрьев день. [Это спорный факт. Как пишет С. Г. Пушкарев: «В русской исторической науке существует мнение, что в 80-х или 90-х годах XVI века последовал царский указ, отменивший право крестьянского выхода, но мнение это не является доказанным» (Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. - М.: Наука, 1991. - С. 208). А Ключевский считал, что «крестьянское право выхода к концу XVI века замирало само собой, без всякой законодательной его отмены». - *Прим. пер.*] Екатерина, друг и просвещённый корреспондент Вольтера, раздала 800 000 рабов престола во владение вельможам, чтобы те мучили и продавали их по своему капризу. А когда Александр II значительно позже освободил 20 млн. рабов - из опасения, что они сами могли освободить себя - он просто бросил их на произвол судьбы перед безземельностью, пролетаризацией и, в лучшем случае, перед необходимостью обрабатывать устарелыми орудиями маленькие наделы земли, чтобы платить за нее в рассрочку.

Однако наибольший интерес для нас представляет третий парадокс: молчаливое разрешение народа этим царям, делать все то, что им заблагорассудится. Петр Великий, рано развившийся мальчик, отличавшийся такой же импульсивностью, как и царь Иван, был первым российским императором и величайшим из монархических реформаторов России. И он тоже убил своего старшего сына, хотя в условиях прогрессирующей цивилизации воспользовался для этого услугами своей тайной полиции, а не царским посохом. В добавление к таким открытым родовым убийствам, в русской историй существовало не мало удивительных соглашений о регенстве.

Отсюда - таинственные и чрезвычайно популярные в народе претенденты на трон, якобы сыновья убитых царей, которые, подобно Алёше, отвечали вызовом на вызов злодеев и слыли почти святыми просто потому, что не принадлежали к находящемуся у власти» «окаянному племени». Возможно, предел эдиповой жестокости был достигнут, когда полубезумный царь Павел (народ называл его «Бедным» [Скорее всего, как пишет Г. Н. Чулков: «У народа к Павлу не было ни любви, ни ненависти. В судебных делах павловского времени встречаются, впрочем, отзывы об императоре весьма непочтительные. Мужички именовали его то «плешивым дураком», то «курносым царишкой», то наконец, почему-то «гузноблудом» (Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. - М.: Моск. раб., 1991. - С. 53) - *Прим пер.*]) во время смерти матери - Екатерины - выкопал труп своего отца (которого она убила) и положил рядом с ней, заставив ее многочисленных любовников стоять в почетном карауле у разлагающихся императорских трупов.

Историки считают это само собой разумеющимся: такова, мол, «история». Но как объяснить не только пассивное одобрение народа, но и его страстную альтруистическую идентификацию с такими императорскими трагедиями и комедиями? Почему сильный и плодовитый народ должен был кланяться иностранным защитникам? Почему он впустил их систему в свою национальную жизнь, все глубже запутываясь в отношениях взаимной зависимости? Следует ли искать объяснение этому сначала в превосходстве сил кровожадных кочевников и дикого зверья, а затем - в бессилии такого огромного населения перед вооруженной олигархией?

Ответ, вероятно, заключается в том, что формы руководства определяются не только теми историческими опасностями, которые отражаются благодаря соответствующему укреплению организации; они должны также благоприятствовать открытому проявлению народных фантазий и ожиданий. Монархи, даже если они иностранцы (а часто, потому что они иностранцы), становятся

зримой защитой слабых внутренних моральных сил народа, аристократической элитой и персонификацией смутно осознаваемых новых идеалов. Именно ради этого монархи и аристократы могут и должны разыгрывать на исторической сцене полный цикл абсурдного конфликта: вызывающе грешить и искупать свою вину глубже всех остальных, а в финале появляться выросшей в личном и общественном плане фигурой. И пока они пытаются совершить этот цикл, народ охотно будет служить им в качестве разносящего молву хора и жертвенных животных. Ибо грандиозный грех немногих сулит полное спасение всем остальным.

В таком случае, это больше, чем «проекция» внутренней порочности («Оно») или неумолимой совести. Я полагаю, что все это имеет также функцию коллективного эго и способствует развитию более определенной национальной и моральной идентичности. Иван и Петр велики не в силу своих трагических страстей, которые, по-видимому, вредили их репутации лидеров, а потому что смогли показать в гигантском масштабе трагедию ранней патриархальной организации и ее внутреннего двойника, супер-эго; и еще потому, что разыгрывая эту трагедию, они продвигали вперед национальное сознание и национальную совесть. Возможно, нашу концепцию истории нужно расширить, чтобы она включала анализ динамических требований, предъявляемых руководимыми массами своим наиболее «своевольным» хозяевам, которые в результате вынуждены разыгрывать конфликты человеческой эволюции на макроскопической сцене истории. Возможно, в этом смысле, короли являются игрушками народа. На более поздних ступенях цивилизации их трагедии и комедии переносятся в вымышленный макрокосм - на театральную сцену и, наконец, в микрокосм художественной литературы.

Теперь можно понять историческую миссию русской реалистической литературы: она возвращает трагедию отцеубийства простому русскому человеку - грамотный да прочитает. [Фрейд в статье «Достоевский и отцеубийство» ставил «Братьев Карамазовых» в один рад с «Гамлетом» Шекспира и «Царем Эдипом» Софокла и считал не случайным, что три шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же тему - тему отцеубийства.] Такая литературная декларация индивидуальной ответственности соответствует росту политической ответственности. Русская литература и русская история, развиваясь с опозданием, мощным рывком - за одно необычайно насыщенное столетие - достигают начальных стадий действенного литературного сознания и политической совести, тогда как отсталость широких крестьянских масс продолжала отражать примитивный исторический уровень, который Запад оставил позади еще в эллинскую эпоху.

Давайте на этом прервемся, чтобы напомнить: во время русской революции 4/5 населения России составляли крестьяне. Гигантскую задачу внешнего преобразования и внутреннего изменения этих крестьянских масс вряд ли можно переоценить - не потому, что они хотели другой формы правления, а потому, что они никогда не помышляли о каком-то организованном соединении своей повседневной жизни с любой формой правления.

Созданный в анализируемом фильме образ «дикого племени» указывает, по меньшей мере, на один коллективный комплекс необычайно архаического свойства России (а, фактически, большей части европейского континента), который удерживал во внутреннем рабстве крестьянские массы, тогда как их внешнее рабство обеспечивалось князьями и духовенством. Я говорю о психологических последствиях древнего технологического переворота - аграрной революции. Здесь мистерии предыстории столь же глубоки, как и мистерии раннего детства. И те, и другие заставляют нас создавать мифы для того, чтобы достичь начальной стадии понимания.

В отношении охотников и рыбаков доисторической Северной Америки мы использовали один ключ, который открыл доступ к интерпретации некоторых первобытных ритуалов. Как указывалось, дописьменные народы пытаются понять и овладеть «великим незнакомцем» при своем расширении в пространстве и времени, проецируя на него атрибуты человеческого устройства и развития; тем самым географическая среда персонифицируется, а историческое прошлое наделяется образами человеческого детства. В этом смысле, земля становится матерью, некогда щедро уступившей себя людям. Переход от кочевого образа жизни к земледелию предполагал захват участков земли и отделение их в собственность, насилование почвы орудиями принуждения и покорение земли как подневольной кормилицы. Какой бы внутренней эволюцией не сопровождался этот технологический шаг, он был связан (как подтверждают мифы и ритуалы) с тем первичным грехом, который в индивидуальной жизни состоит из первого проблеска в сознании неистового желания контролировать мать с помощью созревающих органов кусания и хватания.

В таком случае, «окаянное племя» символизирует детей, в жадности своей ревниво узурпирующих и разрушающих свою мать, а также тех взрослых, кого задача коллективно пахать землю сделала честолюбивыми, ревнивыми и склонными к эксплуатации. Таким образом, чувство

первичной вины, которое мы обсуждали раньше, привязывает крестьянина к циклу его скорбного искупления и безудержного веселья, делая его зависимым от урожайного года. Христианство, конечно, ухватилось за этот вечный цикл и наложило на него свой собственный годовой календарь прегрешения и искупления, гибели и спасения.

Я могу завершить эту темную тему лишь ссылкой на воспоминание Горького, выдающее читателю отождествление возделываемой земли и покоряемой женщины, равно как и маниакальный вызов ее хозяина. [Горький М. Собр. соч. в 18 т. - Т. 18. - М.: Гослитиздат, 1963. С. 16-17.]

... Он [Чехов] говорил:

- Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я - снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил - города городил
Церкви бы строил да сады все садил!
Землю разукрасил бы - как девушку,
Обнял бы ее - как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко Господу:
- Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да - накладно будет - самому дорога!

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне..:

- Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. - Кивнув упрямо головой, повторил: - Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

- Две последние строчки - не надо, это озорство. Лишнее...

4. Эксплуатируемые

А. Святой и нищий

Цыганок - найденыш - не был рожден в грехе, подобно остальному племени, дядьям, «зверью». Поэтому, как говорит бабушка, он - «простая душа». Цыганок грациозен и ловок в движениях, что он убедительно продемонстрировал в пляске, тогда как другие мужчины кажутся зажатыми, одеревеневшими, а когда напьются или разъярятся, то становятся похожими на грузовики без тормозов. Цыганок не был чьим-то сыном, не претендовал на имущество и никому не завидовал: как если бы его сиротство предполагало непорочное зачатие. И действительно, фильм довольно тонко и искусно создает его образ как первого христианина, милосердного и не теряющего надежды.

Цыганок рассказывает Алёше о его умершем отце. Он был другим: *с понятием*. Поэтому Каширины и ненавидели Максима Пешкова. Здесь вводится тема, которая позже поднимается еще раз - с появлением анархиста, типичного представителя тех, кто понимает и принимает бездомность. Отцы вместе со своими жадными сыновьями ненавидят их как носителей совершенно нового начала, с которым невозможно сражаться старым оружием: ведь эти люди читают, думают, планируют. Таким образом, именно Цыганок снабжает пытливую душу Алёши образами его будущей идентичности.

Цыганок одобряет тех, кто «понимает», хотя сам к ним не относится. У него другой недостаток и он опасно отличается в другом отношении. Цыганок - «добрый». После той памятной порки его руки были по локти в красных рубцах, и он весело сознается, что удерживая Алёшу на скамейке, подставлял их, чтобы хоть немного ослабить жесточайшие удары. «Ведь я тебя люблю, - за то и боль принял, за любовь!» - говорит он очарованному мальчику, чье сердце рвется к нему. А затем Цыганок учит Алёшу, как принимать удары: «Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, - киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, - ты это помни, это хорошо!» Он

признается: его мол, столько пороли, что теперь из его кожи хоть голицы шей.

И снова подтекст этой сцены явно не формулируется. Но, по-видимому, речь в ней идет о соблазне наивного непротивления, христианской доброты и приучения терпеть страдания этого мира, приспосабливаясь к его ударам. Алёша тронут и очарован, однако остается сдержанным. А вскоре после этого разговора Цыганок погибает - весьма своеобразным, символичным образом - и Алёша должен вынести утрату друга.

Один из дядьев хочет поставить громадный крест над могилой жены (которую, как Цыганку известно, сам и убил) и просит Цыганка помочь донести крест до могилы, находящейся на вершине холма. Всякому было видно, что этот чудовищный крест слишком тяжел для одного. Но Цыганок с мальчишеской гордостью похваляется, что сможет донести его на спине до самой могилы. Алёша в какое-то мгновение порывается помочь ему, - и зрители со страхом ожидают, что маленький мальчик действительно станет помогать нести такой большой крест, но затем - как и в другие критические моменты своей жизни - он просто позволяет отвести себя в сторону и предоставляет друга его судьбе.

В сцене, явно рассчитанной вызвать у зрителя мысль о Голгофе, Цыганок с огромным крестом на спине бредет, спотыкаясь по склону расположенного на заднем плане холма. Крест все же раздавил его своей тяжестью, ибо Цыганка вскоре приносят обратно в дом и кладут на пол, где он умирает. Белый мышонок, с которым он то и дело забавлялся сам и развлекал детвору, выскальзывает у него из-за пазухи и быстро бежит в сторону Алёши - тот ловит его. Это выглядит так, будто «белая душа» Цыганка нашла новый приют - у Алёши.

Если бабушка олицетворяет древние народные обычаи, а дедушка и дядья - жадную эпоху собственников земли и имущества, жен и титулов, то тогда Цыганок - это простодушный святой первобытной христианской эры. Он остается веселым, добрым и милосердным до самого конца.

Ну, а мальчик Алёша наблюдает предопределенное разрушение вокруг себя и, тем не менее, сохраняет безошибочность лунатика в избегании фатальных затруднительных положений и традиционных ловушек. Выходит, Алёше полностью чужды сострадание, мораль?

Взять хотя бы его встречу со старым Григорием, тем самым, кто отводит мальчика в сторону, когда приближается Голгофа Цыганка (ибо Григорий, почти слепой, способен видеть то, что ждет впереди). Это - впечатляющая, пророческая фигура. Однако, проработав в мастерской деда почти сорок лет, он лишается работы, когда совсем теряет свое изнуренное зрение. Поскольку дед отказывается заботиться о нем, Григорий вынужден пойти просить милостыню. Алёша - в ужасе. «Я пойду с тобой, - сочувственно восклицает он. - Я буду твоим поводырем!»

Но после пожара, когда ослепший Григорий, спотыкаясь бродит с вытянутыми руками вокруг их дома и жалобно зовет Алёшу, мальчик прячется от него и позволяет старику одиноко брести в вечной ночи. Позднее, его два или три раза показывают следящим за Григорием, когда тот побирается на улице и пытается хоть что-то отыскать на пепелище. Фактически, Алёша крадучись идет за ним, как если бы его неодолимо манило это неприглядное зрелище.

Западный зритель не может не подумать о том, какую трогательную картину они могли бы создать вместе: высокий почтенный слепой старец и ведущий его за руку мальчик. Наш зритель предвидит финал, где измученный совестью дедушка исправляется и бьет тревогу по всей стране, пытаясь вернуть этих двоих, когда кажется, что уже слишком поздно. Отряд полицейских под началом бравого шерифа или мотоциклетный патруль настигают старика и мальчика как раз в тот момент, когда они собираются перейти реку по подмытому паводком мосту...

Однако совершенно очевидно, что мы наблюдаем в этом фильме появление души нового склада, которое нам показывают главным образом через ее упущения. Упускаются же те действия, которые основаны на чувстве вины. Ни угрызения совести, ни исправление содеянного, по-видимому, не принимаются в расчет в этом новом расположении духа. Что имеет значение, так это критическая осторожность, неподкупное терпение, полное избегание неверных действий, вызревание ясного внутреннего направления и только затем - действие.

[Сравните следующий диалог в Московском суде:

Вышинский: Вы одобряли эти переговоры [с немцами]?

Бухарин: Или не одобрял? Я не выразил неодобрения - значит одобрял.

Вышинский: Но Вы говорите, что узнали о них постфактум.

Бухарин: Да, - одно не противоречит другому.]

Западный критик приходит здесь к выводу, что этому фильму не только не достает морали, но он просто аморален. Возможно, однако, что в нем нам предлагают моральные альтернативы, совершенно отличные от тех, которым предан иудейско-христианский мир. Когда Алёша не поддается искушению

принести в жертву слепому старику свою молодую жизнь, он, конечно, нарушает обещание конкретному человеку, данное, возможно, на основе чувства разделенной вины, ощущения, что он должен искупить экономические грехи своего деда. Но в противовес этому «искушению» существует внутренняя клятва, обет следовать направлению, пока еще неотчетливому плану, который вместо постоянного сохранения внутренней вины ведет к совместному действию по ту сторону добра и зла. Такую клятву олицетворяет еще один персонаж фильма: анархист.

Следует особо отметить финальную сцену, в грубых, кричащих образах показывающую крайнее презрение нового поколения к моральному краху старого. Когда к этому времени уже совершенно одряхлевший дедушка просит милостыню, пробираясь сквозь толпу зевак на пожаре, старый мастер Григорий отвечает на стенания своего бывшего хозяина и делится с ним куском хлеба. Дедушка, признав слепого, с криком «Ты пустил меня по миру!» швыряет в него хлебом. С моей точки зрения, это грубая сцена; но маленький Алёша просто отворачивается от нее, даже без каких-либо признаков отвращения. Оставлять за собой руины людей и систем - дело, которое не предусматривает никакого расхода эмоций.

Б. Чужой

Все это время в слободе, а фактически - в комнате дедова дома, живет человек. Живет «сам по себе», ни с кем не разговаривает. Вроде бы не раб, но ничем не владеет. Ничего не продает и, тем не менее, на что-то живет. Называет себя химиком, но на работу не ходит. Черноволосый, с высоким лбом и проницательными глазами за стеклами очков, он походил на моложавого, немного похудевшего Троцкого.

Когда однажды Алёша доверчиво забирается через окно подвальной комнаты к этому человеку, жилец быстро прячет какую-то книгу. А затем спокойно «выкуривает» посетителя, открыв бутыль с какой-то зловонно пахнущей жидкостью. Мальчик обижается, но еще больше - заинтригован.

Алёша вновь встречает загадочного постояльца на одном из вечеров, которые устраивала бабушка и где она рассказывала собравшимся старинные легенды и сказания. Мы слышим, как она по памяти, простыми и сильными словами, рассказывает длинную легенду, завершающуюся сентенцией: «За чужую совесть бы не прятался!» [Бабушка рассказывала историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника, которого Иван должен был убить по приказу злого воеводы Гордиона. Боясь ослушаться воеводы, но испытывая стыд перед старцем, Иван, прежде чем сделать свое черное дело, позволил Мирону помолиться Господу. Но «велика молитва за весь род людской» - и по сей день стоит Иван, конца молитвы дожидаясь, уж истлел весь. Это ему в наказание дано: «Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался!» // М. Горький. Собр. соч. в 18 т. - Т. 9. - М., 1962. - С. 82-83. - *Прим. пер.*] От этих слов постоялец приходит в необыкновенное возбуждение, как если бы слышал голос оракула. Он что-то бормочет по поводу «народа, нашего народа» (что, по-видимому, касается оценки древней народной мудрости) и поспешно выходит из комнаты. Возможно, символично, что под влиянием чувств он забывает свои очки. Во всяком случае, их подбирает Алёша.

В следующей сцене Алёша застает странного жильца лежащим в траве на краю крутого берега реки. Мужчина весьма сдержанно благодарит его за очки. Фактически, он довольно грубо дает понять, что мальчик может посидеть рядом с ним, если будет молчать и присоединится к его созерцательному настроению. Тем самым этот мужчина, река, необъятный простор и новое расположение духа связываются между собой и остаются таковыми. Господствующее положение мужчины, вероятно, говорит о том, что нужно уметь молчать; нужно уметь медитировать; и нужно стремиться рассмотреть удаленный горизонт. Вслух же он произносит: «Запоминай все истории, какие бабушка знает. Научись читать и писать». Алёша удивлен, но ему явно по душе, с каким жаром и искренностью говорит ему это постоялец.

Их дружба продолжается недолго, или скорее - должна ограничиться очень коротким знакомством, ибо жадный дедушка заставляет чужака освободить комнату, и тот решает уехать из города.

Ватага бездомных мальчишек провожает его к реке. Но он идет рядом с Алёшей, положив ему руку на плечо. Согласно субтитру на английском языке, он горячо убеждает Алёшу: *«One must learn how to take life»*. [Сама по себе эта фраза довольно неопределенна: в зависимости от контекста она может быть понята и как «Нужно уметь принимать жизнь такой, как она есть» и как «Нужно уметь взять от жизни то, что тебе хочется!» - *Прим. пер.*] Он произносит это с таким миссионерским пылом, что в сказанном чувствуешь некий смысл выходящий за пределы значений употребленных слов.

Поэтому придется на некоторое время превратиться в лингвиста.

Жесты этого мужчины говорят о том, что под словом «take» он подразумевает «хватать» (grasping) или «удерживать» (holding on), а не «примиряться» (enduring) или «держаться до конца» (holding out). Однако когда я смотрел фильм первый раз, мой русский переводчик настаивал на том, что мужчина сказал «брать» («brat», т. е. take = endure). По причинам, которые вскоре будут обсуждаться, это различие настолько существенно, что я упорно продолжал выяснять происхождение разрыва между словом и жестом в этой сцене. Как выяснилось, в книге, по которой поставлен фильм, революционер говорит: «Всякую вещь надо уметь взять, - понимаешь? Это очень трудно - уметь взять!» Взять (wzyat) здесь означает «to take» в смысле «grasp». Тогда, очевидно, именно слово, а не его значение было утеряно где-то на пути от книги к фильму.

Смысл же интересующей нас фразы в том, что нужно научиться не ждать, пока дадут; нужно хватать то, что хочешь, и не отпускать. Мы обсуждали эту альтернативу в связи с социальными модальностями оральных стадий. Видимо, этот мужчина имеет в виду не только то, что нужно хватать; скорее он пытается передать Алёше идею, что нужно делать это с чистой совестью, новой совестью: нужно хватать и не регрессировать от одного только чувства греха по поводу схваченного.

Как мы увидим, это решительное «хватание» в паре с сопротивлением попаданию обратно в зависимость имеет значение в большевистской психологии. Мы уже описали пронизывающую, режущую манеру Алёши парировать злобный взгляд своего деда; мы также обратили внимание на важность сосредоточения, охватывания и схватывания в видении и предвидении; и мы показали твердость его воли, независимой от личных чувств.

Позже выясняется, что чужак был революционер и его разыскивала полиция. Когда нам показывают колонну оборванных, закованных в кандалы арестантов, уныло бредущих по Алёшиной улице к пароходу (в Сибирь), - чужак среди них, бледный и похожий на привидение, но почти радостный.

Субтитр гласит: «Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, - лучших ее людей...»

Итак, Алёша близко познакомился с членом подпольной группы профессиональных революционеров, представителем интеллигенции, востребованной на время из-за ее религиозной веры не только в обязательность просвещения, но и в необходимость дисциплины духа как средства спасения от апатии, летаргии и рабства.

В. Безотцовщина и безногий ребенок

После исчезновения анархиста Алёша, кажется, немного подрастает. Теперь его целью становится товарищество. И мы не должны забывать, что его отец тоже «понял» - и исчез. И все же страшно смотреть, как этот простой мальчик идентифицируется с измученной тенью человека, чей этос уместился в нескольких туманных репликах. Ведь Алёша еще ребенок. Где его детство? Кто его сверстники? Играет ли он вообще? [Л. Толстой однажды сказал Горькому: «Не верится, что вы тоже были маленьким...» // М. Горький. Собр. соч. в 18 т. - Т. 18. - С. 92.]

Мы видели его неудачное участие в грубых шутках своих двоюродных братьев и их злобные и бесчестные поступки даже по отношению к старому человеку. Сцена порки, или лучше сказать социальное взросление Алёши вследствие морального поражения деда после порки - положило конец подобным «забавам». Позже, когда Алёша знакомится с окрестностями слободы, он случайно сталкивается с компанией откормленных мальчишек, с криками и камнями нападающих на слободского блаженного Игошу. Алёша не раздумывая вступается за убогого, и тогда мальчишки переключаются на него, крича: «А, Каширин!» Он протестует: «Я - Пешков!» Подобно мальчишкам всего мира, они вступают в словесную перепалку: «Каширин! - Пешков! - Каширин! - Пешков!» Но когда обмен словами перерастает в обмен ударами и Алёша оказывается в трудном положении, неожиданно появляется ватага голодных, одетых в лохмотья, юных созданий и выручает его из беды. Между спасителями и спасенным сразу завязывается дружба.

Эта ватага состоит из бездомных мальчишек - в подлинном смысле слова «пролетариев». Алёша становится одним из них: экономически, поскольку присоединяется к их занятию - шарить на помойках в поисках вещей, которые можно продать старьевщикам; и духовно, поскольку разделяет их чувство невозможности опереться на родителей - если, конечно, они есть. Так, в нескольких сценах, драматически показана пролетаризация Алёши. Он, оставшийся без отца Пешков, становится на сторону блаженного, обделенного с рождения; и он присоединяется к тем, кто опустился ниже всех

сословий и классов. В весьма выразительной сцене он сталкивается с тем, что один из них - мальчик с азиатскими чертами - даже не знает, откуда он родом. Алёша смеется, - и это последнее проявление безрассудного веселья. Видя отчаяние и ярость татарчонка, он освобождается от еще одного искушения: гордиться фамилией Пешков. (Как известно, позднее он возьмет себе имя отца - Максим, а фамилию - Горький.)

Итак, Алёша тоже пролетарий. После «работы» он и его ватага лежат на крутом берегу реки, с умеренной высоты которого эти обездоленные дети всматриваются в горизонт и в будущее. О чем они там мечтают? О том, чтобы завести голубей, а потом выпустить их на свободу: «Я люблю смотреть, как голуби кружат в прозрачном летнем небе».

Эта мысль о свободе усиливается, контрапунктически, другой знаменательной встречей. Внимание Алёши привлекает веселый юный голос, доносящийся из подвального окна. Алёша идет на этот голос, и обнаруживает Лёньку, мальчика-калеку, прикованного к постели. У него с рождения парализованы ноги: «не ходят, не живут, а - так себе...» - как он сам объясняет. Поэтому мальчик заточен в подвале, как в тюрьме. Однако оказывается, он живет в своем собственном мире - мире игры и фантазий. В коробках Лёнька держит разную мелкую живность, которая вынуждена делить с ним его плен. Но он живет ради того дня, когда увидит поле и степь, - и тогда откроет все эти маленькие коробочки и выпустит всех на волю. А до этого букашки и козявки составляют его микрокосм, являясь отражением внешнего мира: таракан - «Хозяин», муха - «Чиновница». Подлинные угнетатели из реального мира оказываются пленниками его игрового мира. Возникает такое впечатление, будто его искалеченное тело позволило ему быть единственным ребенком с игривым умом в этой картине. Его смех - самый радостный и самый свободный, а глаза наполнены восхищенным блеском. Его ощущение власти, кажется, не знает границ; он уверен, что «если мышь все кормить да кормить, так она вырастет с лошадь».

Видя любовь мальчика к своим товарищам по заточению и его насущную потребность и способность наделять эти маленькие существа, вроде мыши, мифическими возможностями, Алёша, после недолгих колебаний, отдает Лёньке белого мышонка. Этот мышонок, как мы помним, был посмертным даром Цыганка Алёше, его последней связью с весельем и последней забавой. Почему он отдает его? Что это - жалость? Милосердие? По-видимому, Алёша снова растет морально, жертвуя утехой и сопротивляясь искушению - искушению играть, мечтать, крепко держаться за фетиши-заменители, которые облегчают тюремное существование и, тем самым, добавляются к его оковам. Он знает, что ему придется обходиться без забав. Таким образом, каждый из поступков Алёши (или его отказов совершить их) подобен обету. Один за другим уничтожаются мосты регрессии и навсегда отвергаются инфантильные утехи души.

Лёнька же может стать свободным, только если кто-то освободит его, даст ему ноги. Это и есть та задача, какую Алёша ставит перед своей ватагой. Из собранных на помойках частей какой-то машины мальчишки сооружают ему коляску, механический протез локомоторной свободы.

Г. Спелёнатый младенец

Фигура Лёньки, видимо, взята не из книги Горького. Мне неизвестно, кто ее придумал. [Лёнька - герой рассказа М. Горького «Страсти-Мордасти», сюжет которого, наряду с автобиографической трилогией Горького (о ней говорит Эриксон), использован в сценарии этого фильма. - *Прим. пер.*] Однако представляется важным, что самый эмоциональный и веселый из всех детских персонажей фильма оказывается, так сказать, наименее подвижным. Его восторг не знает границ, а ноги связаны, они «не живут, а - так себе». Это затрагивает неразрешенную русскую проблему детского воспитания, которая приобрела почти смешное звучание в недавних дискуссиях о русском характере: проблему пеленания (или свивания).

Действительно ли русская душа - спелёнатая душа? Некоторые из ведущих ученых в области исследования русского характера, которым я обязан моим знакомством с этим кинофильмом, именно так считают. [Geoffrey Gorer, «Some Aspects of the Psychology of the People of Great Russia», *The American Slavic and Eastern European Review*, 1949. См. также Geoffrey Gorer and John Rickman, *The People of Great Russia*, W. W. Norton & Co., 1962.]

Среди огромного сельского населения России и, в различной степени, среди жителей всех ее регионов и слоев, разделявших и разделяющих общее культурное наследие великих среднерусских равнин, такой элемент ухода за ребенком, как пеленание, был развит до крайности. Хотя обычай заворачивать новорожденных в пеленки широко распространен во всем мире, согласно древнерусской

традиции младенца следует пеленать целиком (с головы до пят) и достаточно туго, чтобы превратить сверток в удобное для переноски «полено» («log of wood); кроме того, эта традиция предписывает пеленать ребенка большую часть дня и на всю ночь в течение девяти месяцев. Подобная процедура не приводит к какой-либо прочной локомоторной недостаточности, однако распеленатого младенца, по-видимому, приходится учить ползать.

Вопрос о том, почему нужно пеленать младенцев, вызывал у простых русских удивление: разве есть другой способ переносить ребенка с места на место и сохранять его тепло в долгие холодные зимы? А кроме того, как еще можно добиться, чтобы малыш не расцарапывал и не расчесывал себя, а также не пугался неожиданного появления собственных рук перед глазами? Скорее всего, так оно и есть: спелёнатый ребенок, особенно когда его только что распеленали, не настолько владеет собственными движениями, чтобы уберечь себя от случайных царапин и ушибов. Дальнейшее же предположение, что *поэтому* его приходится пеленать снова - это излюбленный трюк культурной рационализации, которая превращает специфический способ (pattern) ограничения свободы младенца в самостоятельный феномен культуры. Младенца нужно пеленать, чтобы защитить его от себя самого; пеленание вызывает у него сильные вазомоторные потребности, и он должен оставаться эмоционально «спелёнатым», чтобы не пасть жертвой неистовой эмоции. А это, в свою очередь, способствует созданию базисной, довербальной установки, согласно которой людей, ради их же собственного блага, нужно строго ограничивать, хотя и предлагать, время от времени, способы разрядить сжатые эмоции. Поэтому пеленание подпадает под рубрику тех вопросов воспитания ребенка, которые должны иметь существенное отношение к образу мира целостной культуры.

Действительно, нет такой другой литературы, помимо русской, где был бы столь широко представлен вазомоторный эксцесс. Люди в русской беллетристике выглядят изолированными и, одновременно, несдержанными в проявлении чувств: как если бы каждый был странным образом заточен в себе самом как в изолирующей камере задушенных эмоций и, тем не менее, вечно стремился бы к другим душам, вздыхая, бледнея и краснея, рыдая и падая в обморок. Многие населяющие эту литературу персонажи, кажется, живут ради того мгновения, когда какое-то опьянение (или отравление?) - секреторное, алкогольное или духовное - позволит достичь временного слияния чувств, добиться взаимности, - часто, лишь иллюзорной, неизбежно завершающейся изнеможением. Но нам нет нужды выходить за пределы обсуждаемого кинофильма: если повседневная русская действительность времен юности Горького обнаруживала хотя бы долю той несдержанности, силы и широты выражения чувств, какую мы наблюдаем в этом фильме, отражение эмоции в сознании маленького ребенка должно быть живым и калейдоскопическим.

Тогда интересно поразмышлять о том, что спелёнатый младенец - когда он начинает сознавать такую эмоциональность - лишен возможности без посторонней помощи реагировать на нее «двигательно»: взбрыкивая ножками, взмахивая ручками, шевеля пальчиками. Он также лишен возможности поднимать голову, хвататься за опору и распространять свое зрительное поле на звуковые источники воспринимаемого потрясения. Такое положение можно, фактически, рассматривать как обременение вазомоторной системы задачей гашения и уравновешивания всех этих ярких впечатлений. Только во время периодического разворачивания младенца он получает возможность участвовать в бурном излиянии чувств старших.

Однако чтобы оценить значение такого элемента детского воспитания, как пеленание, в полной конфигурации культуры, вряд ли стоит ограничиваться единственной однонаправленной цепью причинности - в том смысле, что русские таковы, какими они оказываются на самом деле или, возможно, кажутся или изображают себя, - потому что их пеленали. При обсуждении других культур мы должны скорее предполагать взаимное усиление некоторого количества тем. Вполне вероятно, что почти универсальный и, между прочим, довольно практичный обычай пеленать младенцев получил в России усиление под действием той синхронизирующей тенденции, которая сводит географию, историю и детство человека в несколько общих категорий. Мы наблюдаем конфигурационную близость между этими тремя элементами русской традиционной культуры.

1. Компактная социальная жизнь в уединенных укрепленных поселениях, изолированных друг от друга холодами центральных равнин, и периодическое освобождение их жителей после весенней оттепели.

2. Долгие периоды тугого пеленания, чередующиеся с минутами обильного обмена радостными чувствами во время освобождения младенца от пеленок.

3. Одобряемое проявление в поведении нечеловеческой («деревянной») выносливости и, наряду с этим, периодический эмоциональный катарсис, достигаемый безудержным излиянием души.

В таком случае, пеленание - если рассматривать его в исторической и политической плоскостях - могло, по-видимому, быть частью системы неподатливых институций, которая помогала поддерживать и продлевать русское сочетание рабства с «душой». И действительно, Горький писал в «Мещанах»: «Когда человеку лежать на одном боку неудобно - он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно - он только жалуется... А ты сделай усилие, - *перевернись*!.» Человек, должным образом мотивированный, способен сделать усилие, чтобы перевернуться или, в действительности, подняться; но под давлением прикованности к определенным обстоятельствам, в душе он может действовать в соответствии с его самым ранним опытом переживания связанного состояния. А что не в состоянии сделать спелёнатый младенец, - так это перевернуться. Он способен лишь падать обратно на спину, уступать, терпеть и галлюцинировать, задерживаясь на вазомоторных ощущениях и на внезапных изменениях в функционировании кишечника, пока ему снова не подарят мгновение локомоторной свободы.

Вполне возможно, что фигура Лёньки символизирует нечто подобное, поскольку мы видим ребенка с сильнейшими движениями души и с максимально ограниченной способностью к передвижению, отличающегося от остальных детей самым живым воображением и огромной зависимостью от окружающих. Когда Алёша дарит ему белого мышонка, создается впечатление будто он перерос необходимость держаться за игровой фетиш и мечты о таком могуществе, в каком могут нуждаться спелёнатые и заточенные души. Он не жалеет Лёньку. Скорее, он отчетливо представляет себе его состояние, сравнивает со своим и поступает соответственно. Алёша заботится о том, чтобы Лёнька получил механические ноги, - однако не идентифицируется с ним.

Хотя фильм не показывает Алёшу и его ватагу за игрой, «Воспоминания» Горького содержат сообщение о безумной игре, которой увлекались в то время юные «изгои». Как можно увидеть, интерпретация Горьким этой игры полностью согласуется с теоретическими положениями, выдвинутыми в нашей главе об игре.

«Мальчишкой лет десяти я *ложился под балластный поезд,* соперничая в смелости с товарищами, - один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, *стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее* и едва *побеждая* напряжением всей воли *страстное желание пошевелиться, поднять голову*. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает *тебя* от земли, *хочет увлечь* куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, *не в силах подняться,* кажется, что ты плывешь вслед поезда, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, *становится легким, воздушным* и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

- Что влекло нас к такой нелепой забаве? - спросил Л. Н. [Л. Андреев].

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

- Нет, - возразил он, - это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку», - качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.» [М. Горький. Собр. соч. в 18 т. - Т. 18 - С. 109.]

Курсивом я выделил места, дающие возможность предположить (в соответствии с нашими теориями травмы и игры) наличие дополнительного смысла в этой игре. Здесь, вероятно, можно говорить о том, что дерзкая ватага мальчишек бросает вызов балластному поезду, чтобы снабдить себя опытом, в котором жутко повторяются существенные, общие для всех, элементы детской травмы: неподвижность и насильственное движение, полное бессилие и крайняя легкость чувств.

Независимо от того, подтверждается или не подтверждается «гипотеза пеленания» в отношении трансформации младенческого опыта в юношеские и взрослые формы (patterns), она все-таки указывает на конфигурации необычайно живого опыта в поведении и воображении русских.

В фильме Алёша не участвует ни в каких играх. Он ко всему присматривается, смотрит, так сказать, в оба глаза, хотя и часто пытливо сощуренных: «собирается», фокусирует свое зрение, старается не отвлекаться, ясно увидеть и полностью понять - и все для того, чтобы со временем «схватить жизнь». В этом фильме больше говорится о том, *от чего* Алёша освобождается, чем *для чего* он хочет быть свободным.

5. Протестант

Алёша уходит. Ватага провожает его до полей. В построенной к этому времени маленькой коляске они везут с собой Лёньку. Тот - вне себя от радости и предвкушения: он передвигается и приближается к своей заветной цели - выпустить на волю всех обитателей его «зверильницы». В сцене, которая вполне могла бы стать счастливым концом фильма в любой другой культуре, Лёнька подбрасывает своих любимых птиц в воздух и смотрит, как они исчезают в бескрайних просторах. Однако когда мальчишки кричат и машут им руками на прощанье, Алёша безучастно смотрит в направлении горизонта.

Куда он идет, этот юноша со сталью во взгляде? В фильме ничего не говорится об этом. Очевидно, он уходит, чтобы стать Горьким, а кроме того, стать новым русским. Что же произошло с юным Горьким? И чем примечателен тип нового русского?

Горький поехал учиться в Казанский университет. «Если бы кто-то предложил мне: "Поезжай и учись, но при условии, что тебя каждое воскресенье будут публично сечь на Николаевской площади", я скорее всего согласился бы». [A. Roskin, *From the Banks of the Volga,* Philosophical Library, New York, 1946.] Однако вскоре он в полной мере ощутил на себе дискриминацию в отношении безденежных студентов. Поэтому Горький становится студентом «вольного», как он сам его называл, университета революционной молодежи.

Горький всегда был чувствительным и впечатлительным, и только его решение «схватить жизнь», чуть ли не заставить ее отозваться на его веру, противодействовало глубокому, сентиментальному унынию. Его епитимия как писателя состояла из упорного стремления выразить суть в немногих словах. Наперекор глубоко ностальгической тенденции Горький решил развить силу духа, чтобы можно было справиться «с зубной болью в сердце» и даже полюбить ее. Как и многих близких ему по духу современников, такое напряжение сил чуть не убило Горького.

В 20 лет он попытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в грудь. Его предсмертная записка довольно необычна: «В своей смерти я виню немецкого поэта Гейне, который выдумал зубную боль в сердце... Из моего паспорта видно, что я - А. Пешков, а из этой записки, надеюсь, ничего не видно». [A. Roskin, *op. cit.*] Итак, он готов простить нас, если мы все же увидим значимую связь между этой зубной болью в сердце и его болью, а также стремлением его народа преодолеть регрессивную ностальгию и «ухватить жизнь». Использованное в записке выражение действительно принадлежит горько (мы сказали бы - язвительно) ностальгическому Гейне, рекомендовавшему в качестве средства от зубных болей в сердце тот зубной порошок, что изобрел Бертольд Шварц. [То есть черный порох (Гейне Г. Из путевых картин. Идеи. Книга Le Grand - В кн.: Гейне Г. Изб. соч. - М.: Худож. лит. - С. 577) - *Прим. пер.*] Позднее Горький описывал Чехову [Горький рассказывал об этом не Чехову, а Леониду Андрееву (М. Горький. Собр. соч. в 18 т. - Т. 18. - С. 118) - *Прим. пер.*] свой репрессивный период как время «каменной тьмы» и *«неподвижности, уравновешенной навеки»*. Покончив с этим застоем попыткой покончить с собой, Горький выздоровел и отправился бродить по стране, работая где придется.

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться» - заявил он в своей первой эпической поэме. [Имеется в виду поэма «Песнь старого дуба», от которой осталась эта единственная первая строчка, поскольку Горький сжег рукопись после критики В. Г. Короленко. - *Прим. пер.*] Алёша ходил за Григорием и всеми другими, наблюдая чтобы понять, где ему следует, а где не следует вовлекаться в существующую людскую жизнь. Горький буквально подкрадывался к людям и ситуациям, чтобы увидеть, где бы он мог вырвать у жизни, как бездомный скиталец, те «редкие и положительные» явления, которые не дали бы его вере угаснуть.

Его аналитическая неподкупность, «возведенная в ранг вдохновляющей идеи», нигде не выражена более эпически, чем в знаменитом письме, написанном Горьким по получении огорчающего сообщения об «уходе Толстого». [М. Горький. Полн. собр. соч. в 25 т. - Т. 16. - М: Наука, 1976. - С. 288-294.]

«...У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот - пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают "творить легенду", - жили-были лентяи да бездельники, а нажили - святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства - пусты, а души лучших - полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, - житие блаженного и святого.

...Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтобы придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда - в сторону

утверждения святости своей и поисков нимба. Это - инквизиторское, хотя учение его оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это - пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он - лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья.

...Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И - вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы.» Пострадать - это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренне рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще - принять венец мученический.»

В конечном счете, он видел в изменении Толстого древнее проклятие России:

«...Он всегда расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему - по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» - проповедь пассивизма, - все это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом [В англ. переводе - фатализмом (fatalism), что больше соответствует контексту. - *Прим. пер.*] и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в сущности и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают - но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей...» [Там же, с. 288-289.]

Зрителям этого фильма, пытающимся понять, для чего Алёша стал свободным, трудно избежать двух ловушек: биографической и исторической. Кажется очевидным, что Алёша — собирательный вымышленный образ — обладает большим сходством с образом самого Горького, его идеалами и той легендой, которую он, как любой великий писатель, так усердно разрабатывал, рассчитывая создать определенное впечатление. Однако принадлежавшие подлинному Горькому способы разрешения его юношеских проблем посредством творчества и невроза, лежат в стороне от нашего обсуждения.

Историческая ловушка, вероятно, кроется в неприязненном сравнении простой человечности и жизненности этой картины, ее имплицитного революционного духа с ходульной и тупой революционной «линией», ставшим привычным в отношении тех советских книг и фильмов, которые доходят до нас сейчас. За грубыми злоупотреблениями революциями со стороны тех вождей, которых они приводят к власти, мы должны искать корни революции в нуждах ведомых - и заведенных в тупик.

Значение этого фильма для нашей книги заключается в его очевидной релевантности ряду психологических тенденций, являющихся базисными для революций вообще и, особенно, для революций в тех регионах, которые стоят перед необходимостью индустриализации, хотя еще и погружены в образы древней аграрной революции. Конечно, анализируемый фильм предлагает для обсуждения лишь отдельные образы одного из таких регионов - великих русских равнин. Несмотря на то, что другие этнические районы потребовали бы рассмотрения иных или, возможно, близких образов, все-таки Россия сыграла такую же решающую и глубокую роль в коммунистической революции, какую, скажем, англосаксы сыграли в истории Америки.

Подведем итоги. Среди предлагаемых этим фильмом образов доминирующее положение занимает образ бабушки. По-видимому, она олицетворяет людей в их мистическом единстве с плотью и землей: хорошее по своей природе, но оскверненное жадностью «племя», утраченный рай. Стать или оставаться причастным к силе бабушки - означало бы капитулировать перед вечностью, попасть в вечную зависимость от веры первобытного экономического порядка. Именно эта вера заставляет первобытного человека крепко держаться за древнюю технологию и способы магического воздействия на силы природы; и она же, в свою очередь, снабжает его простым лекарством против чувства греха: проекцией. Все плохое заключено в злых силах, в духах, в проклятиях, - и либо нужно управлять ими с помощью магии, либо быть одержимым ими. Для революционера-большевика доброта бабушки уходит в далекое прошлое, во времена, когда добро и зло еще не были известны миру; и можно предположить, что ее доброта сохранится в отдаленном будущем, когда бесклассовое общество преодолеет мораль жадности и эксплуатации. В настоящем же бабушка представляет опасность. Она являет собой политическую апатию той самой вечности и детской доверчивости русского человека. А возможно, что

бабушка символизирует достоинство, как недавно выяснилось, которое позволяет Кремлю выжидать, а русскому народу продолжать терпеть.

Вторая система образов, по-видимому, касается дихотомии «дерево-огонь». Дядья и другие мужчины - крепкие, плотные, грузные, неуклюжие и тупые - напоминают собой деревянные чурбаки (logs of wood), которые, однако, легко воспламеняются. Они - дрова, но они же - и огонь. Спелёнатое «полено» с его тлеющим вазомоторным бешенством, *«деревянные»* русские люди с их эксплозивной душой - являются ли такие образы остатками недавнего, а для России, так и вообще следами нынешнего *деревянного века*? Дерево служило материалом для строительства укреплений вокруг городов и топливом для раскаленных печей в долгие холодные зимы. Кроме того, оно служило основным материалом для изготовления орудий труда. Но оно таило в себе опасность быть истребленным вследствие своей горючести. Дома, деревни и деревянные орудия сгорали дотла - фатальная тенденция, если иметь ввиду, что и сами леса погибали в пожарах, уступая место степям и болотам. К каким магическим средствам прибегали люди для их спасения?

Третья система образов строится вокруг *железа* и *стали*. В фильме она представлена только образом маленького колеса для лёнькиной коляски. Мальчишки находят колесо в куче мусора, но вместо того, чтобы выручить за него деньги, они приспосабливают его в качестве детали протеза для локомоторного освобождения Лёньки. Однако, помимо этого, колесо занимает особое место среди основных изобретений человечества. Оно превосходит орудия труда, представлявшие собой простые расширители и заменители конечностей; движущееся само по себе, колесо кладется в основу идеи машины, которая, будучи созданной руками человека и им же управляемой, тем не менее развивает некоторую автономию как механический организм.

Разумеется, за пределами этого образа, сталь во многих отношениях выступает как символ нового душевного склада. Тогда как образы дерева и огня говорят о циклической личности, характеризуемой равнодушным тяжелым трудом, детской доверчивостью, внезапными вспышками пожирающей страсти и гнетущим чувством обреченности, образы стали указывают на неподкупный («нержавеющий») реализм и длительную, дисциплинированную борьбу. Ибо сталь выковывается в огне, а не горит и не разрушается в нем. Владеть сталью - значит восторжествовать над слабостью живой плоти, над смертностью и воспламеняемостью деревянной души (wood-mind). Когда сталь выкована, она кует новое поколение и новую элиту. Должно быть, именно такую коннотацию имеют, по крайней мере, «фамилии» Сталина (сталь) и Молотова (молот), да и официальное поведение, беспрерывно подчеркивающее неподкупность восприятия большевика, его зоркость, сталеподобную ясность его решений и машиноподобную твердость действий. При обороне, такое хладнокровие снова оборачивается деревянностью - или пламенной риторикой.

Теперь мы видим, куда намеревался держать свой курс Горький и куда этот фильм о юности русской революции его ставит: в тот называемый «интеллигенцией» авангард революционеров, который - при всех своих болезненных размышлениях - подготовил новую мораль, учась схватывать и удерживать сначала факты и думы, а затем политическую и военную власть. Нам трудно себе представить, какого сверхчеловеческого воодушевления, по-видимому, требовало в то время решение Ленина просить рабочих и крестьян на распадавшихся фронтах не бросать свое оружие; и каким чудом, должно быть, казалось, что измученные массы исполнили его просьбу. Именно Горький называл писателей «инженерами человеческих душ» («engineers of society») и, в свою очередь, говорил об изобретателе как о «поэте в области научной техники, который возбуждает в народе своем разумную энергию, творящую добро и красоту». По мере того, как революция упрочивала свои позиции, высокообразованная и, во многих отношениях, европиезированная интеллектуальная элита уступала место плановой, тщательно подготовленной элите политических, промышленных и военных инженеров, считавших себя аристократией исторического процесса. Они и есть сегодня наши противники, хладнокровные и опасные. [Речь идет о периоде холодной войны. - *Прим. пер.*]

Но было время, когда интеллигенция страстно хотела принадлежать и служить народу; вне всякого сомнения, это она - интеллигенция - усилила в темных и неграмотных массах русского народа (или, во всяком случае, в решающей доле таких масс) стремление найти свою национальную идентичность в мистическом деле интернационала, - и была, в свою очередь, расширена этим стремлением. В Алёше мы видим сына мистического и связанного с землей прошлого, а также отца-основателя будущего, индустриального мира.

Сын американского фермера - это потомок отцов-основателей, которые сами были мятежными сыновьями. Они - наследники реформации, возрождения, появления национализма и революционного индивидуализма - не захотели прятаться за корону или крест. Перед ними лежал новый континент,

который не был их родиной и которым никогда не правили коронованные или посвященные в духовный сан предки. Это обстоятельство позволяло эксплуатировать его по-мужски грубо, обильно и, если бы не женщины, анархически. Американцы осуществили, если вообще кто-то осуществил, мечту Чехова. Они сделали покоренную землю комфортабельной, а машины - почти приятными, - к амбивалентной зависти остального мира. Протестантизм, индивидуализм и полная опасностей жизнь первопроходцев в сочетании создали идентичность индивидуальной инициативы, нашедшую в индустриализации свою естественную среду. В предыдущих главах мы указали на проблемы, с которыми эта идентичность столкнулась по мере того, как континент постепенно осваивали вширь и вглубь, - и ненасытная инициатива стала пожирать человеческие ресурсы нации; мы также указали на некоторые дериваты протестантской революции.

Теперь я попытаюсь прояснить то, что имел в виду раньше, когда говорил о новом умонастроении Алёши как форме отсроченного восточного протестантизма.

Искушения, от которых отворачивается Алёша, равно как и искушения, от которых отворачивается и против которых восстает любой протестант, не столь уж и отличаются от тех соблазнов, какими римская церковь искушала первых протестантов. Вот эти соблазны: колдовское очарование Бога как духа, входящего через органы чувств подобно свету витражных окон; сильный запах ладана и успокаивающее пение псалмов; мистическое массовое крещение; «клинический» взгляд на жизнь как на детскую болезнь души; и в особенности - позволение «прятаться за совесть другого».

Если же мы обратимся к тому сообществу, куда Алёша, по-видимому, стремится, параллелизм с протестантскими образами (patterns) становится еще очевиднее. Ибо от централизованной организации спасения с помощью посредников (и, таким образом, эксплуатации инфантильных и первобытных страхов) Алёша и его товарищи переходят к созданию достойной доверия, ответственной элиты. Их критерием отбора выступает не вера в Невидимого, а поведение внутри сообщества, которое испытывает, отбирает и судит своих членов. Их совесть основана не на пароксизме цикла «грех-искупление», а на дисциплине духа. Эта дисциплина определяет форму жертвы, придающую большее значение систематическому укрощению разума и чувства, чем эффектному искуплению греха. Их состояние спасения достигается не за счет дарованного верующим внутреннего света веры и любви, но заключается в рассчитанном успехе в этом мире и решительном равнении на современные экономические и технические силы. Их проклятие и смерть - не в сознании греха и неизбежности адских мук, а в исключении из революционного сообщества и даже - в самоустранении из исторического процесса, моральном падении, в сравнении с которым смерть от чьей-то руки - это просто биологический пустяк.

По своему строю эта восточная протестантская переориентация в корне отличается от западной: будучи пролетарской и промышленной, она одновременно является русской и православной. [Представляется, что Эриксон не совсем корректно употребляет термин «православная» (Orthodox) там, где можно было бы сказать «ортодоксальная» (orthodox). Ведь католицизм «ортодоксален» не менее православия, особенно с точки зрения протестанта. — *Прим. пер.*] Именно два последних элемента определили ловушки такой новой ориентации и преступную чудовищность ее трагедии. Здесь мы можем продолжить и закончить нашу аналогию.

Коммунистическая партия, поглощая нарождавшийся протестантизм, не могла мириться с важной составной частью протестантства: *сектанством*. Для поддержания абсолютной власти партия нуждалась в абсолютном единстве. Отчаянные и, в конечном счете, грубые попытки партии предотвратить фракционный раскол вполне подтверждаются протоколами ее первых съездов, отличавшихся мелочным педантизмом. В этом отношении история партии более всего напоминает церковную историю - достаточно посмотреть на предмет споров партийцев: *истинность* диалектических законов истории, *непогрешимость* Политбюро, мистическая *мудрость* масс. Мы знаем, чем закончился этот мелочный педантизм.

Предсказание Макса Вебера, что попытка установления диктатуры пролетариата могла бы привести лишь к диктатуре посредников, то есть к диктатуре бюрократии, оказалось, как показывают теперешние события, пророческим. Опять же, русские люди верили в одного человека в Кремле, кого они не винили в жестокостях его посредников и считали своим защитником против узурпаторов и эксплуататоров, как иностранных, так и местных.

Они и по сей день искренне так думают, поскольку нет ничего другого, чему они могли бы верить исходя из того, что им известно. Поэтому русские люди вкладывают в эту веру максимум своих сил. Самое пристальное внимание в наших исследованиях следовало бы уделить тому, что первоначальное появление революционного умонастроения в России и Азии, носившее вулканический

характер, возможно было попыткой (а с точки зрения хода истории - неизбежной попыткой) приблизиться к уровню человеческой совести, который характеризовал нашу протестантскую революцию. Ввергнут ли нас в войну несколько фигур на евроазиатском континенте или это сделает нервно играющий мускулами Совет министров, - мы не знаем. Однако, вполне возможно, что будущее - с войной или без войны - за теми, кто сможет использовать психологическую энергию, освобожденную от расточительных предрассудков древней земледельческой морали на европейском, азиатском и африканском континентах. Научившись расщеплять атом, физика высвободила новую энергию для мирных целей - и для войны. С помощью психоанализа мы можем изучать другой вид энергии, высвобождаемый при «расщеплении» самой архаической части нашей совести. Когда цивилизация вступает в индустриальную эру, такое расщепление неизбежно. Высвобождаемая при этом энергия может обернуться как благом, так и бедой для человечества. В конечном счете, она может оказаться более решающим фактором, чем материальное оружие.

Когда мы, американцы, с дружелюбной принудительностью Поля Баньяна (а русские сказали бы - Василия Буслаева) заваливаем мировой рынок техническими новинками и роботами, нам нужно научиться понимать, что тем самым мы способствуем созданию революционизированных экономических условий. Мы должны быть в состоянии продемонстрировать беспощадным Алёшам, где бы они не жили, что наши новые и сияющие товары (столь соблазнительно упакованные в обещания свободы) не дойдут до них, пока есть еще так много успокаивающих средств (sedatives) для подчинения их своим изношенным высшим классам и так много снотворного (opiates) для погружения их в новое рабское состояние загипнотизированного потребления. Они не нуждаются в том, чтобы им даровали свободу; они хотят, чтобы им дали возможность «взять» ее, на равных. Им не нужен прогресс там, где он подрывает их чувство инициативы. Они требуют автономии, вместе с единством, и идентичности, в добавление к плодам индустрии. Мы должны преуспеть в убеждении всех Алёш, что - по большому счету - их протестантизм есть наш протестантизм, и наоборот.

Глава 11. Заключение: по ту сторону тревоги

Ощущая в правой руке тощую стопочку непрочитанных листов этой книги, читатель, возможно, захочет узнать, какого рода краткое заключение могло бы воздать должное тем вопросам безотлагательной важности, которые были проиллюстрированы в последней главе. И здесь я должен признаться, что ни одна из идей, выраженных в моих описаниях и рассуждениях, практически не имеет шансов быть развитой дальше в этом формальном заключении. Мне нечего предложить, кроме моей собственной манеры смотреть на вещи. Теперь, от периферии наших иллюстраций, я должен вернуться назад - к центру моей позиции в психоаналитической работе.

Возвращение к нашей отправной точке не есть какая-то увертка. Не нужно забывать, что до самого последнего времени наши клинические прозрения, касающиеся взаимоотношений детства и общества, почти или совсем не получали естественного развития в социологических и исторических науках. Коль скоро мы проясняем эти вопросы в той мере, в какой нам позволяют наши методы, то нужно соблюдать осторожность, предлагая практическое приложение наших находок. Прошло то время, когда можно было быть столь же наивными в истории, насколько историки, во всей прежней истории, были наивны в психологии.

Для согласования исторической и психологической методологий нам прежде всего нужно научиться сообща иметь дело с тем обстоятельством, что различные психологии и психологи подвластны историческим законам, а историки и исторические летописи - законам психологии. Зная по клинической работе, что человек склонен развивать амнезию в отношении своих наиболее информативных переживаний детства, мы вынуждены также признать наличие универсальной «зоны молчания» у творцов и интерпретаторов истории: они игнорируют важную по своим последствиям функцию детства в общественном устройстве. Историки и философы признают «женское начало» в устройстве мира, но оставляют без внимания тот факт, что всех людей родили и выкормили женщины. Эти специалисты ведут дебаты по поводу принципов формального образования, но не обращают внимания на судьбоносную зарю индивидуального сознания. Они настойчиво утверждают мираж прогресса, обещающий, что человеческая (читай: мужская) логика приведет к благоразумию, порядку и миру, тогда как каждый шаг к этому миражу приносит с собой новое выравнивание враждебных сил, ведущее к войне - и к худшему. Морализирующий и рационализирующий человек продолжает идентифицироваться с собственными абстракциями, но отказывается поразмышлять над тем, как он

стал таким, каков он есть на самом деле, и почему он, в качестве эмоционального и политического существа, уничтожает из-за инфантильных принуждений и побуждений то, что изобрела его мысль и построили руки. Все это имеет свою психологическую основу в бессознательной решимости индивидуума никогда больше не встречаться лицом к лицу со своей детской тревогой, а также в суеверном опасении, что даже беглый взгляд на инфантильные источники своих мыслей и схем мог бы подорвать предназначаемый для достижения сознательно поставленной цели запас жизненных сил. Поэтому он предпочитает распространять просвещение от себя: вот почему лучшие умы часто хуже всего знают себя.

А не может ли быть так, что именно предрассудок заставляет человека отворачиваться от своей скрытой тревоги, как от головы Медузы? [По Гесиоду, Медуза - одна из трех сестер Горгон. Подобно своим сестрам Медуза обладала взглядом, обращавшим всех, кто смотрел на нее, в камень; на голове у нее вместо волос извивались змеи. В отличие от сестер, только Медуза была смертной (убита Персеем). - *Прим. пер.*] И не может ли быть так, что человек теперь уже должен и способен расширить свое толерантное сознание до скрытых тревог и инантильных источников своих предубеждений и опасений?

Каждый взрослый, будь он лидером или ведомым, представителем масс или членом элиты, однажды был ребенком. Когда-то он был маленьким. Чувство малости образует нижний, неискоренимый слой в душе человека. Его триумфы будут соразмеряться с этой малостью, а поражения - подтверждать ее. Вопросы о том, кто «больше» (сильнее, важнее и т. п.) и кто может (или не может) сделать что-либо по отношению к кому-либо, заполняют внутреннюю жизнь взрослого сверх той необходимости и той желательности, которые он осознает и на которые рассчитывает.

Всякое общество состоит из людей в процессе их перехода из разряда детей в разряд родителей. Чтобы обеспечить непрерывность традиции, общество должно заблаговременно готовить детей к функции родителей, а также заботиться о неизбежных остатках инфантильности у взрослых. Это - трудное дело, особенно если обществу требуется множество способных идти за лидером, малая доля способных вести за собой и какая-то часть тех, кто способен к тому и другому - попеременно или в различных сферах жизни.

Свойственное человеку в детстве научение, которое развивает у него высоко специализированную координацию мозга, глаза и руки и все внутренние механизмы рефлексии и планирования, возможно лишь при длительной зависимости ребенка от взрослого. Только благодаря такой зависимости, человек развивает совесть, или ту зависимость от себя самого, которая делает его, в свою очередь, заслуживающим доверия других; и только став полностью надежным в отношении определенного набора фундаментальных ценностей (правды, справедливости и т. д.), он может обрести независимость, учить и развивать традиции. Однако сама его надежность сулит проблему из-за того, что ее источник находится в детстве, и из-за тех сил, которые задействованы в ее развитии. Мы обсуждали задержку сексуального развития, его сосредоточение на семье и отвлечение от нее. Мы также обсуждали значение ранних паттернов агрессивного подхода (модусов органов) для развития социальных модальностей. Обе эти линии развития связывают самые истоки человеческих идеалов с образами, указывающими на напряжение и ярость младенца.

Таким образом, столь раннее зарождение совести угрожает зрелости человека и его работе: инфантильный страх сопутствует ему на протяжении всей жизни. Мы, психоаналитики, пытаемся в отдельных случаях нейтрализовать этот страх; и мы пытаемся объяснить и концептуализировать его, поскольку не существует универсального средства исцеления (пожалуй, только облегчение через постепенный инсайт) от того, что каждое поколение должно развиваться из своего детства и, преодолевая свой особый тип детства, должно развивать новый тип, потенциально многообещающий - и потенциально опасный.

Марк Твен, вероятно в один из своих периодов депрессии, назвал человека «лишенным стыдливости животным», единственной тварью, знающей о своей наготе, или как сказали бы мы, сознающей свою сексуальность. В этот момент Марк Твен ни словом не обмолвился о другой, искупающей особенности человека, которую он сделал своей специальностью. Речь, конечно, идет о юморе - способности в минуты веселья вышучивать и бесстрашно подвергать сомнению те странные обычаи и институты, посредством которых человек должен реализовывать себя. Однако факт остается фактом: человек в раннем детстве выучивается считать тот или иной аспект телесной функции дурным, постыдным или опасным. Нет такой культуры, которая не использует сочетание этих «пороков» для развития - через контрапункт - своего собственного типа веры, гордости, уверенности и инициативы. Поэтому в чувстве достижения человека остается привкус инфантильных корней; а поскольку самое раннее чувство реальности приобреталось им в болезненном опробовании внутренних и внешних

добродетелей и пороков, человек сохраняет готовность ожидать от какого-то внешнего врага, силы или события того же, что, в действительности, угрожает ему изнутри, то есть от его агрессивных влечений, чувства собственной малости и раскола его внутреннего мира. Поэтому он всегда, без каких-либо разумных оснований, склонен опасаться вторжения многочисленных и неопределенных, непохожих на него сил, удушающего окружения всеми, кого не удается с уверенностью отнести в разряд союзников, и сокрушительного провала перед обступающей, издевающейся публикой. Эти, а вовсе не животные страхи характеризуют человеческую тревогу, причем как в международных, так и в личных делах.

В заключении я резюмирую, по крайней мере, какую-то часть этих базисных страхов. Но сначала позвольте мне надеяться, что я все же смог показать признание мной очевидного факта: существование сфер власти, влияния, юрисдикции, собственности и, прежде всего, сфер эксплуатации - это вопрос, имеющий отношение к социальному процессу. Появление этих сфер не может быть объяснено их зарождением в инфантильной тревоге: они суть выражение историко-географической реальности, в которой мы существуем. Проблема же заключается в том, насколько человек склонен проецировать на политическую и экономическую неизбежность страхи, опасения и побуждения, унаследованные им из арсенала инфантильной тревоги.

И еще одна оговорка: мы должны уметь различать страхи и тревоги. Страхи - это состояния опасения, сосредоточенного на изолированных и могущих быть узнанными угрозах, так что их можно трезво оценить и реалистически противостоять им. Тревоги - это диффузные состояния напряжения (вызываемого утратой взаимного регулирования и возникающего в результате нарушения либидинального и агрессивного контроля), которое преувеличивает опасность и даже вызывает иллюзию внешней угрозы, не указывая на подходящие пути защиты или овладения. Совершенно очевидно, что две эти формы опасения часто встречаются вместе, и мы можем настаивать на их строгом разделении только ради краткости изложения в рамках заключения. Если в условиях экономической депрессии человек боится потерять все свои деньги, его страх, возможно, оправдан. Но если одна только мысль о необходимости жить на доход, лишь в 10 (вместо 25) раз превышающий доход его средних сограждан, заставляет кого-то потерять самообладание и покончить с собой, нам следует обратиться к нашим клиническим доктринам. Они могут помочь понять, например, почему богатство оказалось краеугольным камнем идентичности такого человека, и выяснить, что экономическая депрессия совпала с его критическим периодом. Тогда, страх потерять свои деньги ассоциировался с тревогой, вызванной мыслью о необходимости вести образ жизни, характеризуемый ограниченными ресурсами, и произошло это в то время, когда страх утратить свою половую потенцию мобилизовал тревогу, некогда связанную с идеями лишения активности и кастрации. В таком случае, ослабление рассудительности взрослого инфантильным гневом есть результат иррационального напряжения, вызванного коротким замыканием между рациональными взрослыми страхами и ассоциированными с ними детскими тревогами. Именно эта истина кроется в простом, но магическом заявлении Франклина Д. Рузвельта «Мы ничего не боимся, кроме страха», которое для нашего заключения стоило бы перефразировать в утверждение «Мы ничего не боимся, кроме тревоги». Ибо не боязнь опасности (которую мы вполне могли бы встретить трезво рассчитанным действием), а страх перед ассоциированным состоянием бесцельной тревоги толкает нас на нелогичное действие, неразумное бегство или, в действительности, на безрассудное отрицание опасности. Когда нам угрожает такая тревога, мы либо преувеличиваем опасность, бояться которой нет никаких причин, либо игнорируем угрозу, опасаться которой есть все основания. Быть способным сознавать и обуздывать наш страх, не поддаваясь тревоге и даже вопреки ей, чтобы соблюсти точную меру и сохранить предостережение против всего, чего должен бояться человек, - вот необходимое условие для трезвого, рассудительного расположения духа. Это тем более важно, поскольку политические и религиозные институты, соперничая в завоевании приверженцев, научились использовать в своих целях инфантильные, переживаемые в детстве страхи, общие всему человечеству или каким-то конкретным его частям. В конечном счете, во вред самим себе «трезвые» лидеры, клики и группы давления могут заставлять людей видеть преувеличенные опасности - или, наоборот, игнорировать существующую угрозу - до тех пор, пока не будет слишком поздно. Поэтому-то и случается так, что даже у просвещенных и демократичных людей притупляется способность в меру опасаться и разумно сотрудничать.

Мы можем только кратко описать некоторые из затронутых в нашем обсуждении тревог, и пусть каждый из нас (автор наравне с читателями) спросит себя, каким образом люди одной с ним профессии могут помочь бороться с тем испугом, который неотступно сопровождает человека в процессе его развития.

Конечно в детстве страх и тревога настолько близки друг к другу, что они просто неразличимы, -

по той причине, что ребенок, вследствие незрелого оснащения, не обладает способом разграничения внутренних и внешних, реальных и воображаемых опасностей. Тем не менее, он должен научиться этому, и пока ребенок учится, он нуждается в успокаивающем и вселяющем уверенность обучении со стороны взрослого. Поскольку ребенка не удается убедить взрослыми аргументами и, особенно, в тех случаях, когда вместо этих аргументов он воспринимает латентный ужас и замешательство взрослого, паническое чувство неопределенной катастрофы сохраняется в виде всегда готовой потенциальности. Тогда, ребенок вправе развить тревогу, когда чего-то боится, равно как он вправе иметь «детские» страхи до тех пор, пока руководство взрослых не помогло ему, шаг за шагом, развить рассудительность и мастерство. По этой причине мы обычно называем некоторые опасения ребенка страхами, хотя их же мы зовем тревогами у взрослого, ибо они продолжают у него существовать в резком контрасте со способностью оценивать опасность и планировать ее предотвращение.

Ниже мы расскажем, главным образом, об инфантильных страхах, связанных с личным опытом растущих организмов. Следует отметить, что эти страхи являются предшественниками многих иррациональных тревог, поддерживаемых взрослыми в таких сферах интересов, как сохранение индивидуальных идентичностей и защита коллективных территорий.

Младенцы пугаются ряда вещей: неожиданной потери опоры, внезапного сильного шума или вспышки света, и т. п. Такие события случайны и редки, и малыш быстро приспосабливается к ним, если только он не выучился *бояться внезапности* происходящих вокруг него изменений. Начиная с этого момента, трудно сказать, когда ребенок пугается повторения какого-то конкретного события или внезапности как таковой, и когда он реагирует тревогой на неумелость или напряжение взрослого, которые выражаются в повторяющейся внезапности. В результате «инстинктивный» страх таких объективных вещей, как потеря опоры или шум, легко может стать социальной тревогой, связанной с внезапной утратой внимательного ухода за ребенком.

Неизбежное регулирование жизнедеятельности ребенка с помощью внешних средств контроля, когда оно не достаточно согласовано с его внутренним регулированием, способно вызвать у малыша цикл гнева и тревоги. А это оставляет осадок *интолерантности к манипулированию* [Пеленанию, перекладыванию, купанию и т. д. - *Прим. пер.*] и принуждению за пределами той точки, в которой внешнее регулирование может еще переживаться ребенком как саморегулирование. С отмеченной интолерантностью связана *интолерантность к прерыванию* витального акта или лишению возможности завершить его единственно важным для ребенка способом. Все эти тревоги приводят к импульсивному своеволию или, напротив, к преувеличенному самопринуждению посредством стереотипии и унылого повторения. Здесь мы обнаруживаем источники компульсии и обсессивности, равно как и сопутствующей потребности в мстительном манипулировании [В широком смысле. - *Прим. пер.*] и насилии над другими.

Интолерантность к лишению возможности доводить начатое по своей инициативе и своим собственным способом до завершения сочетается со *страхом оказаться доведенным до истощения* модусом конкретного органа. На оральном уровне, например, в какой-то мере существует страх остаться голодным (empty) [Букв. - пустым. - *Прим. пер.*] и лишенным стимуляции (сенсорной и чувственной). Позднее эти страхи становятся взаимозаменяемыми, так что поиск возбуждения и страх голода могут характеризовать людей, которым еды хватает с избытком, но не достает чувственной близости.

Тревога, вызываемая *страхом утратить автономию,* в ее кишечной форме, касается возможного опорожнения и очищения кишечника малыша «враждебными» людьми и внутренними «диверсантами» против его желания. Соответственно амбивалентному аспекту этой стадии, противоположный страх, вероятно, касается *угрозы оказаться запертым,* быть вынужденным удерживать содержимое переполненного желудка и кишечника, попасть в «безвыходное» положение.

В мышечной сфере также существует парная интолерантность: тревога, вызываемая у ребенка *ощущением, что его ограничивают* и настаивают на своем вплоть до наступления мышечного бессилия, имеет свою пару в ощущении, будто его вообще никто и ничто не удерживает, в чувстве *утраты внешних ограничений* и границ, а с ними и необходимой ориентации для определения собственной автономии. А родство мышечного и анального садизма, по-видимому, благоприятствует развитию *страха быть атакованным с тыла,* оказаться либо поверженным и связанным, либо изнасилованным ректально, в позе животных.

«Быть выдающимся, непревзойденным» имеет множество коннотаций гордости и изоляции, желания быть объектом восхищения и обожания, а также *страха оказаться незащищенным* перед разрушительной проверкой и, конечно, *страха провалиться*.

В центре локомоторно-фаллических страхов мальчика таится страх «кастрации», *страх лишиться интрузивного оружия*. Клинические данные в пользу стратегического существования страха за тот чувствительный орган (пенис), который столь дерзко «высовывается», поистине неисчислимы. Более распространен, однако, *страх остаться маленьким*: либо в своих размерах, либо по величине гениталий - иначе говоря, страх оказаться обделенным «надлежащим имуществом».

В ходячем состоянии имеет место *страх лишиться подвижности* и свободы передвижения, но наряду с ним и *страх остаться без поводыря,* не отыскать границ, устанавливаемых с тем, чтобы можно было отвоевывать и защищать свою инициативу. Здесь находится инфантильный источник потребности (человека) во враге, - что бы он мог вооружиться и бороться с конкретным противником, освобождаясь, тем самым от тревоги по поводу неведомых врагов, которые в непредсказуемое время могут застать его безоружным и незащищенным.

Страх остаться пустым (орально) или быть опустошенным (анально) имеет особое качество у девочек, поскольку образ тела девочки (даже до того, как она «узнает» свое внутреннее анатомическое устройство) включает ценное внутреннее содержимое, от которого зависит ее осуществление как организма, персоны и носителя роли. Этот *страх быть оставленной пустой* или, проще, *быть оставленной,* по-видимому, является самым основным женским страхом, распространяющимся на весь период жизни женщины. Обычно он усиливается с каждой менструацией и наносит свой завершающий удар в климактерический период. В таком случае неудивительно, что вызываемая этими страхами тревога может выражаться либо в полном подчинении мужскому намерению, в отчаянном поединке с ним, либо в стремлении «поймать» мужчину и превратить его в собственность.

Здесь я должен особо подчеркнуть одно из самых парадоксальных и далеко идущих последствий женского страха быть оставленной. Чтобы мужчины не отказывались от них и не бросали в периодических поисках состязания, завоевания и войны, женщины склонны не подвергать сомнению их подвиги, которые то и дело приводят к разрушению семьи и убийству сыновей. Женщины притворяются, что действительно придают большое значение войне и великолепной экипировке мужчины, тогда как на самом деле они просто выучились принимать как неизбежность то мужское воинственное возбуждение, которое, по существу, находится за пределами их понимания. Вполне возможно, что мы не в состоянии покончить с войнами до тех пор, пока женщины, ради осмысленного выживания, не отважатся признать и поддержать до сих пор неразвитую способность невооруженного сопротивления. Но для этого им нужно сначала научиться понимать свой страх оказаться брошенной и свою нерасположенность беспристрастно подвергать сомнению культивирование мужчиной войны ради войны.

Конечно, где-то маленькая девочка выучивается ненавидеть того, кто с таким самодовольным видом получает то, что ему требуется - и может воспользоваться своим правом на удовольствие немедленно. Посредством «проекции», слишком сложной для краткого анализа, ненависть девочки усиливает ее *страх быть изнасилованной,* который вызывает тревогу, легко объединяющуюся с целым рядом прегенитальных страхов: опасением, что тебе причинят вред, чего-то или кого-то лишат и оставят ни с чем. В свою очередь мужчины не упускают случая воспользоваться этой тревогой, когда им нужно получить у женщин согласие в отношении своих воинственных фантазий и агрессивных провокаций: всегда найдется женщина, страна или принцип, символически изображаемые в облике сверхчеловеческой женщины, которую нужно защитить от захвата и насилия.

Итак, мы перечислили несколько базисных интолерантностей, страхов и (развивающихся из них) тревог, являющихся результатом того простого обстоятельства, что человеческая жизнь начинается с долгого и неторопливого детства, а сексуальность - с привязанности к родительским фигурам. Страхам, основанным на анатомии и развитии организма, здесь придается особое значение, поскольку строение тела и его рост оказываются самыми ранними, всеобъемлющими и наименее сознаваемыми темами страха. Полная сводка интолерантностей, вероятно, уравняла бы по значению с «организменными» страхами и тревогами замешательство малыша перед лицом непредсказуемых вспышек напряжения и гнева, периодически охватывающих находящихся рядом взрослых. В более позднем детстве и раннем подростковом возрасте все эти страхи становятся неотъемлемой частью межличностных затруднений («эдипов комплекс», «детская ревность»), которые касаются старших и младших соперников и их конфликтующих запросов. Ибо старший претендует на право собственности на основании того, что появился на свет первым и является сильнее, а младший требует равных прав исходя из того, что пришел последним и является слабее. Такое противоречие отнюдь не легко уладить, причем безразлично, проявляется ли оно в системе воспитания ребенка или в политических системах.

Мы пришли к выводу, что только постепенное нарастание чувства идентичности, основанное на

личном опыте социального здоровья и культурной солидарности в конце каждого главного кризиса детства, сулит тот периодический баланс в человеческой жизни, который - при интеграции стадий эго - способствует чувству гуманности. Но повсюду, где чувство идентичности утрачивается, где целостность и полнота уступает место отчаянию и отвращению, генеративность уступает стагнации, интимность - изоляции, а идентичность - смешению ролей, боевые порядки объединенных инфантильных страхов легко приходят в движение. И только идентичность, благополучно бросившая якорь в «родовом имении» культурной идентичности, способна создавать осуществимое психосоциальное равновесие. [Понятие «эго-идентичность» может быть неправильно истолковано в двух отношениях. Одно заблуждение связано с предположением, что полная идентичность свойственна конформисту и что чувство идентичности достигается, главным образом, благодаря полному подчинению индивидуума установленным социальным ролям и безоговорочному приспособлению к требованиям социальных перемен. Бесспорно, никакое эго не может развиваться вне социальных процессов, предлагающих осуществимые прототипы и роли. Однако здоровый и сильный индивидуум приспосабливает эти роли к дальнейшим процессам своего эго, тем самым внося свой вклад в поддержание социального процесса. Второе заблуждение касается тех, кто посвящает себя изучению и уединенному поиску человеческой целостности и кто, занимаясь этим, кажется, живет вне и над той группой, из которой он вышел. Поднимаются ли такие люди выше всякой идентичности? В своем развитии они были отнюдь не независимы от идентичности своих групп, которую в действительности могли впитывать вплоть до вырастания из них. Не свободны они и от новой общей идентичности, хотя могут разделять ее только с очень немногими, кто, возможно, даже и не живет в одно время с ними (здесь я имею в виду Ганди и его отношения как с Индией, так и с Иисусом из Назарета).]

В последней части этой книги я проиллюстрировал ряд проблем, с которыми сталкивается молодежь сегодняшнего мира. Промышленная революция, глобальная коммуникация, стандартизация, централизация и механизация угрожают идентичностям, унаследованным человеком от примитивных, аграрных, феодальных и аристократических культур. То, что внутреннее равновесие этих культур позволяло предложить, сейчас подвергается опасности в огромных масштабах. Поскольку страх утратить идентичность доминирует в большей части нашей иррациональной мотивации, он призывает весь арсенал тревоги, оставленный в каждом человеке простым фактом его детства. В этом критическом состоянии массы людей склонны искать спасения в псевдоидентичностях.

Опираясь на несколько соображений, я дал понять, что обрисованные в общих чертах тревоги сохраняются и во взрослой жизни, причем не только в форме невротической тревоги, которую, в конце концов, можно распознать как таковую, удержать в разумных границах у большинства людей, а у некоторых - излечить полностью. Более ужасно, что эти детские тревоги снова появляются в форме коллективных страхов и болезней коллективного разума. Перечисленные на предыдущих страницах тревоги можно было бы извлечь из контекста детства и использовать в качестве рубрик для трактата по групповым страхам и их использованию в целях пропаганды.

В таком случае, одна из наших задач - совершенствовать методы, облегчающие в подобных ситуациях разъяснение предрассудков, опасений и ошибочных мнений, вызываемых инфантильным гневом и действием защитных механизмов взрослого против его инфантильной тревоги.

Допуская, что наш клинический опыт привел нас к обнаружению значимых связей в отношениях между тревогами младенчества и общественными переворотами, инсайтом какого рода является такое открытие и какого рода возможности оно нам сулит? Поможет ли нам использование этого знания создать синтетические системы детского воспитания, формирующие у наших детей желаемый тип личности? Может ли оно помочь нам видеть насквозь инфантильные слабости наших врагов, с тем чтобы мы могли перехитрить их? И следует ли нам питать надежду, что применяемый таким образом инсайт останется понимающим?

Наше знание этих вопросов основано на изучении тревоги и поэтому акцентирует, главным образом, те способы, какими тревога производится и эксплуатируется. Мы в состоянии (как я отметил в первой главе) посредством анализа сделать источник индивидуальной тревоги ретроактивно правдоподобным; но мы только начали изучать такое сочетание элементов, которое, в данном случае, имело бы результатом интересную вариацию, а не невротическую девиацию человеческого функционирования. Мы изучили вариации хуже, чем девиации - по той причине, что вариации достаточно хорошо обходятся без нашей помощи.

В психоаналитических кругах мы были свидетелями короткой частной истории экспериментальных систем детского воспитания, увлеченных потаканием инстинктуальным желаниям и избежанием тревоги у наших детей. И нам хорошо известно, что в результате нередко получалась

лишь новая система «научных» предрассудков. Навязчиво уподобляя вариации детства девиациям, встречавшимся в воспоминаниях детства взрослых пациентов, некоторые из нас ненамеренно загоняли наших детей в идентификацию с нашими пациентами. По крайней мере один мальчик, сын психиатра, выразил это предельно ясно; когда этого заботливо и деликатно воспитываемого ребенка спросили, кем он хочет быть, он ответил: «Пациентом». Разумеется, мальчик имел ввиду, что хотел бы быть такого рода существом, которое так сильно интересовало его родителей. Поскольку он это сказал, ему, вероятно, нет нужды становиться больным, а родители могут вовремя получить от него обратную связь. Но такие случаи должны бы убеждать нас, что посредством одного только научного синтеза отнюдь не легко построить понятную всем и каждому систему, ведущую наших детей в желаемом направлении и избегающую нежелательного. Очевидно, хорошая система может появиться только из непрерывного взаимодействия между тем, что мы постепенно узнаем как ученые, и тем, во что мы верим как люди.

Это нелегко. Когда люди сосредотачиваются на не отмеченных на карте областях человеческого существования, они расширяют каждую такую область до размеров универсума и превращают ее центр в первореальность. Как я показал при обсуждении теории инфантильной сексуальности, именно так было возвеличено в психоанализе «оно» («id»), а инстинкты стали универсумом несмотря на то, что Фрейд полновластно говорил о них как о своей «мифологии». Он знал, что человек, создавая теории, подправляет свой образ мира, чтобы интегрировать уже известное с тем, в чем он нуждается, и делает все это целью своей жизни (ибо должен жить с тем, что он изучает). Сможем ли мы избежать того же в отношении эго? Эго есть центральный принцип организации [И только в этом смысле «ядро индивидуума», как я назвал его на первой странице первого издания. - *Э. Г. Э.*] опыта и поведения человека, причем оно и понимается таковым, без какого-либо возвеличивания. Поскольку понимание человека должно всегда идти на шаг позади того, что ему удалось разглядеть. Наряду со здоровым и чувственным телом, проницательным и пытливым умом, прочная идентичность образует то, благодаря чему человек выживает, но он не мог понять создаваемых ими возможностей или иллюзий до тех пор, пока не позволял любому из этих образований занять господствующее положение в его жизни или мышлении.

Что касается социальных процессов, то и здесь мы начинаем кое-что узнавать о месте тревоги, предрассудков и неразборчивой в средствах пропаганды в коллективном недовольстве, общественных сдвигах и преобразованиях. Однако мы не знаем и малой доли того, каким образом новая идея внезапно становится неприемлемой и создает или поддерживает вариацию цивилизации среди кажущегося хаоса девиантных расхождений.

Ситуация здесь напоминает положение в области ядерных исследований. Физики, под давлением угрозы для всей нашей цивилизации, старались в спешном порядке выполнить работу высочайшего теоретического значения и широчайшей практической важности. Общественность же, в целом, склонна принимать как данное это невероятное оружие, предоставляя ученым разрабатывать защитные средства, равные по опасности оружию нападения, и полагаясь в том, что касается остального, на добрые старые способы профессиональной дипломатии. Ученые организовались, чтобы иметь возможность просвещать общественность, но сами они неспособны создать и возглавить новую международную организацию, полностью соответствующую той опасности, которую они хорошо себе представляют. Построить сверхмощный циклотрон - это одно; создать наднациональную организацию - это другое. Ученые имеют в своем распоряжении только голос просвещения, веру в человечество и собственную научную этику. И они переживают нелегкие времена, потому что (независимо от их провозглашенной лояльности и твердых обязательств) существует предел, за которым научный этос и гонка вооружений не могут ужиться вместе в рамках одной идентичности и, понуждаемые к слиянию, угрожают самому духу исследования.

И в нашей области тоже, нам знакомо отчасти (но не полностью) похожее положение. Мы получили эффектные доказательства того, что психоаналитические конструкты помогают прояснить бессознательную динамику. Нами изучены убедительные исцеления и шокирующие ухудшения. Мы внесли поразительные прояснения в сферу мотивации и уверенно приближаемся к изучению общества. Однако чрезвычайные ситуации подстрекают нас предлагать свои решения, касающиеся общественных и международных событий. Одни из нас отвечают тем, что анализируют проблемы социальной организации как клинические ситуации. Другие слепо верят в междисциплинарную командную работу - что-то вроде сотрудничества хромого со слепым, при котором обществовед со слабым психологическим зрением несет на закорках психолога, не научившегося легко передвигаться в общественных событиях, так что вместе они могут на ощупь прокладывать свой путь через современную историю. Но я считаю, что наша работа должна вносить более существенный вклад в нового человека, чье зрение не отстает от

способности к перемещению, а действие держится наравне с беспредельным мышлением. Лишь когда наш клинический способ работы становится частью здравого образа жизни, мы способны помочь нейтрализовать и реинтегрировать деструктивные силы, высвобождаемые расщеплением архаического пласта совести современного человека.

Здравомыслие, в самом широком смысле, есть умонастроение, которое терпимо к различиям, осторожно и последовательно в оценках и суждениях, осмотрительно в действиях и - несмотря на весь этот кажущийся релятивизм - способно к вере и возмущению. Его противоположностью служит предвзятость - позиция, характеризуемая предопределенными ценностями и категорическими расхождениями во взглядах; здесь все кажется ясно очерченным и разнесенным в изолированные друг от друга клетки, и это «по природе» - причина, по которой все должно оставаться таким, каким оно было всегда. Опираясь таким образом на предвзятые мнения, подобное умонастроение создает ригидность, которая может стеснять; но при этом оно обладает существенным преимуществом: позволяет проецировать все, что кажется чужим в собственной душе, на какого-либо неопределенного врага вовне. Такой механизм способствует ограниченной стабильности и стандартизации до тех пор, пока некая катастрофа не подвергает опасности все хрупкое здание предубеждений. [См. работу T. W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson, and R. Nevitt Sanford, *The Authoritarian Personality*, Harper & Brothers, New York, 1950.] Здравомыслие, в свою очередь, допускает больше гибкости и изменчивости, но, предположительно, подвергает опасности неуравновешенного и невротичного индивидуума, решившего следовать этому умонастроению. Отказываясь от всех предубеждений, он теряет право на механизм проекции и оказывается перед опасностью интроспекции и «интроекции», сверхозабоченности своими собственными дурными качествами. Можно сказать, что он становится настроенным против самого себя. Какая-то доля этого должна допускаться людьми доброй воли. Такие люди должны учиться точно оценивать степень страха и рассудительно справляться с тревогой, вызываемой отказом от того или иного предубеждения. Просвещение заложило здесь фундамент; новые формы коммуникации должны его укрепить; общество же должно поставить здание для здравомыслящих людей.

Тогда клиническое знание, как и любое другое, есть лишь орудие в руках веры - или оружие на службе суеверия. Вместо того, чтобы делать вывод, будто специфические элементы детского воспитания, их скрупулезное распределение во времени и дозировка формируют и деформируют людей, и поэтому мы должны действовать здесь с разумной осмотрительностью и на основе детального планирования, можно вынести на рассмотрение следующую альтернативу. То есть: взаимосвязи между младенческой тревогой и деструктивностью взрослых существуют в продемонстрированных в этой книге формах главным образом потому, что они полезны системам суеверия и эксплуатации. Вполне возможно, что (в определенных границах, обозначающих то, что организм способен интегрировать, а эго - синтезировать) элементы воспитания становятся решающими только там и тогда, где и когда суеверные взрослые приписывают им свои предубеждения и опасения. В таком случае существенно, живут ли эти взрослые и дети в обществе, уравновешивающем их суеверия, или их предрассудки являются фрагментарными и индивидуализированными задержками и регрессиями, резко контрастирующими с известными фактами, сознательными методами и сформулированными стремлениями.

Поэтому наши согласованные усилия, вероятно, следует сосредоточить на ослаблении бессознательных предрассудков в уходе за младенцами и на уменьшении политических и экономических предубеждений, отказывающих молодежи в чувстве идентичности. Однако для достижения этой цели необходимо понять, что человеческое детство предоставляет наиболее существенное основание для эксплуатации человека человеком. Полярность «большой-маленький» - первая в инвентаре таких экзистенциальных противоположностей, как «мужской - женский» [Полярность «мужской-женский» обстоятельно рассмотрена Маргарет Мид в работе: Margaret Mead, *Male and Female,* William Morrow and Co., New York, 1949.], «управляющий - управляемый», «имеющий - имеемый», «светлокожий - темнокожий», - и по поводу каждой из них сейчас бушуют освободительные войны как в политическом, так и в психологическом смысле. Цель этих сражений - признание разделенной функции партнеров, которые равны не потому, что похожи по существу, а потому, что в силу самой своей уникальности они оба совершенно необходимы для выполнения общей функции.

Здесь мы должны смягчить, по крайней мере в его упрощенном толковании, то утверждение, в котором резюмирован первый удар психоаналитического просвещения по Америке, а именно, что фрустрация ведет к агрессии. Человек, если он во что-то верит, способен вынести значительную

фрустрацию. Скорее, нам следовало бы сказать, что эксплуатация ведет к бесплодной ярости. Именно эксплуатация образует социальный контекст, наделяющий ограниченную фрустрацию ее разрушительной силой. Эксплуатация существует там, где один из партнеров злоупотребляет разделенной функцией таким образом, что ради своего псевдовозвеличивания лишает другого партнера какого бы то ни было чувства идентичности и целостности, которых тот на данный момент достиг. Утрата взаимности, характеризующая такую эксплуатацию, приводит со временем к разрушению общей функции и самого эксплуататора.

В Америке, пожалуй больше, чем в любой другой крупной стране, ребенок выступает партнером взрослого. Мы бережно относимся к тому обнадеживающему факту - доступному простому повседневному наблюдению, - что всюду, где дух партнерства пропитывает атмосферу семьи и где детство получает свой собственный статус, результатом является чувство идентичности, братская совесть и терпимость. Нам также известно, что бесчеловечность колоссальной машинной организации угрожает этим специфическим американским приобретениям. Ответственным американцам знакома опасность, исходящая от машины «тотальной войны» и от ее точной копии в мирное время. Но не одна эта сверхорганизация делает сегодня культурные ценности относительными. Быстрое расширение коммуникации и всевозрастающее знание культурной относительности подвергают опасности тех, кто находится в маргинальном положении, кто остается никак не защищенным перед численным приростом, приближением или большей властью «не-таких-как-они-сами». У подобных людей стремление к терпимости отличается снижением их способности к восстановлению: оно вызывает тревогу. Аналогично этому, стремление к здравомыслию отнюдь не столь прямо ведет к гражданскому миру или, в контексте нашего обсуждения, к психическому здоровью, как новое американское мирное движение «Психическая гигиена» хотело бы нас убедить: терпимая оценка других идентичностей подвергает опасности собственную идентичность. Супер-эго, так долго служившее главным оплотом морали, будет делать реальную терпимость опасной, пока идентичность здравомыслия не станет релевантной и неизбежной. Такое здравомыслие является, по существу, делом личной и гражданской морали; все чем психология способна помочь - это обучить переносить тревогу и, попутно, распознавать скрытую принудительность и эксплуатируемость.

Здесь психология останавливается перед своим гуманистическим кризисом, поскольку она, во многих отношениях, играет роль манипулятора человеческой воли. Ранее мы цитировали Уильяма Блейка, называвшего забавы ребенка и заботы старика «плодами двух времен года». Тогда мы предположили, что Блейк таким образом намеревался подтвердить высокое звание детской игры, но, возможно, он также намекал и на скрытую инфантильность зрелого рассудка. Ибо в использовании рассудка кроется вечное искушение поступить с получаемыми от человека в эксперименте или дискуссии сведениями так, как ребенок поступает с ними в игре, а именно, свести их по размеру и рангу к тому, что кажется поддающимся управлению. Поэтому с информацией о человеке обращаются так, как если бы он был животным, машиной или статистической единицей. Весьма наивное чувство власти можно получить от того, что при соответствующем к нему подходе человек, в известной степени, являет собой все это вместе взятое, а при определенных условиях его можно довести до их точной копии. Но попытка сделать человека более эксплуатируемым существом, посредством редукции к его упрощенной модели, не может привести к подлинно человеческой психологии.

Альтернативой эксплуатации наименьшего общего знаменателя рода человеческого выступает взвешенное обращение к латентной разумности людей и систематическое культивирование новых форм групповой дискуссии. Однако по этим вопросам психоаналитик может лишь консультировать в той мере, насколько ему удалось понять, в добавление к инфантильным источникам взрослых тревог, социальные и политические гарантии силы и свободы индивидуума.

Я предположил, что читающий это заключение, думает о сфере собственной компетенции. Поэтому я завершу его двумя примерами из профессиональной сферы.

Одним из самых обнадеживающих событий моей жизни стало получение мною несколько лет назад от небольшой группы врачей-новаторов сообщения о разработке техники «естественных» родов (заново введенных в нашу механизированную западную культуру доктором Грэнтли Д. Ридом). Их фактическая сторона к этому времени хорошо известна. На языке обсуждаемой здесь проблемы можно было бы сформулировать цель этой разработки как роды без тревоги. Готовящаяся стать матерью женщина испытывает некоторый страх, поскольку знает, что боли не избежать. Но положение в корне меняется, когда будущая мать выучивается, благодаря упражнениям и инструктажу, сознавать локализацию и функцию схваток, причиняющих боль; и когда она знает, что при приближении к пределу терпения имеет право сознательно решать, захочет ли она воспользоваться лекарственными

средствами для облегчения боли или нет. Эта полностью контролируемая рассудком ситуация удерживает ее от развития состояния тревоги, которое в недавнем прошлом вызывалось незнанием и предрассудками и нередко оказывалось настоящей причиной чрезмерной боли. Таким образом, роженица имеет возможность, если она пожелает, следить с помощью укрепленного над ней зеркала за появлением своего ребенка на свет: никто не видит его раньше матери и никому не приходится брать на себя обязанность сообщать ей, какого он пола. С акушеркой мать знакома уже несколько месяцев: они партнеры по работе. Всякая снисходительная и унижающая болтовня акушерок и сестер исключена полностью. Отсутствие искусственной амнезии во время этого самого естественного процесса создает целый ряд удивительных психологических преимуществ для матери и ребенка. И еще: эмоциональный импульс, создаваемый уникальным личным опытом таких родов и полномерной реактивностью матери на призывный звук первого крика малыша, вызывает у них, по признанию самих матерей, пронзительное чувство взаимности. При дополнительном новшестве - размещении матери и новорожденного в одной палате - малыш находится достаточно близко от нее, чтобы его можно было слышать, прикасаться к нему, следить за ним, брать на руки и кормить; таким образом, мать имеет возможность наблюдать и узнавать своего ребенка.

В пору внедрения этого усовершенствования в практику вызывало некоторое изумление то, что врачи называли свою работу по подготовке будущих матерей через обучение периодом «идеологической обработки», и что окончательный успех этой процедуры объяснялся как результат материнского «переноса отца» («father-transference») на врача. До такой степени - в век эмансипации женщины - мы забыли о том, что роды - это женский «труд» [Здесь игра слов, поскольку «labor» - это не только «труд», но и «родовые муки». - *Прим. пер.*] и выполнение женщиной своего предназначения. И до такой степени специалист развил иллюзию, будто он должен учить и вдыхать жизнь, тогда как все, что от него требуется - это рассеять предрассудки, которые он и его учителя помогли создать, и ограничить свое медицинское вмешательство задачей предохранения матери и ребенка от опасностей и случайностей. Но эти мужчины, чтобы они ни говорили, увлеклись экспериментом, и женщины из всех слоев общества с несколько неожиданной «естественностью» познали то, что их всех объединяло. А их дочери узнают об этом еще более естественно.

Такие примеры могли бы знаменовать начало новой эры. Естественные роды, конечно, не есть подлинное нововведение. Однако их новое введение представляет собой разумное сочетание существующих от века естественных приемов и вызванных к жизни прогрессом специальных методов. Именно таким, более рассудочным путем можно было бы, шаг за шагом, пытаться влиять на грозную армию всех тревог и предрассудков, обсуждаемых в этой книге, особенно если проводимое специалистами групповое обучение и совместное просвещение родителей в дискуссионных группах осуществляется на всех фазах родительства. Ибо я абсолютно уверен, что разрабатываемые сейчас новые техники ведения дискуссии - как в промышленности, так и в образовании - имеют хорошие шансы вернуть людям уверенность, которая некогда происходила из непрерывности традиции.

«Естественные» роды - не возврат к примитивности. Спустя какое-то время они будут самой дорогостоящей формой родов, если мы учтем затраты времени и внимания в добавление к специальному оборудованию современного родовспоможения. Будем надеяться, что наше общество не пожалеет для своих новых граждан этих временнЫх и финансовых затрат, и это стоит сделать хотя бы для того, чтобы новые поколения появились на свет с менее притупленными чувствами и с большим желанием открыть глаза.

В этой книге я попытался продемонстрировать зарождение в психоаналитической практике и теории понимания длительного неравенства ребенка и взрослого как одного из фактов существования, который способствует эксплуатируемости, равно как и развитию технической и культурной виртуозности человеческой жизни. Мне не по себе от того, что я использовал свой клинический опыт, не раскрывая существа самого психоаналитического процесса как новой формы рассудочного партнерства в другом основном неравенстве: целитель - больной. Здесь можно с признательностью вспомнить моральный шаг, сделанный Фрейдом в связи с отказом от гипноза и внушения, - вопрос, чрезмерно легко рационализируемый по соображениям терапевтической целесообразности. Когда Фрейд решил, что должен заставить сознательное эго пациента смотреть в лицо тревогам и сопротивлениям, и что единственный способ избавиться от тревоги - побудить перенести ее в отношение «врач-пациент», он потребовал и от своих пациентов, и от работавших с ним врачей подняться на ступеньку в эволюции совести. Да, Фрейд заменил гипнотическую кушетку психоаналитической, подвергая тем самым подавленную волю и неминуемую инфантильную регрессию пациента отчасти садистической и прихотливой эксплуатации. Но моральная идея была

сформулирована ясно, чтобы ее все могли заметить: «классическое приспособление» - это лишь средство достижения цели, а именно таких взаимоотношений, при которых наблюдатель, выучившийся наблюдать себя, учит наблюдаемого самонаблюдению. На закате жизни Фрейд должен был неумолимо сознавать моральные колебания, которые появились у многих из нас, пытавшихся жить согласно принципам этой революционной идеи. Жилось с ней не легко, как не легко ее было поддерживать во времена беспорядка идентичностей. Она оказалась трудно реализуемой без нарушения профессиональных обычаев и трудно вписываемой в рамки приемлемой оплаты труда. Поэтому мы можем лишь смиренно проанализировать, какого рода человеческие взаимоотношения предполагались в специальных нововведениях Фрейда. Какова система координат (dimensions) работы психоаналитика?

Первая координатная ось: *«лечение-исследование»*. Психотерапевт в самом акте лечения имеет в своем распоряжении образцовый «эксперимент», который позволяет подступиться к проблемам человека в то время, когда он жив и полностью мотивирован к участию в совместной работе. Разумеется, любой человек способен предоставлять части самого себя (зрение, слух, память и т. д.), как если бы они были изолированными функциями для экспериментов; и экспериментатор может помещать человека в экспериментальную ситуацию, как если бы испытуемый был животным перед развилкой лабиринта или говорящим роботом, а сам экспериментатор - объективным наблюдателем. Но только в клинической ситуации полное мотивационное усилие человека становится частью интерперсональной ситуации, в которой наблюдение и самонаблюдение становятся одновременным выражением обоюдности мотивации, разделения труда и общего исследования. Искреннее и самонаблюдающее участие наблюдателя в этой работе характеризует вторую ось: *«объективность - соучастие»*. Чтобы быть объективным, клиницист должен знать. Но он также должен знать, как удерживать знание в состоянии ожидания: ибо каждый больной, каждая проблема по сути является новой - не только потому, что любое событие индивидуально и любой индивидуум образует отдельный кластер событий, но и потому, что оба - терапевт и его пациент - подвержены историческим переменам. Неврозы изменяются, а вместе с ними изменяются и более широкие подтексты терапии. Следовательно, знания клинициста должны когда-то снова уступить место интерперсональному эксперименту; полученные в нем новые впечатления должны быть опять сгруппированы, по их общим основаниям, в конфигурации; и, наконец, из этих конфигураций должны быть абстрагированы побуждающие мысль концептуальные модели. Поэтому третья координатная ось клинической работы: *«знание-воображение»*. Сочетая то и другое, клиницист прилагает отобранные инсайты к более строгим экпериментальным подходам.

Наконец я бы хотел рассмотреть еще одну ось психоаналитической работы: *«терпимость-возмущение»*. Многое сказано и говорится о моральной обособленности психотерапевта от массы пациентов, которые информируют его о множестве разнообразных конфликтов и решений. Естественно, он должен позволить им найти свой собственный образ целостности. Но аналитик пошел еще дальше. По аналогии с известной птицей, он пытался притворяться, что его ценности оставались скрытыми, потому что его классическая позиция у изголовья «аналитической кушетки» выводила его из поля зрения пациента. Сегодня нам известно, что коммуникация отнюдь не сводится к обмену словами. Слова - это только средство передачи значений. В более просвещенном обществе и гораздо более сложных исторических условиях психоаналитик должен еще раз посмотреть в лицо всей проблеме рассудочного партнерства, выражающего дух аналитической работы более творчески, чем безразличная терпимость или автократическое руководство. Разнообразные идентичности, которые вначале допускали слияние с новой идентичностью аналитика, - основывались ли они на талмудической аргументации, миссионерском рвении, карательной ортодоксии, причудливой сенсационности или на профессиональном и социальном честолюбии - теперь должны стать, вместе с их культурными источниками, частью анализа аналитика, с тем чтобы он смог отказаться от архаических ритуалов контроля и научиться идентифицироваться с прочной ценностью своего дела просвещения. Только так он может освободить в себе и в своем пациенте тот остаток здравого, обдуманного протеста, без которого исцеление - лишь былинка на переменчивом ветру истории.

«Психоаналитическая ситуация» - это современный вклад Запада в вековые усилия человека овладеть систематической интроспекцией. Психоанализ начинался как психотерапевтический метод и привел к всеобъемлющей психологической теории. В заключении я подчеркнул возможные следствия этой теории и практики для более здравомыслящей ориентации в безграничных перспективах и опасностях нашего технологического будущего.

Указатель имен

Адорно Т. В. (Adorno T. W.)
Андерхилл Р. (Underhill R.)
Андреев Л. Н.
Бакгауз В. В. (Backhaus W. W.)
Бенедек Т. (Benedek Th.)
Бенедикт Р. (Benedict R.)
Бенет С. (Benet S.)
Блейк У. (Blake W.)
Боткин Б. А. (Botkin B. A.)
Брэдфорд Р. (Bradford R.)
Вебер М. (Weber M.)
Веллман П. И. (Wellman P. I.)
Гартманн Г. (Hartmann)
Гезелл А. (Gesell A.)
Гитлер А. (Hitler A.)
Гонзик М. П. (Honzik M. P.)
Горький М.
Гоурер Дж. (Gorer G.)
Донской М.
Достоевский Ф. М.
Джонсон М., Джонсон Т. (Johnson M. and T.)
Калас Н. (Calas N.)
Кальдерон П. (Calderón P.)
Кинзи А. Ч. (Kinsey A. Ch.)
Короленко В. Г.
Крёбер А. (Kroeber A.)
Крис Э. (Kris E.)
Крокетт К. (Crockett C.)
Левинсон Д. Дж. (Levinson D. J.)
Лейтес Н. (Leites N.)
Ленин В. И.
Линкольн А. (Lincoln A.)
Линкольн Т. С. (Lincoln T. S.)
Ломакс Дж. А., Ломакс А. (Lomax J. A. and Alan)
Лоуэнштейн Р. (Lowenstein R.)
Мак-Грегор Г. (MacGregor G.)
Макфарлэйн Дж. У. (Macfarlane J. W.)
Манн Т. (Mann Th.)
Маркс К. (Marx K.)
Мид М. (Mead M.)
Микил Х. Скаддер (Mekeel H. Scudder)
Молотов В. М.
Орр Ф. (Orr F.)
Паррингтон В. (Parrington V.)
Рид Г. Д. (Read G. D.)
Рикман Дж. (Rickman J.)
Роскин А. (Roskin A.)
Рузвельт Ф. Д. (Roosevelt F. D.)
Сантаяна Дж. (Santayana G.)
Сарабхаи К. (Sarabhai K.)
Симсен Г. (Siemsen H.)
Софокл
Спенсер Г. (Spencer H.)
Спитц Р. (Spitz R.)
Стингл М.

Стокард К. Г. (Stockard C. H.)
Стюарт Дж. (Stewart G.)
Сэндбург К. (Sandburg C.)
Твен М. (Twain M.)
Толстой Л. Н.
Троцкий Л.
Уайли Ф. (Wylie Ph.)
Уисслер К. (Wissler C.)
Уотерман Т. Т. (Waterman T. T.)
Фишер Дж. (Fischer J.)
Флэннер Дж. (Flanner G.)
Фрейд А. (Freud A.)
Фрейд З. (Freud S.)
Френкель-Брунсвик Э. (Frenkel-Brunswik E.)
Хаксли Дж. (Huxley G.)
Хендрик И. (Hendrick I.)
Цимер Г. (Ziemer G.)
Чехов А. П.
Шекспир У. (Shakespeare W.)
Шеффнер Б. (Schaffner B.)
Шиллер Ф. (Schiller F.)
Шпенглер О. (Spengler O.)
Эйнштейн А. (Einstein A.)
Эриксон Э. Г. (Erikson E. H.)
Эриксон К. Т. (Erikson K. T.)